Annotation

1825 - 1855 гг

*“Дневник” дает портреты многих известных лиц — влиятельных сановников и министров (Уварова, Перовского, Бенкендорфа, Норова, Ростовцева, Головнина, Валуева), членов императорской фамилии и царедворцев, знаменитых деятелей из университетской и академической среды. Знакомый едва ли не с каждым петербургским литератором, Никитенко оставил в дневнике характеристики множества писателей разных партий и направлений: Пушкина и Булгарина, Греча и Сенковского, Погодина и Катков*а*, Печерина и Герцена, Кукольника и Ростопчиной, своих сослуживцев-цензоров Вяземского, Гончарова, Тютчева.”*

Никитенко Александр Васильевич

Дневник. Том 1

Александр Васильевич Никитенко



ДНЕВНИК

Том I

ЗАХАРОВ МОСКВА

Тексты печатаются без сокращений по второму дополненному изданию 1904 года под ред. М.Лемке и с учетом исправлений в третьем издании “Дневника” 1955—1956 гг. под ред. И.Айзенштока.

Источник: Никитенко А. В. Записки и дневник (В 3-х книгах). — М.: Захаров, 2005. — 640 с. — (Серия “Биографии и мемуары”).

Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — крепостной, домашний учитель, студент, журналист, историк литературы, цензор, чиновник Министерства народного просвещения, дослужившийся до тайного советника, профессор Петербургского университета и действительный член Академии наук.

“Воспоминания и Дневник” Никитенко — уникальный документ исключительной историко-культурной ценности: в нем воссоздана объемная панорама противоречивой эпохи XIX века.

“Дневник” дает портреты многих известных лиц — влиятельных сановников и министров (Уварова, Перовского, Бенкендорфа, Норова, Ростовцева, Головнина, Валуева), членов императорской фамилии и царедворцев, знаменитых деятелей из университетской и академической среды. Знакомый едва ли не с каждым петербургским литератором, Никитенко оставил в дневнике характеристики множества писателей разных партий и направлений: Пушкина и Булгарина, Греча и Сенковского, Погодина и Каткова, Печерина и Герцена, Кукольника и Ростопчиной, своих сослуживцев-цензоров Вяземского, Гончарова, Тютчева.

ISBN 5-8159-0441-4
OCR: Слава Неверов slavanva($)yandex.ru

Содержание

ДНЕВНИК

1853

1854

1855

Предисловие редактора

“Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был”. Под этим заглавием автор предлагаемых “Записок” в 1851 году впервые приступил к литературной обработке своих воспоминаний, не переставая тем временем почти ежедневно заносить в “Дневник” выдающиеся по своему общественному интересу события и впечатления. Он предполагал таким образом обработать и весь свой “Дневник”. Но это удалось ему только в пределах весьма небольшой части своих воспоминаний. Масса разнородных дел оставляла ему слишком мало досуга для спокойного кабинетного труда, не входившего в круг ежедневных обязательных занятий, и “Повести о самом себе” суждено было оборваться на вступлении автора в новую жизнь, у порога университета — конечной цели всех его юношеских стремлений. Большая и, может быть, интереснейшая часть воспоминаний Александра Васильевича осталась после него в сыром виде, на страницах “Дневника”.

А “Дневник” он вел с четырнадцатилетнего возраста по самый день кончины, в июле 1877 г. Таким образом накопилась масса тетрадей, а в них множество фактов самого разнообразного содержания. Приведенные в порядок рукой самого автора, они, конечно, выиграли бы и изложении, и в освещении, которое сообщило бы им его опытное перо. Но мы полагаем, что и в настоящем, отрывочном виде они представляют много интересного и поучительного. Записанные под свежим впечатлением факты, без искусственной группировки и субъективных выводов, они часто говорят здесь убедительнее самых красноречивых комментариев и в своей неприкрашенной правдивости представляют драгоценный материал для будущего историка данной эпохи.

“Повести о самом себе” предшествует интимное посвящение, в котором автор предоставляет своим теперешним издательницам [дочерям] право, или, вернее, завещает им распорядиться оставшимися после него рукописями “по внушению их совести, любви к нему и чувства долга перед обществом”. В виду важности возложенной на них нравственной обязанности и считая себя только хранительницами этого больше общественного, чем семейного, наследства, они еще в августе 1888 года приступили к печатанию в “Русской Старине” сначала “Записок”, а затем и “Дневника”. С тех пор из месяца в месяц в течение трех лет — с февраля 1889-го и по апрель 1892 г. “Дневник” не переставал появляться на страницах этого повременного издания и прекратился лишь со смертью его уважаемого редактора М.П.Семевского.

Но этим еще не исчерпывался запас ежедневных заметок Александра Васильевича. Оборванный при первом своем появлении на 1872 году, “Дневник”

заключает в себе хронику еще пяти последних лет жизни автора, а именно 1873—1877 годов. Интерес, возбужденный в публике “Записками” и “Дневником” на страницах “Русской Старины”, сожаления, которые не раз выражались по поводу внезапного прекращения последнего, ободряют теперь хранительниц рукописей Александра Васильевича предпринять отдельное издание их, с прибавкою вышеупомянутых пяти последних лет. Этим они надеются исполнить свой долг и в отношении к обществу, и в отношении человека, уму и сердцу которого были так дороги судьбы русской умственной и общественной жизни.

Редактор первого книжного издания

ДНЕВНИК

Собственно “Дневник” начинается с 1825 года и продолжается по 20 июля 1877 года. Таким образом, он представляет непрерывный ряд материала, охватывающего более полувека. В нем всего один существенный пробел: недостает именно первого, 1825 года. В этом году Александр Васильевич поступил в университет, где протекла почти вся последующая его жизнь, сблизился с передовыми людьми тогдашней молодой России и чуть не был вовлечен в водоворот, где погибло столько свежих сил и надежд.

Пробел этот мы можем восстановить только в нескольких словах, на основании слышанного нами [его дочерьми] от Александра Васильевича при его жизни. Собственная же хроника его об этом периоде времени исчезла в декабрьском погроме 1825 г.

Молодой Никитенко вышел из дома графа Шереметева с обновленным духом, но без всяких определенных средств к существованию — без пристанища, почти без хлеба. Мамонтов усиленно хлопотал о том, чтобы его не с пустыми руками выпустили из графской канцелярии, но добился только выдачи ста рублей, которыми молодой человек скрепя сердце и пробивался добрую часть следующего года.

Поступление его в университет тем временем состоялось уже без особенных затруднений, благодаря неостывавшему покровительству князя Голицына и других лиц, отныне заинтересовавшихся его судьбой. При всем своем развитии и способностях, молодой человек не имел систематической школьной подготовки и вряд ли совладал бы с рутиною вступительного экзамена…

Его, не в пример другим, без испытания, допустили к слушанию лекций первого учебного семестра, с обязательством только при переходе на второй курс сдать и вступительный экзамен.

Заступники Александра Васильевича перед графом Шереметевым, с Рылеевым во главе, не прерывали с ним сношений и из покровителей скоро превратились в добрых приятелей. Особенно часто виделся Александр Васильевич с Рылеевым и князем Евгением Оболенским. Последний в июле 1825 г. даже пригласил его совсем на жительство к себе, в качестве воспитателя своего младшего брата, тогда присланного к нему из Москвы оканчивать образование.

Здесь молодой Никитенко очутился в самом центре тогдашнего прогрессивного движения. Согретый лучами высокой гуманности, царившей в этом обществе, где он был принят с истинно братским радушием, Александр Васильевич уже начинал считать себя у пристани. Он и не подозревал, какая новая гроза зрела

около него: она разразилась в злополучный день 14 декабря и застала его врасплох. Покровители и друзья, правда, щадили его юность и неопытность, а может быть, и не доверяли его зрелости, и потому не посвящали в тайну замышленного ими государственного переворота. Тем не менее, когда разразился удар, он не мог не отразиться косвенно и на Никитенко: будет или нет еще доказано, что он ни словом, ни делом не причастен к заговору, а пока против него был факт сожительства с одним из соучастников в нем и частого общения с другими. Понятно, в каком вихре новых сомнений и опасений очутился опять молодой человек, как терзался за судьбу друзей и за собственную участь. В этих тревогах и волнениях, на распутии между отчаянием и надеждою, застал его новый, 1826 год.

Дальше предоставим говорить самому Александру Васильевичу Никитенко. .

Редактор первого книжного издания

1826

1 января 1826 года

Сегодня я проснулся в скверном расположении духа. Ужасы прошедших дней давили меня, как черная туча. Будущее представлялось мне в самом мрачном, безнадежном виде. Я все больше и больше погружался в уныние. Вдруг явился Я.И.Ростовцев. Он сегодня в первый раз вышел из комнаты после болезни от ран, полученных им в бедственный день 14 декабря.

После обычного дружеского приветствия и поздравления с Новым годом он обрадовал меня двумя известиями. *Первое* состояло в том, что генерал [Левашов, он вел следствие по делу декабристов] позволяет мне переменить квартиру и что, следовательно, я разделался с сомнительным и крайне неприятным положением, уже более двух недель томившим меня. *Второе,* что Федор Николаевич Глинка, который вполне заслуживает любовь и уважение и которого я искренно почитаю, — что Глинка, будучи представлен государю императору, оправдал себя во всех подозрениях, какими его кто-то очернил в глазах правительства. Бумаги Глинки были отобраны, а сам он взят во дворец. Невинность его, однако, скоро обнаружилась, и сам государь отпустил его домой, сказав:

— Не морщиться и не сердиться, господин Глинка! Ныне такие несчастные обстоятельства, что мы против воли принуждены иногда тревожить и честных людей. Я почитал вас всегда умным и благородным человеком. Скажите всем вашим друзьям, что обещания, которые я дал в манифесте, положили резкую черту между подозрениями и истиной, между желанием лучшего и бешеным стремлением к переворотам, — что обещания эти написаны не только на бумаге, но и в сердце моем. Ступайте: вы чисты, совершенно чисты.

Получив известие об аресте этого истинно-доброго человека, я был очень огорчен. Но проницательность государя не дала ему ошибиться насчет правил и духа нашего милого поэта-христианина.

Итак, новый год начался для меня лично недурно, но как для многих других?..

3 января 1826 года

Я желал бы сейчас же воспользоваться позволением генерала. Квартира эта сделалась мне тяжела, как могила. Но у меня ни копейки денег, а без них не бывает на свете ни квартиры, ни того, что нужно в квартире. Я в крайне затруднительном положении. Все связи, которые могли бы послужить мне в пользу, порваны. Здесь я могу пробыть еще разве только несколько дней, то есть пока здесь маленький князь,

мой воспитанник [Дмитрий Оболенский]. Но и тут беда: этот юноша всегда был строптивого нрава. Много хлопот доставлял он мне. Я усердно старался внушить ему кое-какие хорошие правила и обуздать его буйную волю. Поставив себе это целью, я терпеливо переносил все огорчения, все грубости, коими его своенравие щедро осыпало меня. Изредка только удавалось мне пробудить в нем добрые чувства, да и то были лишь минутные вспышки. Со времени же несчастия его брата он сделался совершенно несносен. Я пробовал кротко увещевать его, но в ответ получил несколько грубостей, и наши отношения крайне натянуты.

А между тем он остер, не лишен способностей, одарен твердой волей. Но острота его направлена исключительно на изворотливость, а способности его заржавели от неупотребления, как тот прадедовский меч, о котором говорит Батюшков в своих “Пенатах”. Сила же воли в нем превратилась в своеволие. Причина тому следующая. Отец, добрый человек, в младенчестве отдал его в распоряжение двух гувернеров, француза и немца, которые научили ребенка болтать на иностранных языках, но не дали ему ни здравого смысла, ни нравственных понятий. Князек рос, а с ним и прирожденные ему пороки. Когда его привезли из Москвы в Петербург и поручили брату, он был уже в полном смысле слова шалун. Его поместили в один из французских пансионов, где учат многому, но не научают почти ничему: он еще более усовершенствовался в разных шалостях. Брат его — человек очень хороший, но, по ложному пониманию Шеллинговой системы, положил “ничем не стеснять свободы нравственного существа”, то есть своего братца. Следствием было уже сказанное выше.

Впрочем, это едва ли не применимо к воспитанию почти всего нашего дворянства, особенно самого знатного. У нас обычай воспитывать молодых людей “для света”, а не для “общества”. Их ум развивают на разных тонкостях внешнего приличия и обращения, а сердце предоставляют естественным влечениям. Гувернер-француз ручается за успех “в свете”, а за нравственность отвечает один случай.

Почти то же следует сказать и об общественном воспитании у нас. Добрые нравы составляют в нем предмет почти посторонний. Наука преподается поверхностно. Начальники учебных заведений смотрят больше в свои карманы, чем в сердце своих питомцев. В одном только среднем классе заметны порывы к высшему развитию и рвение к наукам. Таким образом, по мере того как наше дворянство, утопая в невежестве, мало-помалу приходит в упадок, средний класс готовится сделаться настоящим государственным сословием.

5 *января 1826 года* Ростовцев [Александр Иванович, офицер, замешанный в события 14 декабря; далее при недоумении: кто такой? — просим обращаться к аннотированному именному указателю в конце третьей книги] просил меня переехать к нему. Одна крайность разве заставила бы меня на это решиться. Я уверен в его дружеском расположении ко мне, но это самое налагает на меня, при нынешних обстоятельствах, обязанность быть особенно осторожным. Государь император его торжественно благодарил. Имя его сделалось предметом жарких толков в столице.

6 января 1826 года

В то самое время, как я особенно горевал о моих печальных обстоятельствах, наш добрый дворецкий, Егор, доложил мне, что меня желает видеть генеральша Штерич, одна из дальних родственниц князя Оболенского. Я нисколько не удивился, полагая, что она хочет переговорить со мной о моем воспитаннике. Но вышло нечто иное.

Я отправился к ней в пять часов вечера. Меня провели в спальню. Там я увидел в постели больную женщину средних лет с приятным, умным лицом. Это была г-жа Штерич.

Пригласив меня сесть, она, после обычных в настоящее время разговоров о последних бурных событиях, сказала:

— Я слышала о вас много хорошего. Знаю, что вы теперь в затруднительном положении. Если вы не найдете ничего для себя лучшего, я вам предлагаю квартиру и стол у себя.

Предложение было очень кстати, но ошеломило меня своей неожиданностью.

— Но чем же я в свою очередь могу быть вам полезен и отплатить за то добро, которое вы мне предлагаете?

— Этого вовсе не нужно, — отвечала она, — я просто желаю вам помочь как человеку, того заслуживающему. Если вам угодно, вы можете переехать ко мне в следующее же воскресенье.

Поговорив еще немного, я раскланялся и ушел домой в смущении и до сих пор еще ни на что не решился.

7 января 1826 года

Я все больше и больше удостоверяюсь в дружеском расположении ко мне Ростовцева. Он мне опять предлагал убежище у себя и с таким чувством, какое может внушить одна дружба.

Я, между прочим, познакомился у него еще с В.Н.Семеновым, который мне показался очень добрым человеком. Он служит при министре народного просвещения и сам вызвался поговорить обо мне с нашим ректором, с которым хорошо знаком. При экзамене я надеюсь на себя по всем предметам, хотя последнее время и не мог усидчиво заниматься. Зато латинский язык меня сокрушает. В нем я за весь прошлый год мало успел и в этом сам виноват: я не мог принудить себя хорошенько заняться изучением грамматических форм, которые скучны, но необходимы, а что необходимо, то должно быть сделано, невзирая на трудности. В таком случае следовало бы подражать Наполеону. Один инженерный генерал жаловался ему на трудности при взятии какой-то крепости. “Не в том дело, что трудно, генерал, а в том, можно ли ее взять?” — “Да, консул, не невозможно”. — “Ну так вперед!” — и крепость несколько часов спустя сдалась тому, у кого не было

трудностей, а одна невозможность. Так и мне следовало бы поступить, и я не был бы теперь в необходимости прибегать к снисхождению добрых людей.

Я каждый вечер провожу у Ростовцева.

8 января 1826 года

У меня ни копейки денег. Я решительно не знал, что предпринять. И из этой беды вывел меня Ростовцев. Он так дружески сам предложил мне небольшую сумму, что вынул жало из всегда тяжелого положения сознавать себя кому-либо обязанным.

После жестокой борьбы и продолжительных размышлений я решился перебраться к г-же Штерич. Быть не может, чтобы у меня там не нашлось дела.

9 января 1826 года Сегодня сдал я первый экзамен из богословия. Получил первые баллы, но недоволен собою: я отвечал не так точно и ясно, как хотел бы и мог бы.

10 января 1826 года

Сегодня я переселился в дом г-жи Штерич. Мне отведена опрятная, хорошая комната. Предшествовавшие моему переезду дни я жестоко терзался мыслью, что не буду иметь в этом доме никакой определенной должности, которая избавляла бы меня от печальной необходимости получать кров и пищу даром. Напрасные терзания. Светская женщина, конечно, умеет обрабатывать свои дела лучше, чем неопытный студент угадывать ее намерения.

Еще вчера г-жа Штерич пригласила меня к себе обедать и после разных околичностей дала мне заметить, что ей не будет противно, если я уделю несколько своего времени на то, чтобы читать русскую словесность ее сыну, а также и некоторые другие науки (если у меня будут свободные часы!), нужные для дипломатической службы, на которую этот молодой человек недавно поступил.

Слова г-жи Штерич сняли с моего сердца тяжелое бремя. Я свободнее вздохнул и пожалел только, что она не выяснила мне сразу своих намерений. Признательность моя от того не уменьшилась бы, а уважение мое к г-же Штерич только возросло бы. Как бы то ни было, я теперь чувствую себя спокойным: получая две необходимейшие потребности жизни — кров и пищу, я буду платить за них своим трудом.

Сын г-жи Штерич — молодой человек 17 лет. У него, кажется, доброе сердце и ясный ум. Физиономия его очень приятная, с легким оттенком привлекательной задумчивости. Он получил отличное воспитание, в котором нравственность не считалась делом случайным. Не лишен он и некоторых познаний. Мать его в этом отношении поистине редкая женщина. Она имеет здравые понятия о воспитании и думает, что русский дворянин не должен быть всем обязан своим рабам, но также

кое-чем и самому себе. Она путешествовала с сыном по Германии и по Италии, стараясь совершенствовать его воспитание.

Сам молодой человек мне нравится. Он набожен без суеверия, по влечению сердца, и это одно уже ставит его выше толпы нашего знатного юношества, которое полагает гордость своих лет и звания в том, чтобы не уважать ничего, что уважается другими. Его можно упрекнуть разве в том, что он вообще мало размышлял и не доходит до глубины вещей. Но, сказать правду, размышлял ли бы и я в семнадцать лет, если бы исключительность моего положения не подстрекала к деятельности моих способностей. Природный ум, конечно, и в начале своего развития не любит оставаться в праздности, но, с другой стороны, ничто не возбуждает так его деятельности, как нужда и горький опыт. Я употреблю все усилия, чтобы научить молодого Штерича рассуждать не поверхностно, чтобы направить его честолюбие на истинно полезное и дать его характеру твердость, без коей не бывает ничего ни умного, ни доброго.

11 января 1826 года Экзамен в латинском языке. Я получил 3 балла. Стыжусь: перевод, по которому профессора судят об успехах студентов, сделан мною с помощью одного из товарищей. Но если бы не это злоупотребление, то, невзирая на все мои отличия по другим предметам, я не получил бы степени студента и не был бы переведен на второй курс. Даю себе слово вперед быть благоразумнее, трудолюбивее и тверже.

13 января 1826 года

Экзамен из теоретической философии. На мою долю выпало много трудных и запутанных метафизических задач. Говорят, профессор хотел отличить меня этим. Я с честью выдержал испытание и получил первые баллы.

14 января 1826 года

Сегодня студенты собрались на квартире у Армстронга слушать мои объяснения практической философии, из которой у нас послезавтра экзамен. Все чинно уселись за большим столом, где мне было предоставлено место президента. Должно быть, я был в ударе: товарищи в заключение осыпали меня благодарениями. Если мне действительно удалось помочь им, я счастлив.

Кстати, помещаю здесь характеристику некоторых из моих товарищей.

Михайлов кажется олицетворением живости и остроты ума. Он необыкновенно быстро схватывает предметы довольно трудные, но схваченное им недолго держится в нем. Вообще в его уме, характере и чувствах удивительная легкость, восприимчивость, оборотливость, но без силы и постоянства. Говорит он так приятно, что вызывает невольную улыбку, даже когда пускается в личные остроты — неизбежные при таком складе ума. Счастливая природа его доставляет ему неистощимый запас самых разнообразных удовольствий. Он всегда жив, весел, как

истинная юность.

Дель рассуждает поверхностно: у него пытливый ум и доброе сердце.

Армстронг — ум светлый, но не способный пускаться вдаль. Душа у него прекрасная, а нравственность — человека, убежденного, что в мире нет ничего лучше добродетели. У него редкая по качествам сердца мать.

Струков одержим стремлением к изящному и к знанию, но ум у него упрямый, как злая жена. Он и желал бы направить его на что-нибудь серьезное, да тот всеми силами отбивается и кричит: “Не хочу, не хочу!”

Линдквист имеет вид человека, всегда погруженного в глубокие думы, но на самом деле у него немного мыслей в наличности, оттого, может быть, что он мало занимается наукой, которая дает для них материал. Он с энтузиазмом говорит о великих мужах, которым желал бы уподобиться, но, пренебрегая трудом, мало подает на то надежд. Он, должно быть, до конца жизни останется только великим мечтателем.

Крупский тонок, остроумен, с обширными познаниями, но вряд ли обладает твердостью духа, чтобы не падать под ударами судьбы.

Чивилев 1-й — мягок и умом, и сердцем, и телом.

Чивилев 2-й — маленькая лисичка. Ум его в хитрости, а сердце в уме.

Зенкович — гибкий телом и характером, желает всем угождать на словах.

Маслов — флегматик, но неглуп. Это будет вполне деловой человек.

15 января 1826 года Экзамен из русской словесности. Я выдержал его хорошо.

16 января 1826 года

Сегодняшний экзамен из практической философии [т.е. этике] сопровождался большими неприятностями. Лодий, профессор права и философии, один из старейших в нашем университете, а по духу старейший из всех, ибо весь проникнут схоластикой XIII века. Он напал на профессора Пальмина, читающего нам практическую философию, и упрекал его в том, что тот заставлял нас следовать ложной и опасной системе. Пальмин держался основных положений Канта. Дело принимало серьезный оборот, так как в него вмешалась личная вражда Лодия к Пальмину, а вражда, как известно, имеет зоркие глаза и умеет открывать зло там, где другие и не подозревают его. Мы ожидали дурных для себя последствий, особенно я, который составлял записки по данному предмету и пополнял их собственными замечаниями. Но благодаря сдержанности и благоразумию нашего профессора все обошлось благополучно.

Итак, экзамены кончены. Я выдержал их среди самых бурных приключений моей жизни, и, по совести, выдержал их с честью, за исключением латинского, воспоминание о котором вызывает у меня краску стыда.

19 января 1826 года

Был у Галича. Получил от него эстетику, недавно им написанную и напечатанную. Он говорит очень приятно; суждения его глубоки и возвышенны. У него я встретился со старым своим знакомым Тяжеловым, учителем кадетского корпуса; я с ним не виделся уже более года, и теперь мы возобновили знакомство. От Галича я пошел к Пальмину, который обнадежил меня, что мне не надо будет держать студенческого экзамена.

22 января 1826 года

Был у Ростовцева. Он определен адъютантом к великому князю Михаилу Павловичу. Ему, кажется мне, не этого хотелось. Однако государь к нему по-прежнему благосклонен. С его тонким умом и честолюбием он может далеко пойти. Отношения его ко мне те же, что и прежде.

23 января 1826 года

Сегодня Ростовцев навестил меня. Он, между прочим, сообщил мне, что князь Оболенский в показаниях своих запутал многих и в том числе Глинку, который ожидает, что его опять арестуют. Если это случится, он собирается призвать меня в свидетели как всегда присутствовавшего при его свиданиях с князем Оболенским и потому могущего подтвердить, что в беседах их не было ничего политического. Он поручил Ростовцеву просить меня об этом. К чему эта просьба? Если он поступит, как намеревается, я и без того должен буду сказать истину, которая, впрочем, для него нимало не предосудительна. Но, само собой разумеется, я предпочел бы избежать этого нового усложнения.

24 января 1826 года

У г-жи Штерич собирается так называемое высшее общество столицы, и я имею случай делать полезные наблюдения. До сих пор я успел заметить только то, что существа, населяющие “большой свет”, сущие автоматы. Кажется, будто у них совсем нет души. Они живут, мыслят и чувствуют, не сносясь ни с сердцем, ни с умом, ни с долгом, налагаемым на них званием человека. Вся жизнь их укладывается в рамки светского приличия. Главное правило у них: не быть смешным. А не быть смешным, значит, рабски следовать моде в словах, суждениях, действиях так же точно, как и в покрое платья. В обществе “хорошего тона” вовсе не понимают, что истинно изящно, ибо общество это в полной зависимости от известных, временно преобладающих условий, часто идущих вразрез с изящным. Принужденность изгоняет грацию, а систематическая погоня за удовольствиями делает то, что они вкушаются без наслаждения и с постоянным стремлением как можно чаше заменять их новыми. И под всем этим таятся самые грубые страсти. Правда, на них набрасывают покров внешнего приличия, но последний так

прозрачен, что не может вполне скрыть их. Я нахожу здесь совершенно те же пороки, что и в низшем классе, только без добродетелей, прирожденных последнему.

Особенно поражают меня женщины. В них самоуверенность, исключающая скромность. Я под скромностью разумею не одно чувство стыдливости в сношениях между двумя полами, но и то свойство души, которое научает находить середину между самоуверенностью и отсутствием сознания собственного достоинства. Я знаю теперь, что “ловкость” и “любезность” светской женщины есть не иное что, как способность с легкостью произносить заученное, и вот правило этой ловкости и любезности: “одевайся, держи ноги, руки, глаза так, как приказала мадам француженка, и не давай языку своему ни минуты отдыха, не забывая притом, что французские слова должны быть единственными звуками, издаваемыми этим живым клавишем, который приводится в действие исключительно легкомыслием”. В самом деле, знание французского языка служит как бы пропускным листом для входа в гостиную “хорошего тона”. Он часто решает о вас мнение целого общества и освобождает вас, если не навсегда, то надолго, от обязанностей проявлять другие, важнейшие права на внимание и благосклонность публики.

2 февраля 1826 года

Был у профессора и декана нашего факультета, Пальмина. Мой товарищ Армстронг получил на экзамене практической философии почти последние баллы, между тем выдержал экзамен едва ли не лучше всех. Это его крайне огорчило, и он просил меня объясниться по этому поводу с деканом. Я сам уже многим обязан профессору Пальмину, но не думаю, что это должно было служить мне препятствием в настоящем случае; И действительно, мне удалось достигнуть желаемого. Декан принял в соображение мое объяснение и обещал поправить несправедливость. А когда я у него спросил, могу ли я сам рассчитывать на то, что буду переведен на 2-й курс, он отвечал: “Кому же перейти, если не вам? Вы имеете на то несомненное право. Я, со своей стороны, по крайней мере не позволю оказать вам несправедливость”.

Горячо поблагодарив доброго профессора за себя и за товарища, я ушел успокоенный. Пальмину лет за сорок. Он, по-видимому, флегматик, но не угрюм. У него добродушная улыбка, и он умеет постоять за того, кто ему по душе. Со мной он всегда ласков и приветлив, говорит тоном дружбы, как с равным. У него здравый ум. Он не систематик и ищет истины везде, где только надеется найти ее, и любит ее, в каком бы виде она ему ни представлялась. Практическое предпочитает теоретическому и рассудок — уму. Скромен. Испытал много превратностей, но перенес их, как подобает философу. И теперь участь его неблестящая. Он небогат, а семейство у него пребольшое. Я, между прочим, нахожу в нем сходство с Ф.Ф.Ферронским, моим добрым украинским философом. Та же, по-видимому, простота сердца и равнодушное отношение ко внешним невзгодам. При всем том говорят, что профессор этот нелюбим в университете. Но кто же умеет так ненавидеть и гнать, как ученые: им издревле принадлежит честь совершенствовать не одно хорошее, но и дурное.

5 *февраля 1826 года*

Виделся с Ростовцевым. Мне с чего-то пришло в голову, что он, будучи ныне взыскан счастьем, может перемениться ко мне. Однако он мне не дал ни малейшего повода о нем так думать. Но я знаю его, знаю, что он честолюбив, а честолюбие, сопровождаемое успехом, с каждым шагом вперед умаляет в глазах честолюбца предметы, остающиеся у него позади, и так до тех пор, пока они совсем стушуются, и он уже не видит больше ничего, кроме самого себя. Если так случится с Ростовцевым, мне ничего не останется, как пожелать ему приятных снов в объятиях фортуны и удалиться с его пути. Но, повторяю, до сих пор я не имею ни малейшего к тому повода. А сердце подстрекает меня вообще считать Ростовцева выше толпы и честолюбие его относить к разряду возвышенных и просвещенных.

10 февраля 1826 года

Был у профессора словесности Бутырского. В его теории словесности много истин, особенно полезных в настоящее время, когда у нас стали появляться писатели, отвергающие правила здравого смысла и думающие, что вместо изучения языка и всяких других знаний довольно обладать фантазией и сомнительным остроумием, чтобы заслужить право на бессмертие. Мы вообще мало любим останавливаться на предметах и углубляться в их суть. Все, что отзывает трудом, для нас нестерпимо. У нас многие люди, даже с талантом, заражены язвою лени и стремятся легким способом добывать похвалы и удивление. Для них все решает минута энтузиазма: они называют это вдохновением и уже ни о чем больше не заботятся. В числе наших модных литераторов немало таких. Я знаком с иными и часто удивляюсь их невежеству, с одной стороны, и резкости суждений — с другой, о предметах, им вовсе или очень мало известных. Труд они называют педантством. Для них довольно познакомиться с французским языком и прочесть на нем несколько книжек, чтобы считать свое образование оконченным. Написав потом несколько журнальных статеек, несколько мадригалов и песенок, которым аплодируют в го-стиных, они принимают важный вид заслуженных литераторов и величественно успокаиваются на лаврах, мечтая по очереди о потомстве и о сытном обеде у какого-нибудь мецената.

15 февраля 1826 года

Сегодня, в десять часов утра, все студенты собрались в университет. Был отслужен молебен, и каждый из нас получил свидетельство на звание студента, а потом прочитано нам расписание о переводе нас на высшие курсы. Я переведен на второй и со мной все мои товарищи из вольно-слушающих.

19 февраля 1826 года

Нездоров. В болезнях, как и во всех бедах, главное — не ослабевать духом,

чтобы не делаться слишком чувствительным к самому себе. Мы страдаем не столько от постигающего нас зла, сколько от того расположения духа, с каким принимаем его. Надо всегда смотреть на зло не с той стороны, с какой оно представляется всего тягостнее, а с той, с которой оно является удобным к перенесению, а сию сторону мы всегда найдем, если отнимем от зла все то, что придает ему наше воображение, наше самолюбивое я, наша склонность считать себя средоточием всего, нас окружающего.

28 февраля 1826 года

Сегодня мне гораздо лучше. Я спускался вниз благодарить г-жу Штерич и опять бодро принялся за лекции и за другие обязанности.

1 марта 1826 года

Настоящее положение мое следующее: я имею помещение очень хорошее, обед, чашку или две чаю поутру и ввечеру. Но денег ни гроша, и никакой надежды их откуда-нибудь получить. Следовательно, половина моих нужд удовлетворена, а другая, состоящая в одежде, еще зависит от будущей снисходительности судьбы. В этом доме все со мной ласковы, а молодой человек особенно ко мне вежлив. Время мое так распределено: встаю в пять, иногда в шесть часов, никогда позже. В дни, определенные для лекций, иду в университет, возвращаюсь домой в 12 часов, записываю лекции или читаю сочинения, имеющие связь с университетом. В 2 часа за мной обыкновенно присылает г-жа Штерич. Я схожу вниз и всегда застаю там несколько приглашенных к обеду лиц. Обед подают в 3 часа. Время это самое непроизводительное. Оно проходит в разговоре, где мало одушевления. Толкуют обыкновенно о городских новостях, а за недостатком оных перебирают старое. Ничего нет скучнее такого разговора. Вся задача собеседников здесь не допустить молчания, которого светские люди боятся хуже язвы. Я присвоил себе привилегию тотчас после обеда уходить в свою комнату, где около часа отдыхаю за книгою, не требующею размышления. Потом приступаю к отправлению новых обязанностей: читаю курс словесности и истории молодому Штеричу. В свободное время посещаю знакомых и университетских товарищей. К чаю опять являюсь вниз, где повторяется то же, что и за обедом, а в 11 часов ложусь спать.

7 марта 1826 года

Вчера дворецкий князя Евгения Оболенского просил меня прийти разобрать оставшиеся у него на руках книги его господина. Он хотел уложить их по материям и отослать в Москву к старому князю. С горьким, щемящим чувством вошел я в комнаты, где прошло столько замечательных месяцев моей жизни и где разразился удар, чуть не уничтоживший меня в прах. Там все было в беспорядке и запустении. Я встал у окна и глубоко задумался. Солнце садилось, и последние лучи его с трудом пробивались сквозь облака, быстро застилавшие небо. В печальных комнатах царила могильная тишина: в них пахло гнилью и унынием. Что стало с

еще недавно кипевшею здесь жизнью? Где отважные умы, задумавшие идти наперекор судьбе и одним махом решать вековые злобы? В какую бездну несчастия повергнуты они! Уж лучше было бы им разом пасть в тот кровавый день, когда им стало ясно их бессилие обратить против течения поток событий, не благоприятных для их замысла!..

Размышления мои были прерваны приходом адъютанта князя Оболенского: он пришел сюда за своими книгами. Мы поговорили несколько минут, и я ушел с тоской в сердце.

12 марта 1826 года

Сегодня мне исполнилось 23 года, если верить старому календарю, в котором рукой отца записан 1803 год как год моего рождения. Итак, юность моя отцветает. Мало людей, которые провели бы ее так бурно, деятельно и без всякого руководства. Я достиг цели: свергнул с себя ненавистное иго, под бременем которого чуть не пал, и вступил на поприще благородное, но каждый шаг в достижении этого я покупал ценою страданий и напряжения всех своих сил. Дальнейший мой путь в главных чертах намечен, а настоящее для меня скрашено расположением профессоров и любовью товарищей, между которыми я даже пользуюсь своего рода авторитетом. Вот хорошая сторона моего теперешнего положения, но у него есть и оборотная, не менее важная. Мне предстоит еще около двух лет пробыть в университете, и я на это время не обеспечен даже в необходимейших нуждах. И теперь, когда я, по-видимому, во многом успокоен, мне все же приходится терпеть от таких нужд, которые тяжело ложатся на сердце, не говоря уже о бедственном положении моей матери, которое служит для меня источником постоянных мук…

Занятиями моими в этот году я доволен. Могу сказать по совести, что я не терял времени и приобрел много новых познаний. В одном только я по-прежнему плох: это в латинском языке. У меня не хватает ни времени, ни терпения для изучения его форм. Он просто возбуждает во мне отвращение.

15 марта 1826 года

Вот пример светского эгоизма. Меня недавно посвящала в его тайны одна дама с тонким знанием света и людей, слывущая за близкую приятельницу г-жи Штерич.

“Возьмем хоть нас с нею, — говорила она, — мы точно не можем жить одна без другой. Редкий день мы не вместе. Но если вы полагаете, что мы это делаем без всякого расчета, по внутреннему влечению, вы очень ошибаетесь. Дело в том, что я не люблю моего мужа и рада всякому случаю не быть с ним вместе. Пребывание дома для меня отравлено его присутствием, и вот почему я безвыходно здесь. Госпожа Штерич, со своей стороны, часто хворает и нуждается в собеседнице, которая развлекала бы ее. И вот между нами заключился своего рода негласный договор: я избавляюсь от необходимости обедать и пить чай с глазу на глаз с ненавистным человеком, а она получает возможность меньше думать о своей болезни”.

Надо отдать справедливость этой даме: она очень откровенна.

6 апреля 1826 года

Получил печальное известие из Малороссии. Меня уведомляют о смерти Владимира Ивановича Астафьева. Это был один из ближайших моих друзей и главный участник в счастливой перемене в моей судьбе. Он был умен, образован, добр, но неблагоразумие молодости остановило успехи его среди самых лучших надежд, а слабости преклонных лет сократили жизнь его.

Весть о кончине этого человека меня глубоко огорчила. Вокруг меня мало-помалу редеют знакомые и милые сердцу предметы. Новые связи не заменяют вполне старых: последние как-то всегда искреннее и прочнее. Не оттого ли, что в них сердце предупреждает рассудок, который потом только скрепляет его выбор? Память Астафьева навсегда останется для меня священной, он в полном смысле слова был для меня вторым отцом: первый дал мне жизнь, а второй — возможность употребить ее достойно.

11 апреля 1826 года

Сегодня все студенты собрались в университетской аудиенц-зале, где ректор Дегуров произнес к нам слово, в котором увещевал быть преданными нашему монарху. Речь свою он подкрепил примером 14 декабря. Ректор говорил горячо, и речь его произвела впечатление.

18 апреля 1826 года

Светлое Христово воскресение. Я не мог сегодня по обыкновению быть у заутрени и обедни и не слышал радостных гимнов, с детства пробуждавших во мне всегда отрадные чувства. Несносный портной не успел окончить ко времени мундира, и я до двух часов просидел дома. Потом я был с поздравлениями у некоторых знакомых. День вообще прошел скучно.

19 апреля 1826 года

Был с поздравлением у Дмитрия Ивановича Языкова. Он принял меня очень ласково. Затем я пошел к Ростовцеву и, к счастью, застал его дома. Мы давно не видались и оба обрадовались случаю поговорить на свободе. Он как будто не совсем доволен своим настоящим положением. Стезя честолюбия, по которой он задумал идти, такова, что человеку благородному по ней не пройти вовсе или же, проходя, надо измучиться, постоянно насилуя себя. Улыбка сильных и внимание толпы не могут дать удовлетворения тому, чье сердце действительно бьется от полноты любви к людям и к добру, в ком развита потребность внутренней жизни и самодеятельности. Можно принимать сии дары, подносимые двусмысленною благосклонностью или своенравием людей и фортуны, можно даже иногда искать

их, но для того только, чтобы сделать из них употребление, достойное высших целей. Надо искать всего, что расширяет круг нашей деятельности, но стремиться с любовью, с энтузиазмом и с твердостью должно только к тому, что неизменно справедливо.

Мы расстались с Ростовцевым, дав друг другу слово чаще видеться.

24 апреля 1826 года

Остальные дни праздников прошли довольно скучно. Ничего нет несноснее одиночества в толпе, занятой исключительно удовольствиями и соблюдением внешних приличий, а еще того хуже, когда светский вихрь и вас косвенно задевает, выхватывает из будничной трудовой обстановки и заставляет тоже кружиться в сфере мелких прихотей и бессодержательного веселья.

29 апреля 1826 года

Слушал лекции из истории философии. Мы занимались греками и, по обыкновению, начали с Фалеса. Профессор обращался к нам с вопросами, на которые мы, по его словам, отвечали удовлетворительно.

30 апреля 1826 года

Поутру зашел послушать лекцию профессора Толмачева о словесности. Застал оную уже на половине: он трактовал о красоте. Потом я был на лекции статистики профессора Зябловского. Он читал нам общее обозрение Европы. Профессор Зябловский, кажется, слишком любит пускаться в подробности, но он очень хорошо объясняет свой предмет, то есть точно, толково и чистым языком. У него грубая, полудикая физиономия, но его приятно слушать.

1 мая 1826 года

От 8 до 10 часов утра слушал лекцию естественного права у профессора Лодия. Последователи французской школы по этому праву говорят: “Люди рождаются свободными и равными в рассуждении прав и пребывают свободными и равными в них. Цель всякой государственной связи есть сохранение природных и неотъемлемых прав человека. Сии же права суть: свобода, собственность, безопасность и власть противоборствовать угнетению”.

Французы старались приноравливать все положения естественного права к политическим идеям того времени — это ясно. Но опровержение, которое нам вообще предлагал наш профессор, показалось мне неудовлетворительным. Понятия: свобода, собственность и власть противоборствовать угнетению надлежало бы рассмотреть в отвлеченности, а он показал нам только злоупотребления, кои делались в применении их, и тем самым как бы доказывал их полную несостоятельность, чего, конечно, не мог иметь в виду.

2 мая 1826 года

Сегодня я был приглашен на обед к Мамонтову. Там я застал большое общество. Мамонтов праздновал свое новоселье по древнему русскому обычаю, но новым французским способом, то есть орошая его в изобилии шампанским. У меня от этого галлицизма закружилась голова не меньше, чем от словесных галлицизмов наших светских людей. Мамонтов был очень весел и поощрял к тому же своих гостей. Впрочем, все это не выходило из пределов приличия. Я очень уважаю этого умного и доброго старика и люблю его за то, что во дни скорби он протянул мне дружескую руку и словом и делом служил мне оплотом против козней Дубова и других. Два сына его были со мной в университете и только нынешний год окончили курс. Многочисленное семейство окружало сегодня Мамонтова, как патриарха.

3 мая 1826 года

Пошел было на лекции, которых, однако, не было, потому что профессор Бутырский не пришел. Потом все утро занимался делами г-жи Штерич, которые, сказать правду, отнимают у меня немало-таки времени.

5 *мая 1826 года*

Занимался приведением в порядок и обработкой лекций, но на этот раз с усилием, без внутреннего расположения к труду. На мне, должно быть, сказывается утомление от массы посторонних дел, которыми я завален.

12 мая 1826 года

Все эти дни провел в обычных занятиях… Положение мое с каждым днем становится все затруднительнее. Помимо стола и квартиры, ни одна из других моих нужд не обеспечена: ни одежда, ни учебные пособия. А время мое, за исключением часов, проводимых на лекциях, почти целиком принадлежит г-же Штерич. Я не только занимаюсь с ее сыном, но и всеми ее делами вообще. Но, не имея никакого с нею договора, я, конечно, не вправе ничего и ожидать. Что же мне делать? Одно остается: просить государя, чтоб он дал мне возможность окончить курс в университете. Об этом надо подумать и посоветоваться с Д.И.Языковым. Только, я полагаю, это лучше сделать после коронации.

20 мая 1826 года

Сегодня было годичное торжественное собрание в нашем университете. Было много посетителей, и в том числе дюк Броглио, генерал французской службы, занимающий первое место в свите французского посла, маршала Мармонта. Прекрасный мужчина. Черты лица его благородны и выразительны, движения грациозны и непринужденны. Глядя на него, я понял, как далеки от своего образца

наши подражатели французского стиля в обращении. Они перенимают внешние приемы и думают, что в этом все. Между тем им прежде всего следовало бы проникнуться тем духом гуманности и общительности, каким преисполнены французы, а приемы явились бы уже сами собой, вместе с внутренней грацией, без которой не бывает внешней.

Акт продолжался часа три, но мы, студенты, собрались гораздо раньше и провели время довольно приятно, расхаживая по зале и делая наблюдения над приходящими. Профессор и секретарь совета Бутырский прочел отчет деятельности университета за прошлый год — отчет, из коего, несмотря на все старания оратора доказать противное, было очевидно, что просвещение в столице не сделало за это время больших успехов. Ректор Дегуров произнес на французском языке речь о влиянии просвещения на народы; ее очень хвалили. Профессор Пальмин часа полтора говорил о добродетелях покойного императора Александра Павловича. Любопытнее всего был отрывок из литературных лекций профессора Бутырского, который прочел оный с обычною своей приятностью. Дело шло “о сущности поэзии”. Не многие из наших глубоко вникают в его теорию, между тем в ней много истин, которые могли бы принести большую пользу нашей литературе, если бы к ним захотели повнимательнее прислушаться.

25 мая 1826 года

Вчера вечером было студенческое собрание в доме Линдквиста. Мы читали теорию уголовного права; я объяснял товарищам некоторые затруднительные места. Мы провели часа четыре очень приятно.

6 июня 1826 года

Все эти дни усердно занимался лекциями и сделал кое-какие полезные приобретения в этом смысле.

14 июня 1826 года

Смотрел похоронную процессию императрицы Елизаветы Алексеевны. Вышел из дому слишком рано и с тремя товарищами бродил по Летнему саду. Мы смотрели на толпу, пеструю и крайне разнообразную, замечали физиономии. Наконец мне надоело ждать, и я уже собрался идти домой. Вдруг пушечные выстрелы возвестили приближение процессии. Я занял не особенно выгодное место, но пришлось им довольствоваться, ибо теснота была невообразимая. Процессия между тем приблизилась. Я навел мой лорнет, начал рассматривать и, признаюсь в моем бесчувствии, не увидел ничего, что бы меня сильно тронуло. Впрочем, этому, конечно, я сам виноват. Я вообще не охотник до зрелищ, полагающих такое великое различие между человеком и человеком… Девицы Патриотического общества, шедшие по две в ряд; мужики в богатых кафтанах, жалованных им покойною императрицею; фигуры в черных мантиях; роскошная карета покойницы; великолепный гроб с ничтожными останками величия — все это проносилось

передо мной, как китайские тени. В заключение я, как малая капля в океане, отхлынул с толпой от Марсова поля и направился домой, повторяя про себя избитые, но многозначительные слова: “суета сует” и т.д…

17 июня 1826 года

Церемониймейстер печальной процессии Ш. возил меня сегодня в Петропавловскую крепость, или, лучше сказать, в церковь при ней, посмотреть печальное убранство оной. Церковь необширна, но с гробами покоящихся в ней царей, с высоким пышным катафалком, на коем возлежал новый прах, готовый тоже занять место под печальными сводами, — все это представляло нечто мрачное и величественное. Картина эта в первую минуту произвела на меня сильное впечатление. Но моему торжественному настроению духа был скоро положен конец. Вокруг катафалка, как рой трутней, вертелась толпа придворных дам и мужчин: они шептались, шаркали, любезничали, волочились с видом деловой важности, очевидно, воображая, что отправляют службу отечеству. “Да, Господа, — подумал я, — это ваше дело. Вы всегда у места там, где нечего делать”. Как суетятся они, какая озабоченность во взглядах, какое самодовольство на лицах! О, это великие люди… при похоронах царей.

Выходя из крепости, я взглянул на решетчатые окна тюрем. И там те же могилы! Бедные страдальцы! Ах, если бы и вы умели, как те, другие, находить удовлетворение в самодовольстве: ведь оно способно скрасить самый ад, имея в него доступ. Ваши счеты с сердцем, конечно, могут дать вам полное удовлетворение, но счеты с разумом, пожалуй, дадут в итоге горький осадок недовольства и сомнений. И праведник, если хочет действовать, должен быть мудр, ибо праведник без мудрости — бессильное дитя…

26 июня 1826 года

Два дня на этой неделе я провел с редким удовольствием. В четверг, по окончании лекций, в 12 часов, я с двумя ближайшими из моих товарищей, Михайловым и Делем, отправился на дачу, за Лесной корпус, к третьему, студенту же, Армстронгу. Он был именинник, и мы дали ему слово провести этот день с ним. Шли мы туда в отличном настроении духа. Между нами не прерывалась одушевленная беседа. Мы говорили о разных отвлеченных предметах с полным сочувствием и гармонией в мыслях и не заметили, как очутились у порога дачи, где были радушно встречены семейством Армстронга. Нас уже ожидал сытный обед. Усталые от продолжительного пути и сердечных излияний, мы быстро уничтожили его. После обеда настали сельские удовольствия: мы бегали, шутили, смеялись, катались в лодке между хорошенькими островками на пруду. Михайлов превзошел сам себя в остроумии. Немного спустя к нам присоединились еще два товарища, студенты математического факультета. Общество наше сделалось шумнее, но менее приятно. Гармония была нарушена, и я ушел в себя.

Вечером все уехали. Я остался один с Армстронгом. Мы вышли в поле. Солнце в виде раскаленного шара спускалось на горизонте; лес подергивался туманом;

предметы вдали постепенно исчезали, и звуки дневной суеты замирали. Люблю я эту торжественную тишину прекрасной летней ночи: она всегда отрадно, успокоительно на меня действует. Давно уже не наслаждался я близостью природы. Летние вечера для меня ничем не отличаются от зимних в душном каменном Петербурге. Они и в то, и в другое время года ознаменовываются для меня единственно необходимостью сходить вниз пить чай. Чистый, благорастворенный воздух давно не освежал моей крови, и я с жадностью глотал его. Запах молодых березок не может сравниться ни с каким ароматом, веющим от наших модниц и модников.

Долго бродили мы без цели и плана, забыв о лекциях и ежедневных заботах, не поминая прошлого, не думая о будущем, довольные собою и всем миром. Нечасто удается мне до такой степени забываться в настоящем, но чем реже такие минуты, тем глубже от них след…

Домой мы пришли после одиннадцати. Нам подали ужин: кусок холодного жаркого и горшок кислого молока, называемого простоквашею. Последняя мне пришлась особенно по вкусу: она напомнила мне домашние ужины и обеды, где молоко в разных видах всегда играло главную роль. Мать моего товарища была так ласкова, приветлива, даже нежна, что я чувствовал себя совершенно легко и свободно. Тихий, здоровый сон заключил этот приятный день, какого я уже давно-давно не испытывал.

На следующее утро, тотчас после чаю, мы опять отправились бродить по окружным полям. К нам присоединился товарищ Чивилев, общество которого нам было приятно и не внесло, по-вчерашнему, разлада в мое праздничное настроение духа. Итак, весь день опять прошел в прогулках. Вечером мы ходили пить чай в маленькую деревушку верстах в двух от дачи Армстронга. В поле у стройной березы, под синим шатром неба, был поставлен столик: мы уселись вокруг, и время пролетело незаметно в оживленной беседе. Солнце, склоняясь к западу, наконец напомнило нам, что пора и домой.

На другой день, после утреннего чая, я вместе с Чивилевым отправился в Петербург пешком же. Госпожа Штерич встретила меня ласково, заметила, что соскучилась без меня, и прибавила, что через четыре дня уезжает в Москву… У нас начались каникулы, но дела пропасть. Надо привести в порядок одни лекции и составить другие, например по богословию и истории философии. А тут еще французский и латинский языки…

30 июня 1826 года

Я получил печальное известие с родины. Брат мой, Григорий, недавно женился, и так хорошо, что с его женитьбой значительно улучшилось и матушкино положение. Это было большим для меня успокоением: она могла, наконец, отдохнуть от забот о насущном хлебе для своей семьи. Но вдруг получаю известие, что в селе Алексеевке, куда переселился брат в дом, полученный им в приданое за женой, пожар истребил триста семьдесят дворов. Я трепетал за брата, но все еще надеялся, что беда не коснулась его. Теперь нет больше сомнений: дом и все

имущество его сгорели. Таким образом, благополучие нашего семейства было опять только мимолетным сном.

3 июля 1826 года

Вчера, в 12 часов ночи, г-жа Штерич вместе с сыном отправилась в Москву. Она оставила мне много поручений и дала доверенность на ведение разных ее дел. До сих пор отношения наши очень хороши. Сына же ее я положительно полюбил. Молодой человек платит мне тем же, с оттенком уважения, что значительно облегчает мою задачу с ним. Таким образом, нравственное мое положение здесь вполне удовлетворительно, о материальном же стараюсь как можно меньше думать…

19 июля 1826 года

Был у В.К.Елпатьевского, кандидата, преподающего нам теорию уголовного права. Я составил план диссертации "О происхождении и сущности права наказания" и дал ему оный на рассмотрение. Сегодня поутру, от восьми до двенадцати, мы вместе занимались обсуждением этого предмета. Елпатьевский хвалил связность моего плана, порядок мыслей, но вооружился против начал, какие я принял за основание, говоря, что эти начала Шеллинговы, а Шеллинг ни к чему не ведет, как только к превыспренним поэтическим парадоксам. Я защищал свои положения, и мы долго блуждали в лабиринте метафизики.

8 августа 1826 года

Услышал я от Армстронга, которому сказывал Михайлов, о напечатании в "Сыне отечества" моего сочинения под заглавием: "О преодолении несчастий", которое было мною в октябре прошлого года отдано в цензуру. Последняя, по тогдашним обстоятельствам, долго не пропускала его, и оно теперь только явилось в свет.

Возвратясь с дачи, я поторопился достать 12 N "Сына отечества" и действительно увидел в нем мое сочинение. Пробежав его, я заметил многие неточности выражений, несколько мест с более пышным, чем определенным изложением мыслей, и это значительно умерило мое удовольствие видеть себя в первый раз в печати. Пока я не слышал еще никаких отзывов.

17 августа 1826 года

Сегодня кончаются наши каникулы, продолжавшиеся более полутора месяцев, и завтра уже надо явиться в университет. Признаюсь, что я во все это время сделал гораздо меньше, чем надлежало бы, особенно по части латинского языка, в котором я очень мало успел. Ожидаю от этого больших неприятностей, тем более что страшный Грефе, наш профессор древней словесности, бич всех малосведущих в

латыни студентов, вернулся из Германии, куда ездил на свидание с родными, и теперь будет присутствовать на экзамене.

Но, кроме ученых и учебных занятий, сколько еще забот у меня! На днях приедет из Москвы г-жа Штерич, и время мое опять очутится в ее распоряжении. Нужды мои тем временем растут. Я уже принужден был продать несколько книг, чтобы запастись чернилами, бумагою и перьями. Горько мне было расставаться с этими добрыми товарищами: они составляли все мое имущество, и ими пришлось пожертвовать необходимости. Но теперь уже нечего будет и продать больше.

18 августа 1826 года

Сегодня студенты собрались в университет в большую залу, куда вскоре явились и профессора. Вдруг ко мне подходит наш профессор словесности, Бутырский, и не то ласково, не то недоверчиво спрашивает:

— Не ваше ли сочинение читал я в “Сыне отечества” под названием “О преодолении несчастий”?

— Так точно, — отвечал я.

— Неужели? Клянусь, я не предполагал, чтобы вы, молодой студент, были автором сочинения, которое сделало бы честь гораздо более опытному литератору. Оно поражает богатством и зрелостью мыслей, — прибавил он, обращаясь к стоявшему около своему товарищу. — Есть некоторые ошибки в слоге, и я поясню их вам. Заметил я также в двух-трех местах некоторую неясность. Но, помимо этого, все прекрасно.

Едва успел я поблагодарить его за столь лестный отзыв, как подошли ко мне другие профессора. Все читали уже мое сочинение и спешили выразить мне свое удовольствие. Я совсем растерялся от этого неожиданного триумфа и готов был провалиться сквозь землю, чтобы уйти от всех устремленных на меня глаз. В заключение Бутырский обещал разобрать мое сочинение на первой же своей лекции.

Мы отслушали молебен и разошлись по домам, получив приглашение завтра собираться на лекции.

22 августа 1826 года

Сегодня поутру был у Булгарина. Он принял меня очень вежливо, хвалил мое сочинение, просил и вперед писать для его журнала.

— Я думал, — заметил он, — что вы гораздо старше, чем вижу теперь.

Потолковав о том о сем, Булгарин попросил меня посещать его вечерами, обещал познакомить с известнейшими литераторами и, пожимая на прощание мне руку, сказал:

— В чем будете иметь нужду, относитесь ко мне. Я могу быть вам полезен и почту за удовольствие оказать вам услугу. Вы — чадо наук, следовательно, родной нам.

Я поблагодарил. Он еще раньше обещался напечатать в мою пользу несколько отдельных экземпляров моего сочинения и просил зайти как-нибудь в типографию и там получить их.

26 августа 1826 года

Сегодня был в типографии Греча. Узнав, что я в типографии дожидаюсь выдачи мне экземпляров моего сочинения, Греч велел просить меня к себе в кабинет.

— Рад случаю с вами познакомиться, — сказал он ласково, — вы написали вещь, которая делает вам честь.

— Я желал бы, — возразил я, — воспользоваться вашими замечаниями. Я только что выступаю на литературное поприще и нуждаюсь в руководстве и в советах.

— В настоящем случае не нахожу замечаний, которые мог бы вам сделать. На днях мне писал о вас из Петрозаводска Федор Николаевич Глинка. Он читал ваше сочинение с величайшим удовольствием и просил меня поблагодарить вас за него. Сделайте милость, и вперед не оставляйте нас своими трудами.

Опять оставалось только поблагодарить, что я и сделал от всего сердца.

Вечером смотрел иллюминацию в честь коронования государя императора, состоявшегося 22 сего месяца в Москве. Я начал мой поход от Семеновского моста. У Семеновских казарм сиял щит с вензелем государя и государыни. Перед университетом горел обелиск с означением дня и года коронации. Лучше всего иллюминованы были: комиссия составления законов, дом графа Шереметева и Гостиный двор. Экипажей и народу было великое множество. На Аничковском мосту еще можно было кое-как двигаться, по дальше по Невскому проспекту народ стоял сплошною массою. Я дошел до Думы и больше не мог. Вернулся обратно и добрался до дома с величайшим трудом.

30 августа 1826 года

Был, наконец, у Д.И.Языкова и исполнил то, что давно задумал, а именно: рассказал ему о своем безвыходном положении и о намерении прибегнуть к государю с просьбою о вспомоществовании для окончания курса в университете. Языков слушал меня внимательно и, подумав немного, сказал:

— Нет, я не советовал бы утруждать этим государя. Но почему бы вам не сделать договора с этой великодушной женщиной (г-жою Штерич), которая вместо денег платит вам за ваши труды своим уважением? В таких случаях нечего церемониться. Одни ваши занятия с ее сыном чего-нибудь да стоят.

— Нет, ваше превосходительство, — возразил я, — г-жа Штерич во всяком случае предлагает мне квартиру и стол и полагает, что этим достаточно вознаграждает меня. Когда я согласился к ней переехать, у меня и этого не было. Требовать от нее теперь еще чего-либо я считаю себя не вправе — да это и ни к чему

не повело бы, кроме разрыва. Она очень расчетлива, и даже сын ее никогда не располагает свободными деньгами.

Подумав еще, Языков сказал:

— Подайте прошение министру.

Я понял, к чему это клонится, и решился высказать мое твердое намерение не быть снова в рабстве, хотя и не столь жестоком, как то, от коего я избавился, но тем не менее тягостном.

— Я боюсь, ваше превосходительство, — сказал я, — что, если подам просьбу министру, меня включат в число казеннокоштных студентов [и потом принудительно распределят служить в провинцию]. В таком случае у меня на пути опять явится непреодолимая преграда. Моя цель — окончив курс в университете, служить под вашим начальством. Отдавая теперь всего себя делу своего образования, я льщу себя надеждою, что не буду бесполезен на том пути, на который вступить желаю. К тому же я уже прошел половину университетского курса: было бы крайне печально отказаться от своей цели, когда уже так близок к ней.

Я замолчал. Языков задумался и по довольно долгом размышлении сказал:

— Ну, погодите немного — пока вступит в должность новый попечитель: тогда я посоветуюсь с ним, что делать.

Я поблагодарил за участие и откланялся. Я большего ожидал от своего свидания с Языковым, но теперь по крайней мере знаю, что он не советует мне обращаться за помощью к государю. Что же касается его переговоров с попечителем, боюсь, чтобы они не привели к тому результату, который мне так неприятен, а именно: опять-таки к предложению принять меня в число казенных студентов. Все — лучше этого. Но подожду еще, как советует Языков, и поищу, не найду ли какой-нибудь работы…

5 *сентября 1826 года*

Был у Бутырского и отдал ему экземпляр моего сочинения, который он у меня потребовал, так как намерен разобрать оное во время одной из своих лекций. Он убеждает меня продолжать мои занятия в этом направлении.

От него пошел к Павскому с записками богословия, мною составленными, но не застал его дома. Записки оставил у него.

10 октября 1826 года

Долго не принимался за свой дневник: причина этому та, что я обременен занятиями. По университету дела пропасть. В течение следующих трех месяцев надо отчасти повторить, отчасти изучить: государственное хозяйство, естественное право, теорию уголовного права, русское гражданское право, статистику, составить записки по истории философии и по догматическому богословию, написать к предстоящему акту диссертацию, заняться поусерднее латинским языком. Помимо

этого, я пишу новое сочинение “О характере”. Часть дня даю уроки молодому Штеричу и привожу в порядок дела его матери. Иной раз голова идет кругом.

11 октября 1826 года

Наконец вырвался сегодня поутру к Языкову. Он меня встретил словами:

— Я уже говорил о вас попечителю и дам вам письмо, с которым вы к нему представитесь. Вот мой план: попечителю родственник Поленов, под начальством которого служит молодой Штерич. Поленов может побудить г-жу Штерич отнестись к вам справедливее…

— Чувствительно благодарю, ваше превосходительство, — возразил я, — за ваше попечение обо мне. Но не подумает ли г-жа Штерич, что я на нее жаловался и хочу вынудить от нее то, что зависит единственно от ее доброй воли? Ведь у меня с нею, как вам известно, нет никакого договора.

— Это можно будет сделать осторожно и деликатно, — отвечал Языков. — Зайдите ко мне на днях: я приготовлю вам письмо к попечителю.

Не в веселом расположении духа ушел я от добрейшего Дмитрия Ивановича. Его план мне не по душе, и я всячески постараюсь от него уклониться. Вся надежда теперь на Греча и Булгарина, для которых готовлю сочинение “О характере”.

12 октября 1826 года

Молодой Штерич сделан камер-юнкером. По этому случаю говорено много пустого. Мать старается доказать, что он приобрел это звание важными заслугами. Посреди ее разговора со мной пришла г-жа С., в первый раз после возвращения г-жи Штерич из Москвы. Пошли объятия, клики радости, жеманные поздравления с одной стороны, а с другой — глубокомысленные комментарии о трудах, понесенных молодым человеком и которые повели к дарованию ему настоящего отличия.

— Пусть все знают, — говорила мать, — что мой Евгений не одними танцами приобрел это.

Сам молодой человек гораздо спокойнее относится к своему величию.

17 октября 1826 года

Сегодня получил от Дмитрия Ивановича Языкова письмо к попечителю, содержание которого он мне сообщил. “Любезный друг, — писал он, — сделай одолжение, прими под особенное свое покровительство подателя сего, студента Никитенкова. Я его давно знаю. Он учится в университете, но не имеет никакого состояния; живет у г-жи Штерич, для которой много работает. Нельзя ли как-нибудь заставить ее платить за его труды?” и т.д.

Признаюсь, я долго колебался, идти ли мне с этим письмом. Если попечитель будет действовать через Поленова, она может подумать, что я на нее жаловался, — и

тогда последнее будет горше первого. Затем, я положительно считаю себя не вправе чего-либо от нее требовать… Письмо Языкова, однако, все-таки решил отнести: иначе что подумает он о моем пренебрежении его помощью?

От Языкова я пошел отыскивать Ст. Мих. Семенова. Он недавно выпущен из крепости, и мне крайне хотелось увидеть его [чтобы узнать подробности о декабристах]. Однако я не смог найти его квартиры, о которой имел только смутные догадки.

Недавно также я познакомился с другим молодым человеком, вышедшим из крепости: это племянник г-жи Штерич, С.Н.Кашкин. Он около года просидел в заключении. Теперь его посылают на жительство в Архангельск, куда он и едет через четыре дня. Это, кажется, человек прекрасной души и умный, но не особенно ученый и слабого характера. Впрочем, десятимесячное заключение могло оставить на нем следы и кое-что в нем смягчить, а иное и ожесточить.

19 октября 1826 года

Сегодня поутру, в 10 часов, отправился я к попечителю, Константину Матвеевичу Бороздину, с письмом Языкова. Я отдал письмо и через минуту был позван к нему. Попечитель принял меня так благосклонно, как я и не ожидал. Особенно порадовало меня то, что он немедленно отверг план заставить г-жу Штерич платить мне за труды не одними ласками. Но взамен этого он пока ничего нового не предложил.

— Итак, что же мне делать? — сказал он. — Я всею душою готов помочь вам. Вы этого заслуживаете: я много хорошего о вас слышал. Но какие средства придумать? Научите меня сами. Впрочем, я хорошенько займусь вами и подумаю. Приходите ко мне недели через две. Я сегодня же повидаюсь с Дмитрием Ивановичем и посоветуюсь с ним.

— Я бы одного желал, ваше превосходительство, — заметил я, — это поддерживать себя своим трудом, как бы он ни был обременителен.

Попечитель еще поговорил со мной, похвалил мое сочинение “О преодолении несчастий”, которое читал, и очень ласково со мной простился.

20 октября 1826 года

Виделся с С.М.Семеновым. Он вышел из крепости вместе с Кашкиным. Он с философским равнодушием говорит о своей прошедшей беде и о своей будущей не слишком-то привлекательной участи. О последней еще не последовало окончательного решения, но его, вероятно, сошлют куда-нибудь в Иркутск или Оренбург. Он очень беден и живет только своим трудом.

Вечером заходил к Дмитрию Ивановичу уведомить его о последствиях свидания моего с попечителем.

21 октября 1826 года

Возвратясь сегодня в четыре часа домой из университета, увидал я на своем письменном столе записку от Ростовцева, в которой он уведомляет меня о приезде своем из Москвы и просит с ним повидаться. Я тотчас отправился на Васильевский остров и застал его дома. Мы обрадовались друг другу и провели четыре часа в дружеской оживленной беседе. Мы вспоминали прошлое, особенно ту бурную эпоху, в которую так много видели и испытали. Он откровенно говорил о своем настоящем положении. Великий князь по-прежнему к нему очень благосклонен, но государь холоден.

Ростовцев думает, что это действие благоразумной политики, то есть, что государь опасается излишнею благосклонностью вскружить ему голову и что, имея на него высшие виды, этим самым сберегает его для пользы своей и отечества.

Я иначе думаю. Я ожидал, что государь со временем будет смотреть другими глазами на поступок Ростовцева и иначе будет думать о письме его [Николаю I], писанном накануне бунта. Письмо сие красноречиво, умно, но в нем сверх республиканской смелости видна некоторая затейливость и натяжка патриотизма. Когда бурное время прошло и волнение страстей уступило место более спокойному обсуждению вещей, тогда *некоторые* могли это заметить и растолковать.

Поступок Ростовцева во всяком случае заключает в себе много твердой воли и присутствия духа, чему я сам был свидетелем, но он, мне кажется, *слишком хотел* показаться благородным, а это в соединении с тем сомнительным положением, в коем он находился, может показаться многим только хитрою стратегемою, посредством которой он хотел в одно время и выпутаться из беды, и явиться человеком доблестным. Весьма естественно, что и государь так думает.

Это мнение могло быть сильно подкреплено еще тем, что Ростовцев объявил заговорщикам о разговоре своем с государем накануне бунта и даже дал им копию с письма своего к нему, что объявили сами заговорщики при допросах. Сей поступок мог быть сделан и с хорошим намерением, то есть чтобы остановить заговорщиков, показав им, что правительству уже известны их замыслы и оно, следовательно, готово принять меры. Но, с другой стороны, это могло быть и простою несостоятельностью, которая являлась как бы неизбежным последствием первых его связей с князем Оболенским и Рылеевым, — то есть он хотел им показать, что он действует не как предатель. Но для сего уже было достаточно того, что он не назвал заговорщиков перед государем, а предоставил им самим объявиться или скрыться. Но в таких обстоятельствах, в каких находился Ростовцев, трудно не сделать ошибки.

Беседа наша затянулась до десяти часов, и я вернулся домой, весьма довольный своим вечером.

24 октября 1826 года

В прошедшие дни в свободное от занятий время я читал Тацита. Какая мощь в этом историке! Рим в его время уже отжил свое исполинское величие, но оно вновь

ожило на страницах его бессмертного произведения. Он, очевидно, не думает поучать, но ни один историк не поучает столько, как он. И это не рассуждениями или нравоучениями, а силой самого повествования — убедительного в своей безыскусственной простоте и ясности изложения. Сравнивая его с Плутархом, находишь между обоими большую разницу. Плутарх возвышен. Тацит велик. В одном сила, в другом могущество. Плутарх тоньше и просвещеннее, Тацит глубже и всеобъемлющее. Плутарх изобразил деяния великих людей золотыми буквами; Тацит вырезал их неизгладимыми чертами на скрижалях истории. Красота одного в красноречии, другого в отсутствии его. Читая Плутарха, восхищаешься им; читая Тацита, не с ним беседуешь, а с людьми и событиями минувших веков. Плутарх позволяет себе отступления, которые ему охотно прощаешь; Тацит всегда сдержан и владеет собой: он выше авторских слабостей. Плутарх философ; Тацит человек, гражданин и мудрец. Один создан, чтобы описывать деяния великих мужей, другой — чтобы быть самому таким.

1 ноября 1826 года

Мое утро по вторникам и по субботам посвящено занятиям со Штеричем. Главная цель их усовершенствовать молодого человека в русском языке настолько, чтобы он мог писать на нем письма и деловые бумаги. Мать прочит его в государственные люди и потому прибегла к геройской решимости заставлять иногда сына рассуждать и даже излагать свои размышления на бумаге по-русски. Молодой человек добр и кроток, ибо природа не вложила в него никаких сильных наклонностей. Он превосходно танцует, почему и сделан камер-юнкером. Он исчерпал всю науку светских приличий: никто не запомнит, чтобы он сделал какую-нибудь неловкость за столом, на вечере, вообще в собрании людей “хорошего тона”. Он весьма чисто говорит по-французски, ибо он природный русский и к тому же учился у француза — не булочника или сапожника, которому показалось бы выгодным заниматься ремеслом учителя в России, — но у такого, который (о, верх благополучия!) и во Франции был учителем.

Но при всех сих важных и общеполезных знаниях и талантах молодой человек питает отвращение к серьезным умственным занятиям. Он получаса не может провести у письменного стола за самостоятельным трудом. В последний наш урок он как-то особенно вяло рассуждал и, очевидно, предпочитал слушать меня, чем сам работать. Чтобы урок уж не совсем прошел даром, я стал рассказывать ему кое-какие исторические факты. Во время беседы входит мать. Я ожидал замечания за мою снисходительность. На деле вышло иначе. Когда возлюбленный сын ее вышел, она рассыпалась в благодарностях за то, что я так хорошо занял его.

— Но ведь мы в сущности теряли время, — возразил я, — ибо делали не то, что полезнее, а что приятнее.

— С молодыми людьми иначе нельзя, — сказала она, — их можно поучать, только забавляя. Вы своими рассказами и разговорами можете просветить его более, чем все профессора со своими педантическими приемами. Он вас любит и вам верит: вы, не затрудняя его, легко сообщите ему все нужные знания.

Сомнительно, чтобы в восемнадцать лет можно было успешно учиться механически, посредством одних ушей, без содействия воли и напряжения ума.

Но таково большинство людей, призванных блистать в свете. А между тем сколько из них считают себя вправе добиваться чинов, отличий, власти — и добиваются! Невольно возмущаешься, когда подумаешь, что одно слово, вылетевшее из такой головы, может у тысячи подобных себе отнять спокойный сон, насущный хлеб и определить их жребий.

4 ноября 1826 года

Давно уже мой товарищ по университету, пылкий, остроумный Михайлов, просил меня от имени своих родителей познакомиться с ними и со всем их семейством.

— Сделайте нам честь вашим посещением, — уже больше года твердит мне мой добрый товарищ, которого я очень люблю за его блестящий ум и чувствительное сердце.

Отец его действительный статский советник и правитель канцелярии министра внутренних дел. Живут они если не роскошно, то с соблюдением всех правил светского этикета. Я, в моем потертом мундиришке и значительно поношенных сапогах, считал себя не у места в их гостиной и потому постоянно уклонялся от приглашений товарища. Но теперь приближение экзаменов заставило меня изменить мое намерение. Михайлов звал меня к себе уже не с визитом к его родителям, а для того, чтобы вместе с ним заняться приготовлением к экзамену и объяснением ему некоторых темных мест.

Итак, сегодня, после латинской лекции, мы вместе с ним отправились к нему. Товарищ немедленно представил меня своему отцу. Тот принял меня с отменною вежливостью и наговорил мне много лестного. За чайным столом, куда нас пригласили, Михайлов познакомил меня также со своей матерью: она, в свою очередь, была со мной очень любезна. Мы говорили о многом. Отец Михайлова показался мне человеком образованным, несколько самоуверенным, но вполне гуманным. В матери его много ума, начитанности, тонкости, много любезности и лишь небольшая доза той чопорности и принужденности, без которой никогда не обходятся люди так называемого “хорошего тона”.

Меньшой брат моего Михайлова, Вольдемар, или по-русски Владимир, мальчик лет четырнадцати, имеет всю пылкость своего брата, но выказывает больше основательности в уме и приверженности к занятиям, которые образуют последний. Это весьма любезный юноша: он говорит не по летам умно и красноречиво. Сестра его, девица лет семнадцати, очень миловидна. Но я с ней не говорил, и она почти все время промолчала.

Больше всего поражают в сей семье благородный образ мыслей всех членов ее и редкая гармония их сердец. При всем разнообразии оттенков в характере каждого из них между ними полное единодушие в стремлениях и чувствах. Они, кажется, все заодно думают, любят, радуются, скорбят и потому, может быть, несколько

пристрастны ко всему тому, что считают своим родным.

8 ноября 1826 года

В какой зависимости человек от самых мелких нужд! Небольшой прорехи в сапогах достаточно, чтобы повергнуть его на одр если не смерти, то болезни и расстроить самые благие намерения его. Так было и со мной эти дни. Теперь у нас в университете самое горячее время. Каждый час на счету, а я промочил ноги и дня четыре провел самым непроизводительным образом. И сегодня еще мне не следовало бы выходить, но я должен был явиться к попечителю.

В девять часов утра я отправился к нему и был немедленно принят так же благосклонно, как и первый раз.

— Ваше положение не переменилось? — с участием спросил он.

— Нет, ваше превосходительство, оно все то же. Здесь я изложил перед ним план, который недавно пришел мне в голову. Некто С., по повелению покойного императора, пользовался от университета пятьюстами рублями годового пенсиона, пока не кончит курса. Ему оставалось пробыть в университете еще год: но он недавно исключен из него за дурное поведение. Пятьсот рублей, которые ему еще следовало бы получить, таким образом остались в казне университета. Я хотел просить, чтобы сия сумма была выдана мне в виде ссуды с тем, чтобы по окончании моего курса вычитать оную из жалованья в том месте, где буду я служить.

— Знаю, ваше превосходительство, — прибавил я к сему, — что сей заем требует обеспечения, но я не имею ничего, кроме жизни. Следовательно, в случае моей смерти университет теряет свои деньги. Но во всяком другом случае смею уверить, что они будут возвращены.

— Это бы можно сделать, — отвечал попечитель, — если бы университет имел деньги, но он весь в долгу и каждый год занимает тысяч до двадцати. Я хочу предложить вам нечто другое. Очень скоро надеюсь я перейти в университет, если только не изменятся обстоятельства. Тогда я дам вам квартиру у себя и место в моей канцелярии, которое принесет вам рублей пятьсот в год. Занятия по канцелярии не будут идти вразрез с вашими университетскими занятиями. Итак, прошу вас, побывайте у меня опять недели через полторы.

После этого он еще очень ласково со мной разговаривал. Между прочим, я узнал от него, что по университету готовятся важные преобразования. Хотят восстановить у нас классическую ученость, и потому самый университет, может быть, уничтожат, обратив его опять в педагогический институт, для того чтобы Россия не нуждалась в учителях и профессорах.

Попечитель еще расспрашивал меня об обстоятельствах моей прошлой жизни, похвалил мое сочинение “О преодолении несчастий”, выразил желание, чтобы я впоследствии служил по ученой части, и советовал приналечь на латинский язык.

Наконец к нему пришли с бумагами, и я ушел, ободренный и крайне довольный его ласкою.

Восстановление классической учености в России — мера важная. Мы будем изучать древних, писать на них комментарии, подражать им—и творческий самостоятельный дух наш мало-помалу притупится: мы научимся повиноваться, чтобы не сказать — рабствовать…

Нынешний государь знает науку царствовать. Говорят, он неутомим в трудах, все сам рассматривает, во все вникает. Он прост в образе жизни. Его строгость к другим — в связи со строгостью к самому себе; это, конечно, редкость в государях самодержавных. Ему недостает, однако, главного, а именно людей, которые могли бы быть ему настоящими помощниками. У нас есть придворные, но нет министров; есть люди деловые, но нет людей с умом самостоятельным и душою возвышенною. Один Сперанский.

Вот любопытный анекдот о нынешнем государе. В одну из его прогулок перед ним падает на колени человек и просит у него правосудия на одного какого-то богатого помещика, который занял у него восемь тысяч рублей, составлявших все его достояние, и теперь их ему не отдает. Между тем проситель и семейство его крайне нуждаются.

— Есть у тебя нужные документы? — спросил государь.

— Есть, ваше величество, вексель — и вот он.

Император, удостоверясь в законности документа, приказал отнести оный к маклеру и потребовать, чтобы тот сделал на нем надпись о передаче оного *Николаю Павловичу Романову.*

Проситель сделал по приказанию, но маклер принял его за сумасшедшего и отправил к генерал-губернатору. Последнему тем временем уже приказано было выдать заимодавцу всю сумму с процентами, что и было им тут же исполнено. Государь, получив вексель, протестовал его и на третий день тоже получил всю сумму с процентами. Тогда он призвал к себе должника, сделал ему строгий выговор, а начальству внушение, чтобы оно впредь не допускало подобных послаблений и не менее скоро удовлетворяло законные требования его подданных, как и его собственные.

Правосудие государя должно поднять у нас кредит, а уменьшение акцизов и пошлин развяжет руки промышленности — и торговля процветет. Система финансов у нас еще не так запутана; нужны простые меры, чтобы возбудить движение и жизнь в оцепеневших членах нашего государственного тела. Ах, если бы он придумал средство скинуть цепи с десяти миллионов рабов! Как оживилась бы деятельность народа! Сколько рук, ныне устремленных только на то, чтобы услуживать тунеядцам, обратилось бы к трудам общеполезным! В одном странноприимном доме графа Шереметева живет до четырехсот человек, существование которых проявляется только в том, что они едят, пьют и спят спокойным сном на счет класса производящего.

11 ноября 1826 года

Сегодня познакомился с известным государственным человеком, Петром

Степановичем Молчановым. Ему лет за пятьдесят; он, к несчастию, лишен зрения, но лицо у него свежее. Он бодр, говорит весело, приятно и любит рассказывать анекдоты из прошедших времен. Узнав, что я из Острогожска, он стал расспрашивать меня о Владимире Ивановиче Астафьеве, с которым был дружен в молодости. Он довольно долго жил в Малороссии и говорит по-малороссийски как истый малороссиянин. Мысли его о нынешних государственных делах обличают большую опытность.

— Насильственными мерами, — говорит он, — нельзя сделать ничего прочного: можно только разве оторвать ветви злоупотреблений, тогда как надо истребить корни их. Правосудие еще не восстановится от того, что отдадут нескольких под суд. Прочные и основательные постановления, направляющие умы и дух времени, а не насилующие их, и просвещенная власть, охраняющая эти постановления, — вот что в настоящую минуту всего нужнее для государства. Я знал многих сенаторов, — сказал он, между прочим, — которые едва умели подписывать свое имя: мудрено ли, что в сенате, этом святилище правды, ее было всего меньше. Секретари делали там, что хотели. Государь деятелен; спасибо ему, но, повторяю, еще надо действовать постепенно и на самые причины зла.

В числе других анекдотов Петр Степанович рассказал следующий.

Некто Ваксель, член межевого департамента в Москве, был до того известен своим грабительством, что императрица Екатерина называла его Вольтером, ибо Вольтер значит по-французски (vol terre) *похищающий от земли*. На сего Вакселя сочинили в Москве сатиру, в которой нещадно обругали его, укоряя в лихоимстве. Обиженный пожаловался графу Алексею Орлову.

— Я не могу оказать вам никакой помощи, — отвечал ему тот, — но, если хотите, дам вам добрый совет, польза которого дознана мною на собственном опыте. Когда я был с флотом в Морее, то во всех европейских газетах обо мне писали, что я ничего не делаю, как только приказываю грекам делать свои бюсты и собираю антики. На что же я решился? Перестал делать то, в чем меня упрекали, и газеты замолчали.

Я целый вечер не отходил от господина Молчанова и с интересом слушал его. У деловых людей всегда чему-нибудь научишься, и никак не следует пренебрегать мнением о настоящем положении вещей тех, которые некогда сами участвовали в правлении.

12 ноября 1826 года

Слышно о больших преобразованиях по университету и о таких, между прочим, которые подвергнут учащихся большим стеснениям и по духу, и по форме. Юношество более всего недовольно первыми. Я употребляю все мое влияние на товарищей, чтобы сдерживать в них порывы негодования. Нынче кто благороден и неблагоразумен — тот гибнет.

Неужели в самом деле хотят создать для нас *материальную логику*, то есть навязать нашему уму самые предметы мышления и заставить называть черное

белым и белое черным потому только, что у нас извращенный порядок вещей? Можно заставить не говорить известным образом и об известных предметах — и это уже много, — но не мыслить?! Между тем именно это и хотят сделать, забывая, что если насилие и полагает преграды исполнению вечных законов человеческого развития, то только временно: варвар и раб отживают свое урочное время, человечество же всегда существует…

14 ноября 1826 года

Был поутру у профессора Пальмина для просмотра вместе с ним записок по истории философии, составленных мною. Но у него — как это с ним часто бывает — встретилась какая-то помеха, и я ушел от него ни с чем. Зашел по дороге к Тяжелову, учителю корпусов юнкерского и кадетского. Странное дело! Этот человек сам учился и учит, а уже несколько раз просил меня делать для него кое-какие нужные сочинения. Теперь опять просил написать речь, которую он должен прочесть при начале своих лекций в юнкерской школе. Он, впрочем, не глуп и не лишен сведений, а только тяжел в мыслях, как и в обращении.

30 ноября 1826 года

Все предшествовавшие дни я был так занят, что не имел времени ничего занести в мой дневник. Нынешний год очень трудный по нашему факультету: предметов много, и некоторые, или, лучше сказать, все, требуют большого внимания. Сверх того я пишу диссертацию “О духе политической экономии как науки”. План я начертал обширный и очень занят этим делом. От этого сочинения и от того, как я произнесу его публично, многое для меня зависит.

Между прочим, был опять у попечителя и ушел от него с новым: “Подождите!” Но ведь в сущности вся жизнь не что иное, как ожидание!

3 декабря 1826 года

Сегодня Д.Поленов, племянник нашего попечителя, просил меня от имени последнего побывать у него вечером, часов в шесть. Это неожиданное приглашение и обрадовало меня, и удивило, ибо после моего последнего свидания с попечителем я потерял всякую надежду на скорое облегчение моей участи.

Прихожу вечером. Попечитель объявляет мне, что теперь же может принять меня в свою канцелярию с жалованьем в 500 руб., так как отныне штат его утвержден. Главная моя обязанность будет заключаться в ведении переписки, требующей особенной обработки, — значит, я, собственно говоря, буду секретарем при нем. Я этим очень доволен:

500 руб. в моем настоящем положении чуть не богатство.

Попечитель уже поручил мне написать одну бумагу к министру и дал дело, которое должно служить для нее материалом. Дело запутанное. Надо хорошенько им

заняться и написать как можно обстоятельнее. Бумага эта будет пробным камнем, по которому мой начальник должен заключить, стою ли я его забот. Итак, займемся поприлежнее.

5 декабря 1826 года

Попечитель, кажется, человек очень добрый. Он обращается со мною с той непринужденной вежливостью и добродушием, которые в начальнике заставляют любить человека. Я принес к нему сегодня бумагу, написанную мною к министру.

— Очень хорошо, — сказал он, —только я не желал бы давать о сем деле такого резкого мнения.

— Господин Б. действовал, может быть, и по совести, ваше превосходительство, — отвечал я, — но положительные законы против него: я старался согласоваться с ними.

— Но в сем деле еще много сомнительного, — продолжал попечитель. — Хотя г-н Б. и мой двоюродный брат, я, однако, во многом признаю его виновным, но не совсем так, как его обвиняет комитет.

Признаюсь, я подумал: “А, вот где тайна!” Я взял бумагу, переделал ее и опять представил ввечеру: она была на этот раз одобрена.

Мне поручили новое дело, потруднее первого. На первых порах это, конечно, занимает у меня больше время, чем следует: я ложусь спать в два часа ночи, встаю в шесть утра.

13 декабря 1826 года

Поутру был у попечителя. Не знаю, чему приписать откровенность, с какою он говорит со мной о разных вещах, относящихся к его службе и даже к политике. Не могу сказать, чтобы мои первые шаги в новой должности были блистательны, ибо я уже написал две бумаги, которые не были одобрены. Главная моя ошибка в них, правда, заключалась в естественном незнании отношений между собой лиц, которых эти бумаги касались.

Говоря о предстоящих в университете преобразованиях, попечитель как будто сам склонялся к тому мнению, что в русских университетах вовсе не следует читать некоторые предметы. Я понял, что дело идет об естественном праве.

Отпуская меня, он сказал: “Прошу вас хранить в тайне то, что бывает говорено между нами. Не забывайте, что во всех таких случаях я говорю с вами не как попечитель”.

Лестная доверенность, которая меня, однако, немного тревожит.

20 декабря 1826 года

Читал Байрона. Его поэзия подобна эоловой арфе, на которой играет буря: нет

гармонии, но слышны такие аккорды, которые вас потрясают, как стоны умирающего друга или любовницы.

Наполеон, Байрон и Шеллинг представители нашего века, Они скажут будущим поколениям его тайну и покажут им, как в наше время дух человеческий хотел торжествовать над роком и изнемогал в непосильной борьбе с ним.

30 декабря 1826 года

Все это время занимался приготовлениями к экзаменам. Дела столько, что даже здоровье мое от того терпит. Я почти окончил диссертацию. Еще прежде читал я план ее Бутырскому, который вполне его одобрил. Значительная часть моего времени посвящена товарищам. Я приготовил записки и программы, облегчающие труд по приготовлению к экзаменам. Кроме того, многие товарищи с 26 числа собираются у меня, где мы вместе повторяем курс истории, философии и государственного хозяйства. Время, которое мы проводим таким образом, самое для меня приятное и чуть ли не самое производительное.

31 декабря 1826 года

Последний день 1826 года. Утро до 3 часов провел я с товарищами в занятиях по истории философии. Часы эти пролетели быстро, как все те, которые я провожу в кругу любимых из моих товарищей, в умственном труде, согретом для нас взаимной любовью к делу и друг к другу.

Во время занятий пришел Поленов и принес расписание порядка экзаменов, которое прислано к попечителю. Предметы так расположены, что нам очень легко будет к ним готовиться. Между каждым экзаменом промежуток дня в три. Прекрасно!

Теперь 11 часов. Прости, старый год. Приветствую тебя, 1827-й, будь милостив ко мне!..

1827

30 января 1827 года

Весь месяц прошел в заботах об экзаменах. Важнейшие предметы окончены. Остаются богословие и естественное право. Я во всех получил первые отметки. Товарищи, с которыми мы вместе готовились, тоже отличились по всем предметам, особенно по истории философии, для которой мы не пощадили ни трудов, ни времени. Профессора называют наш курс цветом университета. Более прочих заслужил похвал Александр Дель, молодой человек с умом основательным, с благородной душою и страстью к науке. Я много трудился над диссертацией “О политической экономии вообще и о производимости богатств как главнейшем предмете оной”. Не скажу, чтобы я доволен был ею: я не успел еще так, как должно, вникнуть в сию важную науку. Бутырский хороший профессор словесности, но политическую экономию плохо читает. Он в вечном противоречии с самим собою: сегодня утверждает одно, а завтра опровергает. Кафедра политической экономии, очевидно, не по нем. Познания его в ней поверхностны. Очень жаль, что сия высокая наука не имеет у нас лучшего преподавателя. Многие, однако, полагают, что дух ее не согласен с существующим у нас порядком вещей и потому преподавание ее у нас обставлено большими трудностями.

Весь этот месяц прошел для меня в большом напряжении. Диссертация, которую пришлось написать в две недели, приготовление себя и товарищей к экзаменам, дела в канцелярии, тягостные нужды — все сразу скопилось и налегло на меня. Попечитель день ото дня ко мне благосклоннее. Он говорит со мною не как с подчиненным, а как с близким человеком. Доверие его глубоко меня трогает, а занятия с ним развивают во мне сноровку к делам.

4 февраля 1827 года

Экзамен из богословия. Сошел отлично.

9 февраля 1827 года

Экзамен из естественного права, и последний. Новый курс положено начать в среду, на первой неделе Великого поста.

Подводя итоги прошедшему учебному году, нельзя не заметить, что не все молодые люди в университете одушевлены одинаковою любовью к науке. Часть студентов учится только для аттестата, следовательно, учится слабо. Конечная цель их не нравственное и умственное самоусовершенствование, а чин, без которого у

нас нет гражданской свободы. Ввиду последнего обстоятельства, конечно, нельзя слишком строго к ним относиться, да и не к ним одним, а и ко всем, одержимым у нас страстью к чинам, которую Бутырский метко называет *чинобесием.*

Диссертация моя была читана в совете университета и одобрена для публичного чтения.

15 февраля 1827 года

Попечитель сделал обо мне представление министру следующего содержания: “Студент философско-юридического факультета Александр Никитенко, окончивший с отличным успехом второй курс оного, по бедности своей находится в затруднительном положении. Желая сохранить университету сего молодого человека, показывающего большие дарования и прилежность, и вместе с тем употребить с пользою по моей канцелярии в те часы, в кои он свободен от ученья, дабы не отвлечь его от главного его предмета, я испрашиваю у вашего высокопревосходительства позволения производить ему 500 р. в год жалованья из сумм, определенных для нашей канцелярии”.

7 марта 1827 года

Я получил сегодня от попечителя в счет жалованья моего 250 р. Это более чем кстати: еще неделя без денег — и мне пришлось бы запереться у себя в комнате.

23 марта 1827 года

Давно занимает меня следующая мысль. Я желал бы подвигнуть моих товарищей на серьезные занятия литературою, пусть бы они писали сочинения и упражнялись в переводах, лучшие из которых в конце года издавались бы в свет. Между товарищами моими многие к тому способны. Попечитель сочувствует моей мысли и одобряет ее. Но осуществление ее тем не менее обставлено большими затруднениями. У нас ныне подозрительно смотрят на все, что делается соединенными силами и имеет хоть тень общественного характера. Я в начертанном мною плане старался избежать всего, что напоминало бы такой характер, но не мог, однако, умолчать о необходимости студенческих собраний, в которых сочинители и переводчики, взаимно разбирая и критикуя свои произведения, могли бы совершенствоваться в отечественной словесности. Надо просить позволения у совета университета.

27 марта 1827 года

Сегодня попечитель предложил мне посетить с ним вместе Императорскую публичную библиотеку и посмотреть там рисунки разных местностей и предметов по части русской истории. Рисунки эти сделаны членами экспедиции, которая под начальством его, Бороздина, по назначению правительства объехала в 1810 и 1811

годах большую часть России с целью исторических исследований.

Мы отправились в пять часов. Нашим путеводителем по библиотеке был г. Ермолаев, один из библиотекарей и участников в экспедиции. Рисунки хороши, многие даже превосходны. Очень любопытны планы Клева, каким он был во время Ярослава и Владимира. Прекрасно исполнен, между прочим, снимок с одной мозаической иконы в киевском Софийском соборе. Показывали нам также список древнейшего славянского евангелия (Остромирова). Он исполнен на пергаменте четко, красиво и поражает свежестью, точно год тому назад написан. Евангелие это, однако, принадлежит XI веку. Не оставили мы без внимания и современные костюмы в разных местностях России. Из них мне особенно понравился головной убор устюжских девушек: высокая повязка в виде короны, расшитая жемчугом и самоцветными камнями.

Затем нам показали еще рисунки египетских древностей, исполненные обществом французских путешественников. Собрание это очень интересно. Смотря на снимки с гигантских зданий, пощаженных самим временем, на барельефы с изображением символов и религиозных процессий, проникаешься чувством бесконечного, которое лежит в основе египетского мировоззрения. Но не все барельефы изящны. Иные больше всего поражают необычайностью фигур, как те, например, где эти фигуры с птичьими носами на человеческих лицах. Тут уж никакой красоты, но есть свой смысл, свое значение, разгаданное французским ученым Шампольоном, который так остроумно нашел ключ к пониманию египетских иероглифов.

3 апреля 1827 года

День светлого Христова воскресения. Был у заутрени вместе с товарищами. Очень торжественна та минута, когда студенты по двое в ряд, с зажженными свечами, длинной вереницей обходят университетские залы сначала в полном безмолвии и потом вдруг оглашают их радостными криками: “Христос воскресе!”

После заутрени и обедни попечитель пригласил всех студентов к себе разговляться: никто из его предшественников не делал этого. Квартира его быстро наполнилась молодыми людьми. Большая зала там была уставлена столами, обремененными разнообразными яствами. Мне поручено было угощать товарищей. Добрый начальник наш имел вид настоящего отца. Он беспрестанно подходил ко мне с просьбою всех как можно лучше угощать и никого не забывать. Патриархальные ласки хозяина, оживленные лица товарищей, моя собственная благодарная роль среди них, праздничное настроение всех оставили во мне светлое, радостное воспоминание.

5 апреля 1827 года

Попечитель получил экземпляр нового устава учебных заведений, составленный комитетом, учрежденным для преобразования оных. Он дал мне его для просмотра, с просьбою сделать на него замечания. Последние, вместе с его

собственными, должны составить мнение, которое он от себя подаст в комитет.

Устав касается приходских и народных училищ, гимназий и гимназийских пансионов. Меня поразил дух сего устава. Намерение разлить в России просвещение в низших классах столь решительно и выражено в столь сильных мерах, что даже, кажется, переступлены границы благоразумной постепенности. Открытие ланкастерских школ, по одной на каждый или на два прихода, должно с быстротою молнии подвинуть вперед народный дух. Учреждение при гимназиях пансионов является новым и действительным способом к образованию у нас среднего класса. Все это подготовляет важный переворот.

Что сделается с рабством? Попечитель решительно осуждает сей план всеобщего просвещения: он чувствует как патриот, но заблуждается как аристократ. Мне кажется, самое главное: снять оковы с шестнадцати миллионов сограждан, и весь вопрос в том — должно ли просвещение уничтожить рабство или свобода — предшествовать просвещению? То есть: самим ли гражданам предстоит сбросить с себя оковы или получить свободу из рук правительства? От первого избави Боже! Но оно неизбежно, если правительство будет только просвещать народ, не ослабляя уз его, по мере пробуждения в нем самосознания. Надо, следовательно, чтобы меры просвещения шли об руку с новым гражданским уложением. В противном случае это было бы то же, что, пересаживая растение, вырвать его из старой почвы, не приготовив для него предварительно новой: пока вы станете приготовлять ее, обнаженный корень растения может захиреть и испортиться…

14 апреля 1827 года

Профессор Сенковский отличный ориенталист, но, должно быть, плохой человек. Он, по-видимому, дурно воспитан, ибо подчас бывает крайне невежлив в обращении. Его упрекают в подобострастии с высшими и в грубости с низшими. Он не любим ни товарищами, ни студентами, ибо пользуется всяким случаем сделать неприятное первым и вред последним. Природа одарила его умом быстрым и острым, которым он пользуется, чтобы наносить раны всякому, кто приближается к нему.

Один из казеннокоштных студентов, весьма порядочный и даровитый юноша, желавший посвятить себя изучению восточных языков, был выведен из терпения оскорбительными выходками декана своего факультета, Сенковского, и решился не посещать больше его лекций. Это взбесило последнего. Не умея и не желая заставить любить слушателей свои лекции, он вздумал гнать их туда бичом. Увидев как-то студента, о котором говорено выше, он начал бранить его самым неприличным образом и в порыве злобы сказал в заключение:

— Я сделаю то, что вас будут драть розгами: объявите это всем вашим товарищам. Не говорите мне об уставе — я ваш устав.

Студенты крайне оскорбились и заволновались. Между ними есть способные и хороших фамилий. Грубость Сенковского тем более поразила их, что все другие профессора здешнего университета, ректор Дегуров и попечитель Бороздин, приучили их к самому вежливому и благородному обращению, отчего и между ними

возник дух, вполне соответствующий сему месту.

Товарищи бросились ко мне с просьбами довести до сведения попечителя о неприличном поступке Сенковского и о пагубных последствиях, могущих произойти от его дерзостей. Не говоря уже, что он, чего доброго, таким образом отвратит от университета многих молодых людей, но еще может нарваться на такого студента, который не выдержит и дерзостью ответит на его дерзость. Само собой разумеется, что это было бы несчастием, которое гибельно отразилось бы на всем заведении. Я от имени товарищей просил попечителя принять меры против грозившего зла. Он велел ректору объявить Сенковскому выговор. Должно полагать, что последний теперь перестанет обращаться с людьми так бесцеремонно, как с египетскими мумиями, от которых нечего ждать отпора.

19 апреля 1827 года

Был у графа Хвостова, который пожелал иметь экземпляр моего сочинения “О преодолении несчастий”. Прочитав в нем несколько строк, он сказал:

— Теперь и я борюсь с несчастиями. Я думал, что он говорит в самом деле о какой-нибудь посетившей его беде, но он продолжал:

— Дмитриев-младший написал рассуждение, помещенное в “Трудах” московского “Общества словесности”, и в нем, по обыкновению романтиков, доказывает, что все русские поэты, начиная с Ломоносова, не иное что, как рабы-подражатели французов. Я намерен доказать ему противное — и вот что написал ему в ответ. Вы видите, я завожу литературную войну, следовательно, должен бороться!

И граф прочел мне огромную тетрадь, в которой искусно намекал своему противнику, что главная вина его в том, что он забыл похвалить произведения его, Хвостова. Тщеславие вообще опасная болезнь, но она становится неизлечимою, когда поселится в душе плохого стихотворца.

25 апреля 1827 года

Попечитель представил Павского к бриллиантовым знакам ордена св. Анны 2 класса. Но министр [А.С.Шишков] его не любит, и представление не пошло дальше. Мало того, Павскому на днях грозила еще худшая неприятность: злоба, раздраженная всего более достоинствами своего предмета, задумала было погубить этого человека, одного из добрейших, умнейших, ученейших людей в столице.

Павский — цензор духовных книг. Назад тому месяца три напечатана книга “Очевидность божественного происхождения христианской религии”, переведенная одним из моих товарищей по университету, кончившим курс в нынешнем году. Попечитель возил и книгу и переводчика к министру, который принял обоих весьма благосклонно. Но дня три тому назад, желая найти способ повредить Павскому и, без сомнения, не находя оного, он решился воспользоваться вышеупомянутою книгою. Она была свезена и прочитана государю. Но государь поступил вопреки

ожиданиям министра. Он не нашел в ней ничего разрушительного, как утверждал министр, а только выразил удивление, что сей последний вместо дела занимается бездельем. Поступок мудрый, подающий надежду, что участь людей и просвещения не будет у нас всегда зависеть от сплетней праздных или неблагонамеренных людей.

1 мая 1827 года

Был на гулянье в Екатерингофе. Пыль, холод, ветер, шумные толпы народа, болото, усаженное жидкими елями и соснами, — вот все достопримечательности его.

23 мая 1827 года

Несколько дней тому назад г-жа Штерич праздновала свои именины. У ней было много гостей и в том числе новое лицо, которое, должен сознаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Когда я вечером спустился в гостиную, оно мгновенно приковало к себе мое внимание. То было лицо молодой женщины поразительной кра-соты. Но меня всего больше привлекала в ней трогательная томность в выражении глаз, улыбки, в звуках голоса.

Молодая женщина эта — генеральша Анна Петровна Керн, рожденная Полторацкая. Отец ее, малороссийский помещик, вообразил себе, что для счастья его дочери необходим муж генерал. За нее сватались достойные женихи, но им всем отказывали в ожидании генерала. Последний, наконец, явился. Ему было за пятьдесят лет. Густые эполеты составляли его единственное право на звание человека. Прекрасная и к тому же чуткая, чувствительная Анета была принесена в жертву этим эполетам. С тех пор жизнь ее сделалась сплетением жестоких горестей. Муж ее был не только груб и вполне не доступен смягчающему влиянию ее красоты и ума, но еще до крайности ревнив. Злой и необузданный, он истощил над ней все роды оскорблений. Он ревновал ее даже к отцу. Восемь лет промаялась молодая женщина в таких тисках, наконец потеряла терпение, стала требовать разлуки и в заключение добилась своего. С тех пор она живет в Петербурге очень уединенно. У нее дочь, которая воспитывается в Смольном монастыре.

В день именин г-жи Штерич мне пришлось сидеть около нее за ужином. Разговор наш начался с незначительных фраз, но быстро перешел в интимный, задушевный тон. Часа два времени пролетели как один миг. Г-жа Керн имеет квартиру в доме Серафимы Ивановны Штерич, и обе женщины потому чуть не каждый день видятся. И я после именинного вечера уже не раз встречался с ней. Она всякий раз все больше и больше привлекает меня не только красотой и прелестью обращения, но еще и лестным вниманием, какое мне оказывает.

Сегодня я целый вечер провел с ней у г-жи Штерич. Мы говорили о литературе, о чувствах, о жизни, о свете. Мы на несколько минут остались одни, и она просила меня посещать ее.

— Я не могу оставаться в неопределенных отношениях с людьми, с которыми меня сталкивает судьба, — сказала она при этом. — Я или совершенно холодна к

ним, или привязываюсь к ним всеми силами сердца и на всю жизнь.

Значение этих слов еще усиливалось тоном, каким они были произнесены, и взглядом, который их сопровождал.

Я вернулся к себе в комнату отуманенный и как бы в состоянии легкого опьянения.

24 мая 1827 года

Вот самый короткий роман, следовательно, и лучший. Вечером я зашел в гостиную Серафимы Ивановны, зная, что застану там г-жу Керн… Вхожу. На меня смотрят очень холодно. Вчерашнего как будто и не бывало. Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта А.С.Пушкина, с которым она давно в дружеской связи. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего два-три ледяных комплимента, и то чисто литературных. Старая дружба должна предпочитаться новой — это верно. Тем не менее я скоро удалился в свою комнату. Даю себе слово больше не думать о красавице.

26 мая 1827 года

Я вышел к себе на балкон. Она из окна пригласила меня к себе. Часа три быстро пролетели в оживленной беседе. Сначала я был сдержан, но она скоро меня расшевелила и опять внушила к себе доверие. Нельзя же в самом деле говорить так трогательно, нежно, с таким выражением в глазах — и ничего не чувствовать. Я совсем забыл о Пушкине в это время. Она говорила, что понимает меня, что желает участвовать в моих литературных трудах, что она любит уединение, что постоянна в своих чувствах, что ее понятия почти во всем сходны с моими… Наконец просила меня дня на три приехать в Павловск, когда она там будет.

После 24-го я держал сердце на привязи и решился больше не видаться с ней, но она сама позвала меня к себе…

29 мая 1827 года

Сегодня я хотел идти к ней, подошел почти к самым дверям ее и вернулся назад. Направился к Брилевичевой, а очутился у Боборыкиных. Там оставили меня обедать. Смиск важничал; какая-то сухая и бледная дама усердно старалась доказать, что молодость ее еще не миновала. Какой-то старик с брильянтовой Анной на шее рассказывал про свою службу при Державине. Анета Боборыкина кокетничала.

1 июня 1827 года

День начался для меня дурно. Я болен. От меня только что ушел попечитель, приходивший узнать о моем здоровье. Он от меня пошел прямо к доктору, ускорить

его визит ко мне. Доктору будут платить из сумм попечительской канцелярии. Доброте Константина Матвеевича нет границ.

8 июня 1827 года

Мне гораздо лучше. Доктор позволил уже выходить… Г-жа Керн переехала отсюда на другую квартиру. Я порешил не быть у нее, пока случай не сведет нас опять. Но сегодня уже я получил от нее записку с приглашением сопровождать ее в Павловск. Я пошел к ней: о Павловске больше и речи не было. Я просидел у ней до десяти часов вечера. Когда я уже прощался с ней, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства. Об обращении его и разговоре не могу сказать, потому что я скоро ушел.

12 июня 1827 года

Сегодня мы с Анной Петровной Керн обменялись письмами. Предлогом были книги, которые я обещался доставить ей. Ответ ее умный, тонкий, но неуловимый. Вечером я получил от нее вторую записку: она просила меня принести ей мои кое-какие отрывки и вместе с нею прочитать их. Я не пошел к ней за недостатком времени.

22 июня 1827 года

Сегодня г-жа Керн прислала мне часть записок своей жизни, для того чтобы я принял их за сюжет романа, который она меня подстрекает продолжать. В этих записках она придает себе характер, который, мне кажется, составила из всего, что почерпнуло ее воображение из читанного ею. В самом деле, люди, одаренные пламенным воображением, но без сильного рассудка и твердой поли, напрасно думают, что они сотворены с *таким-то* сердцем или *таки-ми-то* наклонностями: я полагаю, что при лучшем воспитании то и другое было бы у них лучше. Мечтательность, неопределенность и сбивчивость понятий считаются ныне как бы достоинствами, и люди с благородными наклонностями, но увлекаемые духом времени, располагают свое поведение по примеру героев нынешней романтической поэзии. Не знаю, пересилит ли философия сию болезнь века.

Но я в самом деле желал бы написать философский роман и в нем указать какое-нибудь простое, но действительное лекарство против оной. Мы заблудились в массе сложных идей. Надо обратиться к простоте. Надо заставить себя мыслить: это единственный способ сбить мечтательность и неопределенность понятий, в которых ныне видят *что-то* высокое, *что-то* прекрасное, но в которых на самом деле нет ничего, кроме треска и дыма разгоряченного воображения.

23 июня 1827 года

Вечером читал отрывки своего романа г-же Керн. Она смотрит на все исключительно с точки зрения своего собственного положения, и потому сомневаюсь, чтобы ей понравилось что-нибудь, в чем она не видит самое себя. Она просила меня оставить у нее мои листки.

Не знаю, долго ли я уживусь в дружбе с этой женщиной. Она удивительно неровна в обращении, и, кроме того, малейшее противоречие, которое она встречает в чувствах других со своими, мгновенно отталкивает ее от них. Это уж слишком переутонченно.

Вчера, говоря с ней о человеческом сердце, я сказал:

— Никогда не положусь я на него, если с ним не соединена сила характера. Сердце человеческое само по себе беспрестанно волнуется, как кровь, его движущая: оно непостоянно и изменчиво.

— О, как вы недоверчивы, — возразила она, — я не люблю этого. В доверии к людям все мое наслаждение. Нет, нет! Это не хорошо!

Слова сии были сказаны таким тоном, как будто я потерял всякое право на ее уважение.

— Вы не так меня поняли, — в свою очередь с неудовольствием отвечал я, — кто всегда боится быть обманутым, тот заслуживает быть обманутым. Но если ваше сердце находит свое счастье только в сердцах других, то благоразумие требует не доверять счастью земному, а величие души предписывает не обольщаться им.

После этого мы дружелюбно окончили вечер.

24 июня 1827 года

Я не ошибся в своем ожидании. Г-жа Керн раскритиковала, как говорится, в пух отрывки моего романа. По ее мнению, герой мой чересчур холодно изъясняется в любви и слишком много умствует, а не то просто умничает.

Я готов бы ее уважать за откровенность, тем более что по самой задаче моего романа главное действующее лицо в нем должно быть именно таким. Но требовательный тон ее последних писем ко мне, настоятельно выражаемое желание, чтобы я непременно воспользовался в своем произведении чертами ее характера и жизни, упреки за неисполнение этого показывают, что она гневается просто за то, что я работаю не по ее заказу.

Она хотела сделать меня своим историографом и чтобы историограф сей был бы панегиристом. Для этого она привлекала меня к себе и поддерживала во мне энтузиазм к своей особе. А потом, когда выжала бы из лимона весь сок, корку его выбросила бы за окошко, — и тем все кончилось бы. Это не подозрения мои только и догадки, а прямой вывод из весьма недвусмысленных последних писем ее.

Женщина эта очень тщеславна и своенравна. Первое есть плод лести, которую,

она сама признавалась, беспрестанно расточали ее красоте, ее чему-то божественному, чему-то неизъяснимо в ней прекрасному, — а второе есть плод первого, соединенного с небрежным воспитанием и беспорядочным чтением.

В моем ответе на ее сегодняшнее письмо я высказал кое-что из этого, но, конечно, в самой мягкой форме.

26 июня 1827 года

Сегодня получил от г-жи Керн в ответ на мое письмо записку следующего содержания: “Благодарю вас за доверие. Вы не ошиблись, полагая, что я умею вас понимать”.

4 июля 1827 года

Был у г-жи Керн. Никто из нас не вспоминал о нашей недавней размолвке, за исключением разве маленького намека в виде мщения с ее стороны. Я застал ее за работой.

— Садитесь мотать со мною шелк, — сказала она. Я повиновался. Она надела мне на руки моток, научила, как держать его, и принялась за работу.

— Говорят, что Геркулес прял у ног Омфалы, — заметил я. — Хоть я не Геркулес, а очутился в подобном ему положении, с тою только разницей, что г-жа Омфала вряд ли могла бы сравниться с той особою, которой я имею честь служить.

— Хорошо сказано, — отвечала она. — Однако посмотрите, вы всё путаете шелк. — И начала опять учить меня, как его держать.

Это не помогло.

— Дайте, я сам это сделаю.

Я взял, поправил, надел на руки по-своему: дело пошло как следует.

— Теперь хорошо, — сказала она с приятною улыбкой.

— Это оттого, что я самостоятельно, собственным умом постиг эту тайну, — заметил я. Она промолчала.

— Попробуйте вот так повернуть нитки, — начала она опять через несколько минут.

Я послушался, и в самом деле работа пошла еще гораздо лучше. Я заметил ей это.

— Вот видите, — сказала она с торжествующим видом, — ум хорошо, а два лучше.

Мне в свою очередь пришлось промолчать. После пошли мы гулять в сад герцога Виртембергского. Народу было множество. В двух местах гремела музыка. Но мне гораздо приятнее было слушать малороссийские песни, которые пела сестра г-жи Керн по нашем приходе с гулянья. У ней прелестный голос, и в каждом звуке

его чувство и душа. Слушая ее, я совсем перенесся на родину, к горлу подступали слезы…

17 июля 1827 года

Вчера часов в пять вечера Дель, Чивилев, я и сын нашего профессора Лодия — мы отправились на дачу Молчанова, где живет наш товарищ Армстронг. Погода была сомнительная. Тучи висели над головами и каждую минуту грозили ливнем. Однако мы прошли путь благополучно. Уже у самого Лесного института я взошел на пригорок. Прямо против меня белел Петербург с куполами церквей, которые, как исполины, упирались блестящими маковками в черные тучи, волнистыми грядами расположенные на небе. Влево выделялся Смольный монастырь, вправо тянулись леса, сливаясь с горизонтом, останавливали зрение.

После нескольких лет, проведенных в Петербурге, я отчасти уже привык к картинам суровой здешней природы. Мне уже не такими скучными кажутся эти низменные то песчаные, то болотистые равнины, эти печальные, однообразные ряды сосен и елей, эти быстрые перемены в погоде, то ясной и тихой, то мрачной и бурной. Улыбке этой природы нельзя доверять, как улыбке счастья. Но потому именно, может быть, она и производит на сердце неотразимое впечатление.

Полюбовавшись окрестностями Петербурга, мы продолжали путь и едва успели перешагнуть за порог гостеприимного дома Армстронга, как на землю обрушились потоки дождя. Что сталось бы с моим вновь приобретенным фраком, если бы ливень застал нас на дороге! Дождь шел весь вечер. О прогулке нечего было и думать, но мы до позднего вечера сидели под навесом на крыльце, любуясь массами туч, которые, как густые колонны войск, сомкнутыми рядами сходились и расходились в воздухе.

Следующий день был тоже пасмурный. Можно было прогуливаться только в саду около дома, поминутно скрываясь от дождя в маленькой беседке, называемой храмом любви. К вечеру, однако, небо прояснилось, мы с дамами катались в лодке, бегали в горелки и от души веселились.

20 июля 1827 года

Третьего дня Константин Матвеевич Бороздин пригласил меня сопутствовать ему в Сергиевский монастырь, на 17-й версте от Петербурга по Петергофскому шоссе. Жена его и сестры-девицы дали обещание сходить туда пешком на поклонение угоднику Божию.

Мы отправились в половине шестого вечером. Нас было человек около двадцати дам и мужчин. За нами ехала карета и телега с съестными припасами. Невзирая на усталость еще от вчерашнего похода в Лесной корпус, я чувствовал себя бодрым и свежим. Некоторые из девиц Бороздиных и Поленовых очень милы. Мы все шли пешком. Непринужденность, добрая приязнь, царившие в нашем обществе, приветливость и ласка моего почтенного начальника К.М.Бороздина и его супруги, превосходная дорога между двумя рядами дач, из коих каждая возбуждала

желание пожить в ней, прелестнейшая погода — все соединилось, чтобы сделать паше путешествие приятным. Каждые две версты мы садились отдыхать около какой-нибудь дачи. Константин Матвеевич потчевал нас вином для подкрепления сил, а Д.В.Поленов, еще в городе нагрузивший свои карманы пряниками, ни для кого их не жалел.

Из дач мне больше всех понравились две: графини Завадовской и князя Щербатова. Перед последней прекрасный фонтан, почти у самой дороги, приглашает усталого пешехода отдохнуть и испить его чистой воды. Мы пришли в монастырь около полуночи и остановились в гостинице. После сытного и оживленного ужина мужчины удалились в другую комнату и расположились спать на полу. За перегородкой два священника и дьякон, привезшие в монастырь хоронить покойника, вели жаркий теологический спор. По звуку стаканов и бутылок можно было заключить, что они сопровождали свой спор обильными возлияниями. Противники замолкли только с восходом солнца и, наконец, захрапели, изнемогши под двойным бременем богословских прений и пунша. Тогда только и нам удалось заснуть.

После утреннего кофе Константин Матвеич, Поленов и я отправились ко взморью. Но, не зная дороги, мы забрели в болото и вернулись обратно осматривать монастырь. Он обширен, с церковью старинной архитектуры. Вокруг прелестный вид. Вдали синеет море, а за ним, как крылья чаек, белеют башни Кронштадта и мелькают паруса кораблей. Из памятников на кладбище обращает на себя внимание памятник фамилии графов Зубовых. Над подземельем, где покоится прах их, возвышается здание для тридцати инвалидов, которые, в ожидании вечного покоя, находят здесь возможный земной покой. Прекрасная мысль заменить пышную эпитафию на мавзолее добрым словом из глубины признательного сердца.

Зато что за надписи на некоторых других памятниках! Бедные покойники еще меньше захотели бы умирать, если бы знали, что память их будет прославлена такого рода прозой и стихами. На одном монументе жена благодарит мужа за то, что он сделал ее матерью; на другом — неутешная супруга просит проходящих плакать над ее усопшим мужем по той уважительной причине, что он был камер-фурьером, и т.д.

В половине одиннадцатого мы отправились к поздней обедне, а после обеда несколько человек из нашего каравана пошли в Стрельну, находящуюся верстах в двух от монастыря. В дворцовом саду между двумя холмиками у маленькой речки расположен прелестный цветник. Вид с мостика на каскад очарователен. В нескольких шагах, в глубине дикого бора, другая или та же речка, силясь перепрыгнуть через небольшую преграду, падает вниз, рассыпаясь серебряными брызгами, а затем тихо извивается под шатром липовых и сосновых ветвей. Прелестный уголок! Как хорошо отдыхать на дерновом канапе против каскада! На возвратном пути мы пытались подкупить сторожа, чтобы он позволил нам нарвать цветов для наших пилигримок. Но он был неумолим.

В гостинице мы застали наших уже в сборах на обратный путь. Но прежде нам еще предстояло отслушать молебен. Поленов и я, мы отправились в церковь раньше, с целью побывать на колокольне. Вскарабкались мы на нее с большим трудом по

такой крутой лестнице, что нам то и дело грозила опасность стукаться лбом о верхние ступеньки ее. Но что за прелесть там! С одной стороны морская пелена с Кронштадтом, с другой — Петербург как на ладони; напротив — увенчанная соснами Дудергофская гора, белеющие лагери у ее подошвы. Мы погрузились в созерцание вод, лесов и полей, но вдруг были выведены из него ударами колокола над самым ухом. Невольно вздрогнув, мы оглянулись: на колокольне никого, кроме нас двоих, а язык одного из колоколов мерно ударяет о стенки его. Наконец мы разглядели привязанную к этому языку веревку и поняли, что это трезвонили снизу. Со смехом, затыкая уши, спустились мы с отвесной лесенки и застали всех наших в церкви, где уже служили молебен.

Обратный путь в Петербург был так же приятен и весел. Невзирая на эпиграммы дам, которые из усердия к св. Сергию непременно хотели идти пешком, я сел на дрожки вместе с попечителем и проехал почти половину дороги. Вечер был редкий, и мы прибыли домой в два часа ночи.

16 августа 1827 года

Все предыдущие дни, начиная с 11 числа, я провел в больших беспокойствах и трудах. Сего числа вечером я получил известие, что государь император велел сделать строжайший выговор попечителю со внесением в формуляр и посадить на гауптвахту директора департамента министерства народного просвещения Д.И.Языкова за медленное доставление ему сведений по кронштадтскому училищу, которые приказал доставить два месяца тому назад. Сие неслыханное наказание у нас, особенно последнее, всех поразило ужасом и повергло в уныние. Я как исправляющий должность правителя канцелярии попечителя несколько ночей сряду не спал, чтобы окончить некоторые другие дела, могшие навлечь на нас новые неприятности. Будучи так близок к Бороздину и к Языкову, я разделял их несчастие со всею горячностью сердца, благодарного за их ко мне доброту.

Главная причина сей беды в медленности и беспорядочности университетского правления, от коего зависела скорейшая доставка сведений. Попечитель виноват только тем, что не был довольно строг. Этот просвещенный и благородный человек всегда стремится прежде всего действовать как гражданин и нередко забывает, что он начальник.

Ныне необыкновенная деятельность во всех частях управления. Могущественная воля самодержца все движет с удивительной быстротой. Все правительственные пружины в напряжении; многие беспорядки уничтожаются; многие полезные меры начинают осуществляться. Народ хочет благоденствия и, может быть, на некоторое время будет иметь его. Понятия большинства у нас не идут дальше нужд своего личного или домашнего спокойствия — следовательно, все пойдет хорошо, пока дух времени не воспрянет с новою силой…

23 августа 1827 года

Сегодня новый профессор богословия, Бажанов, начал свое поприще в

университете. Он будет читать нам нравственное богословие, чем и окончится полный трехлетний курс богословия, начатый предшественником его, доктором богословия и профессором еврейского языка, Павским. Последний обладает глубокими, обширными познаниями, и в этом отношении никто не сравнится с ним. Но привлекательная личность Бажанова, его искусство излагать свой предмет просто и выразительно, стремление к духу, а не к букве — все это хоть немного смягчает для нас потерю Павского. В богословских лекциях наших вообще господствует здравый философский дух, который ставит религию на твердую почву, недоступную для фанатиков.

Надо сознаться, что духовные учителя у нас часто преуспевают в науках больше светских профессоров. Я думаю, что это, помимо многих других причин, объясняется еще тем, что общественная деятельность нашего духовенства замкнута в известные рамки, за пределы которых не может стремиться. Другие же наши ученые, не видя границ своему честолюбию, часто жертвуют для него наукой. У нас, например, есть один профессор, человек, впрочем, почтенный и с дарованием, но который нередко выходит на кафедру удрученный горем и кое-как сбывает с рук лекцию оттого только, что он, будучи уже коллежским советником, имеет Анну 3-й, а не 2-й степени. Попечитель, по доброте своей, видя его горе, наконец дал ему слово сделать о нем представление, которое должно будет быть уважено. И этот человек не ребенок: ему уже лет под сорок, и он слывет в публике за умного, талантливого профессора.

2 сентября 1827 года

Погода стоит прекрасная. Мне захотелось прогуляться, и я пошел в Академию художеств, которая со вчерашнего дня открыта для любителей и любопытных. В залах толпилось много народу, преимущественно из незнатных: люди так называемого “хорошего тона” обыкновенно ездят сюда поутру.

Я не знаток в живописи и сужу о ней только по впечатлению, какое на меня производит то или другое произведение. На этот раз мне очень понравился “Лаокоон”. Это прекрасный снимок с древней группы. Старик перед вами действительно страдает; из искривленных мукою губ его готов вырваться пронзительный вопль отчаяния. А что за красавица Венера с небрежно наброшенным на нее покровом! Очень хорош показался мне портрет Мордвинова, писанный Довом. Хороши также Аракчеев и Сперанский… Но как попал сюда этот всадник на белом коне? Не подходите близко: он задавит вас, если коснется его шпорами. Но не бойтесь: это удивительно искусно написанный портрет покойного императора. Вот девушка вышивает на пяльцах, другая держит в руке иглу и с плутовской улыбкой на вас поглядывает. Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским. А это кто лежит в турецком платье и чалме? Я угадываю, но с трудом, что это наш ориенталист Сенковский: он мало похож.

14 сентября 1827 года

Вчерашний вечер я очень приятно провел с Ростовцевым и В.Н.Семеновым, с которыми не видался уже месяцев пять. Они приходили за мной. Ужин был во вкусе греческих симпозий. Мы пили шампанское, но без излишества, а главное, говорили от избытка сердца. Я пенял — впрочем, уже не в первый раз — на Ростовцева за его лень. У него есть истинно поэтическое дарование, но светские развлечения отвлекают его от занятий, которые могли бы сохранить имя его для потомства.

18 сентября 1827 года

Отослал Булгарину мое рассуждение “О политической экономии вообще и о производимости богатств как главнейшем предмете оной”. Оно было написано для чтения в торжественном собрании университета и одобрено советом оного, но по недостатку времени осталось нечитанным — а главное, кажется, потому, что существует обычай не допускать студентов до публичного чтения своих произведений.

Кроме того, я снес Булгарину еще повесть *“Василий Воинко”*, написанную моим товарищем Троицким. Сей молодой человек не без дарования, и я сильно его подстрекаю не дать ему заглохнуть.

Вечером был у г-жи Керн. Видел там известного инженерного генерала Базена. Обращение последнего есть образец светской непринужденности: он едва не садился к г-же Керн на колени, говоря, беспрестанно трогал ее за плечо, за локоны, чуть не обхватывал ее стана. Удивительно и не забавно! Да и пришел он очень некстати. Анна Петровна встретила меня очень любезно и, очевидно, собиралась пустить в ход весь арсенал своего очаровательного кокетства.

20 сентября 1827 года

Сегодня у молодого камер-юнкера Штерича обедают блестящие молодые люди “хорошего тона”. Он убедительно просил меня сегодня не уходить и обедать дома с ними.

Здесь будут потомки знаменитых Долгоруких, Голицыных и проч. и проч. Посмотрим!

— Подай мне венгерку! — сейчас прозвучало у меня в ушах. Это значит, что русские магнаты собрались уже и приступают к главному предмету своей беседы и к созерцанию последнего произведения великого Рутча — портного. Сойдем и мы вниз.

На сегодняшнем обеде не было многих из тех, кого я думал увидеть. Много слышал я, между прочим, о графине Девиер как о совершеннейшей красавице. В самом деле у нее необыкновенно правильные черты лица — но в этом все. Черты эти подобны тем, которые проведены искусною рукою художника на куске мрамора: но этот мрамор не живет, не дышит. Артист, то есть природа, все сделала, чтобы из этой молодой девушки вышла одна из прекраснейших женщин, но сама девушка

ничего не сделала для себя самой. В ее очах не сияет луч той внутренней, обворожительной красоты, которая, пробиваясь сквозь оболочку тела, облагораживает и одухотворяет последнее.

Был за обедом один гусарский полковник, весьма неглупый человек. Он хорошо говорил о Наполеоне и о разных отвлеченных предметах. Он, кроме сабли и шпор, имеет еще нечто, то есть ум и чувство.

Молодой камер-паж Скалон задумчив: он в самом деле думает, что из него выйдет человек.

О князе Долгорукове могу сказать только то, что у него сюртук сшит знаменитым Петерсом. По крайней мере он хорошо знает этот важный исторический факт.

Мой любезный П. смотрел на девушек, как дитя смотрит на конфеты, которых ему не ведено трогать. У человека этого здравый ум и прекрасное сердце — к несчастию, слишком чувствительное, ибо оно столько же создано для любви, сколько лицо его и фигура для чувства совершенно противоположного. Он очень некрасив. Сидевшие против него плутовки искусно сообщали о том одна другой.

Важное замечание: нынешний головной убор молодых девушек куда как не изящен. Вместо грациозно упадающих на грудь или со вкусом расположенных локонов у них на писках торчат пучки волос — чужих. Коса свита на голове гак, что делает ее остроконечною. Лицо выглядывает из этой массы безобразно расположенных волос точно лицо пуделя.

Нельзя похвалить также обычай сильно стягивать талию корсетом. Руссо справедливо уподобляет стягивающихся таким образом девушек осам, перегнутым пополам. Сверх того, какой вред для здоровья!

22 сентября 1827 года

Поэт Пушкин уехал отсюда в деревню. Он проигрался в карты. Говорят, что он в течение двух месяцев ухлопал 17 000 руб. Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и стремящемуся воплощать в живые образы высшую идеальную красоту. Прискорбно такое нравственное противоречие в соединении с высоким даром, полученным от природы.

Никто из русских поэтов не постиг так глубоко тайны нашего языка, никто не может сравниться с ним живостью, блеском, свежестью красок в картинах, созданных его пламенным воображением. Ничьи стихи не услаждают души такой пленительной гармонией.

И рядом с этим, говорят, он плохой сын, сомнительный друг. Не верится!.. Во всяком случае в толках о нем много преувеличений и несообразностей, как всегда случается с людьми, которые, выдвигаясь из толпы и приковывая к себе всеобщее внимание, в одних возбуждают удивление, а в других — зависть.

2 октября 1827 года

Был у Булгарина. Застал там Сенковского. Разговор шел о путешествиях. Сенковский не верит, чтобы путешествующий по России мог встречать предметы, достойные философского наблюдения. Булгарин и я утверждали противное. В России, говорили мы, большее разнообразие нравов и обычаев, чем где-либо; много невежества, но самые предрассудки представляют обильное поле для наблюдений философа.

Сочинение мое “О политической экономии” во многих местах урезано цензурою. Между прочим, в одном месте у меня сказано: “Адам Смит, полагая свободу промышленности краеугольным камнем обогащения народов” и прочее… Слово *краеугольный* вычеркнуто потому, как глубокомысленно замечает цензор, что краеугольный камень есть

Христос, следовательно, сего эпитета нельзя ни к чему другому применять.

Булгарин и этот раз принял меня любезно и с комплиментами. О “Василии Воинко” говорит он, что повесть сия пахнет *бестужевщиною*. Он просил меня принести ему отрывки Missing Гереновой истории трех последних столетий, которую переводит один из моих знакомых.

5 октября 1827 года

Г-жа Штерич рассказывала мне сегодня: “Вчера на бале у Корсаковых посреди министров и первейших чинов двора вижу я человека, гордо расхаживающего с таким величественным, непринужденным видом, что я его сначала приняла за очень важную особу. Подхожу ближе: это француз Курнанд, содержатель одного из здешних пансионов. Супруга его, тоже здесь находившаяся, не уступала ему в надменной важности. Не показывает ли это, что наше дворянство не слишком ревнует о своих преимуществах, лишь бы ему не мешали веселиться”.

12 октября 1827 года

Виделся с Булгариным. Он жаловался министру народного просвещения на цензуру за то, что она не пропустила многие места в моем сочинении. Министр велел ему подать формальное прошение об этом. Нужно ли в самом деле для чего-нибудь такое свирепое преследование идей, без которых, однако, ни одно государство не может идти вперед по пути к могуществу и благоденствию? Что бы ни говорили, просвещение нужно народам. Нельзя же заключать о вреде его по революционной пропаганде некоторых мечтателей, которые творят и проповедуют глупости, уж, конечно, не от избытка, а от недостатка, от полупросвещения…

15 октября 1827 года

Читал недавно отпечатанную третью главу “Онегина” сочинения А.Пушкина. Идея целого пока еще не ясна, но то, что есть, уже представляет живую картину

современных нравов. По моему мнению, настоящая глава еще превосходит предыдущие в выражении сокровенных и тончайших ощущений сердца. Во всей главе необыкновенное движение поэтического духа. Есть места до того очаровательные и увлекающие, что, читая их, перестаешь думать, то есть самостоятельно думать, и весь отдаешься чувству, которое в них скрыто, буквально сливаешься с душою поэта. Письмо Татьяны удивительным образом соглашает вещи, по-видимому, несогласимые: исступление страсти и голос чистой невинности. Бегство ее в сад, когда приехал Онегин, полно того сладостного смятения любви, которое, казалось бы, можно только чувствовать, а не описывать, — но Пушкин его описал. Это место, по-моему, вместе с русскою песнью, которую поют вдали девушки, собирающие ягоды, лучшее во всей главе, где, впрочем, что ни стих — то новая красота. Здесь поэт вполне совершил дело поэзии: он погрузил мою душу в чистую радость полной и свободной жизни, растворив эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна с человеком, как печать неразгаданности его жребия, как провозвестие чего-то высшего, соединенного с его бытием. Поэт удовлетворил неизъяснимой жажде человеческого сердца.

О стихах нечего и говорить! Если музы — по мнению древних — выражались стихами, то я не знаю других, которые были бы достойнее служить языком для граций. Замечу еще одно достоинство языка Пушкина, показывающее вместе и талант необыкновенный, и глубокое знание русского языка, а именно: редкую правильность среди самых своенравных оборотов. В его могучих руках язык этот так гибок, что боишься, как бы он не изломался в куски. На деле видишь другое — видишь разнообразнейшие и прелестные формы там, где боялся, чтобы рука поэта не измяла материал в слишком быстрой игре, — и видишь формы чисто русские.

Сегодня принужден был ссориться с правителем канцелярии попечителя. У этого человека престранный нрав и понятия. Он ничему не учился, но практикою набил руку в канцелярских делах. Почитает себя несчастным человеком и всякому встречному неизменно рассказывает о каких-то 50 000 рублях, которые должен был получить, но не получил. В обращении он престранный оригинал. Весьма неловок: в разговоре его никогда не услышишь второго и третьего грамматического лица: я есть его тиран. Кто о чем бы ни говорил, а он всегда о себе: о своих болезнях, об ученье у какого-то немецкого пастора, о пребывании своем в доме орловского губернатора, наконец о службе в горном департаменте. Вдобавок он одержим страстью пересыпать свои рассказы нелепейшими анекдотами, почерпнутыми, разумеется, из событий собственной жизни. Прибавьте к этому еще дурной выговор и польские выражения — и вы получите понятие о муках, которые должен испытывать всякий, осужденный учтивостью на слушание его. Сверх всего этого, у него еще страшное самолюбие и упрямство ослиное.

Власть его не распространяется на меня, и потому между нами до сих пор не бывало столкновений. Но за последние два месяца я по случаю болезни правителя канцелярии исполнял его должность и по истечении этого срока получил от попечителя лестную благодарность за порядок и быстроту действий. Это показалось обидным настоящему правителю, который на днях опять вступил в отправление своих обязанностей. Он стал упрекать меня, что за его отсутствие дела пришли в такой беспорядок, что он не отыщет многих бумаг. Я попросил его указать, каких

именно бумаг он не находит. Указать он не мог, ибо говорил неправду, но, не желая еще уступить, заметил, что моя физиономия его всегда пугает и заставляет бояться, что я когда-нибудь возьму да нарушу правила общежития по отношению к нему. Это заставило смеяться меня и других чиновников в канцелярии, и тем дело и кончилось.

16 октября 1827 года

Государь император повелел отправить двадцать лучших студентов за границу для усовершенствования их познаний с тем, чтобы, возвратясь, они могли занять профессорские кафедры. По философии и правам будут отправлены в Берлин, а по естественным наукам в Париж. Попечитель, советуясь со мной сегодня о том, кого из наших выбрать для этой цели, предложил и мне отправиться с прочими. К этому есть одно препятствие — мое незнание иностранных языков, но Константин Матвеевич обещался устранить его: он хочет поехать к князю А.Н.Голицыну и просить его выхлопотать на сие разрешение государя. Он дал мне на размышление несколько дней и убеждал ничем не стесняться в моем окончательном решении.

Вот оно, и я искренно ему выскажу его. По возвращении из-за границы придется четырнадцать лет служить профессором по назначению правительства. Я люблю науку и жажду познаний, но не в качестве ремесленника, а главное, не могу помириться ни с чем, что хоть сколько-нибудь *отзывает закрепощением* себя. Раны от неволи еще слишком свежи во мне для того, чтобы я добровольно согласился еще раз испытать ее на себе, хотя бы и в смягченном и облагороженном виде. Соблазн усовершенствоваться в Германии, конечно, велик, но я предпочитаю *свободно* располагать своей будущностью в России. Да и выгоды от поездки вряд ли еще так существенны, как представляются с первого взгляда. Это не путешествие. Запрут на два года в Дерпте, на три в Берлине — вот и все. Но не в этом дело, а в вышесказанном. Завтра же все это выскажу попечителю, который в отношении меня является настоящим попечителем моей судьбы.

19 октября 1827 года

Вышло новое постановление: не принимать больше на статскую службу лиц, подлежащих подушному окладу [т.е крестьян и мещан]. Мера эта может иметь важные последствия. С одной стороны, она поведет к усилению дворянства, а с другой — к тому, что люди других сословий, которые иногда вступали на службу, но не могли быть на ней полезны по ограниченности своих дарований, будут теперь обращены к деятельности в своем собственном кругу, начнут учиться ремеслам и т.д. Для людей же с дарованиями всегда открыты пути к более широкой гражданской деятельности через университеты, которые по сему постановлению сохраняют все свои права и преимущества.

Сверх сего, Россия перестанет наводняться чиновниками, этими привилегированными тунеядцами, и будет их лишь столько, сколько нужно для отправления общественных должностей.

Так полагают почти все, с коими я говорил о настоящей мере: дай Бог, чтобы они были правы и чтобы новое постановление действительно повело лишь к благим результатам.

20 октября 1827 года

Объявил попечителю о своем решении не ехать за границу. Он внимательно выслушал меня, с минуту помолчал, потом, ласково взяв за руку, сказал:

— Делайте то, что вам говорят сердце и совесть. Если я в настоящем случае и не безусловно с вами согласен, то все же настолько вас понимаю и вам сочувствую, что не берусь вам советовать. Итак, решено, вы с нами остаетесь!

21 октября 1827года

Читал мнения членов комитета, учрежденного для преобразования учебных заведений, о проекте академика Паррота. Не зная самого проекта, не могу вполне судить о достоинстве сих мнений. Впрочем, из них можно заключить, что главная мысль его следующая: “Все университеты в России ничтожны и бесполезны в своем настоящем виде. Причина сего в том, что они не имеют хороших профессоров. Чтобы водворить в России просвещение, надо уничтожить сию причину, то есть всех профессоров в российских университетах удалить и заменить их новыми, более достойными сего звания, но непременно из русских же. Каким же образом сделать это?” — Оставить только три университета: Московский, Харьковский и Казанский — ибо С.-Петербургский, по мнению г-на Паррота, ничем, однако, не доказанному, совершенно бесполезен. Из трех вышеупомянутых университетов надо выбрать отличнейших студентов, на каждую кафедру по одному (всех кафедр должно быть по 32 в каждом университете) и отправить их всех на пять лет учиться в Дерпте, а потом на два года в Германии. По возвращении их отставить всех старых профессоров и заменить их *сими* вновь образованными.

Сперанский и Строганов против сего проекта. За него, с разными исключениями и дополнениями, Ламберт, Блудов, Крузенштерн и Шторх.

Последние, очевидно, стремятся сразу на целый век подвинуть в России ход просвещения; первые же хотят на настоящем порядке вещей основать постепенное приближение ее к оному.

Паррот, несомненно, прав в том, что у нас мало хороших профессоров, частью по причине равнодушия к науке, как говорит Шторх, а более потому, что их самих худо учили.

23 октября 1827 года

День рождения жены нашего попечителя Бороздина. После обеда я с его семьей поехал на вечер к его сестрам. Там был генерал Поленов со своим многочисленным семейством, которое может служить образцом согласия и добродушия. Удивительнее

всего, что здесь мачеха является провидением не только своих собственных детей, но и детей своей предшественницы. Нежность ее к последним так же велика и трогательна, как и к первым. Вообще сердце этой женщины исполнено той пленительной доброты, которая приближает особ ее пола к идеалу. Падчерицы, или, лучше сказать, дочери ее сердца, не отличаются яркой красотой, в них есть что-то трогательное и милое, что, пробиваясь сквозь черты лица их, сообщает им выразительность и прелесть, заставляющие забывать об отсутствии положительной красоты.

Вечер в обществе добрых, умных людей прошел быстро и приятно. Часть его я провел за бостоном с генералом Поленовым, с нашим профессором Сенковским и с братом попечителя.

Сенковский весьма замечательный человек. Не много людей, одаренных умом столь метким и острым. Он необыкновенно быстро и верно подмечает в вещах ту сторону, с которой надо судить о них в применении к разным обстоятельствам и отношениям. Но характер портит все, что есть замечательного в уме его. Последний у него подобен острию оружия в руках диких азиатских племен, с которыми он сблизился во время своего путешествия по Азии.

Нельзя сказать, чтобы он был совсем дурной человек, но, подобно иным животным, неукротимым по самой природе своей, он точно рожден для того, чтобы на все и на всех нападать, — и это не с целью причинить зло, а просто чтобы, так сказать, выполнить предназначение своего ума, чтобы удовлетворить непреодолимому какому-то влечению. Естественно, он не любим, на что сам, однако, смотрит без негодования, как бы уверенный, что между людьми нет других отношений, кроме беспрестанной борьбы, и он со своей стороны воюет с ними не за добычу, а как бы отправляя какую-то обязанность или ремесло. В обращении он жесток и грубоват, но говорит остроумно, хотя и резко. Нельзя сказать, чтобы разговор его был приятен, но он любопытен и увлекателен.

1828

1 января 1828 года

Давно уже ничего не писал я на этих страницах. Приготовления к экзамену отнимали у меня все время. Это уже последний: с окончанием его окончится период моего студенческого существования — и я гражданин.

Сегодня наш курс экзаменовался в римском праве. Мне досталось говорить об опеке. Профессор В.В.Шнейдер похвалил меня, но сам я недоволен своими познаниями в этом предмете. Да и трудно было, по правде сказать, много успеть в сей обширной и сложной науке, записки по коей выданы нам профессором всего за полторы недели до экзамена. Сами же мы не составляли их, потому что он обещал с самого начала дать нам свои.

8 января 1828 года

У меня чуть было не дошло до ссоры с Булгариным. По условию он должен был напечатать в мою пользу сто экземпляров моего сочинения “О политической экономии”. Это было для меня очень важно, ибо я намеревался представить оное профессорам как диссертацию на степень кандидата. Оно уже несколько дней тому назад появилось в “Северном архиве”, между тем для меня не оставлено ни одного экземпляра, и в типографии уже разобраны доски.

Я изъявил мое сожаление по этому поводу Булгарину. Он извинился забывчивостью и дал слово, что в три дня велит вновь набрать сочинение и напечатать, Я успокоился. Но третьего дня прихожу в типографию: там ничего и не слыхали от Булгарина. Это меня крайне раздосадовало, ибо уже недалеко время, назначенное для представления диссертации. Я опять кинулся к Булгарину и Гречу. Теперь сочинение мое набирают, и оно скоро будет напечатано.

26 января 1828 года

Наконец кончились экзамены. Сегодняшний был из богословия: сошел хорошо.

На днях только вышло из печати мое сочинение. Профессора весьма одобряют его, а публика приняла как нельзя лучше. Из этого я вывожу два заключения: первое, что публика наша, значит, еще очень мало сведуща в политической экономии, второе, что в ней начинает развиваться вкус к серьезному чтению.

28 января 1828 года

Слушал лекцию из философии у профессора Галича. Как жаль, что сей отличный профессор лишен своей кафедры в университете: у нас нет ни одного, подобного ему, кроме разве Давыдова в Москве, у которого тоже отняли кафедру; но я сам о последнем не могу судить.

К Галичу прежде всего имеешь доверие, ибо видишь, что он обладает обширными познаниями. Изложение его определенное: он выражается ясно и благородно. Его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы его не только полезны, но и увлекательны. Это не цеховой ученый, а человек, глубоко преданный науке и жаждущий правды, столько же практической, сколько и теоретической. Я лично к тому же много обязан ему. Зная, что мне не под силу заплатить ему за курс 300 руб., как платят другие его слушатели, он предложил мне посещать его лекции бесплатно.

29 января 1828 года

Говорил с попечителем о моей службе. Он предлагает мне у себя место секретаря в 1200 руб. жалованья. Я останусь у него во всяком случае на год, так как мне особенно приятно служить у человека, столь просвещенного и благородного и которому я столько обязан. Да и должность секретаря при нем необременительна, следовательно, не помешает мне совершенствоваться в науках.

30 января 1828 года

Сегодня был у меня Ростовцев. Очень приятная беседа. Этот человек не изменяется ни в своих чувствах вообще, ни в своем дружеском расположении ко мне. Толковали о прошлом, вспоминали о декабристах.

— Но что скажет обо мне потомство? — заметил, между прочим, Ростовцев, — я боюсь суда его. Поймет ли оно и признает ли те побудительные причины, которые руководили мною в бедственные декабрьские дни? Не сочтет ли оно меня доносчиком или трусом, который только о себе заботился?

— Потомство, — возразил я, — будет судить о вас не по одному этому поступку, а по характеру всей вашей будущей деятельности: ей предстоит разъяснить потомству настоящий смысл ваших чувств и действий в этом горестном для всех событии.

Он со слезами на глазах обнял меня.

2 февраля 1828 года

Славный день! Давно уже предлагал я товарищам по окончании экзаменов устроить дружеский прощальный обед, для чего каждый из нас должен был пожертвовать по 20 руб. Я давно уже начал прикапливать эту сумму. Некоторые по малодушию отказались, но вот дорогие имена тех, которые с восторгом отозвались

на призыв дружбы: Горлов, Михайлов, Армстронг, Дель, Гебгардт 1-й, Гебгардт 2-й, Клопов, Гедерштерн, Владиславлев, Иванов, Линдквист, Крупский, Чивилев, Щеглов и Казакин.

Мы собрались в четыре часа к Горлову. Первый наш тост за обедом был, по обыкновению, посвящен *отечеству и государю.* За вторым бокалом шампанского каждый должен был избрать предмет по сердцу и пить в честь его. Крупский пил *за дружбу;* Иванов — *за успехи драматической поэзии,* Гедерштерн — *за здоровье друзей,* Гебгардт — *за любовь и дружбу,* Дель — *за отечество;* Армстронг — *за честь и дружбу;* Михайлов — *за свою возлюбленную;* Горлов — *за святость дружеского союза; я—за счастие и славу друзей.*

В конце обеда, выпив последний бокал, все, по общему взаимному побуждению, бросились в объятия друг друга. Пять часов пролетели как миг. Какая свобода царствовала в излияниях наших чувств и мыслей, но какая благородная свобода: в ней не родилось ни одного чувства, ни одной мысли, ни одного слова, оскорбительного для нравов, чести и дружбы. Право, отечество могло бы пожелать, чтобы все грядущие поколения его сынов были одушевлены такою же правотою сердца и таким же благородством стремлений.

Я вернулся домой в десять часов вечера, но сердцем и мыслью все еще оставался с покинутыми друзьями.

5 *февраля 1828 года*

Был в концерте. Здесь учредилась “Музыкальная академия”, преимущественно стараниями господ Львовых, все семейство которых состоит из отличнейших музыкантов. Действительные, то есть играющие или поющие члены этой академии, все аматеры, в том числе и девицы. Сегодня сия академия дала свой первый концерт в зале Кушелева-Безбородко, что в Почтамтской. Пели три девицы из знатных фамилий. Прекрасные голоса! Старший Львов привел всех в восторг игрою на скрипке; меньшой тоже превосходно играл на виолончели. Концерт кончился почти в десять часов, и я вернулся домой в карете со Штеричем и его матерью.

9 февраля 1828 года

Неприятное происшествие! Вчера состоялось в университете факультетское собрание, на котором должны были решать, кого из выпускных студентов нашего курса произвести в кандидаты. Сегодня вбегает ко мне наш Михайлов в большом расстройстве и сообщает, что он не удостоен звания кандидата. Признаюсь, я тоже этого не ожидал, ибо, хотя он не отличался особенною усидчивостью в занятиях, однако ничем не уступает в познаниях тем студентам, кои получили сию степень в прошлом году.

Это несчастие крайне огорчило моего товарища, тем более что он был уверен в противном. Я сам боялся за него меньше, чем, например, за Армстронга. Теперь он именем дружбы заклинал меня спасти его ходатайством перед попечителем. Я и без его просьбы уже решился на это и на переговоры с профессорами, ибо беда еще не

совсем неотвратима. Совет не утвердил еще определения факультета, хотя дела сего рода непосредственно принадлежат последнему.

Я тотчас оделся и пошел к попечителю. Тронутый до глубины сердца положением моего бедного товарища, я с жаром просил Константина Матвеича Бороздина оказать ему помощь. Михайлов постоянно пользовался любовью товарищей, начальства и общества: что подумают они о нем (не говоря уже о его родителях), когда узнают, что он не с такою честью оставил университет, как они надеялись. Да и, право же, это незаслуженно!

Представления мои подействовали. Благородный и добрый начальник обещался употребить в его пользу все свое влияние. По моему настоянию Михайлов полчаса спустя и сам посетил попечителя: тот обласкал его и обнадежил.

Причина, почему Михайлову отказывают в кандидатстве, та, что он, как говорят, не имеет полных четырех баллов в статистике, хотя во всех прочих предметах имеет их. Вечером был у Михайловых. Все они очень огорчены. Мишель в их глазах совершенство, и они не постигают, как профессора могут смотреть на него иначе. Надо признаться, однако, что Мишель слишком надеялся на свои способности и потому занимался довольно поверхностно и на экзаменах подчас отделывался фразами. Должно полагать, что это и было главною причиною его беды, а не *3 с половиной* поставленные ему в статистике. Еще огорчило меня, что, пока я ходатайствовал за него у попечителя, он уже успел побывать у всех профессоров факультета и восстановить их против себя неуместною горячностью.

— Теперь вся наша надежда на вас, — говорили мне отец его и мать, — все зависит от попечителя, а вы пользуетесь его доверием.

— Что до меня касается, — возразил я, — я на все готов для товарища, который к тому же и умен и способен. Но пусть же он по крайней мере не восстановляет еще больше против себя профессоров. “Мы готовы исполнить желание вашего превосходительства, — могут они сказать Константину Матвеевичу, — но позвольте вам заметить, что это будет несправедливо”. Тогда от последнего, конечно, нельзя и требовать, чтобы он не согласился с их приговором. Право давать ученые степени есть священное, неприкосновенное право университета: ни попечитель, ни министр не могут непосредственно мешаться в это.

Я хотел этими словами доказать Михайлову, как неблагоразумно поступил он, оскорбив профессоров, и посоветовал ему завтра опять съездить к ним и загладить сегодняшнее неблагоприятное впечатление, чтобы они по крайней мере не мешали мне действовать у попечителя.

10 февраля 1828 года

Попечитель уже говорил в пользу Михайлова с ректором университета. Между тем и сам Мишель был опять у профессоров. Они все укоряют его за то, что он не занимался так, как следовало и как мог по своим способностям. Но теперь они по крайней мере несколько смягчены учтивостью моего товарища.

Итак, сегодня ничего решительного по этому делу не последовало. Между тем

на послезавтра назначено собрание университетского совета, значит, завтра надо пустить в ход все средства: после собрания совета уже будет поздно.

11 февраля 1828 года

Сегодня попечитель говорил мне о деле Михайлова уже совсем другим тоном, чем сначала. Доброе расположение его вдруг точно исчезло.

— Все профессора, — сказал он мне, — против него. Они говорят, что он на лекциях был невнимателен, читал романы и “Северную пчелу”, вместо того чтобы слушать, и на экзаменах не обнаружил твердого знания в науках. Скажи, что же мне делать?

Минута была решительная, и я истощил все мое красноречие, чтобы склонить Константина Матвеевича к тому, чтобы он поговорил за Михайлова с деканом факультета, от которого главным образом все зависело. Попечитель, наконец, обещался сегодня еще повидаться с ректором и деканом. Слава Богу, еще есть надежда!

12 февраля 1828 года

Сейчас имел разговор с попечителем, который сильно огорчил меня. Он утвердился во мнении, которое я ему внушил о Михайлове, но зато сказал:

— Университет хочет в нынешнем году произвести слишком много кандидатов, и потому ваш факультет должен ограничиться двумя: тобою и Михайловым. Прочие должны довольствовать степенью студента.

“Итак, — подумал я, — бедные мои Армстронг и Дель, на вас должен пасть жребий, по справедливости заслуженный Михайловым!” Я старался по возможности доказать Константину Матвеевичу, что несправедливо обидеть в нынешнем году тех, которые в прошлом или будущем, несомненно, получили бы отличие, право на которое признано за нами всеми профессорами. Он молчал. Не знаю, убедил ли я его; в противном случае буду оплакивать свое рвение относительно Михайлова.

Михайлов объявил мне, что декан стал ласковее к нему, попечитель тоже подал надежду, но дело пока остается нерешенным: собрание университетского совета сегодня не могло состояться, потому что почти все члены филолого-исторического факультета больны. Опять надо ждать неделю, а может быть, и больше. Это и мне лично неудобно. Я не могу явиться к князю А.Н.Голицыну, пока не получу официально своей степени кандидата. Да и дела мои по службе тоже от того терпят.

14 февраля 1828 года

Наконец сегодня состоялось собрание университета и молебствие, как всегда бывает при начале нового курса. Но нам еще не объявили наших ученых степеней.

Закон, в прошедшем году изданный, о недопущении на службу разночинцев,

начинает уже оказывать свое действие — и на этот раз благодетельное. Нынешний год в университете было втрое больше слушателей, чем в предыдущем.

Вечером я слушал лекцию у Галича. От него поехал к Ростовцеву, а с ним вместе к родственнику его, С.С.Уварову. В доме последнего я буду читать трем молодым людям русскую словесность и получать по 10 рублей за билет [т.е. за одно посещение или занятие]. Какая разница с моим острогожским учительством: там я получал по десяти рублей в месяц за ученика, занимаясь с ним по пяти часов в день.

Я экзаменовал моих будущих учеников. Они едва знают русскую грамматику, хотя меньшему из них уже пятнадцать лет. Зато они превосходно изучили французский, немецкий и английский языки.

15 февраля 1828 года

Сегодня в университете торжественно объявили всем кончившим курс студентам их ученые степени. По нашему факультету следующие произведены в кандидаты: из казеннокоштных Крупский и Чивилев; из своекоштных: Армстронг, Дель, Зенкович, Михайлов и я. Михайлов с восторгом бросился тут же ко мне на шею.

Затем мы все пошли благодарить нашего почтенного, любимого попечителя. Он принял нас ласково и просил поддерживать честь университета там, где будем служить.

Итак, слава Богу, никто не остался обижен!

17 февраля 1828 года

Серафима Ивановна Штерич очень заботится с некоторого времени о моих удовольствиях. Она не пропускает случая, когда может сделать меня участником концерта или какого-нибудь зрелища. Вчера она хотела взять меня с собою, но меня не было дома. Зато сегодня она отдала в мое распоряжение два билета в концерт девицы Гедике. Я один отвез Поленову, и мы вместе отправились в филармоническую залу.

Слушателей было довольно. Между ними встретил я Булгарина, который, будучи обязан завтра дать публике отчет о сем концерте, зорко во все вглядывался в зале: прислушивался к шепоту посетителей, наблюдал за их лицами, одеждой; следил за каждым движением смычка, за каждым прикосновением пальчиков артистки к фортепиано — одним словом, собирал материал для своей “Пчелы”, которая на следующий день поднесет одним мед, а другим горечь.

Он подошел ко мне и спросил:

— Напечатано ваше сочинение?

— Давно, — отвечал я, — за что усердно вас благодарю.

— Вперед прошу распоряжаться самим в моей типографии как угодно. Там исполнят все, что вы прикажете.

Я поблагодарил за сию литературную учтивость, и мы разошлись.

Концерт был хорош. Девица Гедике превосходно играла на фортепиано. Но девица Гебгардт довольно слабо пела. Г-н Сусман с необыкновенным искусством проиграл на флейте претрудные вариации, но в вариациях этих все достоинство их в трудности. Я искал в них чувства и поэзии, а нашел метафизику, которую надо слушать умом, а не сердцем. Ныне прорывается странный вкус в музыке, особенно среди любителей: отличным артистом почитается тот, кто умеет быстро и отчетливо передавать массу самых запутанных, многосложных тонов. Конечно, это достоинство, но не единственное же в музыке. Это один механизм, одна форма сего божественного искусства, которое само по себе есть не иное что, как выражение идеальной жизни чувством, так как поэзия в тесном смысле есть выражение оной чувством и понятием.

18 февраля 1828 года

Был в Музыкальной академии на репетиции. Моцартова “Турецкая увертюра” прекрасна; она и исполнена была превосходно. Девица Ассиер пела сегодня восхитительно. Евсеев, один из тенористов придворной певческой капеллы, тоже привел всех в восторг. Весь концерт шел как нельзя лучше.

Слушал метафизическую лекцию у Галича. Говорено было о происхождении вещей. Конечно, и у Шеллинга в этом отношении гипотезы, по крайней мере там, где он изъясняет процессы и постепенности сотворения. Тем не менее никто из предшествующих философов, может быть, кроме одного Платона, не обнял так хорошо общего единого начала жизни и отношений к ней всех конечных вещей.

24 февраля 1828 года

Сегодня в девятом часу утра имел я следующий разговор с моим благодетелем, бывшим министром народного просвещения, князем Александром Николаевичем Голицыным.

Объявив ему, что я кончил курс в университете и произведен в кандидаты оного, я начал благодарить его за доставление мне этого счастья.

— Не меня должны вы благодарить, — возразил он, — но Бога. При всем моем желании для вас сделать то, что сделано, я без его всемогущей помощи мог бы встретить не преодолимые к тому препятствия.

Потом, положив мне руку на плечо, он продолжал:

— Он, святою своею милостью, указал мне средства, как переменить ваше состояние. Служите человечеству в его духе. Будьте распространителем между людьми его святой истины, тогда вы возблагодарите его достойным образом, тогда он взыщет вас новыми благодеяниями. Никогда не забывайте, что мудрость земная, все человеческие познания — ничто, если они заимствованы не от единого света истины вечной и непреложной. При сем только свете видим мы вещи ясно и чисто и можем идти безопасно на всяком пути жизни и ко всякой цели. Но что вы теперь

намерены делать с собою?

— Хочу остаться, — отвечал я, — на некоторое время при попечителе здешнего университета, Бороздине, который предлагает мне при себе место секретаря.

— Хорошо! Однако желательно было бы, чтобы вы поставили главным предметом своим просвещение и чтобы деятельность ваша вся сосредоточилась в кругу его.

Он еще довольно долго говорил со мною очень благосклонно и в таком же духе, как начал. В заключение, смотря на меня пристально и с нежною заботливостью, он еще сказал:

— Очень рад, что вижу тебя на том пути, на котором желал видеть! Ты теперь и в лице переменился, то есть стал гораздо лучше и свежее.

Наконец я ему откланялся и ушел от него, глубоко растроганный.

26 февраля 1828 года

Был на репетиции в Музыкальной академии. На меня произвела сильное впечатление “Фантазия” Бетховена, превосходно разыгранная оркестром. В ней невинность поет про свою жизнь, исполненную высокой простоты и тихого, чистого счастья: эти сладостные звуки точно вызывают перед нами дни золотого века. Какая нежность в этом соло флажолета под аккомпанемент фортепиано или в сем адажио скрипок! Сколько милого и трогательного в ходе дискантов, который довершает очарование, сливаясь с звука-ми мастерски управляемого оркестра.

Я уехал домой, не слушая других пьес: мне хотелось в целости унести впечатление, полученное от божественной “Фантазии”.

4 марта 1828 года

Опять на репетиции в так называемой *нарышкинской* музыкальной академии, которая учредилась почти в одно время с львовскою. Последнюю составляют отличнейшие по талантам аматеры столицы, без разбора их положения в свете. Первая состоит из блестящей знати или так называемого “бонжанра”. В ней принимают также участие артисты, тогда как в львовскую академию они не допускаются даже в качестве слушателей во время концертов. Естественно, эти два музыкальные учреждения соперничают между собой. Львовская академия берет перевес талантами своих членов, особенно самих господ Львовых. Немало блеска сообщают ей также придворные певчие, которыми управляет старик Львов.

Академия нарышкинская называется так потому, что дает свои концерты в великолепной зале обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина. Ее отличительные черты: знатность членов, блестящее освещение, многочисленный оркестр и роскошное угощение, которое совсем отсутствует в первой академии.

Но и в нарышкинской есть несколько хороших певцов, например, господин Пашков, отличный тенорист, девицы Медянские и т.д.

Мы отправились на репетицию с камер-юнкером Штеричем, заехав первоначально к портному, которому я заказал себе сделать новое платье к празднику, ибо по обстоятельствам я должен теперь щеголять в кургузом фраке, цветном жилете и белом галстуке с циммермановскою шляпою в руках.

Зала академии поразила меня размерами и великолепием: везде мрамор и позолота. Оркестр уже гремел, когда мы вошли: играли какую-то увертюру. Впереди других музыкантов стоял небольшой толстячок: он весь трясся, подпрыгивал, размахивал руками и по временам пронзительно вскрикивал: “Пиано”. Это известный К.А.Кавос, дирижирующий в здешней академии оркестром.

Вышли две сестры Медянские, прекрасные как ангелы, и ангельскими голосами запели арию, которая, как тогда “Фантазия” Бетховена, унесла меня в светлый, идеальный мир. Голоса у этих прелестных созданий чистые, нежные, проникающие прямо в душу. Слушая их, я понял, как Улисс мог забыть все, забыть самого себя, упоенный звуками песен сирены.

Насладившись пением, мы со Штеричем пошли осматривать комнаты Нарышкина. Какое богатство, какая роскошь и сколько во всем вкуса и изящества! Зеркала, вазы; картины, бронза, бархат и штоф расположены самыми живописными группами и узорами. По маленькой, обитой роскошными коврами лестнице мы сошли в баню: в ней пристало купаться грациям. У стены обитый штофом диван, или, вернее, широкое ложе, вдоль стен зеркала.

На обратном пути в залу музыки мы встретили самого хозяина, который очень вежливо нам ответил на наш поклон. Его седая голова на фоне богатых занавесей с розовыми фигурами — вся эта блистательная пышность и вид старости, которая уже, очевидно, у порога могилы, внезапно омрачили для меня всю картину: мне невольно пришла в голову мысль, что все это не больше как пыль, и, может быть, в самом близком будущем…

Между тем в зале пели итальянскую арию: ее исполнял неаполитанский посланник, граф Лудольф. И голос, и фигура почтенного лысого графа вызвали во мне далеко не поэтическое представление о козле.

Затем было исполнено оркестром и спето разными лицами и хором еще несколько пьес, и все кончилось в пять часов.

11 марта 1828 года

Сегодня состоялся у Нарышкина тот концерт, на репетиции которого я на днях присутствовал. Я приехал ровно в шесть часов. Несколько дам уже расхаживали по богато убранным комнатам. В первой из них стояли, выстроясь в два ряда, лакеи и арапы в блестящих ливреях. Мало-помалу комнаты наполнялись знатью Петербурга. Здесь были графы, князья, первые чины двора и правительственные лица с супругами и дочерьми. Они рассыпались по комнатам и жужжали, как рои пчел. Надо было осторожно двигаться в толпе, чтобы не толкнуть какую-нибудь статс-даму или красавицу. Последних было немало — по крайней мере многие казались такими под блеском огней и своих роскошных нарядов. И надо отдать

справедливость светским дамам высшего круга: их внешнее воспитание так утонченно, что весьма успешно скрывает недостаток в них внутреннего содержания. Если они в сущности не больше чем куклы, то все же прелестные куклы, которые весьма ловко и непринужденно движутся и говорят по твердо заученным правилам искусства. Наряды их пристойны и красивы, за исключением чепцов замужних женщин, которые имеют вид мешка, горизонтально растянутого поверх головы.

Я, между прочим, видел здесь одну из первых красавиц столицы, графиню Соллогуб: она поистине очаровательна.

Часа полтора уже ходил я по комнатам, любуясь и наблюдая, а зала концерта все еще не отворялась. Наконец двери ее распахнулись: из них хлынули целые потоки света. Концерт довольно долго продолжался. Я был опять до глубины души тронут пением девиц Медянских. Ребенок лет тринадцати, Мартынов, превосходно играл на фортепиано и возбудил всеобщее удивление.

16 марта 1828 года

Сегодня в столице объявлено о заключении мира с персами: шестьдесят четыре миллиона рублей и провинции Нахичеванская и Эриванская — вот для России плоды окончившейся войны. Миллион рублей и титул графа Эриванского пожалованы генералу Паскевичу. Производивший мирные переговоры Обресков тоже получил триста тысяч рублей, чин тайного советника и орден. Щедрые награды! Государь, говорят, очень обрадован этим событием. Награждая участников в нем, он хочет показать, что милости у него всегда так же готовы, как и кары.

Итак, и без того обширные владения России увеличились еще лоскутком земли. Политики утверждают, что это приобретение полезно потому, что будет служить защитою нашим границам. Мне же кажется, что оно только является новым доказательством перед Европою того, что мы не дадим себя в обиду, но она в этом и без того уже перестала сомневаться. Не захотим же мы в самом деле отнять у англичан Индию. Для этого во всяком случае недостаточно еще ослабить персов. Да и к тому же еще вопрос: мы ли восторжествовали бы над англичанами превосходством наших физических сил или они над нами своею политикою и образованием?

25 марта 1828 года

Праздник светлого Христова воскресения. У заутрени и обедни был вместе с Серафимою Ивановною и пажем Россети в университетской церкви. Весь день до четырех часов проведен в скучных визитах. К счастью, ночью выпал такой снег, что можно было ездить на санях.

Обычай ездить в большие праздники с поздравлениями очень древний и существует у всех образованных народов. Сначала это, без сомнения, принадлежало к числу религиозных обрядов, а после, с утончением общежития, обратилось в житейскую формулу. Формула сия есть одна из тех фальшивых монет в свете, фальшивость которой одинаково известна и дающему, и принимающему. Сколько

глупостей, которым следуют и тогда, когда смеются над ними!

8 апреля 1828 года

Каждый почти день из Петербурга отправляется часть гвардии в Турцию. Государь со всеми генералами и дипломатическим корпусом провожает солдат до заставы.

Итак, роковой час ударил для Турции. Спросите в Петербурге всех, начиная от поденщика до первого государственного человека, что думают они о предстоящей войне? “А то, — ответят они вам, — что Турция погибла!” Столь уверены ныне русские в своем могуществе.

Турция, может быть, и не погибнет, судя по политике Англии и т.д. Но то неоспоримо, кажется, что в войне с Россией она не найдет для себя ничего, кроме поражений и стыда. Доверие к твердости государя очень сильно в народе.

Говорят, император объявил Европе, что в предстоящей войне не будет искать завоеваний, но что накажет Турцию за оскорбление, которое та нанесла ему и России в своем первом указе. Англия заметно беспокоится. Рассказывают, что она присылала нашему двору запрос: какое употребление сделает Россия из побед своих в Турции? На это ей ничего не отвечали. И что отвечать? Она не верит тому, чтобы Николай действовал бескорыстно; она не понимает, что ему нужна слава, а не владения, — а в наш век еще только один род славы удивляет — это слава великодушия. Англия боится за Индию. Но если Россия в самом деле имеет виды на последнюю, то во всяком случае будет действовать без шуму и постепенно. Ну, тогда и ставьте ей преграды.

15 апреля 1828 года

Был в итальянской опере. Играли “Сороку-воровку” Россини. Мадам Шоберлехнер пела прелестно. Вся пьеса вообще шла очень хорошо, особенно последняя сцена второго акта. Я был в ложе г-жи Штерич. С нами вместе сидела г-жа Лорер, пожилая, умная и очень приятная дама. Театр был полон. Спектакль кончился в 12 часов. Прелестное пение Шоберлехнер и других заставило жалеть, что он пришел к концу.

26 апреля 1828 года

Государь уехал в армию. Если война начнется, то для того, чтобы усилить могущество России и озарить славою царствование Николая. Но какой порядок вещей будет плодом сего? Будет борьба, борьба кровавая за первое место в ряду царств вселенной — борьба между новым Римом и новым Карфагеном, то есть между Россией и Англией. На чью сторону склонятся весы судьбы? Англия могущественна, Россия могущественна и юна.

1 мая 1828 года

Обедал и вечер провел вместе с моим генералом Бороздиным у его сестер. Дом их почти у самых Триумфальных ворот, так что, не выходя из него, можно было видеть из окошек всех шедших и ехавших на гулянье в Екатерингоф. С трех часов уже начали пробираться туда ремесленники, сидельцы и прочие. Улица постепенно наполнялась, и, наконец, в половине шестого часа потянулись непрерывною цепью и экипажи. На тротуарах народ кипел, как волны. Я не видал, однако, признаков большого удовольствия: на всех лицах лежала какая-то холодная задумчивость. Красавицы в своих розовых и желтых шляпках сидели в экипажах, вытянувшись чинно, точно на смотру. Я стоял у окна и передавал свои наблюдения милой моей собеседнице, девице Бороздиной.

9 мая 1828 года

Сегодня я переменил квартиру. Давно уже собирался я это сделать, но г-жа Штерич все уговаривала меня повременить. Теперь же обстоятельства заставляют ее отдать внаймы почти весь свой дом, и я этим воспользовался, чтобы, наконец, исполнить свое давнишнее желание. Я нанял две небольшие, чистые и светлые комнатки за 18 рублей в месяц. Это недорого. Такая цена возможна только в отдаленной части города, как Семеновский полк, куда я уже и переселился. Прощание с госпожою Штерич и ее сыном было трогательное и сопровождалось взаимными уверениями в дружбе. Весь дом ласково меня проводил.

2 июня 1828 года

Сегодня, по обыкновению, пошел утром к своему генералу и сидел в общей комнате, дожидаясь, пока от него уедут чиновники с докладами. Вдруг мне объявляют, что сделан донос на Галича. Его обвиняют в том, что у него на дому бывают недозволенные философские собрания. Из посетителей никто не поименован, кроме меня. Очевидно, хотят погубить этого благородного, чистого и кроткого мудреца — учителя добродетели, а вместе с ним и меня.

Человек, сделавший сей донос, погубив Галича, конечно, получит имя патриота и благонамеренного, а погубив меня, удовлетворит своей личной ненависти. За что?

Что до меня касается, он немного ошибся в расчете: я не делал тайны из моих посещений лекций Галича. О них знают мой начальник Бороздин и Блудов: первый, потому что я считаю себя обязанным платить доверием за его доверие ко мне, а второй — по своим связям с первым. Но Галичу, вероятно, запретят чтение частных лекций. Я лично много от этого потеряю, ибо много уже обязан ему и его наставлениям, но лучшая часть их еще оставалась впереди.

3 июня 1828 года

Сегодня моя квартирная хозяйка объявила мне о победе, одержанной нами над турками. Первую весть о сем она услышала из уст сидельца в молочной лавке,

который с восторгом ей о том объявил; с восторгом же подтвердили ей это и на рынке, где все торговцы восклицали: “Слава Богу!”

4 июня 1828 года

Новости, рассказываемые на рынке, столь же достоверны, как и те, о которых толкуют в гостиных. Наши войска не победу одержали, а только перешли через Дунай.

9 июня 1828 года

Вчера вечером генерал мой мне объявил, что мы сегодня едем с ним в Кронштадт для осмотра тамошних училищ.

Он немедленно отправил меня в канцелярию генерал-губернатора за билетом, который обыкновенно в таких случаях выдается. Я отдал отношение дежурному, но билета не получил, потому, говорил он, что у них все бланки вышли. Сегодня в семь часов утра я поехал к правителю канцелярии, г-ну Позняку. Тот учтиво отвечал мне, что сию минуту поедет в канцелярию сам и прикажет удовлетворить меня. Наконец я действительно получил билет, и мы отправились на Бертов завод. Но, оказалось, уже поздно: мы просрочили пятью минутами, то есть приехали на пристань в начале десятого часа. Судно едва отчалило от берега, но пока мы хлопотали у Берта, чтобы его остановили, пароход, испуская клубами густой и черный дым, уже, как стрела, мчался по гладкой поверхности невского устья. Пришлось вернуться домой. Мы порешили ехать сегодня же в 5 часов вечера. Паровое судно только дважды в день отходит в Кронштадт: поутру в 9 часов и в 5 вечером.

На этот раз мы приехали вовремя. С судна подали сигнал; пассажиры толпою хлынули на палубу, и минуту спустя мы уже были на середине реки.

Изобретение парохода — одно из чудес нашего века. Стоя на палубе, спокойно сидя в каюте, вы с невероятною быстротой, почти незаметно, переноситесь вдаль: так ровен ход судна, до такой степени двигающая его сила подавляет колебание волн. Один только шум колеса, которое быстро вращается под действием пара и, как плуг, взрывает водную равнину, нарушает тишину, среди которой судно без всяких внешних пособий, одною внутреннею силой совершает путь свой.

Я остался на палубе, желая насладиться видом моря. Петербург убегал от наших глаз:

Казалось, он в волнах свинцовых утопал.

Еще только шпицы Петропавловской башни сверкали во мгле призрачного тумана да белели некоторые здания. Правый берег залива, суровый и дикий, еще синею полосою извивался вдали и, наконец, исчез. Левый берег, усеянный дачами и деревеньками, представляет оживленную картину. Передо мной промелькнули:

Сергиевский монастырь, Стрельна, Петергоф и Ораниенбаум. Берег этот, сначала пологий, постепенно возвышается, тянется цепью холмов, увенчанных лесом, и в заключение точно утопает в бездне вод. Прямо против глаз расстилалась беспредельная пелена моря. В первый раз еще созерцал я эту величественную красоту мрачной и грозной стихии, и

Как очарованный, у мачты я стоял!

Ветер порывисто дул, вздымая довольно крупные волны. Они ударяли в наш пароход и, разбиваемые колесом его, убегали прочь, пенясь и дробясь в брызгах. Я сошел в каюту и долго смотрел на борьбу волн: они одна другую преследовали, одолевали, бежали в гору и тяжело, с плеском, точно с воплем, обрушивались в пучину. Мимо нас то и дело проносились другие суда на всех парусах. В восемь часов мы приблизились к Кронштадту и поплыли вдоль гавани, на стенах которой длинною цепью выстроены пушки. Гавань от множества корабельных мачт имеет вид леса, обожженного молнией. Корабли стояли очень тесно.

Мы сошли на берег у самой гауптвахты и вдоль крепостной стены пошли в город. Нам отвели две довольно приличные комнатки в Итальянском трактире. Но мы не захотели в них оставаться и пошли перед сном еще посмотреть город. Он довольно велик, но хороших строений в нем мало. Лучшие из них всё казенные здания.

На другой день поутру мы с генералом приступили к осмотру училища. Оно здесь настоящая развалина. Учителя его бедствуют, как, впрочем, и везде в России.

В 9 часов мы пошли к обедне. Певчие пели плохо, но еще больше наскучила нам длинная и бессодержательная проповедь, произнесенная священником после литургии.

Затем мы с архитектором Щедриным пошли смотреть вновь строящиеся укрепления, которыми обводится западная часть Кронштадта. Они должны быть непреодолимы: с одной стороны огромные глыбы гранита, прикрытые тесаным камнем, с другой стороны казематы составляют первую наружную стену. Другая такая же будет позади казематов. Мы говорили с некоторыми старыми моряками об укреплениях Кронштадта вообще: они утверждают, что всякая эскадра, которая вздумала бы прорваться к Петербургу через маленький проход между Кронштадтом и Кроншлотом, должна неминуемо обратиться в щепы.

Генерал наш обедал у генерал-губернатора Рожнова, а мы в трактире. За одним столом с нами сидел доминиканский монах и еще человека три иностранца. В четыре часа мы уже опять были в гавани, сели на ялик и поплыли мимо массы кораблей к нашему пароходу. Обратное плавание совершили также благополучно и приятно.

Кронштадт весьма небогатый городок. Жители торгуют лесом, хлебом, печеным и в муке. Но торговля их ограничивается собственным портом. Капиталов купеческих считается 132.

25 июня 1828 года

Сегодня попечителем Демидовского училища в Ярославле, Безобразовым, было предложено мне место профессора истории в сем заведении. С этим местом сопряжен чин коллежского асессора, 2000 рублей жалованья, казенная квартира — одним словом, жизнь мирная, обеспеченная и независимая. Я попросил времени для размышления.

28 июня 1828 года

Я отказался от предлагаемого мне в Ярославле места. Там ожидало меня спокойствие и обеспеченность, здесь бури, превратности, но более обширное поле деятельности. Я избираю последнее. Многие из моих знакомых осуждают меня за сей отказ. Но вот что мне сказал мой милый Константин Матвеевич Бороздин, когда я советовался с ним об этом:

“Если ты хочешь обыкновенной доли и спокойствия, то поезжай, если же ты хочешь больше дела и пользы, но в то же время и больше труда, и забот, то оставайся здесь. Первое умнее, второе благороднее”.

7 июля 1828 года

Вчера утонул, купаясь, один из лучших моих товарищей по университету, Клопов, выпущенный вместе со мною кандидатом. Это был юноша двадцати двух лет, прекрасный, нежный, с жаждою к наукам, единственный сын у родителей, страстно любивших его. Сегодня я бросил горсть земли на его гроб.

Минутны странники, мы ходим по гробам,

Все дни утратами считаем;

На крыльях радости летим к своим друзьям,

И что ж? Их гробы обнимаем!..

23 августа 1828 года

Кончены мои примечания к цензурному уставу. Сие постановление произвело своего рода судорожное потрясение. Уже возникли жалобы на слишком большую свободу мыслей, которая будто бы оным допускается. Те из гасителей света, кои потоньше других, скрывают свои замыслы против его духа и нападают на неопределенность иных из подробностей. Им хотелось побудить правительство к новому пересмотру устава и к пополнению его, то есть к постановлению ограничений там, где оно, руководясь политической мудростью, с намерением ничего не сказало.

С целью устранить влияние сих людей, попечитель поручил мне составить защиту этого постановления в главных его положениях и рассмотреть, какие нужны дополнения по распорядительной его части: ибо, в самом деле, тут требуются некоторые пояснения.

После трехнедельных занятий я кончил это трудное дело. На сих днях оно должно быть представлено министру. Признаюсь, я с удовольствием думаю об этом труде: это моя первая работа в законодательном смысле и направлена к тому, что мне всего дороже, — к распространению просвещения и к ограждению прав русских граждан на самостоятельную духовную жизнь. Некоторые из людей сведущих и друзей просвещения, прочитав мои разъяснения и дополнения, пожелали со мной познакомиться и в лестных выражениях изъявляли мне свое удовольствие. Профессор Арсеньев очень доволен моим трудом; Галич тоже, барон Розенкампф, председатель бывшей комиссии составления законов, тоже призывал меня к себе и изъявил свое полное одобрение.

4 сентября 1828 года

Все эти дни занимался с попечителем рассмотром примечаний моих к цензурному уставу. По совету компетентных и заинтересованных в успехе этого дела пришлось кое-что смягчить, а статью относительно сатирических сочинений на пороки духовенства надо было значительно переделать. Теперь все кончено и сегодня будет отправлено к министру.

Многое в этом уставе и примечаниях к нему не понравится кое-кому. Его [устав] одушевляет желание отечеству

благоденствия с помощью просвещения, развитие которого невозможно без благоразумной свободы мыслей.

Последние слова моих “примечаний” были написаны сегодня ночью. Луна светила в незавешенное окошко моей комнаты и озаряла мирным светом письменный столик с бумагами, в которые я вложил часть моей души. Чистое светло-голубое небо сверкало звездами. Вокруг постепенно водворялась тишина; еще только изредка раздавались стук едущего мимо экипажа, лай собаки, звон часового колокола, бьющего четверти. За перегородкой, отделяющей мой крохотный кабинетик от хозяйской квартиры, разговаривают шепотом, чтобы не помешать моим занятиям. И на душе у меня ясно, спокойно… Если верить предзнаменованиям, усилия наши наметить в русском обществе тропу к свету должны увенчаться успехом!..

29 сентября 1828 года

Сегодня с горестью услышал, что моему любезному Ростовцеву оторвало ядром руку. Вообще носятся неприятные слухи. Говорят, что под Варною весь лейб-егерский полк изрублен: спаслось только десять или двенадцать человек. В столице уныние. Боятся не за славу отечества, которая от этих частных неудач еще не может омрачиться, но каждый трепещет за жизнь близких ему. Негодуют на Дибича,

приписывая ему последние неудачи.

5 октября 1828 года

Слышал анекдот. Государь, рассуждая с фельдмаршалом Витгенштейном об осаде Шумлы, спросил у него:

— Можно ли взять сию крепость, которая считается неприступною?

— Да, ваше величество, только это может стоить нам пятидесяти тысяч храбрых солдат.

— Так я лучше буду стоять под ней, доколе она не сдастся сама, хотя бы мне это стоило пятидесяти лет жизни! — воскликнул император.

15 октября 1828 года

Сегодня содержатель известного в Петербурге пансиона, г-н Курнанд, предложил мне читать у него право. Плата

1600 рублей в год, что вместе с казенным моим жалованьем даст мне в год до 2600 рублей. Положено начать курс с 1 ноября.

1 декабря 1828 года

Наконец сегодня только читал я первую лекцию в пансионе Курнанда.

Рассказывали мне, между прочим, вчера еще новую черту характера государя. Некто Беклешов, служа в одном из гвардейских полков под начальством Николая Павловича, тогда еще великого князя, навлек на себя его неудовольствие, вследствие чего должен был подать в отставку. Ныне он обратился к императору с письмом, в котором просил опять принять его на службу. Государь милостиво отнесся к письму и приказал передать Беклешову через Бенкендорфа:

— Я забываю то, чем мне досаждают другие. Скажите Беклешову, чтобы он просил у меня должности, какую сам считает для себя приличною.

2 декабря 1828 года

На днях я виделся с Ростовцевым в первый раз после кампании. Он много любопытного рассказывал о ней и читал мне письмо из Константинополя от брата своего Александра, который взят турками в плен при несчастном поражении гвардейского егерского полка. Александр Ростовцев пишет, что турки чрезвычайно хорошо обращаются с пленными русскими; описывает подробно сражение, в котором взят в плен. Яков Иванович показывал письмо государю, который, прочитав его, сказал:

— Благодарю тебя, что ты показал мне это письмо. Из него вижу я, что егерский полк не посрамил себя в сем несчастном деле. Я был других мыслей, но

теперь вижу истину и чрезвычайно рад, что она в пользу храбрых воинов, которые вполне исполнили свой долг.

Я очень приятно провел вечер с Ростовцевым: он не переменился — сердце его цело, как и обе руки.

1829

1 января 1829 года

12 часов ночи. Новый год встречаю я с пером в руке: приготовляю юридические лекции. Но нынешний вечер дело это особенно затруднено. Квартира моя граничит с обиталищем какой-то старухи, похожей на колдунью романов Вальтера Скотта. Там до сих пор не умолкают буйные песни вакханок, которые сделали, кажется, порядочное возлияние в честь наступающего года. Удивительно, как наши женщины низкого сословия преданы пьянству. Весь дом, в котором я квартирую, не исключая и моей хозяйки, наполнен сими грубыми творениями, которые не упускают случая предаться самому бесшабашному разгулу. Ссоры и форменные побоища обыкновенно заключают их беседы, и одна угроза квартального заставить их мести улицы усмиряет этих жалких детей невежества.

Но вот новый год встречаю я рассуждениями о предметах весьма неизящных. Впрочем, природу человеческую надо наблюдать во всех ее видах, и, к несчастью, пороки людей представляют обильную жатву истин, конечно, горьких, но необходимых для точного познания человека.

Какие события ознаменуют наступающий год? В прошедшем году у нас на Руси произошло довольно нового. Твердая деятельность Николая произвела много перемен во внутреннем управлении.

Довольно упомянуть о цензурном уставе, который есть самый верный отпечаток духа и намерений нашего царя. Он решает или по крайней мере старается решить в нем вопрос, который с коварным двусмыслием предлагали фанатики и поборники старых предрассудков: полезно ли России просвещение? И решает это в смысле положительном; конечно, это в теории, а как будет на практике — увидим.

Мое личное положение следующее: я служу секретарем при попечителе С.-Петербургского учебного округа, Константине Матвеевиче Бороздине. Я не знаю человека с более благородным сердцем. Он в полном смысле слова то, что мы называем человеком просвещенным. Он не учился систематически, но читал много и, что чудо между нашими дворянами и администраторами, размышлял еще более.

Он имеет обширные познания в русской истории, которую изучал как патриот и вместе как философ. Ум его возвышен. Поэтическая фантазия нередко уносит его из области нашей мертвой и горестной действительности в чистую, светлую область идей, и хотя он не любит немецкой философии, но это только на словах, ибо, сам того не замечая, почти во всем следует ее могучему гению. Он ждет для России лучшего порядка вещей и, любя ее превыше всего, превыше самого себя, со смирением несет тягости общественные. В этом отношении я его называю не иначе,

как праведным гражданином. Но сей человек, столь образованный и благородный, не одарен той силою воли, которая приспособляет обстоятельства и вещи к своим идеям. Одушевленный высокими чувствами, он, кажется, готов идти против превратностей, в которые все мы вовлекаемся странною игрою жизни. Но, устрашенный пучиною страстей, в которых вращаются люди, он отступает назад не по малодушию, а по недостатку силы и присутствия духа.

Я пользуюсь его доверием и любовью и с избытком плачу ему тем же.

13 февраля 1829 года

Профессор Бутырский открыл в зале высшего училища публичный курс “словесности вообще и российской в особенности”.

Я получил от него билет. В залу едва ли набралось человек шестьдесят и в том числе неведомо как попавшие туда две дамы. Да и эти немногочисленные слушатели едва ли не попали сюда по ошибке, думая, что их приглашают посмотреть на разные заморские штуки и диковинки, ибо дай только нашей публике заметить, что ты хочешь говорить с ней о чем-нибудь полезном и серьезном, то увидишь перед собой одно пустое пространство.

Профессор выказал в сей лекции обыкновенные свои качества и недостатки. Он говорил с привлекательным красноречием, рассуждал в том философском духе, ценил произведение словесности с тем тонким и верным вкусом, которые снискали ему репутацию первого из современных в России профессоров словесности. Но он, как и всегда, мало держался систематического порядка, бросался в эпизоды и не всегда был точен в выборе выражений своих мыслей.

18 февраля 1829 года

Я прочитал Шекспирова “Гамлета” в очень хорошем переводе Вронченка, который, сказать мимоходом, не будучи поэтом самостоятельным, как переводчик одушевлен жаром и силою истинного поэта. Шекспир поразил меня глубиною и величием своего гения. Он, так сказать, сжимает в своих могучих объятиях природу и исторгает у нее такие тайны, которые, говоря его словами:

И не снились нашим мудрецам.

Как глубоко проник он в сердце человеческое! Как хорошо знает он философию жизни, то есть философию страстей и бедствий человеческих! Могучий и великий духом, как просто и спокойно созидает он эти образы, из коих каждый со своим характером, со своими страстями и мыслями может назваться представителем человечества.

21 марта 1829 года

Философско-юридический факультет здешнего университета предложил мне занять кафедру естественного частного и публичного прав, которая по болезни

профессора Лодия остается праздною. Я согласился с удовольствием. Это прекрасное средство к собственному моему усовершенствованию, особенно в дикции. Весь факультет единогласно был за меня. По его мнению, я, владея даром слова и добросовестным отношением к делу, мог бы принести университету большую пользу моими лекциями. Недоставало только утверждения университетского совета. Там ректор Дегуров, который ко мне недоброжелательно относится, восстал против моего назначения, и я был отвергнут. Вот его причины: “С некоторых пор мы беспрестанно получаем выговоры от министра и от попечителя. Никитенко пользуется доверием последнего, следовательно, он в этом виноват, следовательно, он не имеет философского духа, следовательно, не должен преподавать естественное право в университете”. Сильно и убедительно! Признаюсь, мне крайне хотелось воспользоваться неожиданным предложением факультета, и потому неудача меня опечалила.

1830

3 января 1830 года

Университет предложил мне на нынешний год кафедру политической экономии, которую буду занимать в качестве помощника ординарного профессора Бутырского, а вчерашний день я начал преподавать в пансионе Курнанда, сверх прав и статистики, русскую словесность по два часа в неделю.

15 января 1830 года

Я получил первый том “Истории русского народа”, сочинение Н.А.Полевого.

Еще до появления в свет этой книги она уже была осуждаема и превозносима. Так называемые патриоты, почитатели доброго Карамзина, не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина. Партия эта состоит из двух элементов. Одни из них царедворцы, вовсе не мыслящие или мыслящие по заказу властей; другие, у которых есть охота судить и рядить, да недостает толку и образования, в простоте сердца веруют, что Карамзин действительно написал “Историю русского народа”, а не историю русских князей и царей. Конечно, есть также люди благомыслящие и образованные, суд которых основывается на размышлении и доказательствах. Но их немного. Эти последние знают, чем отечество обязано Карамзину, но знают также, что его творение не удовлетворяет требованиям идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса.

Как бы то ни было, а Полевой написал историю России. Он посвятил ее Нибуру и тем самым как бы отказался от перстня. И это тоже ему ставят в уголовную вину. Написал он также предисловие к своей истории — и последнее плохо. В нем кучею накиданы все новые французские и немецкие мысли об истории, но без логической связи и ясности. Впрочем, не время еще изрекать суд о его сочинении: надо прежде видеть его вполне оконченным. Очевидно, однако, что он смотрит и на историю, и на Россию с высшей точки зрения. Он философским духом следит за событиями и старается приметить, как образовали они судьбу народа. Эта заслуга важная.

Я думаю даже, что недостатки его творения, сколько бы их ни было, будут искуплены этой заслугой пред нелицеприятным судом потомства.

30 января 1830 года

Воейков в первом номере “Славянина” напечатал стихи “Цензор”, в которых досталось какому-то Г., ханже и невежде. Мы получили повеление спросить у

цензора, рассматривавшего эти стихи, как он осмелился пропустить их, а у Воейкова: кто именно просил его напечатать оные. Я целый день почти отыскивал Воейкова, чтобы отобрать от него показания, но не нашел его. Цензурный устав предписывает не преследовать писателей; хорошо было бы не только в теории, но и на практике держаться этого благого правила.

В заключение Воейков отвечал, как и следовало ожидать, что он не помнит, кто доставил ему для напечатания вышеупомянутые стихи [их автором был князь Вяземский]. Цензор Сербинович — что он не мог знать, что стихи эти содержат в себе личность, тем более что перевод с французского.

31 января 1830 года

Воейков посажен на гауптвахту. В одно время с ним посажен Греч и Булгарин, будто бы за неумеренные и пристрастные литературные рецензии. В Москве цензор С.Н.Глинка также заключен на две недели. Бедное сословие писателей!

У нас жалуются на недостаток хороших писателей. Есть люди с дарованиями, но им недостает развития. Последнего и вообще немного у нас. Отчего? Причины очевидны.

Мы можем быть настолько развиты и просвещенны, насколько то позволяют условия нашей жизни.

5 февраля 1830 года

В городе очень многие радуются тому, что Воейкова, Булгарина и Греча посадили на гауптвахту. Их беззастенчивый эгоизм всем надоел.

Так, но при этом никто не думает о поражении одного из лучших параграфов нашего бедного цензурного устава.

6 февраля 1830 года

Сегодня я присутствовал на выпускном экзамене в Смольном монастыре и никогда не забуду впечатления, оттуда вынесенного. Какое очаровательное пение этих милых созданий, одетых в белые платья, — прощальное пение, последняя дань тихой обители, где они провели первые дни юности.

Я так был увлечен величием этого зрелища, что не хотел ни на что смотреть глазами критика. Ни теснота, ни давка, ни духота на меня не действовали. Я даже не особенно старался протискаться вперед, довольствовался тем, что мне удавалось видеть сквозь промежутки дамских шляпок, тянувшихся перед нами длинной стеной. Я весь был поглощен пением.

После экзамена и прощального пения волны публики хлынули в залу, где выставлены работы воспитанниц. Есть отличные произведения каллиграфии, рисунки, шитье и проч.

Здесь стройными рядами проходили мимо посетителей все воспитанницы, и в том числе выпускные. Как видения поэтической фантазии, они мелькали передо мной в своих белых платьях с лиловым кушаком.

Выходя из института, я претерпел жестокую давку. С час отыскивал человека, которому отдана была моя шинель. Долго не забуду я всего, что видел сегодня в Смольном монастыре.

14 февраля 1830 года

Обычный годовой праздник нашего выпуска из университета. Все товарищи собрались к ресторатору Андриё. Мой любезный Поленов распоряжался на сей раз пиршеством. Шампанского не жалели. Первый тост, по обычаю, был посвящен государю и отечеству. Три тоста были питы за мое здоровье. Поленов всех усердно угощал; Гебгардт искрился не меньше шампанского; Сорокин написал милые стихи, которые были читаны при громких рукоплесканиях товарищей.

18 февраля 1830 года

Сегодня читал первую лекцию русской словесности девице Екатерине Васильевне Зиновьевой. Ей лет семнадцать. Это бледное, эфирное, голубоокое маленькое существо.

24 февраля 1830 года

Читал первую лекцию политической экономии в университете. Слушателей было много. Присутствовали также два профессора философско-юридического факультета, Шнейдер и Бутырский, и попечитель. Говорят, я с честью вышел из этого первого испытания. Но я сам недоволен. Я чувствовал смятение говорить перед большим собранием, точь-в-точь как и в прошлом году, когда я на публичном университетском акте говорил краткое похвальное слово покойному профессору Лодию.

2 июля 1830 года

Вчера был на великолепном петергофском празднике. Поутру, в семь часов, заехал ко мне Д.В.Поленов, и мы на дрожках отправились с ним в Петергоф. Вдоль всей дороги уже тянулись непрерывною цепью экипажи — от Петербурга до самого Петергофа. Разнообразие этих экипажей, лиц, пестрота одежд представляли занимательную картину. В Петергофе мы с трудом отыскали дом училища, где нам отведена была квартира, и квартира прекрасная, какой многие могли нам позавидовать в этот день.

Кажется, весь Петербург нахлынул в Петергоф и запрудил его маленькие улицы. Окрестные поля были усеяны экипажами и палатками.

Вслед за нами приехали девицы Поленовы, сестры моего товарища, и мы

вместе отправились в сад. Нельзя сказать, чтобы там было большое оживление. Пестрая толпа чинно, почти угрюмо бродила по дорожкам; нигде веселья, а везде только одно любопытство. Гуляющие казались не живыми лицами, а тенями, мелькающими в волшебном фонаре. Несколько больше движения замечалось у палаток, над входами в кои виднелись надписи: “Лондон”, “Париж”, “Лиссабон” и проч. Но и тут известные особы в голубых мундирах спешили приводить в надлежащие формы каждое свободное движение.

К вечеру забрызгал дождик и прогнал нас в нашу квартиру. В празднике между тем оставалось главное: иллюминация. Мы уже отчаивались видеть ее, ибо дождь не переставал. Наконец к девяти часам он утих, и мы поспешили в сад.

Иллюминация была великолепна — для меня, впрочем, не новое зрелище, ибо я видел подобное же в Петергофе в 1825 году. Зрелище это действительно поражает. Моя дама, недавно выпущенная смолянка, горела в восторгах, зажженных в ее сердце этими великолепными огнями. Под конец она мне уже даже надоела восклицаниями на всевозможных языках “как это божественно, прелестно, очаровательно, мило!” и т.д. Так продолжалось до полуночи. В первом часу мы пустились в обратный путь, но только в три часа выехали из заставы петергофской: так было трудно прорваться сквозь хаос экипажей. Между тем облака более и более сгущались, скоро сплотились в тяжелую тучу, и, наконец, хлынул проливной дождь, который сопровождал нас до самого Петербурга. Жалко было смотреть на бедных пешеходов. Усталые, промокшие до костей, покрытые грязью, возвращались они к себе — и все это для удовольствия сказать: и мы тоже были в петергофском празднике. Немало также встретили мы по дороге переломанных экипажей. До дому мы добрались только в восемь часов утра.

5 сентября 1830 года

Ужасная болезнь холера-морбус в прошедшем месяце свирепствовала в Астрахани, оттуда двинулась в Саратов, Тамбов, Пензу и ныне посетила Вологду, как доносит о том местное начальство министру внутренних дел. В столице сильно беспокоятся. Болезнь сия, в самом деле, всего опаснее в большом городе: здесь настоящая ее жатва, а может быть, и колыбель. Притом климат петербургский и без того, особенно осенью, порождает много болезней.

Между тем как на севере Европы растет и развивается чудовище, готовое поглотить массу человеческих жертв, на западе и юге свирепствуют болезни политические. Франции удалось оттолкнуть от себя руку, готовившуюся сковать ее цепями. В три дня в ней остались одни развалины от безумного деспотизма, который стремился в ней водворить Карл X. Пример Франции пробудил от сна южную часть Нидерландов. В Брюсселе происходили кровавые схватки. В Испании также умы волнуются. В Португалии начинают скучать жестокостями дон Мигуэля.

Что у нас говорят о сих событиях? У нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много.

9 сентября 1830 года

Никита Иванович Бутырский, ординарный профессор политической экономии и экстраординарный российской словесности. Из духовного звания, воспитывался в бывшем Педагогическом институте и в числе других студентов был отправлен для усовершенствования за границу. У него тонкий, быстрый ум, верное эстетическое чувство и дар слова. Его предмет собственно эстетика и словесность; политическая экономия досталась ему по одной из тех прихотей судьбы, которые насильственно навязывают людям известные роли. У него нет ни той глубины ума, ни того постоянства в мышлении, которые необходимы для того, чтобы овладеть истинами, столь перепутанными различными житейскими отношениями, столь шаткими среди борьбы общественных стихий.

В преподавании словесности он держится середины между строгим классицизмом и новыми требованиями века, или, лучше сказать, он держится системы здравого рассудка, который знает, что формы в изящных искусствах не значат ничего, если они не оживотворены духом, но знает и то, что духу потребны формы, и формы строгие. Бутырский очень приятно излагает свой предмет; он говорит не сильно, но пленительно: его красноречие проникнуто чувством и потому нравится, хотя и не может вполне служить образцом. Его счастливая наружность, приятная манера, голос гибкий и звучный всегда готовы помочь ему там, где изменяют ему чувство или воображение. В нем, однако, один недостаток, который сильно вредит полноте его лекций: это частое повторение одних и тех же фраз, оборотов, применений и проч. Но это не от недостатка воображения или слишком однообразного хода его ума, а от другого недостатка, которым одержим сей любезный профессор, — недостатка, не столь обидного для самолюбия, но не менее вредного, а именно лени. Часто приходит он на лекции, вовсе не приготовив плана, о чем намерен читать, и, по необходимости, ищет убежища в повторениях или говорит милые безделицы, довольно приятные, чтобы не наскучить, но слишком бессодержательные, чтобы учить.

В основе нравственного характера Бутырского много доброты и благородства, но мало твердости, и потому в нем быстро совершаются переходы от радости к скорби, от ласки к гневу. Самое ничтожное подозрение, какой-нибудь пароксизм житейского горя способны превратить его дружбу в ненависть…

25 сентября 1830 года

Холера уже в Москве. Это известно официально. Говорят, что она и в Твери. Мы сегодня получили от министра предписание доносить ему ежедневно о больных воспитанниках в учебных заведениях, с означением, кто чем болен. От полиции предписано то же всем жителям столицы.

Итак, мы не на шутку готовимся принять сию ужасную гостью. В церквах молятся о спасении земли русской; простой народ, однако, охотнее посещает кабаки, чем храмы Господни; он один не унывает, тогда как в высших слоях общества царствует скорбь. По московской дороге, в Ижоре, учрежден род карантина, ибо вчера приехавший туда курьер умер, говорят, от холеры. Все спрыскиваются хлором,

запасаются дегтем и уксусом. Везде движение. Жизнь, почуяв врага, напрягается и готовится на борьбу с ним. Но что действительно можем мы противопоставить холере? Бодрость духа, покорность необходимости…

29 сентября 1830 года

Троицкий, из казенных студентов, окончивший курс в нынешнем году, молодой человек с отличными дарованиями. Попечитель хотел оставить его в Петербурге, чтобы он мог больше усовершенствоваться. Но министр решил иначе: он посылает его учителем в Могилев. Троицкий в отчаянии. Все было истощено в его пользу. Но начальство не понимает, что в Петербурге редкость хорошие преподаватели русской словесности и что такими людьми надо дорожить. У бедного молодого человека еще другое горе: он обручен с милою, образованною молодою девушкою, которую страстно любит, и теперь должен с нею расстаться. Мы вместе советовались, придумывали разные меры, но что значат наши слабые силы против власти начальника, не согретого ни чувством патриотизма, ни чувством человеколюбия?

31 октября 1830 года

В последнем номере “Литературной газеты” напечатаны стихи, гласящие в переводе: “Франция, назови мне их имена! Я не вижу их на этом надгробном памятнике. Они так быстро победили, что ты стала свободна раньше, чем узнала их”. По поводу сих стихов мы сегодня получили от Бенкендорфа бумагу с строгим требованием уведомить его, как цензор осмелился пропустить сии стихи и кто дал их издателю для напечатания? Ответы заготовлены уже. Подобные происшествия часто случаются в нашей цензуре.

2 декабря 1830 года

Меня приглашают занять место преподавателя русской словесности в высшем, или так называемом белом классе в Екатерининском институте. Инспектор заведения, действительный статский советник Герман, присылал за мной, и я вчера вечером был у него. Он из числа тех профессоров, которые были Магницким и Руничем изгнаны из университета. Этот человек умен и учен. Говорит по-русски худо, но охотно. Он долго меня продержал, был приветлив и порешил определить меня в институт.

3 декабря 1830 года

Сегодня поутру я был в институте. Помощник инспектора, Тимаев, представил меня начальнице, г-же Кремпиной. Мне объяснили план преподавания, которому я должен следовать. Девицам остается год до выпуска. Они почти ничего не знают из словесности, и в этот год надо сделать то, на что обыкновенно полагается три года. Жалованье невелико: 1050 руб. за девять часов преподавания в неделю Впрочем, место это считается почетным и представляет обширное поле для учебной практики.

Сверх того, приятно беседовать с милыми цветущими существами; приятно вселить хоть одну из своих идей в сердце матерей будущего поколения и содействовать их образованию, содействовать успехам русского общества.

10 декабря 1830 года

Сегодня читал первую лекцию в первом отделении, ибо и верхний класс по успехам девиц разделен на три отделения, из коих первое есть высшее. Меня ввела в класс начальница, г-жа Кремпина. Все девицы уже на возрасте. По близорукости я не мог видеть сидящих на задних скамьях, но из тех, которые впереди, многие прелестны. На всех отпечаток тихой непорочности, еще не омраченной страстями света.

Я некоторых экзаменовал. Они не много успели в два года. Я начал мою лекцию изложением плана, коему намерен следовать в преподавании, потом приступил к введению или общему обозрению словесных наук и изящного как основания оных. Начальница пробыла в классе до конца лекции и в заключение выразила свое полное удовольствие. Итак, начало сделано, кажется, успешно.

30 декабря 1830 года

Подарок русским писателям к Новому году: в цензуре получено повеление, чтобы ни одно сочинение не допускалось к печати без подписи авторского имени.

Истекший год вообще принес мало утешительного для просвещения в России. Над ним тяготел унылый дух притеснения. Многие сочинения в прозе и стихах запрещались по самым ничтожным причинам, можно сказать, даже без всяких причин, под влиянием овладевшей цензорами паники… Цензурный устав совсем ниспровержен. Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле русской нет и тени законности. Умы более и более развращаются, видя, как нарушаются законы теми самыми, которые их составляют, как быстро одни законы сменяются другими и т.д. В образованной части общества все сильнее возникает дух противодействия, который тем хуже, чем он сокровеннее: это червь, подтачивающий дерево. Якобинец порадуется этому, но человек мудрый пожалеет о политических ошибках, конец коих предвидеть нетрудно.

Внутренние условия нашей жизни, промышленность, правосудие и проч. тоже не улучшились за этот год… Да сохранит Господь Россию!

Конец летописи за 1830 год.

1881

1 января 1831 года

Новый год встретил у Деля. Собрание было большое, и все, кажется, веселились. Старинный обычай являться в масках еще держится. Многие и сюда в них явились. Дам было мало красивых. Инспектриса Екатерининского института, г-жа Штатникова, пышна, величава, но уже зрелых лет. Моей поэзией на нынешний вечер была сама хозяйка дома, Анна Петровна Дель. Она не хороша собой и не первой молодости: ей лет под тридцать. Но эта женщина меня очаровывает своим нежным женским умом, своею сердечною любезностью и невыразимо милым простодушием. Все это сообщает ее лицу такое выражение, что ее предпочтешь всякой красавице.

Поутру в Новый год я был осажден поздравителями. Никогда еще не бывало у меня такой толпы разнородных лиц — знак, вероятно, что и меня начинают считать за человека. Сам я был с визитами у институтского начальства, у князя Голицына. Вечер провел у Троицкого, который сегодня праздновал обручение свое с невестою.

6 января 1831 года

Был на балу у генерала Германа, инспектора классов в Екатерининском институте в Смольном монастыре. Все наши бальные собрания одинаковы. Разница только в убранстве комнат да в большей или меньшей роскоши угощений. Три рода людей обыкновенно присутствуют на балах: танцующие, бостонисты и зрители, в свою очередь разделяющиеся на зрителей игры и танцев. К последним принадлежат устаревшие дамы — матушки героинь французского кадриля и котильона — или мужчины, приглашаемые для счета. Меня танцы всегда пленяют. Я люблю наблюдать за игрою физиономий танцующих пар.

Женщины особенно доставляют для того благодарный материал; что же касается мужских лиц, они очень редко бывают выразительны. На этом бале я нашел не больше трех-четырех; к ним, бесспорно, принадлежит физиономия приятеля моего, Ивана Карловича Гебгардта. На лице его удивительно отчетливо напечатлены две отличительные черты его характера: легкая, грациозно-лукавая тонкость ума и благородство. Лицо его кипит игрою жизни цветущей, прекрасной. Оно светло, открыто, благородно. Но бойтесь встретиться с его улыбкою: тонкая аттическая ирония явится в ней, как шип возле розы.

Праздники миновали; в канцелярии масса работы. Правду сказать, я один работаю. Помощник мой худо мне помогает. Начальник мой, частью по доверию ко

мне, а частью по неохоте заниматься вещами, которые в сущности ничьему благу не содействуют, оставляет все на мое попечение. Между тем меня каждый день осаждает толпа просителей, из которых есть люди, вполне достойные помощи. Но при наших порядках весьма немногим удается помочь.

7 января 1831 года

Сегодня опять начались мои лекции в институте. Мои милые слушательницы встретили меня радостно. Между ними некоторые, особенно в первом отделении, с большими дарованиями. Есть и красивые лица. На всех институтках своя особенная печать. Лица их выразительны не так, как у девушек, воспитанных дома, то есть в гостиных.

16 января 1831 года

Сегодня экзаменовали моих студентов из политической экономии. Они отвечали, кажется, плохо; впрочем, не хуже, чем слушатели профессора Бутырского. Легко может случиться, что мне не дадут адъюнктства.

Барон Дельвиг умер после четырехдневной болезни. Новое доказательство ничтожества человеческого. Ему было 33 года. Он был, кажется, крепкого, цветущего здоровья. Я не так давно с ним познакомился и был им очарован. О нем все сожалеют как о человеке благородном.

18 января 1831 года

Вечер провел у Поленова, где девица Княжнина доставила всем живое эстетическое удовольствие своими прелестными танцами. Какое благородство, какая грация, непринужденность во всех ее движениях! Все другие барышни угасли перед ней, как звезды перед солнцем.

19 января 1831 года

Сегодня профессор Бутырский изъявил мне свое удовольствие за экзамен моих студентов в политической экономии. Вместе с тем он сообщил мне, что я уже внесен в список преподавателей университета на нынешний год. Профессор Шнейдер тоже хорошо отозвался о моем экзамене. Значит, надежда на адъюнктство не совсем еще исчезла.

20 января 1831 года

Сегодня был маленький экзамен моим ученицам в институте. Начальница показывала заведение инспектору Одесского института, который хочет запастись здесь образцами для подражания.

Девиц спрашивал из словесности сам инспектор Герман. Девицы отвечали

очень хорошо, особенно Быстроглазова, Воейкова и графиня Соллогуб.

Вызывая девиц, я, по незнанию еще их способностей, вызвал некоторых из слабых. Начальница заметила мне это и посоветовала затвердить в памяти лучших, чтобы при случае показывать их чужим людям.

21 января 1831 года

Был в театре и видел новую пьесу “Кровавая рука”, трагедия Кальдерона, перевод Каратыгина. Пьеса эта по идее своей ниже обычной кальдероновской высоты: она заключена в пределах одной человеческой страсти, раскрытой, однако, со всею гениальностью великого писателя. Исступления ревности — вот основа всей трагедии. Наша публика довольно холодно приняла пьесу, несмотря на превосходную игру Каратыгина. Оно естественно: мы не умеем любить, следовательно, и ревновать. Нам непонятна ярость испанца, честь и сердце которого одновременно оскорблены. Увы, понятие о чести для нас слишком рыцарское.

24 января 1831 года

Вечер провел у Михайловых. Генерал замучил меня своими ультрамистическими взглядами. Он верит духам, пророчествам, наитиям, видениям и всем нелепостям, какие воспламененная религиозная фантазия хотела в последнее время превратить у нас в предметы народного верования.

Чудные люди, эти мистики! Они во всем находят причины утверждаться в своем заблуждении. Если вы им говорите о законах природы, явно противоречащих их положениям, они приписывают эти противоречия случаю. Источник их заблуждения в односторонности: они слишком легко поддаются чувству, избегают разума.

Михаил Кузьмич Михайлов человек умный, а между тем рассказывает как о святых делах о нелепых поступках и пророчествах какого-то Архипа Сидоровича, вероятно, архиплута, который достает себе насущный хлеб тем, что морочит добрых, но легковерных людей.

28 января 1831 года

Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который за помещение в “Литературной газете” четверостишия Казимира Делавиня назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним.

За сим и “Литературную газету” запрещено было ему издавать. Это поразило человека благородного и чувствительного и ускорило развитие болезни, которая, может быть, давно в нем зрела.

6 февраля 1831 года

Обыкновенное наше годичное празднество. На сей раз дурно было выбрано для него место — гостиница в доме Балабина. Обед оказался из рук вон плох, хотя стоил дорого. Вина были хороши, потому что мы их сами покупали. Но если вещественная сторона нашего торжества была не блистательна, зато нравственная сияла радостным светом. Взаимное доверие одушевляло всех. Жар чести, свойственный юности, еще не угас в наших сердцах. Никто из членов нашего братства еще не очиновничился. Первый тост я предложил за успехи русского образования. В следующую пятницу будет у меня так называемое отдание праздника.

Из ближайших моих приятелей Поленов — человек со здравым умом и добрым сердцем. Он способен к делам благородным, но надо, чтобы он был одушевлен посторонним убеждением. Он твердо пойдет по пути, который для него проложат, и к цели, которую ему укажут, хотя бы успех стоил тяжких пожертвований.

Армстронг. Он толст, но так легок, что, как пух, гонимый ветром, то и дело меняет направление своих мыслей.

Вряд ли он когда-нибудь выработает в себе характер и, должно быть, кончит тем, что будет хорошим начальником отделения и рабом своей жены. Он сложен немного неповоротливо и физически, и нравственно. Он смотрит в глаза других, чтобы угадать мысль, которая освободила бы его от необходимости самому до чего-либо домыслиться. Но у него истинно прекрасное сердце. Он не способен ни на какое добровольное зло, а если будет для кого-нибудь вреден, то не иначе, как подобно ядру, непроизвольно стреляющему из пушки.

Михайлов. Эпиграфом к его биографии могут служит следующие стихи:

Как ветер, мысль его свободна,

Зато, как ветер, и бесплодна.

Я бы скорее покусился повесить фунтовую гирю на паутине, нежели вверить ему надежды мои. Однако ж в нем благородные чувства, и в минуту энтузиазма он может насказать много мужественного и решительного. Но он легче дыма улетит от вас, когда одумается. Он и опять прилетит к вам с убеждением человека мыслящего, для того чтобы убедиться, что надо снова оставить вас. Он приятен, как легкая, милая игра фантазии. Это мечта, сновидение благородного, но столь легкая, что она разлетается, лишь только вы захотите его обнять. Он кончит тем, что будет камергером или камер-юнкером. Чего же больше?

Линдквист. В голове его романтические затеи о величии. Герой его — Наполеон. Он способен к возвышенным идеям и даже соображениям. Жаль только, что он не понимает сам себя. От всех великих мужей Плутарха он отрывает по лоскутку их характера, взглядов и убеждений и из всего этого представляет смесь, в которой недостает только одного — самого Линдквиста. Однако о нем не так легко предвидеть, как о других, чем он кончит: он принадлежит судьбе; другие — обстоятельствам и отношениям света.

9 февраля 1831 года

Наконец после блистательного начала в институте я начинаю испытывать неприятности на этом новом поприще.

Таков ход вещей на свете. Вчера был я у Германа и тотчас заметил, что обращение его со мной переменилось: он сделался как-то суше и принужденнее. За ужином, впрочем, он, как и всегда, посадил меня около себя, но это оказалось не без умысла. Он прочел мне длинное наставление о том, что лекции мои в институте должны быть сколь возможно кратче; что, читая их, я не должен слишком вдаваться в теоретические исследования и блистать высотою или новизною идей; что с девицами надо сколь возможно избегать учености и т.д. Что же? Достопочтенный господин Герман, может быть, и прав, но в словах его противоречие. И он и помощник его, Тимаев, сначала требовали, чтобы в первом отделении я не стеснялся, распространялся, как хочу. Первая лекция, прочитанная мною в этом духе, была одобрена и им, и Тимаевым. Из этого заключаю, что мне нелишнее подумать об отставке.

Еще другая неприятность. Я был вчера у Бутырского. Нынешний год я, кажется, не буду представлен к адъюнктству.

— Надобно, — сказал он, — чтобы прежде были успехи по вашему предмету.

В итоге: я не удовлетворил ни политико-экономов, ни словесников.

11 *февраля 1831 года*

Я объяснялся сегодня с инспектрисою Штатниковой. Она объявила мне, что не только в институте все довольны мною, но что сам г-н Вилламов, который три раза был на моих лекциях, поздравлял институт с приобретением меня.

— Вас понимают, — продолжала она, — вы заботитесь не об одном том, чтобы девицы умели проболтать на экзамене несколько выученных наизусть правил риторики и пиитики. Но вы хотите направить их вкус, ввести в дух литературы. Это-то и не нравится нашим здешним ученым. Вы, как и господин Плетнев, как и законоучитель наш, следовавшие одной методе с вами, будете не раз подвергаться неприятностям. Но, ради Бога, не смотрите на это: идите своей стезей; вас понимают совершенно. Вы возбудили энтузиазм ваших учениц, и с этим и экзамен вам не страшен.

Слова сии заставили меня пока умолчать о намерении моем насчет отставки. Однако с Тимаевым я должен объясниться.

Г-жа Штатникова советовала мне познакомиться с Плетневым. Он был несколько лет в институте и может сообщить мне нужные сведения о механизме здешних дел.

Германа, очевидно, не любит женская партия и состоит с ним в более или менее открытой вражде. Невольно и я очутился в среде всех этих сплетен. Надеюсь

благоразумным выполнением своего долга поставить себя выше этих мелочей. Если же нет, у меня всегда наготове отставка.

15 *февраля 1831 года*

Был поутру у Плетнева. В его обращении простота. В чувствах и речах больше мягкости, чем силы. Он порассказал мне об институтских порядках такую правду, что хуже вся кой лжи. Сведения, которые он мне доставил, ничего, однако, не изменили в системе моих действий. Одно только считаю я теперь лишним, это ехать с кем бы то ни было объясняться.

Говорили мы с ним также и о литературе нашей, то есть оплакивали ее ничтожество. Он просил меня поддерживать своими статьями “Литературную газету”, в которой видит наследие благородного барона Дельвига. Мы расстались, кажется, друзьями. Он просил меня посещать его по средам вечером и, между прочим, обратить в институте внимание на племянницу Жуковского, Воейкову, и на графиню Соллогуб.

16 февраля 1831 года

Был в театре на представлении комедии Грибоедова “Горе от ума”. Некто остро и справедливо заметил, что в этой пьесе осталось одно только горе: столь искажена она роковым ножом бенкендорфской литературной управы.

Игра артистов также нехороша. Многие, не исключая и В.А. Каратыгина-большого, вовсе не понимают характеров и положений, созданных остроумным и гениальным Грибоедовым.

Эту пьесу играют каждую неделю. Театральная дирекция, говорят, выручает от нее кучу денег. Все места всегда бывают заняты, и уже в два часа накануне представления нельзя достать билета ни в ложи, ни в кресла.

25 февраля 1831 года

На днях я с удовольствием прочитал роман знаменитого Бенжамена Констана “Адольф”. В нем разобраны сплетения человеческого сердца и изображен человек нынешнего века, с его эгоистическими чувствами, приправленными гордостью и слабостью, высокими душевными порывами и ничтожными поступками. Байрон сказал в “Дон-Жуане”: для мужчины любовь есть эпизод, для женщины — история. В “Адольфе” эта идея развита со всеми ее тончайшими оттенками.

“Адольфа” перевел князь Вяземский: цензура затруднялась пропустить этот роман, потому что он — сочинение Бенжамена Констана! Сколько труда стоило мне доказать председателю цензурного комитета, человеку, впрочем, образованному, что одно имя автора еще не есть статья, оскорбляющая правительство или грозящая России революцией. Вот под влиянием каких понятий должны мы совершенствоваться сами и совершенствовать молодое поколение.

28 февраля 1831 года

Обедал и вечер провел у Поленова. Здесь встретил я девицу Поганато, недавно выпущенную из Смольного монастыря. Она гречанка, и это доказывают вполне греческие формы ее лица, бледного, умного, очень выразительного, украшенного черными, как вороново крыло, волосами и озаренного лучезарным блеском таких же глаз. Она бедная сирота. Ее принял к себе в дом священник иностранной коллегии. Бедная девушка! Как тяжело, должно быть, ее положение: с таким образованием, и состоять в рабстве у самых мелких житейских нужд. Женщина, еще дитя, без покровителя, без помощи, она возбуждает невольное участие.

6 марта 1831 года

Читаю курс литературы Лагарпа. Какой он раб Аристотеля! Аристотель, Баттё, Блер, Лагарп — все эти господа рассуждают о литературе как о каком-то ремесле. Вот так и изготовляются сочинения: трагедии, комедия, речи и проч., как башмаки, платья, мебель. Они не смотрят на словесное произведение как на проявление духа человеческого, стремящегося ко всестороннему развитию в истинном, благом и изящном. Правило: подражай природе, относится к самой низкой стороне искусства и заключает в себе лишь малейшую часть его. Это то, что мы читаем в пиитиках и риториках в статье о *правдоподобии.* Другими словами сказать: пиши для человека по-человечески. Но без идеалов нет изящных искусств. А если бы они и были без них, то не много оказали бы услуг человеку. Нашему веку предоставлена честь возвратить поэзии права ее, то есть показать, что она есть жизнь, и лучшая жизнь человеческого сердца, и что ее назначение не суетная забава праздных людей, но пробуждение в человеке всего божественного, положительное, прямое развитие всего благородного в его духе.

Читал “Последний день приговоренного к смерти” Гюго. Этого сочинения нельзя читать без содрогания, особенно главу, где несчастный прощается с малюткой дочерью. Справедливо ли упрекают нынешних романистов за то, что они выбирают сюжеты столь мрачные? Мне кажется — нет, приняв в соображение воодушевляющую их идею. Эти писатели заслуживают, напротив, благодарности. В самых мрачных глубинах сердца человеческого, среди тяжкого напряжения страстей они отыскивают искры нравственной красоты и спасают от отчаяния душу человеческую, которая без сего ужаснулась бы самой себя при виде некоторых пороков и злодеяний. Это-то и есть поэтическая сторона произведений, в которых играют роль убийцы и всякого рода злодеи и преступники. В этих произведениях, кроме того, обращается внимание читателя на причины кровавых событий, где человек является так низко падшим. Они указывают в сердце злополучного светлую точку, которая была зерном добрых наклонностей, но в заключение подернулась, как тиною, томлениями нищеты, ранними незаслуженными страданиями, презрением, которым свет многих обременяет при первом появлении их на сцену жизни. Но для чего это? — спросят. Для того, чтобы содрогнулись притеснители и пробудились угнетенные.

16 марта 1831 года

Обедал вчера у отставного директора морского департамента, г-на С. На этот раз и здесь царствовала убийственная скука, которая большею частью всегда царствует в так называемых “хороших обществах”. Я пришел к г-ну С. в три часа. Об обеде еще и не думали. Екатерина Лукьяновна была уже в гостиной. Она встретила меня с восторгом. Из уст ее полилась река сладких речей с обычными ей декламаторскими восклицаниями.

Она принадлежит к числу тех широковещих, впрочем, неглупых дам, которые болтают обо всем: о погоде, шляпках, философии, французской революции, о делах Бельгии, о Дибиче, польской войне и проч. Я достался ей на жертву почти на полчаса и в то же время вынес целый град восклицаний. Наконец гостиная наполнилась чающими движения к суповой чашке. Здесь было несколько гвардейских офицеров с решительным видом, этим отличительным признаком наших рыцарей гвардейских и негвардейских; несколько департаментских чиновников с лицами, застывшими в покорном равнодушии ко всему, что не текущие дела их департамента. Несколько девиц уселись на диване, а возле них разместились несколько любезников в мундирах и во фраках.

Последние усиленно работали умами: они припоминали всё, когда-либо читанное ими во французских романах или слышанное от французских дядек, и изливали это в виде каламбуров, анекдотцев, разных возгласов о том о сем, а более ни о чем. Милые девицы очень смеялись и казались искренно довольными своими кавалерами.

20 марта 1831 года

Вечером был у Плетнева. Здесь познакомился с издателем “Литературной газеты” Сомовым. Физиономия его неказиста. Разговор не обличает ни пылкости, ни остроумия. Но я не нашел в нем и той заносчивости, какою отличаются иные из его журнальных статей. Я поздно приехал и недолго пробыл у Плетнева. Разговор был общий о литературе: это был плач Иеремии над развалинами Сиона.

8 апреля 1831 года

Сегодня я в первый раз видел близко государыню императрицу Александру Федоровну. Она была в институте и пришла прямо в мой класс. Здесь пробыла она более сорока минут. Поздоровавшись с воспитанницами, она приветливо поклонилась мне, сказала “продолжайте” и села с г-жою Кремпиной за столик, где обыкновенно сидит классная дама.

Я, стоя, спрашивал девиц. Она внимательно слушала их ответы, иногда говорила несколько слов г-же Кремпиной. Девицы отвечали очень хорошо (разумеется, спрошены были самые лучшие). Особенно отличились Быстроглазова, Калиновская вторая, Милорадович. Воейкова сконфузилась. После ее величество, поговорив с Калиновскою и Воейковой, обратилась ко мне с вопросом:

— Давно вы служите здесь?

— Четыре месяца, ваше императорское величество.

— Довольны вы воспитанницами вашими?

— Очень доволен, ваше императорское величество, они весьма прилежны.

Она ласково поклонилась, раскланялась с девицами и ушла.

У императрицы стройная, величественная фигура, каких, я думаю, немного есть; лицо бледное, но также величественное, с оттенком добродушия; в ее приемах и обращении много приветливого и ласкового. Она, кажется, осталась довольна воспитанницами.

Мои милые девицы пришли в большое смятение, услышав о приезде государыни. Она давно уже не была в институте и теперь приехала неожиданно.

“Меня не спрашивайте, пожалуйста, меня не спрашивайте” или: “Спросите вот то-то и то-то”. Но я спрашивал без профессорского подлога все, что было нами пройдено из теории прозы.

22 апреля 1831 года

Праздники. Как водится, делал визиты в первый и второй день. Смешно видеть, как люди скучают иными светскими обязанностями и между тем с такой суетливостью спешат исполнять их — одни даже не без тайного удовольствия, другие с важностью, точно священнодействуют.

У Михайлова познакомился я с Воейковым, отцом моей институтки.

Он благодарил меня за нее и вообще наговорил мне кучу комплиментов по поводу моих институтских лекций.

Сегодня же был под качелями и между прочим в балагане Лемана. Шутовские выходки этого полуартиста довольно забавны. Пляска на канате, ходьба на руках, кувырканье через голову, хотя и свидетельствуют о большой гибкости тела и гимнастическом искусстве, мне не полюбились. Тут человек как-то слишком себя порабощает — чему? Сам не знаю, чему — желудку, что ли? Довольно ловко проделан следующий фарс. Паяц ест яйцо. Вдруг схватывает его сильная боль в животе. Он корчится по-паяцовски, стонет и проч. Приходит доктор, делает ему во рту операцию и вытаскивает оттуда пребольшую утку, которая движется, точно полуживая.

К Леману нелегко пробраться. У дверей его храма удовольствий так тесно, как в церкви в большой праздник до проповеди. Я с трудом достал билет, еще с большим трудом пробрался к дверям. Многие дамы кричали, что им дурно; один офицер, сопровождавший молодую девушку, храбро состязался с мальчиком лет четырнадцати. Последний, стиснутый толпой, толкнул локтем в плечо красавицу, которая глупо улыбалась, когда рыцарь ее бранился с мальчиком, стараясь запугать его своим офицерством.

Был я также и в зверинце Лемана. Молодой слон очень мил. Он с точностью

исполнял все предписания хозяина: щеткою чистил себе ноги, смахивал себе со спины пыль платком, звонил в колокольчик, плясал, то есть передвигал в такт передние ноги и топтался на месте. Не без любопытства рассматривал я также обезьян. Невольно вспомнилось мне здесь недавно прочитанное мною замечание Гердера, который придает так много цены прямому телосложению человека, чего лишены другие твари.

Я не мог здесь не согласиться с ним.

22 мая 1831 года

Опять цензурное гонение. В “Северной пчеле” напечатана юмористическая статья Булгарина “Станционный смотритель”, где, между прочим, человек сравнивается с лошадью, для которой нужен только хороший хозяин и кучер, чтобы она сама была хороша. Наш министр, князь Ливен, увидел в этой статье воззвание к бунту. Он сделал доклад государю, чтобы отрешить цензора В.Н.Семенова и наказать автора. Сегодня был у меня первый. Он очень встревожен. Впрочем, Бенкендорф обещал за него заступиться. В городе удивляются и негодуют. Говорят, что министр рассердился, полагая, что статья написана на него. Странный способ успокаивать умы и брожение идей! Меры решительные и насильственные — какая разница! Их смешивают.

28 мая 1831 года

Дело о цензоре Семенове решено благоразумно: оно оставлено без уважения. Бедный Семенов, однако, сильно натерпелся в эти дни. Ныне немногие могут похвалиться твердостью духа не на словах только, но и на деле.

19 июня 1831 года

Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности.

Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности.

20 июня 1831 года

Мы учреждаем для своих чиновников лазарет. Сегодня я целый день хлопотал с попечителем об этом. Ездил к Кайданову просить совета о докторе.

В столице мало докторов, и теперь их трудно достать.

В городе недовольны распоряжениями правительства; государь уехал из столицы. Члены Государственного совета тоже почти все разъехались. На генерал-губернатора мало надеются. Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу. В каждой части города назначены попечители,

но плохо выбранные, из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостыо и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки.

Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей, и т.п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении: оно не принимает никаких мер к успокоению умов.

21 июня 1831 года

На Сенной площади произошло смятение. Народ остановил карету, в которой везли больных в лазарет, разбил ее, а их освободил. Народ явно угрожает бунтом, кричит, что здесь не Москва, что он даст себя знать лучше, чем там, немцам лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо.

Мы с попечителем осматривали наши учебные заведения; благодаря судьбе в них еще не появилась холера. Мы деятельно озабочены скорейшим окончанием лазарета.

Был сегодня у ученого секретаря Медико-хирургической академии, Чаруковского, просить его о докторе и о двух студентах из академии для нашей больницы. Он отослал меня к главному доктору Реману. Здесь также наслышался о бездеятельности правительства. Больные отданы на жертву холеры. Все делается только для виду.

22 июня 1831 года

В час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт. Одевшись наскоро, я уже не застал своего генерала: он вместе с Блудовым пошел на место смятения. Я прошел до Фонтанки. Там спокойно. Только повсюду маленькие кучки народу. Уныние и страх на всех лицах.

Генерал вернулся и сказал, что войска и артиллерия держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких лекарей.

23 июня 1831 года

Три больницы разорены народом до основания. Возле моей квартиры чернь

остановила сегодня карету с больными и разнесла ее в щепы.

— Что вы там делаете? — спросил я у одного мужика, который с торжеством возвращался с поля битвы.

— Ничего, — отвечал он, — народ немного пошумел. Да не попался нам в руки лекарь, успел, проклятый, убежать.

— А что же бы вы с ним сделали?

— Узнал бы он нас! Не бери в лазарет здоровых вместо больных! Впрочем, ему таки досталось камнями по затылку, будет долго помнить нас.

Завтра Иванов день; его-то чернь назначила, как говорят, для решительного дела.

Полиция, рассказывают, схватила несколько поляков, которые подстрекали народ к бунту. Они были переодеты в мужицкое платье и давали народу деньги.

Государь приехал. Он явился народу на Сенной площади. Нельзя добиться толку от вестовщиков: одни пересказывают слова государя так, другие иначе.

Известно только, что взяты меры к водворению спокойствия.

26 июня 1831 года

Вот и возле нас холера сразила несколько жертв. Профессор физики Щеглов, пострадав около шести часов, умер. Кастелянша в пансионе сегодня занемогла и через пять часов тоже умерла. Умер и профессор истории Рогов.

27 июня 1831 года

Тяжел был вчерашний день. Жертвы падали вокруг меня, пораженные невидимым, но ужасным врагом. Попечитель до того растревожился, что сделался болен: а теперь болезнь и смерть синонимы. По крайней мере так думают все. В сердце моем начинает поселяться какое-то равнодушие к жизни. Из нескольких сот тысяч живущих теперь в Петербурге всякий стоит на краю гроба — сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого.

28 июня 1831 года

Болезнь свирепствует с адскою силой. Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу. Народ от бунта перешел к безмолвному глубокому унынию. Кажется, настала минута всеобщего разрушения, и люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже и их последний час.

30 июня 1831 года

Вчера умерших было 231 человек.

1 июля 1831 года

Хотелось бы мне узнать, что происходит в институте. Я просил Анну Петровну Дель написать к г-же Штатниковой. Она, верно, уведомит ее, если холера и туда проникла. В Смольном монастыре, говорят, уже умерли три девицы.

3 июля 1831 года

Вчера был у меня доктор Гассинг. Он говорит, что холера начинает несколько ослабевать. Третьего дня умерших было 277 человек, вчера 235.

Сейчас получил записку от Деля, в которой он извещает меня, что в институте умерли от холеры четыре девицы, из них две моего класса — одна Львова, другая Якубовская из второго отделения.

30 июля 1831 года

Давно уже не писал я ничего в моем дневнике. Между тем холера почти прошла. Меня судьба пощадила — для чего? Я об этом так же мало знаю, как мало размышляла она, выдергивая наудачу имена тех, которым надлежало погибнуть.

3 сентября 1831 года

Сегодня открыт институт, и я начал снова в нем мои лекции.

23 сентября 1831 года

Был вечером у Плетнева. Я думал найти там А.С.Пушкина, однако его там не было. Вместо себя он прислал едкую критику на Булгарина и Греча и несколько новых стихотворений для “Северных цветов”.

Здесь в первый раз видел барона Розена, автора нескольких весьма приятных стихотворений, в которых выражается душа, страстная к идеалам. Был неизменный наш собеседник по средам, Сомов, который теперь очень озабочен по случаю издания “Северных цветов”. Я обещал ему по его просьбе отрывок из моего “Леона”.

21 октября 1831 года

Уже несколько недель продолжается в университете дело о моем адъюнктстве. Я представил сочинение. Факультет рассмотрел его и сделал заключение, что “сочинение сие доказывает не только большие познания автора, но и большие дарования, и притом написано красноречиво”.

Один из профессоров, Пальмин, восстал против общего мнения и утверждал, что сочинение написано не красноречиво. Завязался спор, и дело отложено до следующего заседания. Все это не иное что, как игра мелких страстей. Сначала я вел себя дурно: негодовал, оскорблялся, грустил.

7 ноября 1831 года

Вчера был на литературном обеде у Василия Николаевича Семенова. Там были: Греч, Сомов, барон Розен, Вердеревский; ожидали Погодина и Каратыгина, но им что-то помешало. Греч блистал неистощимым остроумием. Он чрезвычайно любезен в обществе. После стола у всех раскрылось сердце и развязались уста. Я, между прочим, был осыпан от всей литературной братии преувеличенными комплиментами. Сомов принес мне от А.С.Пушкина поклон и сожаление, что в последний раз у Плетнева не сошелся со мной.

Под конец нашей беседы пристали к Гречу, чтобы он разорвал свою связь с Булгариным, которого все притом не очень-то вежливо называли. Греч соглашался только в том, что он сумасшедший.

10 ноября 1831 года

Сегодня подал я в университет просьбу об увольнении меня от преподавания политической экономии.

Задушевные предположения мои, святая цель действовать на ученом поприще, рушились. Мне казалось, что я призван к этому делу; я готовился к нему. Все говорили, что я имею к тому дарования. Сочинение мое одобрено факультетом. Один человек из всего университетского совета, профессор философии Пальмин, отнесся к нему неодобрительно. Удивительно, почему он, в начале моего студенчества так ласкавший меня, теперь на каждом шагу ставит мне препятствия? Он подал в университет возражение на мое сочинение: его осмеяли, но уважили, и меня отвергли — по крайней мере выразили некоторую склонность к тому, чтобы отвергнуть. Мне остается одно: подать в отставку, и я это уже сделал. Мне тяжело сегодня, очень тяжело, ибо план целой моей жизни рушился.

26 ноября 1831 года

У меня кончились экзамены в институте в первом отделении. Я получил благодарность за успехи девиц от инспектора и начальницы.

Дело мое об адъюнктстве было рассматриваемо в совете университета. Мнение Пальмина отвергнуто, и положено баллотировать меня в следующее заседание. Профессор Сенковский сильно защищал мое сочинение против возражений Пальмина. Он своими едкими замечаниями сделал последнего смешным.

1 декабря 1831 года

Вчера был на представлении Кребильоновой трагедии “Атрей”, которую перевел и поставил на сцену наш Сорокин. Эта пьеса выкроена по мерке французского классицизма, и я боялся, чтобы Сорокина не ошикали за дурной выбор. Для предупреждения этого мы, его бывшие товарищи, составили заговор поддержать пьесу. Во всех почти рядах кресел заседал кто-нибудь из наших. Публика равнодушно отнеслась к трагедии, но мы захлопали, закричали, увлекли других, и переводчик был вызван.

7 декабря 1831 года

Сегодня Дель был у меня с известием, что я избран единогласно советом университета в адъюнкты по кафедре политической экономии. Десять шаров белых, один черный, и тот Пальмина.

25 декабря 1831 года

Совет университета признал меня достойным адъюнкт-ства на основании (как сказано в его представлении) “отличных дарований, успешного чтения сей науки (политической экономии) в течение двух лет и представленной мною диссертации, которая по познаниям и по изложению заслуживает полное одобрение”. Это все, и больше, чем требует закон в таких случаях. Попечитель на основании всего этого сделал представление министру. Но сей последний — чего никогда прежде не делал — потребовал мою диссертацию к себе. Вчера мне об этом сказывал Языков. Министр хочет отдать ее на рассмотрение в Академию наук. Тут добра не ждать. Академия не благоприятствует русским ученым. Министр говорил попечителю, что затрудняется утвердить меня в адъюнктстве потому, дабы не подумали, что мне дали это звание из уважения к моему посту при попечителе.

Я думал, что уже достиг берега, а на деле выходит, что опять брошен в пучину политического и общественного хаоса. Самое адъюнктство мне, наконец, опротивело. Точно оно не право мое, а милость, мне оказываемая.

1832

1 января 1832 года

Что даст новый год? В истекшем судьба части вызывала меня на бой. Адъюнктство мое все еще не утверждено. В Екатерининском институте дела мои зато шли успешно. Расположение моих учениц ко мне не охладевает. Я успел, как мне кажется, передать им несколько истин, которые помогут им со временем сделаться полезными членами общества.

14 января 1832 года

Я не ошибся в моем предположении. Министр и без академии почти открыто дал заметить вчера попечителю, что обходит меня адъюнктством только потому, что я не немец. Диссертаций моих он никуда не отсылал: они смиренно покоятся у него в кабинете. Я обязался попечителю еще несколько дней не предпринимать ничего решительного.

16 января 1832 года

Сегодня состоялась репетиция экзамена в институте. Внешность доведена здесь до высокой степени эстетического совершенства. Впрочем, девицы — разумеется, избранные — очень хорошо отвечали из всех предметов и из моего. Весь парад кончился в четыре часа, и я остался обедать у начальницы.

Бурный вечер. Я перечитывал “Макбета” Шекспира. Мне кажется, что изо всех трагедий великого поэта эта — самая быстротечная по ходу действия. Но не в этом дело, а в характере героя ее. Душа Макбета была бы совершенная бездна ада, если бы порой дикое угрызение совести, подобно блеску молнии, не сверкало в ее мрачной глубине. Это душа сильная, героическая. Страсти непоборимые таятся в изгибах ее: это стихии всего великого, но и всего ужасного. Если бы разум был зодчим в этой душе, могло бы произойти нечто великое. Что я говорю? Разум? Если б другой случай, а не адское предсказание ведьм, встретился у него на пути и пробудил в нем эти страсти — Макбет был бы другим. Так грозный, всесокрушающий фатализм налагает свою железную руку на волю человека и порабощает его. Имел ли Шекспир в виду это, создавая Макбета? Его леди не подходит под эту категорию: в ней видна уже свободная решимость на злодейство. Правду кто-то сказал, что по Шекспировым творениям можно учиться эмпирической психологии. Мало того: в них содержится полный курс ее. Так велико разнообразие нравственных образов, созданных этим великим человеком.

25 января 1832 года

Сегодня был экзамен в институте в присутствии императрицы Александры Федоровны. Девицы отвечали очень хорошо, но я плохо делал вопросы: был нездоров, и голос мне не повиновался. Герман и Тимаев то и дело подходили ко мне с увещанием говорить погромче. Государыня, впрочем, благодарила меня.

Я и забыл записать в моем журнале, что меня, наконец, утвердили в звании адъюнкт-профессора политической экономии. Если я его достоин, зачем было тормозить дело, а если недостоин, зачем дали мне его теперь?

6 февраля 1832 года

Обыкновенный наш годичный праздник по случаю выпуска из университета. Мы обедали в трактире Гейне на Васильевском острове. Праздником распоряжался Гебгардт и устроил все прекрасно. Мы все были одушевлены. Печерин написал к этому дню и прочел прекрасные стихи. Это человек с истинно поэтическою душою. В нем все задатки доблести, но еще нет опыта в борьбе со злом. Выйдет ли он в заключение победителем из нее? Поленов пел, плясал, шалил, но так оригинально и мило, что невольно срывал улыбку. Михайлов был менее обыкновенного говорлив. Тосты были питы за успехи русского образования, за здоровье поэта, воспевшего настоящий праздник, за распорядителя пира и, как водится, за мое. Наконец, каждый пил за то, что ему всего дороже. В 12 часов все было кончено.

10 февраля 1832 года

Сегодня в институте присутствовал при последней репетиции, а потом поехал к Шулепникову, который просил учить детей его словесности. Там приняли меня не только любезно, но с почетом. Я начинаю входить в моду: какая нелепость!

Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. “Европейца” запретили. Тьфу! Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно!

14 февраля 1832 года

Два минувшие дня, пятница и суббота, были для меня полны поэзии. В институте состоялся публичный экзамен XI выпуска девиц. Я экзаменовал из своего предмета в пятницу и получил горячую благодарность от председателя совета, действительного тайного советника Тутолмина. Против обыкновения я даже сам был доволен собой.

20 февраля 1832 года

Вчера между моими прочими пятничными посетителями был мой новый

знакомый Шипулинский, двоюродный брат моей блестящей ученицы Быстроглазовой. Это весьма образованный молодой человек. Он и в литературе известен небольшой комедией “Проказы ревнивых”, в которой если не много комического таланта, зато очень хороший, легкий стих, характеры благородные и ничего изысканного или пошлого. Он очень серьезен, и на лице его печать меланхолии.

Михайлов, Владимир, смешил нас до слез своими фарсами, действительно забавными и грациозными. У него необыкновенная способность передразнивать всех. Он совершенно воплощается в изображаемое им лицо — и притом живо, натурально и изящно. Я сам с удовольствием, как в зеркале, видел в нем некоторые мои любимые приемы и жесты.

25 февраля 1832 года

Я утопаю в канцелярских заботах. Дел накопилось масса. Душа мертвеет среди этого административного хаоса, в сущности ничего не производящего. Впрочем, как ничего? Ведь мы так или иначе все же поддерживаем государственную машину. Но это мог бы сделать всякий, у кого есть глаза, руки и желудок.

28 февраля 1832 года

Сегодня начальница института, госпожа Кремпина, вручила мне брильянтовый перстень от государыни за экзамены, с весьма лестным приветствием. Но для меня готовилась лучшая награда, которой я, к сожалению, не воспользовался. Девицы сговорились в день выпуска — в прошлый четверг — поднести мне в подарок и в знак памяти разные свои рукоделия. Быстроглазова, между прочим, вышила лавровый венок. Но за мной не послал тот, кому это было поручено, и мои милые ученицы разъехались, не исполнив своего намерения.

2 марта 1832 года

Сегодня Пушкин рассказывал у Плетнева весьма любопытные случаи и наблюдения свои во время путешествия своего в Грузию и в Малую Азию в последнюю турецкую войну. Это заняло нас очень приятно. Пушкин участвовал в некоторых стычках с неприятелем.

21 марта 1832 года

Недавно выслушал я прелюбопытную лекцию опытной психологии — у квартального надзирателя. Он пришел в канцелярию по какому-то делу. Я начал с ним разговор о предметах его звания. По его словам, величайший разврат царствует в классе низших чиновников, мещан и купцов, которые позажиточнее. Мой квартальный наблюдатель полагает этому две причины: необразованность и жажду роскоши. Каков! Не прав ли он? Молодая женщина, говорит он, спокойно продает

себя за новую шляпку, платье или другое более или менее ценное украшение. Муж ее, со своей стороны, несет куда не следует свои деньги и здоровье. Опытные старухи стерегут молоденьких невинных девушек, увлекают их и бросают в объятия тому, кто даст за них дороже.

— Хороши у нас также правосудие и администрация, — продолжал квартальный. — Вот хоть бы у меня в квартале есть несколько отъявленных воров, которые уже раза по три оправданы уголовною палатою, куда представляла их полиция. Есть несколько других воришек, которые исправляют ремесло шпионов. Есть несколько промышленников, доставляющих приятное развлечение превосходительным особам: промышленники сии также пользуются большими льготами.

— А какова полиция? — спросил я.

— Какой ей и быть надлежит при общем положении у нас дел. Надо удивляться искусству, с каким она умеет, смотря по обстоятельствам, наворачивать полицейские уставы. Мы обыкновенно начинаем нашу службу в полиции совершенными невеждами. Но у кого есть смысл, тот в два-три года сделается отменным чиновником. Он отлично будет уметь соблюдать собственные выгоды и ради них уклоняться от самых прямых своих обязанностей или же, напротив, смотря по обстоятельствам, со всею строгостью применять законы там, где, казалось бы, они не применимы. И при этом они не подвергаются ни малейшей ответственности. Да и что же прикажете нам, полиции, делать, когда нигде нет правды.

И он подтвердил все сказанное весьма и весьма красноречивыми фактами.

3 апреля 1832 года

Сейчас были у меня Сомов и Якубович. Сомов печатает свои повести. Они очень сухи; в них нет ни поэтического создания характеров, ни энергии в рассказе. Плавность, чисто, правильно — и все тут.

Читал Хомякова трагедию “Димитрий Самозванец”. Нет, Хомяков решительно не имеет драматического таланта. Ни один характер не создан как должно; действия нет; одни разговоры, которые можно было бы наполовину сократить без всякого ущерба для целости пьесы. Стихи очень хороши. Но драма требует не слов, а дела.

20 апреля 1832 года

В настоящее время у нас в России есть, так сказать, средний род умов. Это люди образованные и патриоты. Они составляют род союза против иностранцев, и преимущественно немцев. Я называю их *средними* потому, что они и довольно благородны и довольно просвещенны: по крайней мере они уже вырвались из тесной сферы эгоизма. Но они сами себе не умеют дать отчета: хорошо ли безусловное отвержение немцев? Они односторонни и, действуя по страсти, разумеется, увлекаются дальше надлежащих границ. Большая часть людей этих из ученого сословия.

Немцы знают, что такая партия существует. Поэтому они стараются сколь возможно теснее сплотиться, поддерживают все немецкое и действуют столь же методически, сколько неуклонно. Притом деятельность их не состоит, как большею частью у нас, из одних возгласов и воззваний, но в мерах. Эта борьба может при случае иметь вредные последствия. Она будет у нас не между сословиями и партиями, как во Франции, сражающимися за идеи, а будет племенная, что всего хуже для России многоплеменной.

По сердцу и чувству мы, русские, богаче всех других европейских народов. Но по твердости духа мы ниже их: вот почему так много несообразности в наших страстях и понятиях.

22 апреля 1832 года

Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, “Повестей пасечника Рудого Панька”. Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие.

У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанников нежинской гимназии. Между ними никого замечательного. Любич-Романович, правда, не без дарований, но, вспыхнув маленьким огоньком, он уже быстро гаснет. Он принадлежит к категории тех писателей, которым никогда не приходит в голову, что для того, чтобы быть поэтом, надо учиться, много учиться в школе жизни, опыта, природы и истории человечества.

14 мая 1832 года

У нас новый товарищ министра народного просвещения, Сергей Семенович Уваров. Он желал меня видеть; я был у него сегодня. Он долго толковал со мной о политической экономии и о словесности. Мне хотят дать кафедру последней. Я сам этого давно желаю.

Уваров человек образованный по-европейски; он мыслит благородно и как прилично государственному человеку; говорит убедительно и приятно. Имеет познания, и в некоторых предметах даже обширные. Физиономия его выразительна. Он давно слывет за человека просвещенного. С помощью его в университете принята и приводится в исполнение “система очищения”, то есть увольнения неспособных профессоров. Толмачеву и Боголюбову уже ведено подать в отставку. Пальмин отрешен.

6 июня 1832 года

Опять был у товарища министра. Разговор с ним во многом вразумил меня относительно хода наших политических дел, нашего образования и прочее. Он опять выразил намерение дать мне кафедру словесности в качестве экстраординарного профессора. Конечно, мне это приятно, но я этого не искал. Бутырский же

разглашает в публике, что я хочу лишить его кафедры с тем, чтобы самому сделаться ординарным профессором. Мне и в голову не приходила такая мысль. Я сегодня впервые услышал от Уварова, что Бутырского действительно удаляют из университета и на его место назначают Галича. Вечером попечитель послал меня к последнему с приглашением занять кафедру русской словесности.

8 июня 1832 года

Был сегодня свидетелем страшного зрелища. Пожар, какого не запомнит Петербург, истребил почти всю Ямскую до самой Лиговки. Около двухсот зданий, говорят, сделалось жертвою пламени. Всего три дома и небольшой огород отделял сцену этой бурной драмы от нашего университета. Спасение последнего зависело от того, прекратится или нет ветер, который с утра свирепствовал. Нет ничего ужаснее, но и величественнее, как бурный поток огня, охвативший обширное пространство. Я видел, как пожар зарождался все в новых центрах. В клубах дыма сверкнет молния, другая, третья, и все три сольются в кровавый язык, который точно лизнет здание, другое, и волны огня польются от одного к другому. Толпы народа, шум, крик, треск разрушающихся зданий… Но я не заметил отчаянных лиц. Какая-то беспечность и равнодушие выражались на физиономиях тех даже, которые тащили на плечах и в руках остатки своего скудного имущества. Богатые, верно, больше сокрушались.

Сейчас опять выходил посмотреть на пожар. Он утихает. На нашей улице догорают два дома. У Лигова канала еще пылает зарево, но гораздо слабее. Толпы людей скитаются по улицам, загроможденным остатками имуществ. Я учредил стражу из канцелярских служителей и сам лег, не раздеваясь: пожар легко может опять усилиться.

17 июня 1832 года

Я решился советовать отдать кафедру словесности не Галичу, а Плетневу. Последний гораздо для нее пригоднее. Совет мой уважен. Я ездил к Плетневу с предложением: он согласился. Я буду при нем адъюнктом. Таким образом мне, конечно, труднее будет достигнуть ординарного профессора, но дело от того выиграет. И потому личные виды в сторону: всякая жертва, которую можно принести нашему бедному просвещению, священна.

Галича же я предложил сделать профессором теории общих прав. С этою кафедрою он гораздо лучше справится, чем с русскою словесностью, к которой не подготовлен.

Умственная жизнь начинает быстро развиваться в нашем поколении. Но пока это еще жизнь младенца. Все в ней незрело: только порывы к благородному и прекрасному. Понятия о важнейших задачах человечества зыбки и неопределенны: нет еще самостоятельности в умах и сердцах.

27 июня 1832 года

Сегодня мы получили по секрету сообщение от министра о появлении снова холеры в Петербурге. Говорят, несколько человек умерло в продолжение трех часов.

Кажется, уже решено дело о переводе меня на кафедру русской словесности в качестве адъюнкта Плетнева. Конечно, это гораздо ближе к сердцу моему, чем политическая экономия.

5 июля 1832 года

Сегодня я простился с Д.В.Поленовым. Он сделан секретарем при нашей миссии в Греции и теперь отправился в Константинополь, откуда вскоре должен переехать в Наполи-ди-Романия, столицу юного греческого царства. Это один из лучших моих друзей и благороднейших посетителей моих пятниц. Я был в войне с его сердцем, которое готово было истощиться и погаснуть в любви к одной девушке, недостойной его. Уже он готов был обвенчаться с ней: это было бы его нравственной и материальной гибелью. Я употребил весь мой нравственный кредит, всю власть моего рассудка и сердца над ним, чтобы отвратить его от этого и спасти его благородную, прекрасную душу для высшей деятельности. Оставалось одно средство: удалить его из Петербурга. Это удалось. Надо отдать ему справедливость; он доблестно выдержал борьбу с своим сердцем и не возненавидел меня за то, что я так сильно восставал против него.

26 августа 1832 года

Сегодня читал я в университете первую лекцию из русской словесности, или, лучше сказать, речь, в которой хотел изложить дух моего преподавания. Слушателей собралось много, не одних студентов, но и посторонних. В результате должен сказать, что я читал дурно. По крайней мере я чувствую глубокое недовольство собой. Мне советовали написать речь и читать ее по тетради, но я, по обыкновению, хотел импровизировать, а для этого я был слишком взволнован и у меня не хватило присутствия духа. Вышло слабо и бледно, и я сошел с кафедры с весьма неприятным чувством.

7 сентября 1832 года

Новые неприятности в институте. Вчера виделся с Германом и опять получил от него намек, вроде прежнего, что девицам не надо учености. На другой день объяснялся с начальницею и Тимаевым. И та и другой удивлены поступком Германа. Опять выражали свою благодарность за успехи девиц. В заключение оказалось, что я обязан этим неудовольствием сплетням одной классной дамы, которой я не имел счастья понравиться. Она где-то кому-то говорила обо мне что-то недоброжелательное. Это дошло до Германа, и тот счел нужным вмешаться. В сущности вышел вздор, но инспектору следовало бы быть осторожнее и учтивее.

10 сентября 1832 года

Вторая лекция моя в университете была удачнее первой, а третья еще больше удовлетворила меня, но четвертая была опять несколько слабее. Я выражался не совсем определенно, и у меня недоставало полноты идей. Главное, что я до сих пор не могу преодолеть некоторой застенчивости при появлении на кафедре и оттого бываю неровен. Со временем, вероятно, это пройдет, и я вместе с равнодушием приобрету и развязность, от недостатка которой теперь страдаю.

8 октября 1832 года

В нашем кругу случилось очень печальное происшествие. Был Петр Попов, молодой человек 23 лет, с отличными способностями, блестящим умом и богатой фантазией. Он застрелился. Что же могло побудить его к такому шагу? Он не оставил никаких разъяснений. В начале нашего знакомства я заметил, что эта многообъемлющая душа не имела ни определенной цели своих стремлений, ни сосредоточенности в силах, чтобы положительною деятельностью спасти себя от внутреннего недовольства. Мы часто говорили с ним об этом. Я не терял надежды, что мало-помалу он успокоится, что какая-нибудь идея восстанет в нем как знамя, соберет вокруг себя все силы его души и даст ему работу. Но, к несчастью, недовольство собой все росло. Он пытался искать отвлечения во внешнем мире, но был слишком благороден, чтобы искать его в грязной стороне жизни, и обратился — к любви. Ему понравилась одна девушка. Он сделал ей предложение; она отвергла его. Тогда он подумал, что над ним совершился акт отвержения от всего человеческого. По подробностям, которые теперь до нас дошли, видно, что он в течение двух недель хладнокровно обдумывал свое намерение — и с твердостью, достойною лучшего дела.

Замечательно еще одно обстоятельство: его отец тоже лишил себя жизни, а именно 23 сентября. Сын избрал для себя тот же самый день. Бедного юношу с пятницы повсюду искали, ибо он не возвращался домой. Мы с Печериным томились тяжелым предчувствием. Наконец на четвертый день нашли свежую могилу близ дачи Ланского, у самой дороги. Плащ, фрак и жилет покойного, тут же найденные, показали, кто он.

Попов застрелился двумя пулями в рот, как рассказали те, которые его подняли и дали ему могилу. Это происходило в пятницу, в то самое время, когда друзья его беседовали между собой у меня. Многие осведомлялись:

— Где Попов?

Он был самым постоянным посетителем наших пятниц. В четверг, то есть накануне своей смерти, он вместе с нами пробыл у Михайлова часу до второго ночи, и ничто не обличало в нем в этот вечер даже грусти, не только отчаяния. Он был весел, остроумен, пел.

Он пользовался репутацией одного из лучших учителей Пажеского корпуса и первой гимназии. В обоих заведениях его очень любили. Предмет его был история. Но он имел, кроме того, много разнообразных сведений. Он знал языки: греческий, латинский, французский, немецкий, английский, шведский, датский. На новейших он говорил как на своем собственном. Кажется, не было такого литературного

произведения, с которым бы он не был близко знаком. Все это взяла могила.

10 октября 1832 года

Новое печальное событие! Умер от воспаления в мозгу вследствие сильной простуды Владимир Козьмич Шипулинский, один из близких сердцу моему, благороднейших и высокообразованных людей. И этому тоже едва минуло 26 лет. Ему и по службе везло: он был уже начальником отделения. Жизнь простирала к нему объятия, но одно дуновение ветра унесло от нас его прекрасную душу со всеми ее благородными начинаниями.

На прошедшей неделе в субботу я провел с ним целый вечер в задушевной беседе. Он был полон жизни и надежд, а дух разрушения уже витал над ним. Мы виделись в последний раз. И как только хватает у человека еще легкомыслия суесловить о счастии, о величии!

Труп Попова был найден возле дороги, до половины съеденный собаками и волками. Ему дали тесную и неглубокую могилу, полагая, что его будут отрывать для производства следствия. Между тем кусок человеческого тела соблазнил животных. Они добрались до него ночью, и полиция нашла его уже вполне обезображенным. И это две недели тому назад еще называлось человеком, носило в своем обширном уме столько мыслей, в сердце столько страстей!..

В Пажеском корпусе особенно любили Попова. Пажи хотели сделать подписку в пользу его бедной матери, которая осталась без всяких средств к существованию, — запретили.

Сегодня Быстроглазов, двоюродный брат Шипулинского, приглашал меня на его погребение завтра. А в воскресенье я должен быть шафером у Бороздина, который женится на девице Богдановой. Высокое и смешное, трагедия и комедия, кровь, слезы, смех — все смешано, скомкано, сбито в одну кучу — толку не доберешься. А от человека так много требуют. Посылают его в жизнь, как на вольность, и запирают в круг педантических обязанностей, одевают в кандалы. Все, что он может с достоверностью, — это только говорить вечером “мой день” о том, который прошел.

26 октября 1832 года

Новое гонение на литературу. Нашли в сказках Луганского [В.И.Даля] какой-то страшный умысел против верховной власти и т.д.

Я читал их: это не иное что, как просто милая русская болтовня о том, о сем. Главное достоинство их в народности рассказа. Но люди, близкие ко двору, видят тут какой-то политический умысел. За преследованием дело не станет. Больно, истинно больно честному человеку видеть, как этими странными мерами шевелят страсти, которые без этого или спокойно дремали бы, или обращались к полезным целям. Отними у души возможность раскрываться перед согражданами, изливать перед ними свои мысли и чувства, — это заставит ее погружаться в себя и питать

там мысли суровые, мечту о лучшем порядке вещей. В смысле политическом это опасно.

Я послал в “Пчелу” краткое жизнеописание Шипулинского. Мне говорят, что и здесь многое надо изменить; например: “Среди занятий своих по должности он не покидал литературы. Дела службы не погасили в нем чистой, благородной любви к литературе — любви, которая, возвышая душу, не только не препятствует исполнению других обязанностей, но, напротив, питает в нас рвение к подвигам правды и чести”. Чиновнику вменяется в преступление заниматься литературою — и этого места нельзя напечатать. O temporal O mores!

1833

1 января 1833 года

Новый год встречал у Деля и провел несколько часов в приятном обществе пепиньерок и классных дам Смольного монастыря. Вообще они очень милы и гораздо образованнее девиц, воспитанных в гостиных.

2 января 1833 года

Поутру писал свою университетскую речь, которую готовлю к печати. Занимался с полковником Сутгофом русскою словесностью. В канцелярии накопилась масса дел. Объявил согласие преподавать словесность в Аудиторском училище. Вечером был с Печериным в театре. Играли оперу-водевиль “Пажи Фридриха второго” — пустенькую, но довольно забавную пьесу, и “Развод”, интрига которой хорошо ведена. Дюр — отличный актер: он живо и непринужденно играет.

Сегодня Якимов просил позволения прочесть мне перевод свой Шекспирова “Купца”. Я назначил ему пятницу. Был у меня Куторга-старший. Он получил степень доктора медицины. Это мыслящая голова, самостоятельная. Он намерен жить по-человечески, а не по-школьному.

7 января 1833 года

Сегодня в 5 часов утра приехал с балу от Германа. Там было много монастырок. Они все так ласковы ко мне. Девицы Александра Слонецкая и Эмилия Герман мыслящие и образованные. Беседа с ними очень приятна.

Старик Герман оканчивает аристипповски свое земное поприще. Он умен, любезен по-своему, хитер. С ним были у меня маленькие размолвки, но теперь он, кажется, перестал на меня посягать. Тимаев, его помощник, — человек добрый и с образованием, но слаб характером; ему хотелось, чтобы я преподавал словесность в Екатерининском институте по его неполному руководству. Я отверг это и должен сказать, что он не выказывает никакого неудовольствия.

10 января 1833 года

Все эти дни я провел дома за перепиской моей вступительной лекции в университете, которою желал бы несколько изгладить дурное впечатление, произведенное, как я опасаюсь, произнесением ее, или, лучше сказать,

импровизацией. Я читал ее в воскресенье Галичу. Он очень доволен ею. Не нашел ни одной мысли, не соответствующей делу. Горячо одобрил изложение некоторых частей ее, зато в других желал бы видеть меньше резкости и пыла.

11 января 1833 года

Начались лекции в институте. Классы почти пусты, потому что большая часть девиц больны.

В городе свирепствует какая-то эпидемия: боль горла, головы, неприятное ощущение во всем теле — вот признаки ее; впрочем, она не опасна.

Был у Штерича. Хотя ему теперь и лучше, но у него, кажется, начало чахотки. Я люблю его. Он благороден, добр, постигает все прекрасное и возвышенное; у него есть воображение, и притом самое утонченнее, светское образование. Обращение его исполнено мягкости и прелести, происходящих не от форм, а от души. Он постиг искусство нравиться в его самом привлекательном виде, то есть любовью склоняя к себе сердца.

14 января 1833 года

Был, между прочим, сегодня у инспектора классов Воспитательного дома, Александра Григорьевича Ободовского. Он просил меня взять на себя преподавание русской словесности в классе гувернанток. Но я дал уже слово инспектору Аудиторского училища и не имею больше времени.

Впрочем, как мои занятия в Воспитательном доме могли бы начаться не раньше, как через два месяца, то до тех пор еще многое может измениться. Во всяком случае я полагаю, что мог бы принести больше пользы, образуя воспитательниц будущего поколения, нежели солдат.

Вчерашняя пятница была у меня бедна посетителями. Эпидемическая болезнь, которую называют гриппом, многих засадила дома. Между прочим был Киреев, автор трагедии “Тасс”. Это человек с горячею, оригинальною душою и светлым умом. Речи его отзываются горькою иронией на жизнь вообще и на жизнь русскую в особенности — жизнь солдатскую преимущественно. Он служит адъютантом у Клейнмихеля.

Ободовский показался мне человеком образованным. Как педагог, он смотрит на вещи ясным оком, как человек, он проникнут стремлением сделать сколь возможно более добра на благородном поприще, на котором он действует. Мне хотелось бы с ним служить.

Сегодня меня очень порадовало в институте первое отделение. Я делал неожиданную репетицию. Девицы отвечали превосходно. Мне кажется — главное достигнуто. Души их раскрылись к принятию тех идей, которые я желал бы вдохнуть в них. Между ними и мною образовалось духовное родство, без которого наставления теряются в воздухе.

Менее доволен я сегодня своею университетской лекцией “О песни и элегии”. Никак не могу до сих пор наладить своего дела здесь по крайней мере так, чтобы не чувствовать сильного недовольства собой.

20 января 1833 года

Наконец и меня прихватил грипп. Но так как сегодня пятница, то меня по обыкновению посетили некоторые из пятничных завсегдатаев. Якимов читал свой перевод Шекспировой драмы “Венецианский купец”. Он оставил у меня эту пьесу и “Лира”, которого тоже перевел. Последний принят уже на сцену.

Женщина в злодеянии отлична от мужчины. Одна предпочитает действовать ядом, другой кинжалом. Так и должно быть. Хотя бы женщина была сам дьявол, она не может любить крови.

26 января 1833 года

В институте у меня в классе был Вилламов вместе с Гулаком-Артемовским, профессором Харьковского университета и членом совета тамошнего женского института. Я экзаменовал девиц. Они робели, но отвечали хорошо, только говорили немного тихо. Инспектриса заметила, что я не лучших вызывал. У нас все делается для парада и показа.

Азия посылает новый бич на Европу — какую-то язву. Говорят, она уже показалась в Оренбурге. Это горячка тифус.

29 января 1833 года

Погода ужасная. Дождь. Снег на улицах почти совсем исчез. В городе очень много больных. Много также умирает. Это не зараза, однако особого рода эпидемия. Как бы то ни было, люди гибнут, как мухи.

Вчера до четырех часов провел на балу у Германа. Когда-нибудь с бала да в могилу. Но, говорит поэт, есть упоение на краю бездны. У Германа между чиновниками велся продолжительный и скучный разговор о наградах, коими осыпаны трудившиеся над составлением свода законов. Звезды, чины, аренды и деньги посыпались как град на этих людей. Чиновники в страшном волнении: “да как, да за что, да почему?” и проч. и проч.; толкам нет конца. Слушая все это, я невольно заворачивал отвороты вицмундира, чтобы скрыть пуговицы, символ моего чиновничества.

Эти люди, впрочем, правы, что желают креста, чина: без этого кто же признал бы их за людей? Если ты хочешь от общества пищи сердцу или страстям своим, то должен предъявить ему все эти блестящие безделицы. Хочешь иметь милую, образованную подругу — справься прежде с табелью о рангах и тогда только приступай к делу. Уважение, любовь людей, все, все надо покупать вывескою достоинств, которых всего чаще не имеешь. Но ты хочешь быть свободен — так ты

в войне с обществом. Счастлив, если успеешь спасти свое тело от холода и голода. Больше ничего не требуй.

30 января 1833 года

Вчера был на великолепном обеде у прекрасной вдовы, полковницы Зеланд. Тут было несколько военных генералов. Разговор их о лошадях и выправке солдат показался мне крайне скучным. Нас четверо: я, два Гебгардта и Линдквист, составляли отдельный кружок, который занимался не столько ядением, сколько суждением о яствах и о тех, которые ели. Обед был бы очень хорош, если б последние сколько-нибудь соответствовали первым. Можно бы сделать вопрос: худой человек не меньше ли хорошего соуса? Конечно, меньше, потому что худой человек не исполняет своего назначения, а хороший соус исполняет. Зато сама г-жа Зеланд сияла красотой и радушием.

Мы встали из-за стола в семь часов и чуть не опрометью бросились из столовой, чтобы застать еще спектакль: в этот вечер в Большом театре давали “Ричарда” в таком или почти в таком виде, в каком вышел он из творческой головы Шекспира.

Мы помчались столь быстро, сколько позволяла клячонка ваньки, и явились в театр, когда первое действие уже оканчивалось. О Шекспир, Шекспир! К каким варварам попал ты! Наперечет восемь или девять человек во всем театре (который был полон) изъявляли восторг; все прочее многолюдие или безлюдие было глухо, немо, без рук: ни восклицания, ни рукоплескания! Зато наш Печерин возвратился домой с опухшими руками; он не жалел их для великого Шекспира. Нет, наша публика решительно еще не вышла из детства. Ей нужны куклы, полеты, превращения. Глубины страстей, идеи искусства ей недоступны. Мне стало грустно. Ко мне подошел Киреев; я сказал ему:

— Кажется, публика довольна. Он улыбнулся печально. Я делал глупости, однако ж говорил вслух Гебгардту:

— Объявите, пожалуйста, этим господам, которые сидят вот там, в креслах, что Шекспир начальник отделения в департаменте полиции или что он поручик гвардии: авось они одобрят вызовом переводчика из уважения к *именитости* автора.

По окончании пьесы едва нашлось с дюжину голосов, чтобы вызвать переводчика. Он не скоро явился Он человек образованный. Это сам актер, игравший Ричарда, Брянский.

11 февраля 1833 года

Вчера в пятницу был наш обыкновенный годичный пир. Не было Гедерштерна и Иванова, не знаю почему. Поленов в Греции, а Попов в могиле. Мы много вспоминали о последнем. Все было дружно по-прежнему, но радость была не без примеси печали.

В десятом часу мы с Гебгардтами поехали на бал к Зеланд. Там нашли мы

десятка два мужчин и столько же дам.

Танцевали и говорили как автоматы. На балу присутствовал также жених прелестной г-жи Зеланд, действительный тайный советник Обресков: это старик лет семидесяти. Чета, достойная кисти Жэнена.

16 марта 1833 года

Сегодня провожал я в могилу бедного Штерича. Он умер от лютой чахотки после шестимесячных страданий. Я лишился в нем человека, которого горячо любил и который был мне искренно предан. Горькая потеря. Перед гробом его несли пармскую звезду, полученную им от бывшей императрицы французской.

Он умер с возвышенными чувствами христианина. Священник, исполнявший над ним обряды религии, был глубоко тронут, особенно словами: “Одного не прошу себе, что я в жизни мало старался узнать Бога и не понимал его так, как понимаю теперь”. Предчувствие конца обнаружилось в нем недели за три. Сначала он тосковал, был мрачен и беспокоен. Потом мало-помалу начал погружаться в самого себя, и спокойствие осенило его страждущую душу. По временам только он ослабевал физически и нередко впадал в беспамятство. За три дня до кончины он созвал всех своих людей, объявил им свободу и некоторых наградил. Спрашивал меня, но меня не было. Позвал некоторых из случившихся у него приятелей и с ними также простился. В день кончины он много страдал физически. К полуночи он начал тяжело дышать, сказал:

— Теперь я засну, скажите матушке, что я засну, — оборотился на левый бок; дыхание становилось реже и реже; к нему подошел его дядя, Симанский; руки Штерича уже были холодны; еще вздох — и акт уничтожения совершился. Никаких конвульсий, только по временам он вздрагивал плечом.

Я нашел его уже в гробу. Он очень был худ, но лицо выражало важное спокойствие. Мы проводили его пешком до самого Невского монастыря.

4 апреля 1833 года

Третьего дня я читал попечителю мою вступительную лекцию “О происхождении и духе литературы”, которую отдаю в печать. Он советовал мне вычеркнуть несколько мест, которые, по собственному его сознанию, исполнены и нравственной и политической благонамеренности.

— Для чего же? — спросил я.

— Для того, — отвечал он, — что их могут худо перетолковать — и беда цензору и вам.

Я, однако, оставил их, ибо без них сочинение не имело бы ни смысла, ни силы.

Неужели в самом деле все честное и просвещенное так мало уживается с общественным порядком?! Хорош же последний! На что же заводить университеты? Непостижимое дело! Опять ведено отправить за границу для усовершенствования в

науках двадцать избранных молодых людей, — а что они будут делать тут, возвратясь со своими познаниями, с благородным стремлением озарить свое поколение светом истины…

Было время, что нельзя было говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из священного писания. Тогда Магницкие и Руничи требовали, чтобы философия преподавалась по программе, сочиненной в министерстве народного просвещения; чтобы, преподавая логику, старались бы в то же время уверить слушателей, что законы разума не существуют; а преподавая историю, говорили бы, что Греция и Рим вовсе не были республиками, а так, чем-то похожим на государство с неограниченной властью, вроде турецкой или монгольской. Могла ли наука принести какой-нибудь плод, будучи так извращаема? А теперь? О, теперь совсем другое дело. Теперь требуют, чтобы литература процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтобы учащие не размышляли, потому что учащие — что такое? Офицеры, которые управляются с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями. Теперь требуют от юношества, чтобы оно училось много и притом не механически, но чтобы оно не читало книг и никак не смело думать, что для государства полезнее, если его граждане будут иметь седую голову вместо светлых пуговиц на мундире.

5 апреля 1833 года

У нас уже недели три, как новый министр народного просвещения, Сергей Семенович Уваров. Сегодня ученое сословие представлялось ему, в том числе и я, но представление это имело строго официальный характер.

10 апреля 1833 года

Сегодня Николай Павлович посетил нашу первую гимназию и выразил неудовольствие. Вот причины. Дети учились. Он вошел в пятый класс, где преподавал историю учитель Турчанинов. Во время урока один из воспитанников, впрочем, лучший и по поведению и по успехам, с вниманием слушал учителя, но только облокотясь. В этом увидели нарушение дисциплины. Повелено попечителю отставить от должности учителя Турчанинова.

После сего государь вошел в класс к священнику — и здесь та же история. Все дети были в полном порядке, но, к несчастью, один мальчик опять сидел, прислонясь спиной к заднему столу. Священнику был сделан выговор, на который он, однако, отвечал с подобающим почтением:

— Государь, я обращаю внимание более на то, как они слушают мои наставления, нежели на то, как они сидят. Попечителю опять горе: вот уже третий раз…

12 апреля 1833 года

Посещение государем первой гимназии имело более важные последствия, чем сначала казалось. Попечитель, наш благородный, просвещенный начальник, исполненный любви к людям и к России, — человек, которому недоставало только воли и счастья, чтобы занять один из важнейших постов в государстве, — одним словом, Константин Матвеевич Бороздин принужден подать в отставку. Вчера он уже написал письмо к министру.

Но вот черта его, лично ко мне относящаяся, которая тронула меня до глубины души. Он позвал меня в кабинет и сказал:

— Ты знаешь, что я всегда видел в тебе и действительно имел не чиновника, не подчиненного, но сына. Мне жаль с тобой расставаться. Но вот что я могу для тебя сделать, насколько позволяют мои расстроенные обстоятельства: когда и твоей ладье в этом политическом море придется спасаться от мелей и камней — спеши ко мне. Я назначил тебе из моего имения двадцать душ и около двухсот десятин земли. Там по крайней мере ты найдешь приют. [Подарка этого Никитенко не получил.]

Я ничего не мог сказать. Слезы катились у меня из глаз, и мы горячо обнялись…

На его место хотят назначить графа Виельгорского.

16 апреля 1833 года

Министр избрал меня в цензоры, а государь утвердил в сем звании. Я делаю опасный шаг. Сегодня министр очень долго со мной говорил о духе, в каком я должен действовать. Он произвел на меня впечатление человека государственного и просвещенного.

— Действуйте, — между прочим сказал он, — по системе, которую вы должны постигнуть не из одного цензурного устава, но из самых обстоятельств и хода вещей. Но при том действуйте так, чтобы публика не имела повода заключать, будто правительство угнетает просвещение.

Я хотел было попросить у него увольнения от должности правителя попечительской канцелярией, но он изъявил свое решительное желание, чтобы я остался еще в этом звании.

4 мая 1833 года

Попечителем нашим назначен князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков. Он первого мая вступил в отправление должности. Он, кажется, человек благородный и образованный.

Все эти дни я измучен канцелярскими делами. Я погряз в них и не имею времени для литературных занятий. Так месяц за месяцем, год за годом текут, унося с собою лучшие силы мои…

19 августа 1833 года

Вот уже месяц, как я женат.

1834

1 январь 1834 года

Полночь. 1834 год. Я возобновляю мой дневник, прекратившийся было со времени моей женитьбы. Время мое расхищено мелочными заботами канцелярской жизни. Как избежать этого? Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху, когда всякое развитие душевных сил считается нарушением общественного порядка. Немудрено, что и мои университетские лекции не таковы, какими бы я хотел и мог бы сделать их. Правда, я слышу со всех сторон, что я создаю школу, что я отбрасываю от себя лучи света, — но в моих глазах все это как-то тускло, нетеплотворно.

Администрация жмет меня в своих когтях и выжимает из меня энергию. Часто приходится обдумывать лекции только у порога университета.

Из всего этого выходит, что деятельность моя уподобляется нестройным облакам, движущимся туда и сюда, по направлению ветра. В ней нет солнца истины, нет постоянного животворного сияния.

Я опять просил уволить меня от канцелярии. Но министр говорит, что я нужен, просит еще остаться. Будем биться до смерти.

3 январь 1834 года

Министр призывал меня по делам цензуры. Олин написал похвальное слово нынешнему царствованию. В нем расточены напыщенные похвалы государю и Паскевичу. Эта книжонка была мне поручена на цензуру. В безвыходном положении оказывается цензор в таких случаях: по духу — таких книг запрещать нельзя, а пропускать их как-то неловко. К счастью, государь на этот раз разъяснил вопрос. Я пропустил эту книжку, однако вычеркнув из нее некоторые места, например то место, где автор называл Николая I Богом. Государю все-таки не понравились неумеренные похвалы, и он поручил министру объявить цензорам, чтобы впредь подобные сочинения не пропускались. Спасибо ему!

Я сделан членом комитета, учрежденного для выработки правил надзора за частными учебными заведениями. Председатель — князь Дондуков-Корсаков; прочие члены: директор Педагогического института Миддендорф, профессоры Фишер и Шнейдер, ректор университета Дегуров. Боюсь, однако, что вся работа опять повиснет на моих плечах.

5 январь 1834 года

Недавно познакомился я с Нестором Кукольником, автором драматической фантазии “Торквато Тассо”. Это человек с несомненным талантом, но душа его пока для меня неясна. Он читал у меня на литературном вечере свою новую драму “Джулио Мости”. Она растянута, довольно длинна и скучна в целом. Характер главного действующего лица не выдержан, но есть сцены, исполненные истинно драматической жизни. Кукольник далеко пойдет, если полюбит искусство, и одно искусство, — если, подобно многим другим, не попробует соединить в себе чиновника и поэта.

7 январь 1834 года

Барон Розен принес мне свою драму “Россия и Баторий”. Государь велел ему переделать ее для сцены, и барон переделывает. Жуковский помогает ему советами. От этой драмы хотят, чтобы она произвела хорошее впечатление на дух народный.

Между бароном Розеном и Сенковским произошла недавно забавная ссора. По словам Сенковского, барон просил написать рецензию на его драму и напечатать в “Библиотеке для чтения”, рассчитывая, конечно, на похвалы. Сенковский обещал, но выставил в своей рецензии баронского “Батория” в такой параллели с Кукольниковым “Тассо”, что последний совершенно затмил первого. Барон рассердился, написал письмо к критику и довел его до того, что тот решился не печатать своего разбора, не преминув, впрочем, сделать трагику не слишком-то лестные замечания. Оба были у меня, оба жаловались друг на друга. Но с Сенковским кому бы то ни было опасно соперничать в ядовитости.

8 январь 1834 года

“Библиотека для чтения”, журнал, издаваемый Смирдиным, поручен на цензуру мне. Это сделано по особенной просьбе редакции, которая льстит мне, называя “мудрейшим из цензоров”.

С этим журналом мне много забот. Правительство смотрит на него во все глаза. Шпионы точат на него когти, а редакция так и рвется вперед со своими нападками на всех и на все. Сверх того, наши почтенные литераторы взбеленились, что Смирдин платит Сенковскому 15 тысяч рублей в год. Каждому из них хочется свернуть шею Сенковскому, и вот я уже слышу восклицания: “Как это можно? Поляку позволили направлять общественный дух! Да он революционер! Чуть ли не он с Лелевелем и произвели польский бунт”. Сам Сенковский доставляет мне много хлопот своею настойчивостью. У меня с ним частые столкновения. Одним словом, я осажден со всех сторон. Надо соединить три несоединимые вещи: удовлетворить требованию правительства, требованиям писателей и требованиям своего собственного внутреннего чувства. Цензор считается естественным врагом писателей — в сущности это и не ошибка.

9 январь 1834 года

Надо мною собиралась туча — я этого и не знал. После М.Я. фон Фока сделан членом тайной полиции некто Мордвинов, вроде нравственной гарпии, жаждущей выслужиться чем бы то ни было. Он в особенности хищен на цензуру. Ловит каждую мысль, грызет ее, обливает ядовитою слюною и открывает в ней намеки, существующие только в его низкой душе. Этот человек уже опротивел обществу, как холера. При прежнем министре в цензуре не проходило недели без какой-нибудь истории, которую он пускал в ход. Ныне вздумал он повторить прежнее. В первом номере журнала “Библиотека для чтения”, в повести Сенковского “Жизнь женщины в четырех часах”, он привязался к какой-то выходке против начальников канцелярий, принял ее за эпиграмму на себя, побежал к Бенкендорфу, послал за Смирдиным, нашумел, накричал и уже распускал когти и на цензора. К счастью, его на этот раз не послушали.

10 январь 1834 года

На Сенковского поднялся страшный шум. Все участники в “Библиотеке” пришли в ужасное волнение.

Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступающие к нему в редакцию, переделывать по-своему.

Судя по его опрометчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно. У меня сегодня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании.

Вот анекдот из нашей литературной хроники. Когда Смирдин выбирал для своего журнала редактора и не знал еще, к кому обратиться, является к нему Павел Петрович Свиньин и именем министра народного просвещения объявляет, что он назначен последним в редактора. На этом пока и остановилось дело.

Несколько дней спустя Смирдину понадобилось быть у министра.

— Кто ваш редактор? — спросил его тот.

— Это еще не решено, ваше высокопревосходительство, но Свиньин…

— Что, что, — прервал его министр, — неужели ты хочешь вверить свой журнал этому подлецу и лгуну? Для меня все равно, кого ты ни изберешь, это твое дело. Но я думаю, что журнал твой умрет не родясь, как только публика узнает, что редактором его избран Свиньин.

Смирдин, что называется, остолбенел. Оказалось, что почтенный литератор просто хотел надуть его и недаром торопил заключением условий после того, как объявил, что послан министром. К счастью, контракт еще не был подписан.

И сколько еще таких анекдотов из истории нашего современного образования!

16 январь 1834 года

На Сенковского, наконец, воздвиглась политическая буря. Я получил от

министра приказание смотреть как можно строже за духом и направлением “Библиотеки для чтения”. Приказание это такого рода, что если исполнять его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его “полонизме”, о его “площадных остротах” и проч. Приметив во мне желание возражать, министр круто повернул разговор и немедленно затем отпустил меня. Говоря по совести, я решительно не знаю, чем виноват Сенковский как литератор. Безвкусием? Но это не касается правительства. Он не хвалит никого, а больше бранит; впрочем, его сатира общая. Конечно, я не могу поручиться за патриотические или ультрамонархические чувства его. Но то верно, что он из боязни ли или из благоразумия никогда не выставляет себя либералом. Но чему тут удивляться? Ведь и барон Дельвиг, человек слишком ленивый, чтобы быть деятельным либералом, был же обвинен в неблагонамеренном духе.

Я сделан экстраординарным профессором русской словесности.

21 январь 1834 года

Был у министра благодарить его за повышение. Я был принят очень хорошо. Со мной вместе произведен в экстраординарные профессора Устрялов. Опять те же речи насчет Сенковского. Я говорил в пользу Смирдина, стараясь отклонить беду от его журнала, который все-таки что-нибудь да значит в кругу нашего жалкого образования, или, вернее — полуобразования. Министр сказал, что наложит тяжелую руку на Сенковского. Кажется, ему хочется, чтобы тот отказался от редакции.

22 январь 1834 года

Я познакомился с редактором “Телескопа”, профессором Надеждиным. Мы обедали вместе у Д.М.Княжевича. В сочинениях его много педантства, а в наружности и обращении мало замечательного. Не знаю, с чего он взял, что я сделан членом Общества любителей русской словесности при Московском университете: мне об этом ничего не известно. Вчера он посетил меня. О “Московском телеграфе” он говорит довольно скромно и без брани, жестоко негодует на Кукольника, который написал бранчивый разбор его речи “О современном направлении изящных искусств”.

26 январь 1834 года

Сенковский, наконец, принужден был отказаться от редакции “Библиотеки”. Впрочем, это только для виду. По крайней мере он по-прежнему заведует всеми делами журнала, хотя и напечатал в “Пчеле” свое отречение. В публике много шуму от этого. Недоброжелатели Уварова сильно порицают его. Он действительно в этом случае поступил деспотически. Разнесся нелепый слух, что он меня назначает на место Сенковского. Благодарю покорно!

27 январь 1834 года

Сенковский был у меня. Он заподозрил меня в каких-то кознях против него и вскипел негодованием. Я не оправдывался и не спорил, а попросил его переговорить с князем Дондуковым-Корсаковым. Тот объяснил ему все дело и приказания, данные министром.

После этого он опять приходил ко мне для примирения.

Он хотел было даже оставить университет и ехать за границу. Князь возвратил ему просьбу и успокоил его тем, что буря, на него воздвигнутая, временная. Буря эта, однако, привела его в ярость, он рассвирепел, как тигр, за которым гонялись, уязвляя его. Он весь сложен из страстей, которые кипят и бушуют от малейшего внешнего натиска.

5 февраля 1834 года

Вчера был я с Кукольником на вечере у вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого. Семейство его образованно и приятно. Там встретился я с Лобановым, который в патриотической ярости оплевывал со всех сторон бедного Сенковского. Что это за люди эти педанты-патриоты, которые думают, что для того, чтобы прослыть народными, достаточно кричать, кричать, кричать во все горло "давайте будем патриотами, давайте будем народными!" Они забывают, что прежде всего надо быть человеком, и притом честным. Патриотизм есть плод чести: а где у нас эта честь…

10 февраля 1834 года

Священник Сидонский написал дельную философскую книгу "Введение в философию". Монахи за это отняли у него кафедру философии, которую он занимал в Александро-Невской академии. Удивляюсь, как они до сих пор еще на меня не обрушились: я был цензором этой книги.

Вот еще сказание о них. Загоскин написал плохой роман под названием "Аскольдова могила".

Московские цензоры нашли в ней что-то о Владимире Равноапостольном и решили, что роман подлежит рассмотру духовной цензуры. Отправили. Она вконец растерзала бедную книгу. Загоскин обратился к Бенкендорфу, и ему как-то удалось исходатайствовать позволение на напечатание ее с исключением некоторых мест. Но я на днях был у министра и видел бумагу к нему от обер-прокурора Святейшего синода с жалобою на богомерзкий роман Загоскина.

15 февраля 1834 года

Как бесцельны все эти разгадывания промысла Божия в делах человеческих. Мы ныне, между прочим, ломаем головы над Иоанном IV и Русью в его время.

Карамзин представляет его каким-то романическим тираном; Полевой видит в нем великого человека, “могучее орудие” в руках Провидения; Погодин же считает его просто человеком ограниченным. О Руси, ему современной, не менее толков, большею частью патриотических.

Она обагряется кровью, трепещет в судорожных стонах под железным посохом Иоанна и все время смиренно говорит: “Так угодно батюшке царю. По делам он душит нас, смердящих псов, грешников”.

“Какая доблесть! — восклицают наши патриоты, — удивительный, великий народ!”

Но, право, все это гораздо проще и логичнее. Иоанн — человек, рожденный с сильной, энергической душою, испорченный дурным воспитанием, развращенный возможностью все делать по своей воле, не находящий преград ей ни в законе, ни в общественном мнении, — и от всего этого зверь, чудовище, сумасшедший — сумасшедший от энергии, развившейся среди страстей, которые нигде не встречали себе узды. Это история всякого человека. А Русь? Русь — покорная раба, до полусмерти забитая татарами и своими князьями, потонувшая в фатализме христианства, дух коего был подавлен буквою. Полевой, впрочем, знает, почему оправдывает Иоанна: это гроза аристократов.

16 февраля 1834 года

Московские ученые чудные вещи пишут. Вот, например, речь Надеждина “О современном направлении искусства”; вот вступительная лекция Погодина об истории, напечатанная в первой книжке “Журнала министерства народного просвещения”. Все эти господа кидаются на высокие начала; им хочется вывести все, все из вечных идей первообразов природы. Это бы ничего, если б у них был ясный ум и ясный язык. Тогда по крайней мере мы увидели бы стройную систему, в которой, если бы и не было больше безусловной истины, чем в других системах, то по крайней мере была бы поэзия.

Нет, они как будто стараются затмить один другого пышностью варварской терминологии и туманным красноречием. Надеждин, например, столп вавилонский почитает изящнейшим произведением древнего зодчества, на коем почили тайны веков, — первообразом древнего мира и проч.

Итак, мы беспрестанно удаляемся от природы и толкаем образование наше из общества в школу.

Марлинский, или Бестужев, нося в уме своем много, очень много светлых мыслей, выражает их каким-то варварским наречием и думает, что он удивителен по силе и оригинальности.

Это эпоха брожения идей и слов — эпоха нашего младенчества. Что из этого выйдет? По общему закону все перерабатывается в лучшее для будущих поколений. Но когда настанет это будущее?

25 февраля 1834 года

Был на вечере у Смирдина. Там находились также Сенковский, Греч и недавно приехавший из Москвы Полевой. С последним я теперь только познакомился. Это иссохший, бледный человек, с физиономией с мрачной, но и энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он не хорошо. Однако в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. Он себе одному обязан своим образованием и известностью — а это что-нибудь да значит. Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится. “Мне могут, — сказал он, — запретить издание журнала: что же? я имею, слава Богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу”.

Он с жаром восстал на Сенковского за его нападки на французскую юную словесность.

— Что вы этим хотите сделать? — сказал он ему. — У нас не должно бы было бранить новую школу. Согласен, что в ней много преувеличенного, но есть много и гениального, а вы не щадите ничего. У вас Виктор Гюго наравне с каким-нибудь бездарным кропателем романов. Да притом, Осип Иванович, не вы ли сами пользуетесь и мыслями и даже слогом этих господ, которых так беспощадно браните?

Сенковский отвечал, что ненависть его к новой французской школе есть плод свободного убеждения; что он всего больше ненавидит французских современных писателей за их вражду против семейного начала — единственного, которое дано в удел человеку! Что касается до того, будто он подражает французским писателям, то это несправедливо. Еще юная словесность и не существовала, а он уже думал и писал, как думает и пишет.

После этого Сенковский сказал мне, что он гораздо большего ожидал от Полевого.

Полевой еще упрекал его за излишние, преувеличенные похвалы Кукольнику. На это Сенковский ничего не нашелся сказать. За всем этим последовал отличный ужин с отличными винами и с неистощимым запасом анекдотов и каламбуров Греча.

Обедал у Сенковского. За стол сели в пять часов. Кушанье было отменное, особенно вина, которыми хозяин много тщеславился. Греч, по обыкновению, смешил нас своими анекдотами и эпиграммами. Сенковский — человек чрезвычайно раздражительный. Он за каждую безделицу бесился на своих людей и выходил из себя, хотя они служили очень хорошо.

16 марта 1834 года

Сегодня было большое собрание литераторов у Греча. Здесь находилось, я думаю, человек семьдесят. Предмет заседания — издание энциклопедии на русском языке. Это предприятие типографщика Плюшара. В нем приглашены участвовать

все сколько-нибудь известные ученые и литераторы. Греч открыл заседание маленькою речью о пользе этого труда и прочел программу энциклопедии, которая должна состоять из 24 томов и вмещать в себе, кроме общих ученых предметов, статьи, касающиеся до России.

Засим каждый подписывал свое имя на приготовленном листе под наименованием той науки, по которой намерен представить свои труды. Я подписался под статьею “Русская словесность”. Но видя, что лист под заглавием “Русский язык” остается пуст, я решился и тут подписать свое имя, тем более что меня склонил к этому Д.И.Языков, который изъявил сожаление о пустоте этого листа.

Пушкин и князь В.Ф.Одоевский сделали маленькую неловкость, которая многим не понравилась, а иных рассердила. Все присутствующие в знак согласия просто подписывали свое имя, а те, которые не согласны, просто не подписывали. Но князь Одоевский написал; “Согласен, если это предприятие и условия оного будут сообразны с моими предположениями”. А.Пушкин к этому прибавил: “С тем, чтобы моего имени не было выставлено”. Многие приняли эту щепетильность за личное себе оскорбление.

После заседания пили шампанское. Здесь видел я многих из знакомых мне литераторов: Плетнева, Кукольника, Масальского, Устрялова, Галича, священника Сидонского и проч. и проч.

Сидонский рассказывал мне, какому гонению подвергся он от монахов (разумеется, от Филарета) за свою книгу “Введение в философию”. От него услышал я также забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в “Онегине”, там, где он, описывая Москву, говорит: “и стая галок на крестах”. Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что “галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицеймейстер, допускающий это, а не поэт и цензор”. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа: “еже писах, писах”.

У нас на образование смотрят как на заморское чудище: повсюду устремлены на него рогатины; не мудрено, если оно взбесится.

5 апреля 1834 года

“Московский телеграф” запрещен по приказанию Уварова. Государь хотел сначала поступить очень строго с Полевым. “Но, — сказал он потом министру, — мы сами виноваты, что так долго терпели этот беспорядок”.

Везде сильные толки о “Телеграфе”. Одни горько сетуют, “что единственный хороший журнал у нас уже не существует”.

— Поделом ему, — говорят другие: — он осмеливался бранить Карамзина. Он даже не пощадил моего романа. Он либерал, якобинец — известное дело, — и т.д. и т.д.

9 апреля 1834 года

Был сегодня у министра. Докладывал ему о некоторых романах, переведенных с французского.

“Церковь Божьей Матери” Виктора Гюго он приказал не пропускать. Однако отзывался с великой похвалой об этом произведении. Министр полагает, что нам еще рано читать такие книги, забывая при этом, что Виктора Гюго и без того читают в подлиннике все те, для кого он считает это чтение опасным. Нет ни одной запрещенной иностранною цензурой книги, которую нельзя было бы купить здесь, даже у букинистов. В самом начале появления “Истории Наполеона”, сочинения Вальтера Скотта, ее позволено было иметь в Петербурге всего шести или семи государственным людям. Но в это же самое время мой знакомый А.Н.Очкин выменял его у носильщика книг за какие-то глупые романы. О повестях Бальзака, романах Поль-де-Кока и повестях Нодье он приказал составить для него записку.

Я представил ему еще сочинение или перевод Пушкина “Анджело”. Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензурировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел “Анджело” и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены. Поэма эта или отрывок начата, по-видимому, в минуты одушевления, но окончена слабее.

Министр долго говорил о Полевом, доказывая необходимость запрещения его журнала.

— Это проводник революции, — говорил Уваров, — он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблюдаю за ним; но мне не хотелось вдруг принять решительных мер. Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал ему, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою — это правительство всегда властно сделать, и притом на основаниях вполне юридических, ибо в правах русского гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять когда хочет. Впрочем, — продолжал он, — известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их. Но да знают они, что найдут всегда против себя твердые меры в кабинете государя и его министров. С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе; они трусы; им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры. Московская цензура была непростительно слаба.

10 апреля 1834 года

Зван сегодня к Каратыгину, чтобы выслушать конец трагедии Кукольника “Ляпунов”. Но три первые акта этого рабского писания мне слишком опротивели. Я

не поехал.

11 апреля 1834 года

Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он Просил меня рассмотреть его “Повести Белкина”, которые он хочет печатать вторым изданием. Я отвечал ему следующее:

— С душевным удовольствием готов исполнить ваше желание теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы. (Что сказать? — обрезывать крылья ему? По крайней мере рука моя не злоупотребит этим.) Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведомьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, процензурованья, — и т.д.

Между тем к нему дошел его “Анджело” с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился: Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем однако ж, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!

12 апреля 1834 года

Иван Андреевич Крылов написал три слабые басни, как бы в доказательство того, что талант его стареет. У него был договор со Смирдиным, в силу которого тот платил ему за каждую басню по 300 рублей: теперь он требует с него по 500 рублей, говоря, что собирается купить карету и ему нужны деньги!

14 апреля 1834 года

Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в “Новоселье”. Бедный литератор! Бедный цензор!

Говорил с Плетневым о Пушкине: они друзья. Я сказал:

— Напрасно Александр Сергеевич на меня сердится. Я должен исполнять свою обязанность, а в настоящем случае ему причинил неприятность не я, а сам министр.

Плетнев начал бранить, и довольно грубо, Сенковского за статьи его, помещенные в “Библиотеке для чтения”, говоря, что они написаны для денег и что Сенковский грабит Смирдина.

— Что касается до грабежа, — возразил я, — то могу вас уверить, что один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому.

Он понял и замолчал.

15 апреля 1834 года

В странном положении находимся мы. Среди людей, которые имеют претензию действовать на дух общественный, нет никакой нравственности. Всякое доверие к высшему порядку вещей, к высшим началам деятельности исчезло. Нет ни обществолюбия, ни человеколюбия; мелочной, отвратительный эгоизм проповедуется теми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образование или двигать пружинами общественного порядка.

Нравственное бесчиние, цинизм обуял души до того, что о благородном, о великом говорят с насмешкою даже в книгах. Сословие людей сильных умом, литераторов, наиболее погрязло в этом цинизме. Они в своих произведениях восхваляют чистую красоту, а сами исполнены нравственного безобразия. Они говорят об идеях, а сами живут без всякого сознания высших потребностей духа, выставляют в жизни своей самые позорные стороны житейских страстей.

Может быть, и всегда так было, но от иных причин. Причина нынешнего нравственного падения у нас, по моему наблюдению, в политическом ходе вещей. Настоящее поколение людей мыслящих не было таково, когда, исполненное свежей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной деятельности. Оно не было проникнуто таким глубоким безверием, не относилось так цинично ко всему благому и прекрасному. Но прежнее объявило себя врагом всякого умственного развития, всякой свободной деятельности духа. Не уничтожая ни наук, ни ученой администрации, оно, однако, до того затруднило нас цензурою, частными преследованиями и общим направлением к жизни, чуждой всякого нравственного самопознания, что мы вдруг увидели себя в глубине души как бы запертыми со всех сторон, отторженными от той почвы, где духовные силы развиваются и совершенствуются.

Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят; что от нас требуют безмолвия и бездействия; что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму; что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, — когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать, — тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело. Все его высокие чувства, все идеи, согревавшие его сердце, воодушевлявшие его к добру, к истине, сделались мечтами без всякого практического значения — а мечтать людям умным смешно. Все было приготовлено, настроено и устроено к нравственному преуспеянию — и вдруг этот склад жизни и деятельности оказался несвоевременным, негодным; его пришлось ломать и на развалинах строить канцелярские камеры и солдатские будки.

Но, скажут, в это время открывали новые университеты, увеличили штаты учителям и профессорам, посылали молодых людей за границу для усовершенствования в науках. — Это значило еще увеличивать массу несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом, со своими требованиями на высшую умственную жизнь.

Вот картина нашего положения: оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитав себя для высшего назначения и уничтоженные в собственных глазах, кидаемся, как голодные собаки, на всякую падаль, лишь бы доставить какую-нибудь пищу нашим силам.

Конечно, и у нас есть люди, ныне действующие в другом духе, но их очень мало и они слишком бессильны, слишком робки, слишком недоверчивы к собственным чистым побуждениям, чтобы могли перетянуть весы на сторону добра; есть затворники, постники, которые решились пребыть до конца верными своим идеям и лучше задохнуться, чем изменить им. Но эти люди исключение, и они несчастнее первых, ибо не вкушают сладости даже минутного забвения. Ничего удивительного, если иные из молодых людей доходят до самоубийства, как то было с нашим Поповым.

Конечно, эта эпоха пройдет, как и все проходит на земле; но она может затянуться надолго, на пятьдесят, на шестьдесят лет. Тем временем успеешь умереть в этой глухой, дикой, каменистой Аравии, вдали от земли святой, от Сиона, где можно жить и петь высокие песни. Увы!

Рабы, влачащие оковы,

Высоких песней не поют.

28 апреля 1834 года

Праздники. Балаганы. Леман. Косморама. Бродил в толпе с Делем, Гебгардтом и Чижовым. Завтракали у Фейльета… Нигде душевная пустота не ощущается так сильно, как среди праздничной толпы и суеты.

7 мая 1834 года

Сегодня было собрание энциклопедистов у Греча. Я избран редактором по части словесности. Все довольно согласны в цели и в мерах. Один Н.И.Тарасенко-Отрешков беспрестанно требовал пояснений. Положено начертать первоначально русский алфавит предметов, которые подлежат обработке.

В третьем номере “Журнала министерства народного просвещения” напечатана статья профессора философии в Страсбурге Ботэна. Он говорит, что все философии вздор и что всему надо учиться в Евангелии.

Министр приказал, чтобы профессора философии и наук, с нею соприкосновенных, во всех наших университетах руководились этою статьей в своем преподавании.

14 мая 1834 года

Сегодня было опять у Греча собрание литераторов. Состоялся выбор остальных

редакторов “Энциклопедического словаря”. Здесь встретился я с Кукольником. Он пишет новую драму “Роксолана”. Положено опять читать у меня “Джулио Мости” в исправленном виде. Он спрашивал моего мнения о “Ляпунове”. Что мог я сказать? По возможности меньше огорчить его моими мыслями насчет поддельного патриотизма. Я советовал ему бросить службу. Он со мной согласен.

С удовольствием, между прочим, заметил я следующий благородный поступок Кукольника. “Ляпунова” своего он подарил Каратыгину, тогда как, судя по тому, как принята его “Рука всевышнего”, он мог бы получить за него от театральной дирекции славные деньги. Это прекрасно с его стороны в такое время, когда так называемые знаменитые наши литераторы требуют только денег, денег и денег.

29 мая 1834 года

Смирдин истинно честный и добрый человек, но он необразован и, что всего хуже для него, не имеет характера. Наши литераторы владеют его карманом, как арендою. Он может разориться по их милости. Это было бы настоящим несчастием для нашей литературы! Вряд ли ей дождаться другого такого бескорыстного и простодушного издателя. Я не раз предостерегал его. Но есть рок, от которого нельзя защищаться, — это наша собственная слабость.

30 мая 1834 года

Вот и конец мая, а только вчера да сегодня небо и воздух похожи на майские. Я был на даче, у Александра Максимовича Княжевича и у Деля. Заходил на минуту к Плетневу: там встретил Пушкина и Гоголя; первый почтил меня холодным камер-юнкерским поклоном.

10 июня 1834 года

Был на представлении Александра, чревовещателя, мимика и актера. Удивительный человек! Он играл пьесу “Пароход”, где исполнял семь ролей, и все превосходно. Роли эти: влюбленного молодого человека, англичанина лорда, пьяного кучера, старой кокетки, танцовщицы, кормилицы с ребенком и старого горбуна, волокиты. Быстрота, с которой он превращается из одного лица в другое, переменяет костюм, физиономию, голос, просто изумительна. Не веришь своим глазам. Едва одно действующее лицо ступило со сцены за дверь, — вы слышите еще голос его, видите конец платья, — а из другой двери уже выходит тот же Александр в образе другого лица. Он говорит за десятерых, действует за десятерых; в одно время бывает и здесь и там. Необычайное искусство!

11 июня 1834 года

Я недавно сблизился с одним молодым писателем, Тимофеевым. Это совершенно новое и приятное для меня явление. Он одарен пламенным

воображением, энергией и талантом писателя. Доказательством того служат его “Поэт” и “Художник”, две пьесы, исполненные мыслей и чувств. Он совершенно углублен в самого себя, дышит и живет в своем внутреннем мире страстями, которые служат для него источником мук и наслаждений. Службой он почти не занимается, и может не заниматься, потому что имеет деньги и не имеет русского честолюбия, то есть страсти к чинам и орденам. Всегда задумчив, с привлекательной физиономией. Ему 23 года.

Первоначально нас свела цензура. Я не мог допустить к печати его пьес без исключений и изменений: в них много новых и смелых идей. Везде прорывается благородное негодование против рабства, на которое осуждена большая часть наших бедных крестьян. Впрочем, он только поэт: у него нет никаких политических замыслов. Он внушает мне большую симпатию. Цензурные споры наши не имели никакого влияния на нашу дружескую связь. А между тем у нас было такое дело, которое легко могло бы вызвать его неудовольствие. В прошедшем году я пропустил его драму “Счастливец”. Пока она печаталась, направление нашей цензуры так изменилось, что эта пьеса не может быть выпущена без дурных последствий для меня. Я не имею права ее остановить, ибо она уже вся напечатана. Тимофеев мог бы требовать ее выпуска. Из этого возник бы шум, я сделался бы жертвою его или же должен был бы принять на себя типографские издержки. Тимофеев сам предложил мне приостановить выпуск его драмы. Теперь она лежит в моем столе, выжидая удобной минуты выползти на свет.

12 июня 1834 года

На днях я имел серьезный разговор с Гебгардтом. Мне больно видеть, как этот благородный, богато одаренный человек расточает свои силы на пустяки. Он читает только или мелочи, или французские романы; не старается сдружиться с кабинетной жизнью, не занимается предметами, которые развивают ум и укрепляют волю. Его стихия — политика. Но как умный человек, он должен понять, что у нас нет поприща для политической деятельности. Однако мы можем и должны расширять круг нашей нравственной жизни.

21 июня 1834 года

Посетил меня Калмыков, на днях приехавший из Берлина. Он в числе других студентов был послан туда для усовершенствования в правах. Чрез него получил я письмо от Печерина.

Я о многом расспрашивал его. Он слушал, между прочим, Шеллинга. Последний действительно переменил свою систему и, как говорят в Германии, сделал это только из желания идти наперекор гегелистам. Побуждение, достойное убежденного философа. В Берлине же теперь пользуется особенным расположением учащейся молодежи профессор Ганс. Пруссаки очень любят своего короля. Русских везде в Германии, не исключая и Берлина, ненавидят. Знаменитый Крейцер сам сказал Калмыкову после взятия Варшавы, что отныне питает к нам решительную ненависть. Одна дама пришла в страшное раздражение, когда наш бедный студент

раз как-то вздумал защищать своих соотечественников. “Это враги свободы, — кричала она, — это гнусные рабы!”

И последний мой экзамен сошел недурно. По окончании его мы трое: Плетнев, Шульгин и я, отправились к первому. Здесь составился род конференции для противодействия в университете всякому нечистому духу в ученом и нравственном отношении. Мы дали друг другу слово сохранять строгое беспристрастие при переводе студентов на высшие курсы и при раздаче ученых степеней; бить, сколь возможно, схоластику и т.д. Оба мои товарища сильно вооружены против профессора философии Фишера, которого поддерживает министр.

Немного спустя мы пошли к князю, и тут беспристрастие наше встретило свой первый камень преткновения: Плетнев просил попечителя за плохого студента, брата одного из своих друзей.

29 июня 1834 года

Вышел скучный роман Греча “Черная женщина”. Не удивительно, что Греч написал плохой роман, но удивительно, что Сенковский расхваливает его самым бессовестным образом. Третьего дня я был у Смирдина. Спрашиваю:

— Как идет роман Греча?

— Плохо, — отвечает он, — все жалуются на скуку и не покупают.

Вчера же Сенковский приносил ко мне для процензурования рецензию на этот роман, где объявляет, что это новое произведение необычайного гения Николая Ивановича имеет успех невероятный: все от него в восторге и раскупают с такою жадностью, что скоро от него не останется в продаже ни одного экземпляра. Провинциалы этому поверят и в самом деле бросятся покупать книгу. Автор и приятель его Сенковский объявят, что роман весь разошелся, и будут выставлять это как доказательство достоинства романа: в толпе Греч прослывет великим романистом и соберет деньги.

16 июля 1834 года

Завтра отправляюсь в путешествие с князем Дондуковым-Корсаковым. Цель этого путешествия — обозрение учебных заведений в Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерниях. Гимназии наш главный предмет. Из Вологды мы направимся через Ярославль в Москву и оттуда уже обратно в Петербург.

17 июля 1834 года

В Шлиссельбурге мы ночевали. Трактир здесь — настоящий кабак, наполненный тараканами. Но это не помешало мне, завернувшись в шинель, отлично заснуть. Поутру мы пошли осматривать училище. По внешнему и внутреннему виду оно еще хуже трактира. Смотритель пьяный. Потом мы в лодке переехали в крепость. Она занимает целый островок у самого устья Невы. Нас не

пустили в то отделение, где содержатся государственные преступники. В крепости живет только комендант с маленьким гарнизоном. Печальная жизнь. Нам показали место заключения императора Иоанна.

19 июля 1834 года

Мы были в Новой Ладоге, где и ночевали в училище. Новая Ладога — прескверный городишко: ничем не лучше Шлиссельбурга.

20 июля 1834 года

Лодейное Поле — пасквиль на город. Здесь нет никакого училища, да и не для кого было бы ему тут быть. Над самою рекой я встретил, впрочем, нечто любопытное: памятник Петру Великому, воздвигнутый здешним купцом Софроновым. Это пирамидка вроде той, что на Васильевском острову в Петербурге, которая называется Румянцевскою, — только в миниатюре. На пирамидке надпись: “На том месте, где некогда был дворец императора Петра I, да знаменует следы Великого сей скромный, простым усердием воздвигнутый памятник — усердием с.-петербургского купца 2 гильдии, Мирона Софронова”. Право, не дурно, ибо просто, без всякой риторики.

Нетерпеливо ждали мы поскорей доехать до Свирского монастыря, рассчитывая там и нравственно и физически отдохнуть от утомительного однообразия. Надежда наша не сбылась. Мы нашли там архимандрита, мужиковатого монаха, такого же казначея и несколько других монахов, грубых и невежественных. Местоположение монастыря тоже обмануло наши ожидания. Мы отслушали обедню, приложились к мощам Александра Свирского, осмотрели ризницу, которая очень небогата, но в большом порядке. Показывали нам еще гроб, в который был переложен преподобный Александр тотчас после того, как были открыты его мощи: это род корыта, выдолбленного в толстом деревянном отрубке с особенным местом для головы. Видели мы и посох святого: от него осталась только половина — другая разнесена по кусочкам усердными богомольцами.

Наконец мы приехали в Олонец. Это не город по виду, а плохая деревня, раскинутая на большом пространстве по берегу реки. Мы остановились в доме городского главы. К нам явились смотритель училища, учителя, городничий и исправник. Хозяин человек очень гостеприимный. У него встретили мы одного купца, который держит у себя в доме для дочерей гувернантку, бывшую воспитанницу Воспитательного дома. Этот купец с бородою, в длиннополом сюртуке, а дочери его учатся лепетать по-французски. Я пытался с ними разговориться, но они дико на меня смотрели или отворачивались.

Олонец крайне бедный город. Некоторые из учеников училища утро проводят в школе, а затем идут просить милостыню. Между жителями уже много карелов, а немедленно за Олонцом начинается настоящая Карелия. Нас предупреждали, что этот народ очень груб и зол. Но мы до самого Петрозаводска попадали все на людей приветливых и услужливых. Живут они опрятно. В их жилищах чистые полы и

скамьи; везде самовар и чашки, из которых можно безопасно пить. И тараканов мы что-то не видели. Здешние карелы довольно зажиточны. Они занимаются разными промыслами по водным сообщениям, которыми оживляется вся эта довольно пустынная страна. Но в Пудожском и Повенецком уездах, говорят, они очень бедны; питаются древесною корой. У карелов свой собственный язык, но они все довольно хорошо изъясняются по-русски. Их язык приятен; в нем изобилие гласных букв.

От Олонца до Петрозаводска вся местность взрыта волнами океана, которые некогда покрывали ее и, удалясь, оставили на ней следы своих набегов: камни и волнообразного вида холмы. Есть места дикие, но живописные. Беспрестанно мелькают озера. В общем, природа здесь угрюма — везде леса, леса, бесконечные леса.

22 июля 1834 года

Мы приехали в Петрозаводск в три часа утра. Квартиру нам отвели в доме купца Костина. У него нашел я удивительный куст месячной розы: это своего рода исполин. Он занимает целый угол большой и высокой комнаты, упирается в потолок и весь покрыт цветами. Под ним можно найти защиту от солнца.

В этот день мы осмотрели классы, библиотеку и всю гимназию. Обедали у директора Троицкого. Это человек неглупый, и его любят в городе. Был я еще у архиерея Игнатия: он не стар, образован и очень любезен. Его здесь все уважают: он строг к духовенству, но не менее строг и к самому себе. Между прочим встретил я Армстронга, который познакомил меня с своим братом, начальником здешнего литейного завода, Романом Адамовичем, отличным знатоком своего дела. Вечером был приглашен на бал к одному из здешних почетных чиновников; дамы танцевали с ужимками, а кавалеры все очень необразованны: ничего не читают, кроме “Северной пчелы”, в которую веруют как в священное писание. Когда ее цитируют — должно умолкнуть всякое противоречие. Впрочем, молодые люди в обществе вели себя вполне пристойно.

23 июля 1834 года

Экзаменовали учеников гимназии. Копасов хороший учитель. Здесь еще процветает система заучивания наизусть — впрочем, где она у нас еще не процветает? Обедали у вице-губернатора: он очень скучает и рвется отсюда всеми силами. Вечер я провел очень приятно у милой моей ученицы Александры Алексеевны Корибутовой, институтки прошлого выпуска. Она до слез мне обрадовалась: грустно живется ей здесь. Она очень одинока. Прочие девицы называют ее в насмешку “ученою” и распускают на ее счет разные сплетни в отмщение за ее нравственное превосходство над ними.

24 июля 1834 года

Осматривали семинарию. Нам ее показывал сам архиерей. Учеников не было по

причине каникулярного времени. Здание бедно и неопрятно. Я долго говорил с профессором словесности. Это очень неглупый монах и знакомый с новыми идеями. Осматривали также собор: он не отличается ни богатством, ни благолепием.

25 июля 1834 года

Армстронг показывал нам литейный завод. При нас отлили пушку. Мы всё рассматривали до мельчайших подробностей. В магазине при заводе я купил несколько галантерейных мелочей, прекрасно сделанных из чугуна. Мы обедали у бывшего губернатора Логинова, а затем отправились в дальнейший путь. Когда мы проходили мимо дома Корибутовой, она стояла у окна, отирая слезы. Бедная девушка: наше посещение действительно было для нее явлением из другого, лучшего мира, из которого она чуть ли не навсегда изгнана. Петрозаводск плохой город, отброшенный в глубину лесов от образованного мира: казалось бы, и близко от Петербурга, но как далеко! Местоположение, однако, красивое. Он на берегу обширного Онежского озера.

Большая часть Петрозаводского уезда населена карелами, принадлежащими литейному заводу: он владеет двадцатью двумя тысячами крестьян. Мне пришлось говорить с некоторыми: они довольны своим положением и не нахвалятся Армстронгом. С любовью также вспоминают об отце последнего, до него управлявшем заводом: называют его отцом и благодетелем.

В Вытегру мы приехали ночью. Поутру осматривали училище и нашли его в отличном порядке. Вытегра порядочный городок. Замечательны здесь шлюзы, особенно хорошо отделанные со времени посещения графа Толя, делавшего обзор всем водным сообщениям.

Но вот и Каргополь. Завидев издали купола его многочисленных церквей, мы ожидали увидеть порядочный город. На самом деле он гораздо хуже Вытегры и очень беден: дома в нем осунувшиеся, полуразвалившиеся. Церквей зато двадцать две и два монастыря.

В училище мы застали только одного учителя. Он когда-то служил унтер-офицером в Лубенском гусарском полку, а теперь обучал русской грамоте. Я смотрел ученические тетради и нашел, что учитель, поправляя учеников в анализе, сам часто ошибался в падежах, склонениях и т.д.

С въездом в Архангельскую губернию точно теряешь след человеческого существования. Проезжаешь бесконечные станции и не встречаешь лица человеческого. В мрачных лесах обитает безмолвие. Разве только изредка в глубине дикого бора раздастся треск сучьев под ногою медведя или промелькнет на ветках лиственницы резвая белка. Станции представляют из себя группу в три-четыре хижины, обитатели которых занимаются преимущественно охотою. Но и хлебопашество здесь тоже процветает. Вообще по пути от самого Петербурга и до Архангельска часто встречаются богатые жатвы. В этих же местах особенно хорошо родится ячмень.

Верстах в шестидесяти от Холмогор мы заехали в старинный Сийский

монастырь. Нас очень любезно принял архимандрит Вениамин, показавшийся мне лукавым монахом. Мы здесь пробыли около четырех часов. Сначала осмотрели церковь: архитектура ее очень древняя и иконостас также. Потом архимандрит повел нас в ризницу, где мы нашли много любопытного; между прочим Евангелие, до того объемистое, что его не в силах поднять один человек. Оно писано прекрасным почерком и одною рукой. На полях искусно иллюстрированы сухими красками все главные происшествия из жизни Христа. Этот труд наверное стоил большую половину одной человеческой жизни. Предание приписывает этот труд царевне Софии Алексеевне. Но чей бы он ни был — он в своем роде замечательное произведение по великолепию и даже искусству живописи и письма и по усердию, воодушевлявшему художника. Евангелие это не может принадлежать глубокой древности: по некоторым несомненным признакам его относят к 7201 году, по старому русскому летоисчислению [т.е. к 1693 году].

В ризнице также много драгоценной церковной утвари, пожертвованной боярином Милославским в царствование Алексея Михайловича.

Не менее любопытна и библиотека монастырская. В ней много рукописных книг, и в том числе два евангелия на пергаменте, без означения года. Судя по тексту, они должны быть очень древние: текст этот принадлежит к первым эпохам славянского языка. Тут же “Судебник” Иоанна Грозного, несколько грамот за собственноручною подписью русских царей — самая древняя Василия Иоанновича; другие: Иоанна Грозного, его сына Федора, Бориса Годунова, Лжедмитрия и Владислава, польского королевича. На этой последней означено, что она дана в Москве. Все они касаются частных дел монастыря. Одна только имеет более важное историческое значение: это грамота Бориса Годунова о Филарете Никитиче Романове. Годунов предписывает настоятелю монастыря смотреть крепко за сим опальным старцем, который “лаится” и бьет монахов, — однако повелевает не делать ему никакого насилия. Грамота эта, кажется, напечатана в “Русской вивлиофике”, но здесь ее подлинник. Показывали нам место, где был пострижен Филарет, и крест, который он носил на себе. В заключение архимандрит открыл ящик с надписью; “Дела о немаловажных колодниках”, которые ссылаемы были в Сийский монастырь на покаяние. Однако ж из “немаловажных колодников” мы не нашли ни одного государственного или замечательного лица. Поблагодарив архимандрита за все интересное, что он нам показал, мы продолжали путь.

30 июля 1834 года

Ночью приехали в Холмогоры. Отсюда начинаются те роскошные луга, на которых пасутся известные холмогорские коровы. Двина постепенно расширяется и, наконец, у Архангельска разливается в настоящий морской залив.

31 июля 1834 года

Мы уже в Архангельске и остановились в доме гражданского губернатора, Ильи Ивановича Огарева, который принял нас с искренним радушием.

Мы отдыхали. Я собирал сведения о здешнем крае. Губернатор сообщил мне много интересного. Город разделяется на две части: немецкую и русскую. Торговля в руках иностранцев — сосредоточивается главным образом в доме Бранта, состоящем из девяти братьев. Восемь из них живут в разных частях света, но зависят от старшего брата, который здесь пребывает. Капитал их простирается до 20 миллионов рублей. У них масса кораблей, на которых они вывозят из Архангельска лен, пеньку, сало, лес и привозят колониальные товары.

Немецкая часть города отличается опрятностью и миловидностью домиков. Русские купцы живут в грязи и торгуют как плуты. Пьянство в большом ходу. Губернатор жаловался, что у него нет ни одного чиновника, который не был бы вор или пьяница. Он должен наблюдать за ними, как за испорченными детьми. Чтобы они по возможности меньше пили, он старается их держать больше при себе, часто заставляет с собою завтракать и обедать. Кто не явился по приглашению, за тем уже приходится посылать дрожки, чтобы привезти хоть пьяного. Надо сначала его отрезвлять, а затем уже поручать ему дело. В случаях сватовства, родственники невесты, наводя справки о женихе, уже не спрашивают, трезвый ли он человек, а спрашивают: “Каков он во хмелю?” — ибо первое почти немыслимо. Большинство и чиновников и других городских обывателей коснеют в невежестве.

За обедом у губернатора был некто Гореглад, по доносу жандармов сосланный в Мезень. Губернатор взял его к себе для разных поручений. Он человек довольно образованный. Живя в Мезени, выучился столярному и токарному ремеслам и изготовляет из кости прелестные художественные вещицы. Он долго жил с самоедами и начал было составлять азбуку их языка, но мезенский городничий запретил ему это.

1 августа 1834 года

Осматривали гимназический дом: он ветх и гадок. Были в соборе, где служил обедню архиерей. Нам показывали крест, сделанный самим Петром Великим и водруженнњй им на берегу Белого моря. На нем голландская надпись, гласящая, что он сделан капитаном Петром.

Посетили мы и Соловецкий монастырь. Остров Соловецкий имеет семнадцать верст в ширину и двадцать пять в длину. Монастырь на нем — один из древнейших в России. Монахов насчитывается более ста. Замечательно при монастыре отделение, где содержатся государственные преступники. Они ссылаются сюда на бессрочное заточение, большею частью на всю жизнь. Ныне сих несчастных сорок человек, между прочими два студента Московского университета — за участие в заговоре против государя. Недавно один из заключенных, Горожанский, сосланный в монастырь за соучастие с декабристами, в припадке сумасшествия убил сторожа. Каждый из заключенных имеет отдельную каморку, чулан, или, вернее, могилу: отсюда он переходит прямо на кладбище.

Всякое сообщение между заключенными строго запрещено. У них ни книг, ни орудий для письма. Им не позволяют даже гулять на монастырском дворе. Самоубийство — и то им недоступно, так как при них ни перочинного ножика, ни

гвоздя. И бежать некуда — кругом вода, а зимой непомерная стужа и голодная смерть, прежде чем несчастный добрался бы до противоположного берега.

Между достопримечательностями монастыря — мечи Пожарского и Скопина-Шуйского, украшенные драгоценными камнями. Здесь погребен Авраамий Палицын. В монастырской библиотеке много древних рукописей и грамот. Теперь в монастыре уже более шести недель живет Бередников, товарищ Строева. Он занимается разборкою архива и выписками из находящихся в нем сокровищ. Монахи на него негодуют, потому что он не показывает им своих выписок и извлечений.

Архимандрит по виду напоминает тех каноников, над которыми любил смеяться Вольтер. Он написал “Историю Соловецкого монастыря”, руководствуясь актами из его архива, но святейший синод не пропускает ее. Так как в числе заключенных много раскольников, особенно скопцов, архимандриту удалось составить из их показании точное описание их ересей. В веровании скопцов следующий догмат: Спаситель вторично пришел на землю, чтобы научить заблудших, Он не иной кто, как сын девы Елисаветы Петровны, императрицы, — который был воспитан в Голштинии, царствовал под именем Петра III и теперь еще где-то живет.

Архангельская губерния вообще богата раскольниками. Епископ здешний утверждает, что из всего народонаселения лишь сотая часть принадлежит православию. Некоторые секты в условиях своей веры считают разврат. Их бесчиния доходят до того, что дикие самоеды, недавно крещенные, гнушаются вступать с ними в семейные связи. Так по крайней мере говорит архиерей здешний.

Вечером мы гуляли на Елисаветовском острове: пили там чай, а по середине Двины, в лодке, даже шампанское, которым нас угощал директор гимназии Ковалевский. Двина здесь великолепна. Наша красавица Нева должна ей уступить первенство. Ширина Двины здесь простирается на четырнадцать верст. Она усеяна островами, на одном из которых, на Соломбале, — часть города Архангельска и адмиралтейство.

Верстах в сорока от города, к западу, у моря открыты целебные воды. Многие, говорят, купаясь в них, получили исцеление или облегчение от своих недугов.

2 августа 1834 года

Обедали у военного губернатора, адмирала Галла: это честный и добрый старик. Осматривали адмиралтейство. Нам показывали, как отделываются некоторые части корабля. Гигантские ребра, гигантские мачты! И эту громаду может сокрушить, может превратить в щепы одна волна! Мы заходили к капитану над портом. Он старик, но у него молоденькая жена, очень миленькая и живая шведочка.

7 августа 1834 года

На пароходе. Десять часов утра. Прекрасный день. Мы возвращаемся из

Новодвинской крепости. Она невелика, а вид с нее почти такой же, как с Петрозаводской. Замечателен здесь дворец Петра Великого: это крошечный домик с четырьмя комнатками. Входы так низки, что Петру, при его высоком росте, приходилось сгибаться в дугу, чтобы попасть в спальню или в столовую. Нас очень вежливо встретил смотритель, который, по выражению Ильи Ивановича, сопровождавшего нас губернатора, уже успел “тюкнуть”.

Заглянули мы и в церковь, тоже построенную Петром Великим. Она деревянная, но живопись в ней недурна.

Пароход несется по Двине, как чайка; мимо мелькают острова и береговые извилины. Навстречу нам подвигается корабль на всех парусах; он тихо, величественно проносится мимо. Я не налюбуюсь широким раздольем реки и чудесной погодой. Мы теперь плывем в Шурну, лесопильный завод г-на Бранта…

8 августа 1834 года В двенадцать часов пополудни выехали мы из Архангельска. Нас провожал до заставы Илья Иванович Огарев. Он отличается оригинальным характером. Он не особенно широкого ума, не особенно образован, мало начитан, не честолюбив, но исполнен честности, прямодушия и того простого здравого смысла, который видит вещи в тесном кругу, но зато видит их ясно, прямо, как они есть. Его предшественники в управлении губернией, может быть, были умнее его, но зато и лучше умели соблюдать собственные выгоды. Теперь губерния по возможности благоденствует под начальством двух простодушных и добрейших людей: адмирала Галла и гражданского губернатора Огарева. За последним, кроме того, важная заслуга: он объявил войну ворам и взяточникам и сам не поддается никаким соблазнам, хотя их много в таком торговом городе, как Архангельск. Огарев сам мало образован, но с величайшим рвением заботится о просвещении — и это в силу какого-то непреодолимого в нем влечения.

И он, и военный губернатор жаловались, что все их представления об устройстве и благосостоянии губернии остаются без всякого действия в Петербурге. Там у нас много суетятся, но заботятся только об очищении бумаг, о быстрой циркуляции их, до сути же вещей никто не доходит. В прошлый голодный год Огарев благоразумными мерами прокормил всю губернию: за это ему не сказали и спасибо. “Произвел какую-то быстроту в ходе текущих дел” и получил чин действительного статского советника. Он сам рассказывал мне это с досадою и прискорбием. Зимой он приезжал в Петербург с целью поговорить с министром внутренних дел о нуждах своей губернии — и не дождался этого счастья. Наконец принужден был явиться к нему в департамент в числе просителей: тогда его выслушали уже ради стыда.

На первой станции от Архангельска нас ожидал директор гимназии, Ковалевский, с шампанским, которым он нас за все время пребывания нашего в Архангельске усердно угощал.

В Холмогоры приехали мы вечером, осмотрели училище и немедленно продолжали путь. От Холмогор до Шенкурска мы опять тонули в песках. Пренесносная дорога. Шенкурск — посмешище городов. Жителей, платящих подати, в нем тридцать два. Кучка полуразвалившихся деревянных построек,

брошенных в яму, — вот город.

Смотритель училища приветствовал нас речью, в которой называл князя Авраамом и солнцем, а себя с учителями и учениками “недостойными рабами его”.

Другой город на нашем пути в Вологду был Вельск. Там застали вологодского епископа Стефана, который объезжал свою епархию с целью учреждения тюремных комитетов. Мы нашли его за обедом, и очень веселым. Он и нас усердно потчевал донским.

Вечером мы приехали в Верховье. Это не город, но лучше многих городов. В нем много зажиточных купцов, торгующих с Архангельском и с Кяхтою. Между ними несколько миллионеров, например купец Рудаков, в доме которого мы были и дивились его роскоши и безвкусию. За Верховьем есть станция, Коморов-Совок, к которой ведет бревенчатая мостовая: не дай Бог еще когда-нибудь по ней прокатиться.

13 августа 1834 года

В восемь часов утра мы прибыли в Вологду. Осмотрели наскоро гимназию и отправились в деревню Ассанову, в трех верстах от города, принадлежащую Дмитрию Михайловичу Макшееву. У него приготовлена была нам квартира.

На следующий день мы опять посетили гимназию — и на этот раз уже основательно. Я экзаменовал учеников: они отвечали недурно из истории и словесности.

По окончании экзамена ко мне подошел жандармский полковник и после обыкновенного приветствия спросил: не знаком ли я с Константином Николаевичем Батюшковым?

— Нет, лично вовсе не знаком. *

— Странно, между тем он часто вспоминает ваше имя.

— Мое имя? Это удивительно! Да где он теперь?

— Здесь: он мне родственник. Я решился навестить Батюшкова.

15 августа 1834 года

Заехал утром к жандармскому полковнику, и мы вместе отправились к несчастному поэту.

Когда ему объявили о моем прибытии, он сказал:

— Очень хорошо: с ним и дева Мария придет ко мне.

Дух этого человека в совершенном упадке. Я прочел ему несколько стихов из его собственного “Умирающего Тассо”: он их не понял. Их удивительная гармония не отозвалась в душе, некогда создавшей их.

Он говорил страшный вздор о том, что у него заключен какой-то союз с

Англией, Европой, Азией и Америкой; что он где-то видел, как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык; вспоминал о какой-то Екатерине Карамзиной и все заключил неприличной выходкой против англичан. Затем он быстро вскочил и побежал в сад. Мы последовали за ним, но он уже больше ничего не говорил: был угрюм и молчалив. Его содержат хорошо. Комнаты его меблированы отлично, и сам он одет опрятно и даже нарядно — в синем шелковом халате и ермолке на голове. Он закидывал конец халата на плечо, в виде римской тоги, и все время старался принять важный, трагический вид.

Ужасное впечатление произвел он на меня: я долго не мог от него оправиться.

За обедом у Макшеева я видел еще одно замечательное лицо — Круковецкого, бывшего диктатора Польши. Ему лет около шестидесяти. Он высокого роста и прекрасной наружности. Много любопытного рассказывал он о последних событиях в Польше. Виновником восстания он считает великого князя Константина Павловича, который раздражал умы насмешками над конституцией и похвальбой, что ее ничего не стоит уничтожить. Он приводил полякам в пример Карла X, говорил, что со всякою конституцией надо поступать, как тот поступил с французскою. Когда же Карл за то поплатился короною, великий князь был этим очень недоволен и беспрестанно толковал с приближенными поляками о том, что в Польше этого не может быть. Наконец восстание разразилось, и великий князь первый удалился из Варшавы.

16 августа 1834 года

Я забыл записать раньше следующее. В Сийском монастыре видел я портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками, и очень недурно, самоучкою, крестьянским мальчиком из какого-то села под Архангельском. Ему тогда было всего четырнадцать лет. Теперь он учится в Академии художеств. Видно, родина Ломоносова не оскудевает талантами.

Кстати о Ломоносове. Приехав в Архангельск, я поспешил взглянуть на памятник этого нашего первого русского ученого светила. Я нашел его на засоренной площади, в пяти шагах от полицейского дома. Фигура Ломоносова отлита недурно; положение его величественное; лицо дышит вдохновением. Но гений, который подает ему лиру, вовсе лишний, да и выполнен нехорошо. К чему он здесь? Пусть бы Ломоносов просто стоял, как поставлен, с лирою в руках и с возвышенным челом. Он может сам за себя говорить — он сам гений. Я расспрашивал о его родственниках:

близкие уже все вымерли.

18 августа 1834 года

Мы приехали в Ярославль и остановились в довольно плохом трактире. Обедали у губернатора; вечером гуляли по бульвару на берегу Волги.

1835

1 января 1835 года

Последние дни прошедшего года были для меня очень бурные. Я восемь дней провел под арестом на гауптвахте.

Вот история сих дней.

В XII книжке “Библиотеки для чтения”, коей я цензор, напечатаны следующие стихи, переведенные М.Делярю из Виктора Гюго:

КРАСАВИЦЕ

Когда б я был царем всему земному миру,
Волшебница! тогда б поверг я пред тобой
Все, все, что власть дает народному кумиру:
Державу, скипетр, трон, корону и порфиру,
За взор, за взгляд единый твой!
И если б Богом был — селеньями святыми
Клянусь — я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!

Более двух недель прошло, как эти стихи были напечатаны; меня не тревожили. Но вот, дня за два до моего ареста, Сенковский нарочно приехал уведомить меня, что эти стихи привели в волнение монахов и что митрополит собирается принести на меня жалобу государю. Я приготовился вынести бурю.

В понедельник, 16 декабря, в половине лекции моей в университете, я получаю от попечителя записку с приглашением немедленно к нему приехать. В записке было упомянуто: “по известному вам делу”. Ясно было, какое это дело. Я привел свои душевные силы в боевой порядок и явился к князю спокойный, готовый бодро встретить обрушившуюся на меня беду.

Мой добрый начальник М.А.Дондуков-Корсаков с сокрушением объявил мне, что митрополит Серафим в воскресенье испросил у государя особенную аудиенцию, прочитал ему вышеприведенные стихи и умолял его как православного царя оградить церковь и веру от поруганий поэзии. Государь приказал: цензора, пропустившего стихи, посадить на гауптвахту. Я выслушал приговор довольно спокойно. Самая тяжкая вина, за которую меня можно было корить, — это недосмотр. Следовало, может быть, вымарать слова: “Бог” и “селеньями святыми” — тогда не за что было бы и придраться. Но с другой стороны, судя по тому, как у нас вообще обращаются с идеями, вряд ли и это спасло бы меня от гауптвахты.

Как бы то ни было, надо ехать к дворцовому коменданту. Первоначально, однако, я заехал домой предупредить о случившемся мою семью и затем отправился к коменданту. Застал его за обедом. Меня ввели в дежурную комнату. Там крупными шагами, с нахмуренным челом, расхаживал дежурный офицер, а на колоннах висели ряды шпаг, отобранных от находившихся под арестом офицеров. Я сел. Через полчаса отворилась дверь кабинета, и меня позвали к коменданту.

Признаюсь, я ожидал от него грубостей, ибо молва изображает его человеком необразованным. И к этому также я приготовился. На сей раз, однако, ошибся.

Генерал учтиво спросил меня, я ли пропустил в “Библиотеке для чтения” вот эти стихи или А.Л. Крылов? Он показал мне их.

— Я, — было моим ответом.

— Государь император приказал посадить вас на гауптвахту.

И все. Затем я удалился. У меня спросили мой чин, записали вместе с именем, и минуту спустя я уже мчался на паре лихих коней по Галерной улице. Меня сопровождал плац-адъютант, весьма вежливый и даже любезный. Мы говорили о погоде, о театре. Наконец я спросил о месте моего заточения.

— На Ново-адмиралтейской гауптвахте, — отвечал он, — это одна из лучших в городе. Притом же она, кажется, и не так далека от вашей квартиры.

Мы приехали, вошли в караульную, наполненную солдатами и удушливым табачным дымом, и очутились в другой небольшой комнате, где находился дежурный офицер. Меня сдали ему. И вот я арестант. Здесь был еще один арестованный, артиллерийский офицер Фадеев, а минуту спустя привезли и еще третьего.

К счастью, за караульною комнатою оказалась еще небольшая каморка, а то нам было бы очень тесно. Узнав, что я цензор, все выразили удивление и расспрашивали о причине моего ареста. В карауле на этот раз был Крузенштерн, сын знаменитого адмирала, молодой человек весьма образованный. Он совершил, между прочим, путешествие вокруг света с капитаном Литке и нашим адъюнктом Постельсом.

Поручик Фадеев тоже оказался очень неглупым и образованным. Его арестовал на три дня великий князь Михаил Павловича какую-то неисправность в мундирах кадет, которых он представлял его высочеству.

Другой арестованный офицер, Киселев, был очень огорчен. Он служит уже

пятнадцать лет, еще сегодня командовал ротою, а вот теперь за какую-то ошибку в марше солдат лишился этой роты и арестован неизвестно на сколько времени.

Все мои разговоры с этими господами я вел стоя, ибо в комнате кроме негодного вольтеровского кресла для караульного офицера, небольшой грязной скамьи и полуизломанного стола не было другой мебели.

Обе комнаты, нам отведенные, светлы, но в высшей степени неопрятны: пол грязнейший; на стенах пятна от сырости. Мне советовали послать домой за кроватью и за постелью. Я вытребовал только вторую и раскаялся. Мне пришлось спать на гнусном полу, головою к стене, от которой несло плесенью и холодом. Я завернулся с головою в шинель и бросился на тюфяк. Сон скоро заставил меня забыть о всех тревогах этого бурного дня.

17 декабря.

Поутру проснулся с жестокою головною болью, с платьем, пропитанным вонью от клопов. Немедленно послал домой за кроватью и еще за другими кое-какими вещами. Здешние мои товарищи уже обзавелись полным хозяйством.

Приезжал осматривать гауптвахту плац-майор Болдырев, величайший невежда из всех майоров в мире. Он за какую-то ошибку в карауле разругал Крузенштерна, придрался за что-то к сторожу и прибил жестоко фухтелями этого бедного старика, которого мы прозвали снегирем за сизый цвет его лица. Шумом, громом, площадною бранью и побоями заявив о своем начальническом сане, сей почтенный воин отправился отсюда прямо за карточный стол, за которым, говорят, он проводит все не занятое службою время.

Немного спустя явился мой милый Дель с поручениями от нашего князя Дондукова-Корсакова. Он сказал мне, что от министра подан доклад обо мне, где я выставлен с отличной стороны и где утверждается, что я пропустил несчастные стихи единственно по недосмотру, весьма естественному в таких многосложных и тяжких трудах, каковы цензурные.

Вслед за Делем приезжал и сам князь. Он подтвердил все прежде сказанное моим товарищем.

18 декабря.

Приезжал навестить меня сам комендант Мартынов. Он обласкал меня, просил не тревожиться, говоря, что обо мне очень многие хлопочут. Он, с своей стороны, обещался в тот же день доложить обо мне государю.

Жена пишет мне, что мой арест наделал в городе много шуму и что к нам на квартиру приезжает масса лиц с изъявлениями своего сожаления и участия. Так как большинству неизвестно место моего заточения, то, говорят, на разных гауптвахтах отбою нет от желающих меня видеть.

Весь день провел в разговорах с Фадеевым и с караульным офицером

Муратовым, который тоже к нам очень любезен.

19 декабря.

Те же слухи о волнении и всеобщем ко мне участии. Поутру был у меня Плетнев. Фадееву кончился срок ареста; Киселев тоже освобожден. Я остался один. Мало-помалу я совершенно обзавелся хозяйством. Каждый день получаю из дома по два письма, и оттуда же приносят мне обед.

Три дня уже сижу я здесь, и пока ничто не предвещает еще моего скорого освобождения. Мартынов действительно докладывал обо мне государю и спрашивал, не благоугодно ли ему будет освободить меня. Государь отвечал:

— Я сам назначу срок.

20, 21 и 22 декабря.

Эти дни проведены однообразно, как и прилично в заточении. По временам посещают меня знакомые, но это мне неприятно, так как посещать арестантов запрещено. Некоторые из караульных офицеров до того простерли свою доброту и любезность, что предлагали мне съездить домой повидаться с семьей. Конечно, я не согласился: они могли бы за то поплатиться. В числе посетителей моих был Воейков, а от князя я получил премилое письмо.

Гвардейские офицеры, из которых и сюда назначаются караульные, вообще люди образованные по-светски. Жалуются на пустоту и ничтожество своей службы. Впрочем, они не страдают обилием идей: немножко больше свободы во фронте, немного меньше грубостей со стороны главных начальников и немного больше времени для танцев — вот все их понятия о лучшем.

23 декабря.

Сегодня вечером привели мне нового товарища заключения: того самого Муратова, который недавно был на этой же гауптвахте в карауле. Он сделал ошибку по службе, и его арестовали на две недели…

24 декабря.

Провел день нескучно в беседе с Муратовым. На освобождение все еще ни малейшего намека. Пока я спокоен, ибо существование моей семьи обеспечено еще на месяц.

Вечером посетил нас дежурный чиновник адмиралтейства, так называемый советник. Он, кажется, шпион, глуп, подл в обращении, как жид. Самыми отвратительными ужимками и нелепыми околичностями старался он завести с нами разговор о правительстве. Разумеется, мы были настороже.

25 декабря.

Я, наконец, решился попросить коменданта, чтобы мне позволили повидаться с женой, написал уже с этою целью письмо и только что хотел отдать его караульному офицеру для доставки по назначению, как явился казак с приказом освободить меня. Распростившись с Муратовым, пожелав ему скорого освобождения, я забрал свои пожитки и отправился домой. Ровно восемь дней провел я под гостеприимным кровом Ново-адмиралтейской гауптвахты.

Дома меня встретили как бы возвратившегося из дальнего и опасного странствия. В тот же день отправился я к князю. Он принял меня с изъявлением живого-удовольствия. От него поехал я к министру и тоже был принят благосклонно: ни слова укора или даже совета на будущее, Он, между прочим, сказал:

— И государь на вас вовсе не сердит. Прочитав пропущенные стихи, он только заметил: “Прозевал!” Но он вынужден был дать удовлетворение главе духовенства, и притом публичное и гласное. Во время вашего заключения он осведомлялся у коменданта, не слишком ли вы беспокоитесь, и выразил удовольствие, узнав, что вы спокойны. Митрополит вообще не много выиграл своим поступком.

Государь недоволен тем, что он утруждал его мелочью. Итак, не тревожьтесь: вам ничто более не грозит.

Весть о моем освобождении быстро разнеслась по городу, и ко мне начали являться посетители. В институте я был встречен с шумными изъявлениями восторга. Мне передавали, что ученицы плакали, узнав о моем аресте, а одна из них призналась священнику на исповеди (они говели в это время, по обычаю, перед выпуском), что она бранила митрополита за то, что тот жаловался на меня государю.

Я узнал, кто был первым виновником моего заключения: это Андрей Николаевич Муравьев, автор “Путешествия ко святым местам” и неудачной трагедии “Тивериада”, Я лично не знаю его, но из всего, что о нем говорят, выходит, что это фанатик, который, впрочем, себе на уме, то есть, по пословице, с помощью монахов, на святости идей строит свое земное счастье.

Однако он не много выиграл своим доносом на меня. В публике клеймят имя Муравьева, а государь через Бенкендорфа уже дал заметить митрополиту, что вовсе не благодарен ему за шум, который около двух недель наполняет столицу. Очевидно, Муравьеву с братией не того хотелось.

Был у коменданта Мартынова: он принял меня очень вежливо.

Однако мне уж надоело отовсюду слышать только о моем ареста: пора бы уже предать это забвению.

Новая беда в цензуре. В первой книжке “Библиотеки для чтения ” напечатаны стихи в честь царя. Это плохие стишонки некоего офицера Маркова, который за подобное произведение уже раз получил брильянтовый перстень и, верно, захотел теперь другого. Я представлял стихи министру: ни он, ни я не заметили одного глупого стиха, или, лучше сказать, слова, в конце первой строфы. Автор, говоря о великих делах Николая, называет его “поборником грядущих зол”. Об этом министр

узнал вчера и дал знать князю. Этот добрый, благородный человек не захотел меня тревожить в первый день нового года и так скоро после постигшей меня передряги. Он не дал мне ничего знать, но сам поехал к Смирдину и принял решительные меры. Еще не много экземпляров было разослано по столице, и книжка не успела дойти до дворца. Тотчас собрали все находившиеся еще налицо экземпляры, перепечатали в них первую страницу, где слово “поборник” заменили словом “рушитель” — и дело обошлось.

Семенов также сделал промах. В одном из последних номеров “Сына отечества” напечатана статья о французских и английских романах, где одна святая названа “представительницею слабого пола”. Цензор получил от министра строгий выговор. Тем пока все кончилось.

Сенковский сделал глупость. Он заметил слово “поборник” накануне рассылки журнала, но не захотел ни сам переменить его, ни уведомить меня. Но хорош Булгарин! Он тоже заметил злополучное слово и собрался с доносом к Мордвинову. Но его опередили, отобрав экземпляры журнала и заменив слово другим. Он зол на Сенковского за то, что тот получает большие выгоды от “Библиотеки” Вот нравы наши литературных корифеев!

9 января 1835 года

Был у нашего знаменитою баснописца, Ивана Андреевича Крылова. Он взял на себя редакцию “Библиотеки для чтения” вместо Греча, который после неприятной истории за стихи В. Гюго и за “Роберта Дьявола” отказался от редакции.

Этот “Роберт” наделал много хлопот Гречу. Он, то есть Греч, поместил в “Северной пчеле” содержание этой оперы в том виде, как она существует на французском языке. Но на нашем театре она, по распоряжению самого государя, играется с некоторыми изменениями. Его величество велел сказать ему за это, что еще один такой случай — и Греч будет выслан из столицы.

Комнаты Крылова похожи больше на берлогу медведя, чем на жилище порядочного человека. Все: полы, стены, лестница, к нему ведущая, кухня, одновременно служащая и прихожей, мебель — все в высшей степени неопрятно. Его самого я застал на изорванном диване, с поджатыми ногами, в грязном халате, в облаках сигарного дыма. Он принял меня очень вежливо, изъявил сожаление о моем аресте и начал разговор о современной литературе. Вообще он очень умен. Суждения его тонки, хотя отзывают школою прошлого века. Но на всем, что он говорил, лежал оттенок какой-то холодности. Не знаю, одушевлялся ли он, когда писал свои прекрасные басни, или они рождались из его ума наподобие шелковых нитей, которые червяк бессознательно испускает и мотает вокруг себя. Он жалуется на торговое направление нынешней литературы, хотя сам взял со Смирдина за редакцию “Библиотеки для чтения” девять тысяч рублей. Правда, он не торгует своим талантом, ибо можно быть уверенным, что он ничего не будет делать для журнала. Однако он пускает в ход свою славу: Смирдин дает ему деньги за одно его имя.

11 января 1835 года

Был у генерала Сухозанета. Я определен преподавать русскую словесность в высшие классы Артиллерийского училища. Сухозанет человек очень учтивый и приятный, по крайней мере таким я нашел его в это свидание. Он своим обращением точно хочет опровергнуть неблагоприятные об его характере слухи.

От него поехал я в Михайловский дворец представиться великому князю Михаилу Павловичу, который ныне принялся за учебную часть в корпусах и хочет лично знать каждого преподавателя.

Великий князь быстро обежал круг из чиновничьих фигур в зале, где находился и я. Каждому он сказал буквально по одному слову…

15 января 1835 года

Сухозанет возил меня в Дворянский полк. Ему хотелось показать мне, как там идет преподавание русского языка, с тем чтобы я придумал средства, как поднять эту часть. Жалкое заведение! Отсюда ежегодно выходит в армию человек пятьдесят офицеров, которые едва умеют подписать свое имя. Я нашел здесь странность, едва ли существующую в каком-либо другом заведении в Европе: объем науки и познания учащихся постепенно уменьшаются по мере перехода учеников в высшие классы, так что в последнем выпускном классе они доходят почти до нуля. Например, по русскому языку в низшем классе ученики прошли до синтаксиса, в среднем до наречий, а в выпускном они занимаются числительными именами. В этом классе ныне сорок пять человек: их в мае месяце выпускают офицерами.

16 января 1835 года

Сегодня был мой экзамен в Екатерининском институте, в присутствии императрицы. Он был блистателен. Девицы прекрасно отвечали на все вопросы, которые им предлагал министр народного просвещения Уваров. Они говорили не по заученному наизусть, а легко, чисто, свободно. Василий Андреевич Жуковский сказал мне, что в первый раз в жизни слышит, чтобы учащиеся имели такие познания в словесности и излагали их таким чистым русским языком. Министр подтвердил то же. Государыня изъявила свое полное удовольствие и, уезжая из института, еще прибавила, что она более всего довольна успехами девиц в русской словесности. Они писали сочинения на досках в присутствии всех и на темы, которые были назначаемы самою государынею и Уваровым. Все сочинения были очень хороши, а некоторые даже так хороши, что государыня приказала их списать для себя и взяла с собою. Зато же и осыпан я был сегодня со всех сторон вежливостью, любезностями и т.д. Уваров напомнил государыне, что я тот самый цензор, который недавно сидел на гауптвахте.

17 января 1835 года

Вчера состоялся великолепный бал-маскарад в доме Державиной. Давали его

Львовы, Державина и Бороздины. Блестящая наша аристократия! Звездами хоть мост мости… Играли оперу: она шла очень недурно; было также несколько характеристических кадрилей, очень красивых. Гостей насчитывали до 600 человек.

21 января 1835 года

Гоголь, Николай Васильевич. Ему теперь лет 28—29. Он занимает у нас место адъюнкта по части истории; читает историю средних веков. Преподает ту же науку в Женском Патриотическом институте. Литератор. Обучался в нежинской безбородковской гимназии вместе с Кукольником, Н.Я.Прокоповичем и т.д. Сделался известным публике повестями под названием “Вечера на хуторе; повести пасечника Панька Рудого”. Они замечательны по характеристическому, истинно малороссийскому очерку иных характеров и живому, иногда очень забавному, рассказу. Написал он и еще несколько повестей с юмористическим изображением современных нравов. Талант его чисто теньеровский. Но помимо этого он пишет все и обо всем: занимается сочинением истории Малороссии; сочиняет трактаты о живописи, музыке, архитектуре, истории и т.д. и т.д.

Но там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным или же расплывается в ребяческих восторгах. Тогда и слог его делается запутанным, пустоцветным и пустозвонным. Та же смесь малороссийского юмора и теньеровской материальности с напыщенностью существует и в его характере. Он очень забавно рассказывает разные простонародные сцены из малороссийского быта или заимствованные из скандалезной хроники. Но лишь только начинает он трактовать о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит прямо в гении.

Вот случай из его жизни, который должен был бы послужить ему уроком, если бы фантастическое самолюбие способно было принимать уроки. Пользуясь особенным покровительством В.А.Жуковского, он захотел быть профессором. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, что тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрасный профессор истории, хотя в этом отношении он не представил ни одного опыта своих знаний и таланта. Ему предложено было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания ординарного профессора и шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. Молодой человек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры — и какой кафедры — университетской! — требует себе того, что сам Герен, должно полагать, попросил бы со скромностью. Это может делаться только в России, где протекция дает право на все. Однако ж министр отказал Гоголю. Затем, узнав, что у нас по кафедре истории нужен преподаватель, он начал искать этого места, требуя на этот раз, чтобы его сделали по крайней мере экстраординарным профессором. Признаюсь, и я подумал, что человек, который так в себе уверен, не испортит дела, и старался его сблизить с попечителем, даже хлопотал, чтобы его сделали экстраординарным профессором. Но нас не послушали

и сделали его только адъюнктом.

Что же вышло? “Синица явилась зажечь море” — и только. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтобы они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности.

Вот чем кончилось это знаменитое требование профессорской кафедры. Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в свою всеобъемлющую гениальность. Хотя после замечания попечителя он должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и прочими членами университета, но в кругу “своих” он все тот же всезнающий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор.

Это сметное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, составляет черту характера не одного Гоголя, но едва ли не всех знаменитых умов наших, видавших свое имя в печати. Есть, например, некто [К.С.Сербинович], помещающий в изданиях свои годичные обзоры русской журнальной литературы. Послушайте его, как он говорит обо всем: тоже человек гениальный. Его маленькое желчное личико надуто, как соленый залежавшийся огурец с пустотою внутри. Только этот — гений другого рода. Ни одна вещь в мире, ни самый мир, кажется, ни одно лицо человеческое, ни одна мысль, вышедшая из чужой головы, не имеют счастья ему нравиться. Он на все смотрит как человек, исчерпавший жизнь до дна и вполне измеривший холодную пустоту в ее таинственных глубинах. Не думайте в разговоре с ним обменяться мыслями: слушайте только его неотразимые, роковые приговоры: в них сокрыта мудрость политика и журналиста.

24 января 1835 года

Сегодня опять представлялся великому князю Михаилу Павловичу. Он ныне очень заботится о расширении учебной части в военных корпусах.

18 марта 1835 года

Достопримечательное заседание в совете университета. В Московском и других университетах русских ученое сословие не считало предосудительным брать взятки при экзаменах чиновников. Наш не имел этой славы. Однако с некоторых пор и сюда стал вкрадываться продажный дух, впрочем общий всем учреждениям в России. Три или четыре человека из здешних профессоров уже приобрели известность в этом отношении, гораздо большую, чем в ученой своей деятельности. Несколько других сочли своею обязанностью выставить это обстоятельство перед князем и возбудить его к противодействию: ибо чем больше общество будет проникнуто доверием к нравственному достоинству ученого сословия, тем больше влияния будет иметь последнее на образование в России. Пусть хоть оно одно в России будет проникнуто

духом чести!

Князь решился явиться в совет университета будто для совещания по разным делам, но на самом деле чтобы дать почувствовать всем, сколь необходимо нам сохранить честь сословия в этом отношении. Он исполнил это тонко и хорошо.

19 марта 1835 года

Был у меня Погодин, профессор Московского университета. Он приезжал сюда, между прочим, с жалобою к министру на московскую цензуру, которая ничего не позволяет печатать. После моего ареста она превратилась в настоящую литературную инквизицию. Погодин говорит, что в Москве удивляются здешней свободе печати. Можно себе представить, каково же там!

7 апреля 1835 года

Праздник воскресения Христова. Был у заутрени и обедни в университетской церкви. Целый день свирепствовала ужасная буря и метель. Снег выпал такой, что ездят на санях.

9 апреля 1835 года

Был во дворце для поздравления великого князя Михаила Павловича. Поклонников было человек триста. Голубые, синие, красные и алые ленты мелькали на каждом шагу; звезд было не счесть. Великий князь со всеми христосовался. От него я поехал к нашему министру, где повторилась та же сцена.

Я пропустил первую часть записок герцогини Абрантес в русском переводе. Государь спросил у министра, правда ли это? Ему отвечали, что правда, но что в этих записках нет ничего худого.

Виделся с Лобановым. Он очень расстроен критикою на его трагедию “Борис Годунов”, напечатанную в “Северной пчеле” и “Библиотеке для чтения”. Трагедия плоха, но и разобрали же ее жестоко.

11 апреля 1835 года

Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни светлой мысли, ни искры чувства. Все пошло, мелко, бездушно. Один только цензор может читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть не может. У нас нет недостатка в талантах; есть молодые люди с благородными стремлениями, способные к усовершенствованию. Но как могут они писать, когда им запрещено мыслить? Тут дело вовсе не в том, чтобы направлять умы или сдерживать еще неопределенные, опасные порывы. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит.

Из этого выходит, что посредственным людям ничего больше не остается, как погрязать в скотстве. Люди же с талантом принуждены жить только для себя. От этого характеристическая черта нашего времени — холодный, бездушный эгоизм. Другая черта — страсть к деньгам: всякий спешит захватить их побольше, зная, что это единственное средство к относительной независимости. Никакого честолюбия, никакого благородного жара к вольной деятельности. Одно горькое чувство согревает еще адским, жгучим жаром некоторые избранные души: это чувство — негодование.

21 апреля 1835 года

Новое постановление: не представлять чиновников к ежегодным денежным наградам. До сих пор каждый из них, получая жалование, едва достаточное на насущный хлеб, всегда возлагал надежды на конец года, который приносил ему еще хоть треть всего оклада: это служило дополнением к жалованью и давало возможность кое-как перебиваться. Имелось в этом важное орудие поощрения, обращая дополнение к жалованью в награду за особенное усердие и труды по службе. Теперь этого не будет, так как решили, что чиновники и тогда уже достаточно благоденствуют, если являются на службу не с продранными локтями. Да оно и действительно так: ведь честолюбие запрещено, питать; к чему же тут поощрения или награды? Министры очень недовольны этим распоряжением.

20 мая 1835 года

Представлялся вместе с прочими профессорами новому товарищу министра народного просвещения, графу Протасову. Это молодой человек лет 32-х, без физиономии, флигель-адъютант. У нас молодые люди, раз напечатавшие где-нибудь в журнале свое имя, считают себя гениями; так же точно люди, надевшие военный мундир с густыми эполетами, считают себя государственными людьми наравне с Меттернихами я Талейранами.

13 июня 1835 года

Двум первоклассным живописцам нашим, Егорову и Шебуеву, заказаны образа для иконостаса церкви в Измайловском полку. Образа были написаны, одобрены назначенною для того комиссиею и поставлены в церковь. Приезжает министр императорского двора и находит образа не по своему вкусу: он ли сам это нашел или какой-нибудь флигель-адъютант — любитель изящного — неизвестно. Только следует приказ: “Отдать образа обратно Егорову и Шебуеву за то, что они дурно написаны, а деньги, если оные уже выданы им, взыскать с них в казну; если же не выданы, то и не выдавать и внести это в их послужные списки”.

15 июня 1835 года

Возвратились из-за границы студенты профессорского института. У меня были

уже: Печерин, Куторга-младший, Чивилев. Калмыков приехал прежде. Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве рабства. Особенно мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть Европы и теперь опять заброшен судьбою в Азию. По словам их, ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские, чтобы встретить взгляд и ласковое слово иностранца. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества.

17 *июня 1835 года*

Князь-попечитель призывал меня на совещание, кого из возвратившихся из-за границы оставить при Петербургском университете. Для прав я предложил Калмыкова и Редкина; для истории Куторгу, Михаила Семеновича; для политической экономии — Порошина; для греческой словесности — Печерина; для латинской — Крюкова. Князь намерен сильно настаивать, чтобы этих людей дали нашему университету, но мало надеется отстоять Печерина и Крюкова. Другие университеты тоже нуждаются в профессорах. В министерстве сильно хлопочут об усилении хорошего состава профессоров по всем русским университетам.

Попечитель, между прочим, сообщил мне, что новое образование округов уже скоро состоится. Университет устраняется от всякого участия в собственном управлении. Власть сосредоточивается в лице попечителя и его совета.

18 июня 1835 года

Слушал пробные лекции, читанные в академии Куторгою и Луниным. Обе по части истории. Один начал историю средних веков, другой новую. У Куторги нет дара слова и вообще особенного таланта; но с практикою он сделается хорошим и полезным преподавателем. Уже и то много, что он читал не по тетради. В нем, кроме того, видна свежая, юношеская любовь к своему предмету. Лунин читал почти всё по тетради, несколько напыщенно и витиевато.

27 *июня 1835 года*

Был у министра с докладом об одной статье для “Библиотеки для чтения”: он согласился пропустить ее. Оттуда поехал в университет, где несколько студентов правоведения защищали диссертации на степень докторов. Эта травля ученых продолжалась около пяти часов. Студенты все из семинаристов, что очень отзывается в их приемах и речах.

8 августа 1835 года

Ездил к министру с докладом о цензуре. Сенковский хочет напечатать в

“Библиотеке для чтения” статью о Фридрихе Великом, где говорится, что этот государь основал новую форму правления в Европе — военное самодержавие, что эта форма есть наилучшая, в особенности для России, в которой она и осуществляется с таким успехом.

Эту статью, как политического содержания, надлежало представить министру. Он велел исключить в ней все, относящееся к России.

Министр Уваров сегодня был в ударе говорить. Привожу целиком монолог, который он произнес:

— Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, что хотят наши либералы, наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но им не удастся бросить своих семян на ниву, на которой я сею и которой я состою стражем, — нет, не удастся. Мое дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория; я надеюсь, что это исполню. Я имею на то добрую волю и политические средства. Я знаю, что против меня кричат: я не слушаю этих криков. Пусть называют меня обскурантом: государственный человек должен стоять выше толпы.

О Грече он говорил очень резко:

— Я имею, — сказал он, — такое повеление государя, которым могу в одно мгновение обратить его в ничто. Вообще эти господа не знают, кажется, в каких они тисках и что я многое смягчаю еще в том, что они считают жестоким.

6 октября 1835 года

Я сделан членом комитета, который должен выработать проект устройства военно-учебных заведений. Это создание Якова Ростовцева, который является главною пружиной дел по этой части. Великий князь Михаил Павлович его слушает. Ростовцев действует как патриот и благородный человек. Главная мысль его: повести образование в корпусах так, чтоб гражданин стоял здесь выше солдата. Он председательствует в нашем комитете. Он одарен светлым умом и даром излагать свои мысли ясно и с какою-то особенною прелестью, несмотря на то, что он заика.

У нас было уже несколько заседаний. Еще отличается здесь инспектор Павловского кадетского корпуса, Александр Федорович Шенин. Это тоже человек замечательный. Маленькая фигурка с кривыми ногами и насмешливою мефистофельскою физиономиею. Ум его резок и меток. С этим он соединяет, кажется, твердую волю и искусство убеждать то резкою ирониею, то основательными доводами. Он сделал много улучшений в своем корпусе.

30 октября 1835 года

Ожесточенные прения с Сенковским. В его повести “Записки домового” я исключил несколько фраз, которые мне показались уж чересчур непристойными. Он восстал, но в заключение уступил мне, однако не столько как цензору, сколько приятелю, который убеждал его со стороны вкуса и приличия. Мы расстались вполне миролюбиво.

23 ноября 1835 года

Женские заведения, говорят старики и старушки, ныне не в таком цветущем состоянии, как при императрице Марии Федоровне. Это особенно замечают в Екатерининском институте. В Смольном монастыре упадок несколько прикрывается личным благоволением государыни Александры Федоровны к начальнице его, госпоже Адлерберг. Созданные мерами чрезвычайными, под влиянием вкуса к просвещению в начале царствования Александра I, они в нынешнее время могли бы поддержаться также только чрезвычайными мерами. Жалованье учащим в этих заведениях скудное. Но императрица Мария своею любезностью и вниманием умела привлекать в них лучших преподавателей, какие в то время могли быть в Петербурге. Все они были воодушевлены духом императрицы, одно имя которой вселяло во всех какое-то религиозное рвение к долгу. Я не застал уже ее, но слышу это от каждого, кто служил под ее начальством.

Конечно, и тогда были злоупотребления; особенно дурно шла материальная часть. Экономы крали беспощадно, и самые мысли императрицы часто искажались исполнителями; но заведение имело то, что называется духом: оно жило, а не прозябало. Теперь девицам дают порядочный картофель и не совсем тухлую говядину, и то только по милости Николая Петровича Новосильцева, который в качестве члена совета и человека доброго, хотя и не орла, обратил внимание на желудки воспитанниц. Зато образование вполне предоставлено случаю…

23 декабря 1835 года

На экзамене в Артиллерийском училище познакомился я с генералом Ермоловым, другим, и не тем, который был покорителем Грузии. Это человек образованный, хотя и с генеральскими эполетами. Такое же приятное удивление вызвал во мне и другой генерал, Л.И.Зедделер, назначенный начальником Аудиторской школы.

26 декабря 1835 года

В городе очень много толкуют о новом балете “Бунт в серале”. Слово бунт, впрочем, заменено восстанием. Здесь особенно восторгаются сценою купанья одалисок и военными эволюциями танцовщиц. Последние, говорят, доведены до пределов невозможного. Государь сам ездил на репетицию и наблюдал за этим.

Много говорили также, а теперь уже и перестали, о том, как французские и

английские газеты и журналы разбранили речь Николая I к польским депутатам в Варшаве. Государь велел пропустить эти журналы, на которые был изготовлен ответ и напечатан в петербургской французской газете. Впрочем, журналы эти недолго вращались в публике. Теперь уже не найдешь их ни в одном публичном месте: они отобраны полицией.

28 декабря 1835 года

Гебгардт-старший — товарищ мой по университету. Теперь он служит в иностранной коллегии и учит математике в Павловском корпусе и в частных домах. Он одарен удивительно гибким, блестящим умом и редким даром слова. Ум его рассыпается в тысячах блестящих искр, и каждая искра или светит, или жжет. Особенно хорош он в быстрых, летучих, неожиданных эпиграммах, которыми уязвляет пошлость и невежество нашего общества. Чувствуя в себе силы на высшую деятельность, он грустно влачит дни свои по темным и грязным закоулкам чиновнического быта — и это съедает его, ибо с таким блестящим умом нельзя не иметь честолюбия. Ему еще тяжелее оттого, что он по свойствам своего ума неспособен к упорной, усидчивой кабинетной деятельности: ему необходимы воздух и пространство.

Другой товарищ мой, Чижов, готовится занять в университете место профессора математики. Этот человек стоит высоко по своим нравственным силам. В его характере и уме гораздо больше энергии и устоя, чем у Гебгардта. К этому он присоединяет еще способность подчинять свои личные соображения практическим целям жизни. Но не знаю, способен ли он к энтузиазму. Он благороден, однако полагает, что искусная политика жизни не идет вразрез с добродетелью и что невинность должна опираться на знание того, что невинно. В его речах нет ни блеска, ни пылкости, но он выражается ясно и точно. Ум его не рассекает мглы с быстротою молнии, но доходит до верных результатов путем более медленным, но зато и менее опасным.

1836

10 января 1836 года

Кукольник читал у меня своего “Доменикина”. Это высокое произведение. Здесь Кукольник является истинным художником: поэтом и мысли и формы. Мы долго говорили наедине. Он разочарован двором. Не знаю, искал ли он его милостей или только хотел прикрыться его щитом. Как бы то ни было, а его положение незавидно. Каждое произведение свое он должен представлять на рассмотрение Бенкендорфа. С другой стороны, он своими грубыми патриотическими фарсами, особенно “Скопиным-Шуйским”, вооружил против себя людей свободомыслящих и лишился их доверия. Я не говорю о происках мелкой зависти, которая обыкновенно кидает грязью в таланты: талант не должен этого и замечать.

Интересно, как Пушкин судит о Кукольнике. Однажды у Плетнева зашла речь о последнем; я был тут же. Пушкин, по обыкновению грызя ногти или яблоко — не помню, — сказал:

— А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли.

Это было сказано тоном двойного аристократа: аристократа природы и положения в свете. Пушкин иногда впадает в этот тон и тогда становится крайне неприятным.

Чтение “Доменикина” продолжалось у меня до второго часа ночи. Все разошлись еще позже.

13 января 1836 года

Введены новый устав и новые штаты в университетах. Я получаю теперь 3900 рублей жалованья, вместо 1300: заметная разница! Но это преобразование, однако, многим дорого стоит. Тринадцать профессоров и адъюнктов получили увольнение и не знают теперь, куда им деться. Бутырскому оставалось года полтора дослужить до пенсиона в пять тысяч рублей: он уволен с 2000. Исключен также Постельс, человек с дарованиями и со сведениями, совершивший путешествие вокруг света, получивший одобрение от знаменитого Кювье. Кто же может быть уверен в прочности своего положения? Каждый из нас поневоле должен кроме университета искать других занятий, чтобы вдруг, если вздумается начальству, не остаться без куска хлеба. Пример Бутырского особенно печален. Он служил долго и имел блестящую репутацию: ничто не спасло его. Министр давно за что-то сердит на него. Долго недоумевали, каким образом уцелел Сенковский. Теперь объяснилось:

он создание профессора Грефе, а Грефе близкий друг министра.

17 января 1836 года

Вчера была моя обыкновенная пятница. Пушкин написал род пасквиля на министра народного просвещения, на которого он очень сердит за то, что тот подвергнул его сочинения общей цензуре. Прежде его сочинения рассматривались в собственной канцелярии государя, который и сам иногда читал их. Так, например, поэма “Медный Всадник” им самим не пропущена.

Пасквиль Пушкина называется “Выздоровление Лукулла”, он напечатан в “Московском наблюдателе”. Он как-то хвалился, что непременно посадит на гауптвахту кого-нибудь из здешних цензоров, особенно меня, которому не хочет простить за “Анджело”. Этой цели он теперь, кажется, достигнет в Москве, ибо пьеса наделала много шуму в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова.

Трагическое приключение. Сын знаменитого здешнего портного Кампини отдан был учиться архитектуре к Тону. Ему было девятнадцать лет. Он познакомился с сестрою архитектора, своего учителя, девицею лет двадцати девяти и, как говорят, некрасивою. Третьего дня он пришел к Тону вечером, спрятался у него, выждал время, когда девушка осталась одна дома, вошел к ней в спальню и запер дверь изнутри. Через несколько времени в комнате послышался подозрительный шум; выломали двери и нашли девицу Тон плавающею в крови: она была поражена ножом в самое сердце, а молодой человек лежал тут же с перерезанным горлом. Девушка уже умерла, но Кампини был еще жив. Ему зашили горло, он разорвал его и умер. Говорят, что родственники не соглашались на их брак, и они решили погибнуть вместе. Об этом много толков и сплетен.

20 января 1836 года

Весь город занят “Выздоровлением Лукулла”. Враги Уварова читают пьесу с восхищением, но большинство образованной публики недовольно своим поэтом. В самом деле, Пушкин этим стихотворением не много выиграл в общественном мнении, которым, при всей своей гордости, однако, очень дорожит. Государь через Бенкендорфа приказал сделать ему строгий выговор.

Но дня за три до этого Пушкину уже было разрешено издавать журнал вроде “Эдинбургского трехмесячного обозрения”: он будет называться “Современником”. Цензором нового журнала попечитель назначил А.Л.Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело.

3 февраля 1836 года

Вчера в Петербурге случилось ужасное происшествие. В числе масленичных балаганов уже несколько лет первое место занимает балаган Лемана, знаменитого

фокусника, от которого публика всегда была в восторге. В воскресенье, то есть вчера, он дал свое первое представление. Балаган загорелся. Народ, сидевший в задних рядах, ринулся спасаться к дверям: их было всего две. Те, которые сидели ближе к выходу, то есть в креслах или тотчас за ними, действительно спаслись. Но скоро толпа, нахлынувшая к дверям, налегла на них так, что не было возможности их открывать. Огонь между тем с быстротою молнии охватил все здание и в несколько мгновений превратил его в пылающий костер, где горели живые люди. Никакой помощи не успели подать. Через четверть часа все превратилось в уголья и в пепел; крики умолкли, и среди дымящихся развалин открылись кучи обгорелых трупов.

Это было в половине пятого пополудни. Государь сделал все, что мог, для спасения несчастных, но было уже слишком поздно. Согласно “Северней пчеле”, погибло 126 человек; по частным, неофициальным слухам — вдвое больше. Да сверх того, многие видели еще огромный ящик, наполненный костями, собранными в местах, где всего сильнее свирепствовал пожар. Ради теплоты Леман обил большую часть балагана смоляною клеенкой, и, сверх того, все доски тоже были обмазаны смолой: немудрено, что пламя так быстро распространилось.

Пожар, говорят, произошел от лампы, которая была поставлена слишком близко к стене и зажгла клеенку. Я сегодня проезжал мимо и не видел уже ничего, кроме черного пятна, на котором еще продолжают сгребать золу. В золе этой люди: они в четверть часа превратились в золу.

10 февраля 1836 года

Оказывается, что сотни людей могут сгореть от излишних попечений о них полиции. Это покажется странным, но оно действительно так. Вот одно обстоятельство из пожара в балагане Лемана, которое теперь только сделалось известным. Когда начался пожар и из балагана раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади по случаю праздничных дней, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Вдруг является полиция, разгоняет народ и запрещает что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных: ибо последним принадлежит официальное право тушить пожары. Народ наш, привыкший к беспрекословному повиновению, отхлынул от балагана, стал в почтительном расстоянии и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная же команда поспела как раз вовремя к тому только, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы.

Было, однако ж, небольшое исключение: несколько смельчаков не послушались полиции, кинулись к балагану, разнесли несколько досок и спасли трех или четырех людей. Но их быстро оттеснили. Зато “Северная пчела”, извещая публику о пожаре, объявила, что люди горели в удивительном порядке и что при этом все надлежащие меры были соблюдены. Государь, говорят, сердился, что дали стольким погибнуть, но это никого не вернуло к жизни.

3 марта 1836 года

Был на балу у А.М.Княжевич. Он праздновал именины жены. Домашний спектакль: играли дети какую-то комедию Бориса Федорова, а взрослые — комедию А.А. Шаховского “Своя семья”. Автор был здесь. Я старался не попадаться ему на глаза, ибо он ужасный говорун, хотя говорит вообще недурно. Зато я попался в руки двум другим говорунам: цензору Семенову и литератору-академику Лобанову. Первый, впрочем, добродушный говорун и никого не оскорбляет. Второй другого закала человек. Это, что называется, академик-парик и плохой поэт. Старая литература для него святыня, новая — ересь и сплошь мерзость. “Каждая новая идея, — говорит он, — заблуждение; французы подлецы; немецкая философия глупость, а все вместе либерализм”, против которого он, Лобанов, написал уже речь. Последняя, по его мнению, должна понравиться правительству. Если бы послушать Лобанова, то цензура ничего не пропускала бы, кроме его сочинений, “благонамеренных и солидных”.

После академического суесловия настала очередь шампанского. Я запил им горе этого вечера и возвратился домой уже около пяти часов утра.

10 марта 1836 года

Плюшар напечатал в “Северной пчеле” письмо с обвинением Смирдина в том, что тот неисправно доставляет подписчикам 3 и 4 тома “Энциклопедического лексикона”: по уговору, он должен их рассылать. Смирдин, в свое оправдание, представил цензурному комитету расписку Плюшара, из которой видно, что эти тома им самим получены лишь в то время, когда, по словам Плюшара, они должны были бы уже находиться в руках подписчиков. Так как Плюшар такою ложью очевидно намеревался подорвать торговый кредит Смирдина, последний подал на первого жалобу генерал-губернатору. Но кто настоящий виновник этой интриги? Греч: он поссорился с Сенковским, захотел отомстить ему на Смирдине и подбил Плюшара напечатать вышеупомянутое письмо. Цензор Семенов должен от этого выйти в отставку.

14 апреля 1836 года

Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора, в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался.

28 апреля 1836 года

Комедия Гоголя “Ревизор” наделала много шуму. Ее беспрестанно дают — почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила.

Государь даже велел министрам ехать смотреть “Ревизора”. Впереди меня, в креслах, сидели князь Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал:

— Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу. Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в умах от существующего у нас порядка вещей.

29 апреля 1836 года

За комедией Гоголя на сцене последовала трагедия в действительной жизни: чиновник Павлов убил или почти убил действительного статского советника Апрелева, и в ту минуту, когда тот возвращался из церкви от венца с своею молодой женой. Это вместе с “Ревизором” теперь занимает весь город.

10 мая 1836 года

Удивительные дела! Петербург, насколько известно, не на военном положении, а Павлова ведено судить и осудить в двадцать четыре часа военным судом. Его судили и осудили. Палач переломил над его головою шпагу, или, лучше сказать, на его голове, потому что он пробил ему голову. Публика страшно восстала против Павлова как “гнусного убийцы”, а министр народного просвещения наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма, считая их виновными в убийстве Апрелева. Ведь доказывал же Магницкий, что книга Куницына “Естественное право”, напечатанная по-русски и в Петербурге, вызвала революцию в Неаполе. Павлова, как сказано, судили и осудили в двадцать четыре часа.

Между тем вот что открылось. Апрелев шесть лет тому назад обольстил сестру Павлова, прижил с нею двух детей, обещал жениться. Павлов-брат требовал этого от него именем чести, именем своего оскорбленного семейства. Но дело затягивалось, и Павлов послал Апрелеву вызов на дуэль. Вместо ответа Апрелев объявил, что намерен жениться, но не на сестре Павлова, а на другой девушке. Павлов написал письмо матери невесты, в котором уведомлял ее, что Апрелев уже не свободен. Мать, гордая, надменная аристократка, отвечала на это, что девицу Павлову и ее детей можно удовлетворить деньгами. Еще другое письмо написал Павлов Апрелеву накануне свадьбы. “Если ты настолько подл, — писал он, — что не хочешь со мной разделаться обыкновенным способом между порядочными людьми, то я убью тебя под венцом”.

Военный суд очень не понравился публике. Теперь Павлова приказано сослать на Кавказ солдатом с выслугою.

Еще благородная черта его. Во время суда от него требовали именем государя, чтобы он открыл настоящую причину своего необычайного поступка. За это ему

обещали снисхождение. Он отвечал:

— Причину моего поступка может понять и оценить только Бог, который и рассудит меня с Апрелевым.

После уже, испив до дна чашу наказания, он сдался на желание государя и ему одному согласился все открыть. К нему послали флигель-адъютанта. Павлов вручил ему письмо к государю, в котором излагал все, как было.

28 мая 1836 года

Между моими близкими знакомыми есть некто Н.Г.Фролов, молодой человек с замечательными качествами. Он оставил военную службу и, по моему совету, поехал в Дерпт за систематическим образованием. Ему предстояла ожесточенная борьба с латинским и немецким языками и со многими другими трудностями ученого механизма. Все это он мужественно победил. Я никого не знаю с более благородным сердцем и умом, более способным к высшему развитию. Вот что с ним случилось на днях.

Он пробирался сквозь толпу в театр. С ним рядом пролагал себе путь и какой-то офицер. Последний вдруг обращается к Фролову и грозно спрашивает, куда он тянется. Фролов изумился, но ни слова не отвечал и продолжал идти вслед за другими.

— Подите прочь отсюда, — закричал на него офицер, — или я вас отправлю на съезжую.

Фролов оцепенел и, как сам говорил, в первую минуту не нашелся, что отвечать. Опомнившись, он бросился в театр на поиски за офицером, который тем временем успел скрыться. Он его не нашел, но хорошо запомнил лицо и цвет воротника его мундира. Долго ходил он по казармам, отыскивая его, — но напрасно. Наконец наткнулся на него во время ученья, узнал его имя и адрес. Тогда Фролов явился к нему с двумя товарищами и призвал к ответу. Офицер струсил и просил прощения.

Каково, однако, положение вещей в обществе, где ваш согражданин может грозить вам тюрьмою потому только, что он носит известный мундир и, как этот полковник — это действительно был полковник, — оправдывать свой поступок дурным расположением духа — как это и сделал полковник — или тем, что ваша физиономия не нравится ему. И это не единичный факт. Примеров офицерских дерзостей не перечесть. Недавно тоже два офицера так, ради смеха, встретив на улице одного чиновника, совершили над ним грубое неприличие. Тот спросил у них, что они: сумасшедшие или пьяные? Они привели его на съезжую, и оскорбленный должен был заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тот отпустил его.

Еще: несколько офицеров, и в том числе знатных фамилий, собрались пить. Двое поссорились — общество решило, что чем выходить им на дуэль, так лучше разделаться так, кулаками. И действительно, они надавали друг другу пощечин и помирились. Было положено строго молчать об этом. Но один из собеседников не вытерпел, рассказал об этом в обществе; дело дошло до государя, и кучка негодяев

была исключена из гвардии.

16 июля 1836 года

Вчера мы все, то есть товарищи университетские, давали вечер Поленову в честь его приезда. Было много веселья. Пир устроился в квартире графа Головкина, при котором наш старший Михайлов состоит секретарем. Гам, шум и песни замолкли только в четыре часа утра. Это, право, не дурно. Надо, чтобы жизнь иногда пенилась.

Гебгардт был умен, блестящ и любезен, как всегда; Поленов пел и шумел; Линдквист говорил о великих людях; Дель играл в вист и рассуждал о политике; Сорокин ворчал на жизнь; Армстронг исправлял должность эхо; Чижов был благоразумен и тонок; Михайлов-старший был, по обыкновению… легок как пух и голосист как жаворонок; Михайлов-младший с обычной грацией играл комедии и всех тешил. Всё славные ребята, дружно думали и дружно веселились.

Здесь мы нашли мальчика лет четырнадцати, который в маленькой комнатке срисовывал копию с картины Рубенса. Копия прекрасная: она почти кончена. Это крепостной человек графа Головкина. Я говорил с ним. В нем определенные признаки таланта; но он уже начинает думать о ничтожестве жизни, предаваться тоске и унынию. Граф ни за что не хочет дать ему волю, Михайлов просил его о том тщетно. Что будет из этого мальчика? Теперь он самоучкою снимает копии с Рубенса. Через два или три года, он сломает кисти, бросит картины в огонь и сделается пьяницею или самоубийцею. Граф Головкин, однако, считается добрым барином и человеком образованным… О Русь! О Русь!

9 октября 1836 года

Вчера был акт в университете. Я читал отчет за прошедший академический год и речь “О необходимости философского или теоретического изучения словесности”. Публика приняла и то и другое одобрительно. Когда я сошел с кафедры, меня осыпали приветствиями.

Вечером поехал на бал в институт, который праздновал именины своей добрейшей начальницы, Амалии Яковлевны Кремпиной. Здесь пировал я до четырех часов утра. Девицы весь вечер окружали меня тесною толпой, и я наслаждался их простодушною любезностью.

16 октября 1836 года

Цензор Корсаков в отсутствии Шенина заведовал редакцией “Энциклопедического словаря”. Он пропустил и велел напечатать для 7 тома его статью “18 Брюмера”. Греч подал в цензурный комитет донос, что статья эта неблагонамеренная, либеральная и вредная для России, потому что в ней говорится о революциях и конституциях. Статья была читана в комитете. Трусливейшие из цензоров, Гаевский и Крылов, — и те даже не нашли в ней ничего

предосудительного. Сверх того, она была пропущена самим министром. Я предложил в комитете вопрос: “Должны ли мы французскую революцию считать революцией, и позволено ли в России печатать, что Рим был республикой, а во Франции и в Англии конституционное правление, — или не лучше ли принять за правило думать и писать, что ничего подобного на свете не было и нет?”

Крылов отвечал, что историю и статистику нельзя изменять. Другие цензоры согласились с этим. Но председатель комитета Дондуков-Корсаков нашел, что в статье “18 Брюмера” следующее выражение не должно быть пропущено: “*Добрые французы* сокрушались, видя правительство не твердым и повсюду во Франции царствующее безначалие”. Он доказывал, что во Франции тогда не могло быть ни одного *доброго* человека и что эти слова надо непременно вымарать. В заключение положено было, однако, статью “18 Брюмера” не считать зловредною.

18 октября 1836 года

Греч совсем поссорился с Плюшаром и должен был сложить с себя звание главного редактора. Он делал попытки к примирению, писал Плюшару нежные письма. Но Плюшар отвечал, что он согласен на примирение только под условием, что Николай Иванович больше не станет писать доносов на “Энциклопедический словарь”. Это положило конец попыткам.

20 октября 1836 года

Вот образчик современной нравственности. Есть здесь некто Пасынков, чиновник и литератор. Третьего дня он встретился где-то с нашим Михайловым; зашел как-то разговор о генерале Михайловском-Данилевском, с которым Пасынков знаком.

Михайлов: Скажите, пожалуйста, как не стыдно генералу: он такой богатый человек, а между тем не платит учителям за уроки своим детям.

Это действительно было. Он заключил условие с учителем I гимназии Лапшиным по 10 рублей за урок, не заплатил ему ни копейки и собирался еще жаловаться министру за то, что учитель хотел взять с него слишком дорого.

П а с ы н к о в: О, это неправда. Генерал, точно, немножко скуп, но где надо — он не жалеет денег. Вот, например, я знаю случай. Сын его, как вам известно, в университете. При мне он приезжал к профессору Никитенко, просил его о покровительстве сыну и в моих глазах подарил ему прекрасную табакерку, стоившую по крайней мере тысячу двести рублей.

Михайлов: Боже мой! Что вы говорите? Никитенко и взятка — это невозможно! Я знаю его двенадцать лет и ручаюсь, что он этого не сделал.

Пасынков: Как вам угодно, а что правда, то правда.

Они расстались. Михайлов передал мне все это. Я знаю, что у меня есть враги, но такая подлая ложь уже превосходила всякую меру. И с какою целью? Человек,

совсем мне чужой, ссылается на факты, на собственное свидетельство и старается внушить ко мне подозрение в самых близких моих друзьях. Этим уже нельзя было пренебречь.

Мы порешили следующее. Михайлов пригласит к себе этого господина под каким-нибудь предлогом. А я, Поленов и Гебгардт будем скрыты где-нибудь в соседней комнате. Михайлов наведет разговор на меня: если Пасынков повторит сказанное, мы все явимся на сцену, и я потребую у него отчета и объяснения. А там уже решим, что предпринять.

Так и сделали. Мы собрались в среду утром. Явился и Пасынков. Он что-то почуял, ибо с первых же слов Михайлова начал изворачиваться, утверждать, что он не так говорил, что он никогда не осмелился бы даже подумать обо мне так и пр. и пр.

Я не вытерпел и вышел из засады. Он страшно смешался и готов был бежать. Но я решительно и твердо потребовал у него объяснения. Он торжественно от всего отрекся и униженно извинялся. Что было с ним делать? Друзья мои всё слышали в соседней комнате, и я ограничился внушением вперед быть осторожнее в своих речах. И этот человек не глуп и — литератор.

25 октября 1836 года

Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В 15 номере “Телескопа” напечатана статья под заглавием “Философские письма”. Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде. Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, уродливое исключение из общих законов человечества. Непостижимо, как цензор Болдырев пропустил ее.

Разумеется, в публике поднялся шум. Журнал запрещен. Болдырев, который одновременно был профессором и ректором Московского университета, отрешен от всех должностей. Теперь его вместе с Надеждиным, издателем “Телескопа”, везут сюда для ответа.

Я сегодня был у князя; министр крайне встревожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому, который был вызван запрещением “Телеграфа”. Думают, что это дело тайной партии. А я думаю, что это просто невольный порыв новых идей, которые таятся в умах и только выжидают удобной минуты, чтобы наделать шуму. Это уже не раз случалось, несмотря на неслыханную строгость цензуры и на преследования всякого рода. Наблюдая вещи ближе и без предубеждений, ясно видишь, куда стремится все нынешнее поколение. И надо сказать правду: власти действуют так, что стремление это все более и более усиливается и сосредоточивается в умах. Признана система угнетения, считают ее системою твердости; ошибаются. Угнетение есть угнетение, особенно когда оно является следствием гневных вспышек правительства, а не искусно рассчитанных мер.

28 октября 1836 года

Сегодня были созваны в цензурный комитет все издатели здешних журналов. Тут были: Смирдин, Гинце, издатель польского журнала и проч. Греч явился прежде. Они были созваны, чтобы выслушать высочайшее повеление о запрещении “Телескопа” и приказание беречься той же участи. Все они вошли согнувшись, со страхом на лицах, как школьники.

Сегодня же я был у Греча. Он рассказывал мне историю своего отречения от “Энциклопедического лексикона”. Оказывается, что сначала Плюшар лягнул его копытом, а он потом только будто бы отплевался. Главная вина тут цензора Корсакова, который в качестве помощника главного редактора вздумал без согласия последнего помещать статьи в лексикон. Это рассердило Греча. Корсаков пробовал когда-то свои силы в литературе, писал забытые трагедии, издавал забытый же журнал, потом долго жил в деревне, служил по полицейской части и, наконец, сделан цензором против штата, по ходатайству попечителя. Это совершенный хамелеон. Его цвет — цвет последнего, с кем он встретился, но это не столько из угодливости, сколько по легкомыслию.

8 декабря 1836 года

Пишу диссертацию для получения степени доктора. Сроку остается несколько дней. Нам, то есть профессорам до устава, дано право получить эту степень без экзамена, по одной диссертации, которую должно, однако, защищать публично. Эта травля ученых уже была в университете недели две тому назад. Устрялов, профессор русской истории, защищал свою диссертацию “О возможности прагматической русской истории в нынешнее время”. Странная задача: прагматическая история в наше время, при нынешней цензуре и источниках, не очищенных и не разработанных критически, — да разве это мыслимо? Немудрено, что Устрялов защищался слабо против возражений Плетнева, особенно Германа и Литвинова, бывшего профессора в Виленском университете. Последний вышел на арену, когда Устрялов начал доказывать, что Литва всегда составляла часть России; попечитель испугался, как он сам потом мне говорил, чтобы не вышло соблазнительного спора, а потому он поспешил прекратить диспут.

Чижов защищал какую-то новую теорию Остроградского о равновесии жидких тел. Тут, разумеется, я ничего не понял, но знатоки говорят, что Чижов на все возражения отвечал дельно и искусно. Плетнев разгорячился за Карамзина. Когда будут у нас спорить за идеи, а не за лица и выгоды?

10 декабря 1836 года

Вронченко читал у меня свой перевод Шекспирова “Макбета”. Очень приятно провел вечер. Вронченко человек умный и оригинальный. Он около трех лет прожил на Востоке по поручению правительства: ему велено было составить маршрут для прохода наших войск через Малую Азию — разумеется, секретно. От него много

любопытного узнал я о Востоке, особенно о Турции и нынешнем ее преобразовании. Участь Надеждина решена: его сослали на житье в Усть-Сысольск, где должен он существовать на сорок копеек в день. Впрочем, это последнее смягчено. Когда ему объявили о ссылке, он просил Бенкендорфа исходатайствовать ему вместо того заключение в крепость, потому что там он по крайней мере может не умереть с голоду. Бенкендорф исходатайствовал ему вместо того позволение писать и печатать сочинения под своим именем.

Говорят, Надеждин сначала упал духом, но потом оправился и теперь довольно спокоен. Он с благодарностью отзывается о Бенкендорфе и особенно о Дубельте. Болдырева приказано отрешить от всех должностей, то есть ректора, профессора и цензора. Говорят, что наш министр вел себя очень сурово в отношении Надеждина.

23 декабря 1836 года

Печерин отправился в отпуск за границу в июле на два месяца и до сих пор не возвращается. Судя по идеям, которые он еще здесь обнаруживал, он, должно быть, задумал совсем оставить Россию. Это все больше и больше подтверждается. На днях получил от него письмо Чижов: он заклинает его прислать ему рублей пятьсот, а в крайнем случае хоть двести. Но ни слова не говорит о своих намерениях. Мы составили по этому случаю совет, то есть Чижов, Гебгардт, Поленов и я, и решили послать ему с брата по 100 рублей — всего 400, для возвращения в Россию. Он теперь в Лугано, небольшом городке на границах Швейцарии и Италии.

26 декабря 1836 года

Праздники, но я очень занят своей докторской диссертацией. Она должна быть напечатана к 29 числу, 30-го уже разослана кому следует, а 31-го надо уже защищать ее. Совет, впрочем, уже утвердил меня в звании доктора философии. Диссертация печатается у Смирдина. Спасибо ему: он велел елико возможно спешить.

30 декабря 1836 года

Чтение и защита моей диссертации отложены князем и министром. Они считают докторство мое делом решенным с тех пор, как совет университета меня утвердил в нем.

Был у министра. Он много говорил о Печерине, поступком которого очень огорчен, так как это действительно ставит его в затруднительное положение. Как сказать об этом государю? Кара может сначала пасть на самого министра, потом на все ученое сословие, а наконец, и на систему отправления молодых людей за границу. Ведь у нас довольно одного частного случая, чтобы заподозрить целую систему, и министр боится, чтобы так не было и на этот раз.

Новый закон: все молодые люди, окончившие курс учения в высших учебных заведениях, непременно должны прослужить три года в каком-нибудь губернском присутственном месте; поступать прямо в министерство всем воспрещается. Об

этом много толков. Всеобщий ропот.

31 декабря 1836 года

Еду встречать Новый год к Шенину, где будут Ростовцев и Шульгин.

Гебгардт на этот раз мне изменил. Он начинает серьезно беспокоить меня. Он ведет мелкую, рассеянную жизнь. Ничем не занимается, бегает по вечеринкам и балам, где блещет эпиграммами и ловкостью. Жаль. Этот человек мог бы усвоить себе другого рода жизнь. Но почему же — мог бы? Значит, не мог бы, когда не делает. У кого есть силы, тот не может оставить их без употребления.

Прощай, 1836 год!

1837

2 января 1837 года

Вчера встретил Новый год у Шенина. Были: Ростовцев, Шульгин, Плетнев и несколько корпусных офицеров и учителей. Было шумно.

Шенин умный человек. У него крепкая воля. Образ мыслей его, впрочем, мне мало известен. Несомненно, однако, то, что он любит образование: это доказывает все, что он говорит и делает.

Ростовцев сделал много для корпусного воспитания. Шенин ему в этом содействовал. Ростовцева можно так характеризовать: он умен и хитер для добра. Во всяком случае он отрадное явление у нас в настоящее время. Он преобразил Михаила Павловича. Он вдохнул в него благородное стремление отличиться подвигами на поприще просвещения. Он имеет на него большое влияние и пользуется этим как человек честный и человек государственный. Он еще многое может сделать впереди, если только его не столкнут с пути. Впрочем, за него общественное мнение: он умеет привлекать к себе людей. Я его глубоко уважаю.

Шульгин, наш профессор истории и ректор, имеет общий ум. Говорит точно и приятно, хотя без особенной силы. Но ректорство не удалось ему: он почти в постоянных столкновениях с попечителем и с товарищами, из которых многие к тому же старше его и по летам и по службе. Подчиненные в свою очередь не любят его за то, что он не особенно с ними ласков; но у него редкая, похвальная черта, особенно для ректора университета: он не способен к лести и искательству перед сильными.

5 января 1837 года

Вчера я поднес мою диссертацию князю Александру Николаевичу Голицыну, а сегодня получил от него премилое письмо. Признательность моя к нему неизменна: я обязан ему всем своим настоящим и будущим.

20 января 1837 года

Клейнмихель дал мне крест Анны третьей степени за Аудиторское училище. Он был у нас на экзамене и свирепствовал как ураган. Это ужас и бич для подчиненных. Генералы, и те трепещут перед ним, как овцы перед волком. Я, впрочем, не могу пожаловаться: со мной он был вежлив.

На днях он приглашал меня к себе обедать: совсем другой человек. Любезен,

учтив, гостеприимен — просто радушный хозяин. Жена его верх приветливости. Кажется, на сцене своей службы он по системе облекается в бурю, убежденный, что если хочешь повелевать, то должен быть зверем.

21 января 1837 года

Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин; он все еще на меня дуется. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре.

25 января 1837 года

Лекции мои в университете идут успешно. Мне иногда удается увлекать моих слушателей. Я ратую против всяких полумыслей и полувыражений в литературе, против мишурного блеска и неестественности. Много мешает мне, конечно, незнание иностранных языков: мне от этого недостает материала для сравнений и фактов, для общих исторических выводов. Стараюсь пополнить этот пробел чтением всего, что переведено и переводится на русский язык. А пока главная моя цель: согревать сердца слушателей любовью к чистой красоте и истине и пробуждать в них стремление к мужественному, бодрому и благородному употреблению нравственных сил. Если мне это удастся хоть в слабой мере, сочту, что я не даром трудился.

29 января 1837 года

Важное и в высшей степени печальное происшествие для нашей литературы: Пушкин умер сегодня от раны, полученной на дуэли.

Вчера вечером был у Плетнева; от него от первого услышал об этой трагедии. В Пушкина выстрелил сперва противник, Дантес, кавалергардский офицер; пуля попала ему в живот. Пушкин, однако, успел отвечать ему выстрелом, который раздробил тому руку. Сегодня Пушкина уже нет на свете.

Подробностей всего я еще хорошо не слыхал. Одно несомненно: мы понесли горестную, невознаградимую потерю. Последние произведения Пушкина признавались некоторыми слабее прежних, но это могло быть в нем эпохою переворота, следствием внутренней революции, после которой для него мог настать период нового величия.

Бедный Пушкин! Вот чем заплатил он за право гражданства в этих

аристократических салонах, где расточал свое время и дарование! Тебе следовало идти путем человечества, а не касты; сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее. А ты был призван к высшему служению.

30 января 1837 года

Какой шум, какая неурядица во мнениях о Пушкине! Это уже не одна черная заплата на ветхом рубище певца, но тысячи заплат, красных, белых, черных, всех цветов и оттенков. Вот, однако, сведения о его смерти, почерпнутые из самого чистого источника.

Дантес пустой человек, но ловкий, любезный француз, блиставший в наших салонах звездой первой величины. Он ездил в дом к Пушкину. Известно, что жена поэта красавица. Дантес, по праву француза и жителя салонов, фамильярно обращался с нею, а она не имела довольно такта, чтобы провести между ним и собою черту, за которую мужчина не должен никогда переходить в сношениях с женщиною, ему не принадлежащею. А в обществе всегда бывают люди, питающиеся репутациями ближних: они обрадовались случаю и пустили молву о связи Дантеса с женою Пушкина. Это дошло до последнего и, конечно, взволновало и без того тревожную душу поэта. Он запретил Дантесу ездить к себе. Этот оскорбился и отвечал, что он ездит не для жены, а для свояченицы Пушкина, в которую влюблен. Тогда Пушкин потребовал, чтобы он женился на молодой девушке, и сватовство состоялось.

Между тем поэт несколько дней подряд получал письма от неизвестных лиц, в которых его поздравляли с рогами. В одном письме даже прислали ему патент на звание члена в обществе мужей-рогоносцев, за мнимою подписью президента Нарышкина. Сверх того барон Геккерен, усыновивший Дантеса, был очень недоволен его браком на свояченице Пушкина, которая, говорят, старше своего жениха и без состояния. Геккерену приписывают даже следующие слова: “Пушкин думает, что он этой свадьбой разлучил Дантеса со своей женою. Напротив, он только сблизил их благодаря новому родству”.

Пушкин взбесился и написал Геккерену письмо, полное оскорблений. Он требовал, чтобы тот по праву отца унял молодого человека. Письмо, разумеется, было прочитано Дантесом — он потребовал удовлетворения, и дело окончилось за городом, на расстоянии десяти шагов. Дантес стрелял первый. Пушкин упал. Дантес к нему подбежал, но поэт, собрав силы, велел противнику вернуться к барьеру, прицелился в сердце, но попал в руку, которую тот, по неловкому движению или из предосторожности, положил на грудь.

Пушкин ранен в живот, пуля задела желудок. Когда его привезли домой, он позвал жену, детей, благословил их и поручил Арендту просить государя не оставить их и простить Данзаса, своего секунданта.

Государь написал ему собственноручное письмо, обещался призреть его семью, а для Данзаса сделать все, что будет возможно. Кроме того, просил его перед смертью исполнить все, что предписывает долг христианина. Пушкин потребовал священника. Он умер 29-го, в пятницу, в три часа пополудни. В приемной его с утра

до вечера толпились посетители, приходившие узнать о его состоянии. Принуждены были выставлять бюллетени.

31 января 1837 года

Сегодня был у министра. Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышною похвалою, напечатанною в “Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”.

Итак, Уваров и мертвому Пушкину не может простить “Выздоровления Лукулла”.

Сию минуту получил предписание председателя цензурного комитета не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив сначала статьи ему или министру.

Завтра похороны. Я получил билет.

7 *февраля 1837 года*

Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, — все стеклось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в Конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней — ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль — по крайней мере наружная. Возле меня стояли: барон Розен, В.И.Карлгоф, Кукольник и Плетнев. Я прощался с Пушкиным: “И был странен тихий мир его чела”. Впрочем, лицо уже значительно изменилось: его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с Кукольником.

— Утешительно по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед, — сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов.

Ободовский (Платон) упал ко мне на грудь, рыдая как дитя.

Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие распоряжения. Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему.

Попечитель мне сказал, что студентам лучше не быть на похоронах: они могли

бы собраться в корпорации, нести гроб Пушкина — могли бы “пересолить”, как он выразился.

Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в “Северной пчеле”: “Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности”.

Краевский, редактор “Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”, тоже имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэту.

Я получил приказание вымарать совсем несколько таких же строк, назначавшихся для “Библиотеки для чтения”.

И все это делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего?

Церемония кончилась в половине первого. Я поехал на лекцию. Но вместо очередной лекции я читал студентам о заслугах Пушкина. Будь что будет!

12 февраля 1837 года

До меня дошли из верных источников сведения о последних минутах Пушкина. Он умер честно, как человек. Как только пуля впилась ему во внутренности, он понял, что это поцелуй смерти. Он не стонал, а когда доктор Даль ему это посоветовал, отвечал:

— Ужели нельзя превозмочь этого вздора? К тому же мои стоны встревожили бы жену.

Беспрестанно спрашивал он у Даля: “Скоро ли смерть?” И очень спокойно, без всякого жеманства, опровергал его, когда тот предлагал ему обычные утешения. За несколько минут до смерти он попросил приподнять себя и перевернуть на другой бок.

— Жизнь кончена, — сказал он.

— Что такое? — спросил Даль, не расслышав.

— Жизнь кончена, — повторил Пушкин, — мне тяжело дышать.

За этими словами ему стало легко, ибо он перестал дышать. Жизнь окончилась; погас огонь на алтаре. Пушкин хорошо умер.

Дня через три после отпевания Пушкина, увезли тайком его в деревню. Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

— А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи — как собаку.

Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы.

14 февраля 1837 года

Вчера защищал публично в университете мою диссертацию на степень доктора философии “О творческой силе в поэзии или о поэтическом гении” и сошел с поля битвы победителем. Оппонентами моими были: профессор философии Фишер и профессор русской словесности Плетнев. Началось дело в половине первого часа, а кончилось в половине третьего. Собрание было столь многочисленное, что произошла даже давка. Ректор предварительно прочел мою биографию. Я крепко держался в моих окопах и не терял присутствия духа. Публика выразила свое полное удовольствие. Но вот что было мне особенно приятно. После диспута главные члены университета подошли к присутствовавшему здесь Константину Матвеичу Бороздину, прежнему попечителю, и благодарили его от имени университета за то, что “он воспитал и приготовил меня”. Мой добрый покровитель и друг был тронут до слез.

Вечером собралось ко мне человек до тридцати. Был ужин и, как водится, пили тосты в честь нового доктора.

22 февраля 1837 года

Был у В.А.Жуковского. Он показывал мне “Бориса Годунова” Пушкина в рукописи, с цензурою государя. Многое им вычеркнуто. Вот почему печатный “Годунов” кажется неполным, почему в нем столько пробелов, заставляющих иных критиков говорить, что пьеса эта — только собрание отрывков.

Видел я также резолюцию государя насчет нового издания сочинений Пушкина. Там сказано: “Согласен, но с тем, чтобы все найденное мною неприличным в изданных уже сочинениях было исключено, а чтобы не напечатанные еще сочинения были строго рассмотрены”.

30 марта 1837 года

Сегодня держал крепкий бой с председателем цензурного комитета, князем Дондуковым-Корсаковым, за сочинения Пушкина, цензором которых я назначен. Государь велел, чтобы они были изданы под наблюдением министра. Последний растолковал это так, что и все доселе уже напечатанные сочинения поэта надо опять строго рассматривать. Из этого следует, что не должно жалеть наших красных чернил.

Вся Россия знает наизусть сочинения Пушкина, которые выдержали несколько изданий и все напечатаны с высочайшего соизволения. Не значит ли это обратить особенное внимание публики на те места, которые будут выпущены: она вознегодует и тем усерднее станет твердить их наизусть.

Я в комитете говорил целую речь против этой меры и сильно оспаривал князя, который все ссылался на высочайшее повеление, истолкованное министром. Само собой разумеется, что официальная победа не за мной осталась. Но я как честный человек должен был подать мой голос в защиту здравого смысла.

Из товарищей моих только Куторга время от времени поддерживал меня двумя-тремя фразами. Мне в помощь для цензирования Пушкина дали Крылова, одно имя которого страшно для литературы: он ничего не знает, кроме запрещения. Забавно было, когда Куторга сослался на общественное мнение, которое, конечно, осудит всякое искажение Пушкина; князь возразил, что правительство не должно смотреть на общественное мнение, но идти твердо к своей цели.

— Да, — заметил я, — если эта цель стоит пожертвования общественным мнением. Но что выиграет правительство, искажая в Пушкине то, что наизусть знает вся Россия? Да и вообще не худо бы иногда уважать общественное мнение — хоть изредка. Россия существует не для одного дня, и возбуждая в умах негодование без всякой надобности, мы готовим для нее неутешительную будущность.

После того мы расстались с князем, впрочем, довольно хорошо. Пожимая мне руку, он сказал:

— Понимаю вас. Вы как литератор, как профессор, конечно, имеете поводы желать, чтобы из сочинений Пушкина ничто не было исключено.

Вот это значит попасть пальцем прямо в брюхо, как говорит пословица.

31 марта 1837 года

В.А.Жуковский мне объявил приятную новость: государь велел напечатать уже изданные сочинения Пушкина без всяких изменений. Это сделано по ходатайству Жуковского. Как это взбесит кое-кого. Мне жаль князя, который добрый и хороший человек: министр Уваров употребляет его как орудие. Ему должно быть теперь очень неприятно.

3 апреля 1837 года

Печерин написал письмо Чижову. Он сообщает, что решился навсегда оставить Россию; что он не создан для того, чтобы учить греческому языку; что он чувствует в себе призвание идти за своей звездой, — а звезда эта ведет его в Париж.

12 апреля 1837 года

Новый цензурный закон: каждая журнальная статья отныне будет рассматриваться двумя цензорами: тот и другой могут исключить, что им вздумается. Сверх того, установлен еще новый цензор, род контролера, обязанность которого будет перечитывать все, что пропущено другими цензорами, и поверять их. Вчера призывал меня председатель для учтивого предложения, чтобы я сам выбрал себе товарища. Я сказал, что мне все равно, и получил П.И.Раевского для

“Библиотеки для чтения”.

Спрашивается: можно ли что-либо писать и издавать в России? Поневоле иногда опускаются руки, при всей готовности твердо стоять на своем посту охранителем русской мысли и русского слова. Но ни удивляться, ни сетовать не должно.

13 апреля 1837 года

Не выдержал: отказался от цензурной должности. В сегодняшнем заседании читали бумагу о новом законе. Цензор становится лицом жалким, без всякого значения, но под огромною ответственностью и под непрестанным шпионством одного высшего цензора, которому ведено быть при попечителе.

Я сказал князю о моем намерении выйти в отставку, когда мы выходили из цензурного комитета. Разумеется, сначала он удивился, потом посоветовал не делать этого вдруг, чтобы не навлечь на себя страшного нарекания в возмущении.

14 апреля 1837 года

После жаркого объяснения с князем заключен честный мир, и пока я еще остаюсь цензором. У меня с князем была стычка в цензурном комитете по поводу нового положения.

Он начал было его защищать, и не как председатель, а как человек. Я горячо возражал, и это было поводом к нашему разладу. Но дело получило другой оборот, когда он сегодня утром откровенно сознался, что сам разделяет вполне мое мнение о новой мере, но что в комитете он должен был говорить иначе. Он просил меня не оставлять его в этом трудном положении и всегда прямо обращаться к нему с замечаниями. Мы расстались дружелюбно, заключили друг друга в объятия и дали взаимное обещание действовать умереннее. Да, и князю не легко! Он честный и благородный человек, но, к сожалению, слишком послушен министру Уварову.

17 апреля 1837 года

Ожидаю первого удара колокола, чтобы отправиться к заутрене. Я люблю праздник Пасхи: в нем много величественного и утешительного. А пока я сижу за письменным столом и пишу по поручению университетского совета похвальное слово Петру Великому, которое должно быть готово к 1 мая. Срок невелик. Уж эти заказные сочинения! А с другой стороны, надо сказать правду, я лучше работаю, когда меня сожмут тиски необходимости. Человек слаб и без тисков легче уступает усталости.

7 июля 1837 года

Познакомился на днях с автором поэмы “Мироздание” В. И. Соколовским. Наружность его незначительна, цвет лица болезненный. Но он человек умный. В

разговоре его что-то искреннее и простодушное. Заглянув поглубже в его душу, вы смотрите на него с уважением. Это человек много претерпевший. За несколько смелых куплетов, прочитанных им или пропетых в кругу приятелей, — из них два были шпионы, — он просидел около года в московском остроге и около двух лет в Шлиссельбургской крепости. Ему поставили также в государственную измену собрание нескольких автографов важнейших государственных сановников, которые он намеревался приложить к биографиям их. В московском остроге он чуть не попал в новую беду за перочинный ножик, который ему как-то доставил один из товарищей по заключению. У него допытывались, откуда он его добыл, а он не хотел никого выдать. С ним очень дурно обращались, а один из московских полицеймейстеров грозил ему часто истязаниями.

В Шлиссельбурге он отдохнул, потому что имел в каземате кровать и столик: мог пить чай, читать и писать. Наконец великий князь Михаил Павлович, по ходатайству братьев Соколовских, выхлопотал ему свободу — и теперь его посылают в Вологду как опального, на службу. Он хорошо отзывается о Бенкендорфе и Дубельте. Шлиссельбургский комендант тоже обращался с ним по-человечески. В крепости он выучился еврейскому языку и сроднился с религиозным образом мыслей, но здоровье его убито продолжительным заключением, особенно московским.

5 июля 1837 года

Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!

7 ноября 1837 года

Вчера было открытие типографии, учрежденной Воейковым и К. К обеду было приглашено человек семьдесят. Тут были все наши “знаменитости”, начиная с В.П.Бурнашева и до генерала А.И.Михайловского-Данилевского. И до сих пор еще гремят в ушах моих дикие хоры жуковских певчих, неистовые крики грубого веселья; пестреют в глазах несчетные огни от ламп, бутылки с шампанским и лица, чересчур оживленные вином. Я предложил соседям тост в память Гутенберга. “Не надо, не надо, — заревели они, — а в память Ивана Федорова!” На обеде присутствовал квартальный, но не в качестве гостя, а в качестве блюстителя порядка. Он ходил вокруг стола и все замечал. Кукольник был не в своем виде и непомерно дурачился; барон Розен каждому доказывал, что его драма “Иоанн III” Лучшая изо всех его произведений. Полевой и Воейков сидели смирно.

— Беседа сбивается на оргию, — заметил я Полевому.

— Что же, — не совсем твердо отвечал он, — ничего, прекрасно, восхитительно!

Я не возражал. Изо всех лиц, здесь собранных, я с удовольствием встретился с В.А.Каратыгиным, которого давно не видал. Он не был пьян и очень умно говорил о своем искусстве.

В результате у меня пропали галоши, и мне обменили шубу.

Немало упреков наслушался я сегодня по следующему поводу. В последнем номере “Библиотеки для чтения” упоминается о биографии Фонвизина, которую когда-то обещал “некто князь Вяземский”, и т.д. Последний жаловался министру, и мне с Корсаковым было сделано замечание от начальства.

— Как вы пропустили статью о князе Вяземском, — слышал я сегодня чуть не от всех литераторов по очереди, — ведь он князь, вице-директор и камергер.

15 декабря 1837 года

К нам на акт ожидают государя. По этому случаю министр намеревается отменить профессорские речи. Должны были читать: Шульгин — “Краткую историю университета” и я — “Похвальное слово Петру Великому”. Вместо того он сам будет говорить какую-то речь — по крайней мере собирается.

18 декабря 1837 года

Ночью произошел пожар в Зимнем дворце: он горел целую ночь и теперь еще горит. Я сейчас (в два часа пополудни) проходил по площади. Теперь горит на половине государя, его кабинет и проч. На Невском проспекте, особенно ближе к площади, ужасная суматоха. Народ сплошною массою валит поглазеть на редкий спектакль. Из дворца беспрестанно вывозят вещи. Я встретил государя; он ехал в санях и очень приветливо кланялся; бледен, но спокоен. Мне показалось, что физиономия его была менее сурова, чем обыкновенно.

1838

(Дневник 1838 года очень маленький. В течение его автор ездил на родину и об этой поездке оставил почти исключительно одни цифровые данные, которые не могут иметь интереса. — *Примечание дочери автора, С.Никитенко).*

23 марта 1838 года

Сегодня я случайно узнал, что министр отменил чтение моего “Похвального слова Петру Великому” на акте, который назначен на 25-е, то есть на послезавтра. У попечителя *с* ним был по этому поводу горячий разговор. Князь Дондуков-Корсаков доказывал ему неприличие и странность такой меры. Министр упорствует. Какая причина?

26 марта 1838 года

Публика приняла большое участие в моем “Похвальном слове”. Все удивлены запрещением министра, который предлогом отмены чтения поставил желание “не обременять публику многим чтением”.

25 декабря 1838 года

“Энциклопедический лексикон” гибнет по милости Плюшара. Он вел себя в этом деле как мальчишка. Сначала поссорился с Гречем, который был ему необходим, ибо служил точкою соединения у него литераторов. Потом стал употреблять на отважные и необдуманные предприятия капитал, который дала ему подписка на первый год “Энциклопедического лексикона”. Таким образом, когда редактором сделался Шенин, плата сотрудникам понемногу стала затрудняться, и, наконец, ее и совсем перестали выдавать — по крайней мере иным. Они отказались. Лексикон стал медлить выходом в свет. Плюшар надеялся еще спасти дело, передав редакцию Сенковскому, который помог ему деньгами. Но дельных сотрудников уже больше нельзя было набрать. Они не соглашались на дальнейшее участие в издании, во-первых, потому, что потеряли доверие к Плюшару, а во-вторых, потому, что не хотели иметь дела с Сенковским, боясь его обидного и строптивого обращения с самими авторами и с их статьями. Сенковский очутился в необходимости работать с несколькими студентами. Вышел XIV том и изумил публику своею несостоятельностью. Это окончательно подорвало доверие к изданию, которое на первых порах встретило так много сочувствия.

26 декабря 1838 года

В четверг был на похоронах. Умер Карл Федорович Герман, академик и инспектор Смольного монастыря и Екатерининского института. Это был человек

выше обыкновенных. Я намерен написать его биографию.

Смерть самая обыкновенная вещь между людьми, а между тем на похоронах как будто в первый раз знакомишься с ней. Вот этот человек за несколько дней перед тем говорил с вами, смеялся, думал, желал, носил мир в своем уме — и вот его бросили в землю как сор, зарыли. Семидесятитрехлетняя драма разыграна, и занавес опустился: ужасное *нет, ничто* пишется над зачеркнутым именем: Карл Федорович…

Видел картину Штейбена “Наполеон при Ватерлоо”. Прекрасно! Лицо Наполеона ясно говорит: “Все погибло, гений человеческий ничто перед роком”. Я два раза ходил смотреть эту картину; долго стоял перед ней и выносил впечатления, которые трудно и бесполезно описывать.

28 декабря 1838 года

Был у Греча и видел у него Тальони. Она не хороша собой, но очень мила и скромна.

Застал у Николая Ивановича еще Булгарина; он бранил, или, вернее, ругал Сенковского, как ямщик.

Встретил, между прочим, С.М.Строева, который недавно вернулся из-за границы. Он долго жил в Париже и, кажется, не принадлежит к числу тех отчизнолюбцев, которые зря громят Запад и все, что не отзывает родной поэзией кнута и штыка.

Владиславлев мне рассказывал про Полевого. Дубельт позвал его к себе для передачи высочайше пожалованного перстня за пьесу “Ботик Петра I”.

— Вот вы теперь стоите на хорошей дороге: это гораздо лучше, чем попусту либеральничать, — заметил Дубельт.

— Ваше превосходительство, — отвечал, низко кланяясь, Полевой, — я написал еще одну пьесу, в которой еще больше верноподданнических чувств. Надеюсь, вы ею тоже будете довольны.

Стыдно! Выйдем из этого мрака на свет Божий. Но где искать этого выхода?

29 декабря 1838 года

Чудо! В русском генерале, да еще казацком, нашел человека не только умного, но и образованного. Генерал этот Краснов. Я вчера провел с ним вечер у товарища моего детства, А.А.Мессароша, и нахожу, что вечер этот не потерян.

31 декабря 1838 года

Поутру был в университете на защите диссертаций Порошина и Рождественского. Остальное время дома. Новый год застал меня за корректурными листами “Отечественных записок”. Здравствуй, 1839 год! Не будь, любезный, так

малодушен, как твой предшественник! Дайте рюмку вина: надо приличным приветствием встретить этого нового сына вечности. Что было бы с людьми, если бы они не изобретали для себя игрушек?

1839

1 января 1839 года

Делал обычные визиты, за скуку и усталость от которых был сторицею вознагражден приемом, оказанным мне в Смольном монастыре. Мои милые ученицы старшего класса устроили мне настоящий триумф. Они толпой провожали меня по коридорам, пели мне “многие лета”, восторженно выражали благодарность за чувства добра и любви к изящному и честному, которые я будто бы впервые вызвал в них. Я ушел освеженный, утешенный и хоть на час времени убаюканный иллюзиями насчет небесполезности моей деятельности.

7 января 1839 года

Вчера был в маскараде в Большом театре. Там были государь и великий князь. Я еще в первый раз так близко видел первого. Раза два, теснимый толпою, я чуть не столкнулся с ним. Он казался в духе, хотя по временам хмурился от слишком назойливого любопытства публики.

7 марта 1839 года

Конец февраля и начало марта я был занят выпускными экзаменами в Смольном монастыре. На экзамене императорском императрица отсутствовала; ее заменяли великие княжны Мария и Ольга. Девиц спрашивали по билетам — это нововведение Уварова, который почему-то ждал от него чудес.

Энтузиазм ко мне моих учениц превзошел все, что я мог себе представить: это был совершенный фурор, который в день выпуска выразился с неудержимой силой. За обедом они, в очередь и не в очередь, пили за мое здоровье, причем иные даже били рюмки, возглашали мне “многие лета”, осыпали благодарностями, пожеланиями, обещаниями никогда не изменять идеям чести и добра.

Да, я честно трудился в этом рассаднике будущих русских жен и матерей, русских гражданок, стараясь как можно больше напитать их человечностью. На минуту результат превзошел мои ожидания, — а на будущее кто может рассчитывать? Общество, по всем вероятиям, все перестроит по-своему, и я еще раз принужден буду сознаться в том, что я безумец, гоняющийся за призраками. Истинно полезен людям тот, кто их кормит и поит, а вовсе не тот, кто возвышает их нравственное достоинство. Для многих это даже обращается в тягость, в пагубу. Что нужно человеку? Счастие, а счастливым можно быть во всякой нравственной сфере, и еще лучше — в тесной. По крайней мере это неоспоримая истина у нас и в наше

время.

15 марта 1839 года

В пять часов потребовали меня к попечителю. Получен грозный высочайший запрос: “Кто осмелился пропустить портрет Бестужева в альманахе Смирдина “Сто русских авторов”?” Книга подписана мною, но портрет пропущен в III отделении собственной канцелярии государя. Неизвестно, чем кончится это суматоха. Может быть, и мне достанется — за что? Не знаю. Но надо быть ко всему готовым. [Портрет был вырезан из книги и впервые появился лишь в “Русской Старине” в 1888 году.] Говорят, что наш министр очень непрочен при дворе.

16 марта 1839 года

Вся беда, кажется, обрушится на Мордвинова, который допустил Ольдекопа подписать портрет Бестужева.

9 апреля 1839 года

Подал просьбу об увольнении меня от должности преподавателя русской словесности в Аудиторской школе.

Эта школа основана графом Клейнмихелем и находится под его начальством. Ученики из солдатских детей— питомцы палки. Я всегда должен был насиловать себя, когда ехал туда преподавать. Я не мог внести туда ни одной светлой мысли: там все грубо, жестко, неразвито. Но жалованье там, надо сказать правду, было хорошее — по 300 рублей за час. Таким образом, я сразу лишаюсь 1200 рублей. Пора, наконец, подумать об усилении кабинетной деятельности. Иначе пройдет лучшее время, и жизнь и силы будут растрачены по мелочам. Мне давно хотелось оставить это заведение, но как Клейнмихель меня очень ласкал, мне совестно было изменить ему. Наконец становится не под силу. Я уже переговорил о своем намерении с инспектором, генералом Зедделером, который очень огорчился. Он человек образованный и добрый, а ко мне всегда выказывал дружеское расположение. Мы расстаемся с ним с взаимными сожалениями. Но что скажет Клейнмихель? Он очень не любит, когда служащие под его ведомством уходят.

17 апреля 1839 года

Сегодня был у графа Клейнмихеля, по его приглашению. Принят отлично. Он просил меня не оставлять Аудиторского училища, но когда увидел мою твердую решимость, предложил следующий компромисс. Он хочет сделать меня инспектором по части русской словесности во всех классах училища. Для этого он поручил мне составить проект, предоставляя мне право выбирать и определять учителей и назначать им жалованье. На это я уже не мог не согласиться, и мы расстались, довольные друг другом. Он был со мною так любезен, что я, вопреки

общей молве о нем, готов признать его за образец любезности.

2 мая 1839 года

Был с приятелями на гулянье в Екатерингофе. Блестящие экипажи, блестящие лошади, блестящие офицеры. Хорошенькие женщины тонули в нарядах и цвели самодовольством. На физиономиях отражение экипажей, лошадей и лакейских ливрей: чем богаче все это, тем сильнее на лицах выражение гордости и блаженства. А мы, бедные пешеходы, — что же? Мы были зрители, а те актеры. Они играли для нас, а мы смотрели — по крайней мере мы составляли партер. В вокзале музыка, теснота и весьма непорядочное общество.

Сегодня же утром состоялся в университете экзамен из философии. Что это такое? Одни слова.

Вечером у меня обыкновенная литературно-дружеская беседа — Чижов, Поленов, Гебгардт, Сорокин. Чижов читал свой перевод истории литературы Галлама; Гебгардт — пробное сочинение для занятия места начальника отделения по управлению духовными делами.

21 мая 1839 года

Прогулка по железной дороге в Павловск с Струговщиковым и Андриановым. Печальное происшествие. Два вагона соскочили с рельсов между Павловском и Царским Селом. Три человека убиты, и несколько получили ушибы. Пассажиры в страшном испуге. Мы избежали катастрофы потому, что раньше уехали из Павловска в Царское Село и ожидали там вагонов, чтобы ехать в Петербург в 12 часов ночи. Вместо того прождали до пяти, пока паровая машина прибыла из Петербурга. Домой приехали около семи. Утром кое-кто заезжал узнать, цел ли я? В городе толкуют, что убитых до 150 человек. Это, конечно, пустяки, но все же событие произведет неприятное впечатление на публику.

30 мая 1839 года

Утвержден в звании инспектора по части русской словесности в Аудиторском училище.

Из пребывания моего в деревне Тимоховке Могилевской губернии

13 июня, во вторник, выехал я из Петербурга. Ехал на почтовых довольно скоро, без насильственных задержек на станциях. Я рад был, что видел опять открытое небо и широкий горизонт полей и лесов. Впрочем, небо здесь печальное и зелень бледная. Везде песок и глина; в деревнях тишина и неопрятность; города по пути жалкие, за исключением Порхова, который имеет довольно приличный вид.

В воскресенье, 18-го, приехал я в Шклов; там ожидали меня лошади из деревни, где уже с января месяца живет моя семья. Местоположение деревни и господского дома красивое. Особенно хороша большая березовая роща и за ней

широко раскинувшийся свежий луг, как роскошный ковер, испещренный цветами.

23 июня. Хозяйки наши, две сестры Л., очень оригинальные женщины. Они девушки, уже немолодые, с остатками яркой красоты, католички, старинного польского рода, с аристократическими замашками, умные и властолюбивые до деспотизма. И прекрасно: пусть бы они законодательствовали как хотят в сфере своего знания и опытности, какая досталась им по праву их лет, пола и состояния. Нет! — диктаторскую волю свою распространяют на все, что живет и дышит около них, что мыслит и не мыслит, что выше их и дальше их области. С ними нет возможности вести беседу. Вы скажете свое мнение или хоть бы истину признанную всеми, у кого капля здравого смысла. “Нет, — решительно возражают они, — это не так, а вот как”. И это “вот как” есть не иное что как их собственный взгляд, большею частью односторонний, запоздалый, а подчас и совсем фальшивый.

Даже жизнь и привычки своих гостей они стремятся подчинить себе до смешных мелочей: вы привыкли пить одну чашку чая — больше вам вредно, неприятно. Вздор! Пейте две. Между тем они чрезвычайно радушны и готовы на всякое добро, с тем однако ж, чтобы вы уже совершенно отказались от всех своих мнений, привычек, от всего себя: пусть они пеленают вас как хотят, а вы не смейте и пикнуть. Они не хотят вступать ни в какое соглашение с вами. Они вас уберут, причешут, накормят, напоят, сами голодая и не спя ночи, — только станьте перед ними на колени — и уж ни гу-гу! Еще младшая немножко мягче и сговорчивее, но старшая настоящий деспот в юбке.

30 июня. Я входил в избы здешних крестьян: что за нечистота и бедность! Дети в отрепьях, грязные; почти все или страдают болезнью глаз, или с вередами на лицах и на теле. Лица взрослых безжизненны и тупы, хотя уверяют, будто они под этою маскою скрывают и ум и хитрость. Эти люди, по-видимому, терпят крайнюю нужду и угнетение: о том свидетельствуют их лица, движения, одежда, или, вернее, рубища, которыми они прикрыты, их жилища. В последних вместо окон щели с грязными обломками стеклышек; в тюрьмах больше света. Глубочайшее невежество и суеверие гнездятся в этих душных логовищах. Религиозные понятия здесь самые первобытные. Крестьяне и крестьянки, отправляясь в церковь, говорят, что они “идут молиться богам и божкам”.

Ко мне явились молодой парень и девушка. Они упали на колени и, распростертые на полу, пытались целовать мне ноги. Озадаченный и в негодовании, я спросил:

— Что это значит? Чего они хотят от меня?

— Это жених и невеста, — отвечали мне, — и таков здесь обычай.

А мой лакей-малороссиянин с оригинальным малороссийским юмором прибавил:

— Видите, они явились пред пана!

— Так что же?

— Да видите, оно как-то страшно подходить к господам.

— Почему же?

— Да так: все кажется, что по ухам заедут. Невольно подумал я: какую национальную философию можно вывести из наблюдений над человеком в России — над русским бытом, жизнью и природой? Из этого, пожалуй, выйдет философия полного отчаяния.

Я дал жениху с невестой по пяти рублей и просил их больше так не кланяться.

— Довольна ли ты, что выходишь замуж? — спросил я, между прочим, у невесты.

— Нет, — отвечала она.

— Почему же?

— На воле жить лучше.

“Это недурно”, — подумал я и спросил еще:

— Но зачем же ты идешь замуж, если не хочешь?

— Господа велят!

— Да, их соединяют, как скотов, для приплода!

2 июля 1839 года

Упоительный день. Я гулял в моей любимой роще и в саду. К вечеру с северо-востока стала подниматься туча, мрачная, тяжелая, с бегающими по ней огненными змейками. Запад между тем оставался залитый последними лучами заходящего солнца: там все было ясно, тихо и отрадно. Мягкий благоухающий воздух ласково веял в лицо, жарким дыханием охватывал цветы и деревья, которые в сладком томлении стояли неподвижно. Ни шелеста, ни звука. Смолкли даже хлопотун-кузнечик и птичка-щебетунья. И для меня то была минута глубокого, благоговейного восторга, какой всегда объемлет меня при близком общении с природой, особенно когда та балует нас более обыкновенного яркими проявлениями своей мощи и красоты.

Но, чу! На противоположном скате холма из деревушки раздались голоса крестьянских женщин: они пели свадебные песни: то были подруги девушки, которая с женихом так усердно кланялась мне. Молодые люди сегодня обвенчались. И вдруг на эти песни убогой радости небо отвечало отдаленным ропотом грома…

15 июля 1839 года

Приготовляюсь к отъезду… Что сделал я во время пребывания моего здесь? Приобрел много для здоровья беспрерывным движением на воздухе и купаньем; обдумал план университетских лекций на следующий учебный год; написал несколько статей, а главное — отдохнул. По приезде в Петербург мне предстоит для немедленной обработки:

1. Хрестоматия.

2. Курс словесности.

3. Записки для Смольного монастыря и для института. Кроме того, на очереди:

1. Биография Германа.

2. Статья о Марлинском.

3. Статья о Пушкине.

Нынешние официальные мои занятия следующие:

1. Университет — преподавание 6 часов.

2. Смольный монастырь — 6 часов.

3. Екатерининский институт — 3 часа.

4. Аудиторское училище — инспекция по части русского языка.

5. Цензура.

6. Частные уроки: у министра Уварова 4 с половиной часа в неделю. Составить план для издания “Исторической русской хрестоматии”. Пригласить к участию в этом труде Струговщикова, Андрианова, Поленова, Сорокина, Алимпиева и поискать еще людей.

26 июля 1839 года

Сегодня я приехал в Петербург в четыре часа утра, выехав из Тимоховки 20 числа. В Витебске, где был проездом, познакомился с прокурором, Яковом Петровичем Рожновым. Он мне показался человеком образованным и благородным. Много наслушался я тут любопытного об управлении этого края и особенно о генерал-губернаторе Дьякове. Несколько лет уже он признан сумасшедшим, и тем не менее ему поручена важная должность генерал-губернатора над тремя губерниями. Каждый день его управления знаменуется поступками, крайне нелепыми или пагубными для жителей. Утро он обыкновенно проводит на конюшне или на голубятне: он страстный любитель лошадей и голубей. Всегда вооружен плетью, которую употребляет для собственноручной расправы с правым и виноватым. Одну беременную женщину он велел высечь на конюшне за то, что она пришла к его дворецкому требовать сто пятьдесят рублей за хлеб, забранный у нее на эту сумму для генерал-губернаторского дома. Портному велел отсчитать сто ударов плетью за то, что именно столько рублей был ему должен за платье. Об этих происшествиях и многих подобных, говорят, было доносимо даже государю. На днях он собственноручно прибил одну почтенную даму, дворянку, за то, что та, обороняясь на улице от генерал-губернаторских собак, одну из них задела зонтиком. Она также послала жалобу государю.

Что же после этого и говорить об управлении края? В Могилеве тоже хорошо: генерал-губернатор сумасшедший; председатель гражданской палаты вор, обокравший богатую помещицу, у которой был управляющим (он же и камергер);

председатель уголовной палаты убил человека, за что и находится под следствием.

Дорогой томил страшный зной: все время не перепало ни капли дождя. Зато вечера и ночи были очаровательно хороши. В Великолуцком уезде много прекрасных видов.

В провинции, как и в Петербурге, упорно держалась молва, что по случаю высокого бракосочетания на народ будут излиты великие милости. Чиновники ожидали денежных наград. Ничего, однако, не вышло из этих ожиданий, кроме двух манифестов: о рекрутском наборе и о новой денежной системе.

Новая денежная система сводит всех с ума. Никто не понимает этих сложных расчетов. Неоспоримо только то, что все сословия более или менее теряют, по крайней мере при настоящем кризисе, — и потому все недовольны, все ропщут. Хуже всех бедным чиновникам. Они получали жалованье ассигнациями, что доставляло им лишних рублей по семи на сто. А теперь им выдают серебром, считая рубль по 3 руб. 60 коп., а в публике велят считать рубль по 3 руб. 50 коп. Между тем как курс на монету понизился, съестные припасы остаются в прежней цене: каково это для бедного класса, доходы которого не увеличиваются. Да кто об этом заботится?

3 августа 1839 года

Приемные экзамены в университете. Между экзаменующимися никого с особенно выдающимися способностями. Ученики гимназии вообще лучше подготовлены. Аристократы хотя так же плохо приготовлены, как и прежде, однако приступают к экзамену с большим страхом: и это уже недурно.

России необходим еще новый Петр Великий. Первый Петр Великий ее *построил*, второму надлежало бы ее *устроить*. Теперь в ней все в хаосе. Кто выведет ее из этого хаоса? Где могущественный, светлый ум, который разделил бы стихии и связал их в гармоническое целое?

25 августа 1839 года

В цензурном уставе есть статья, в силу которой книги нравственного содержания, хотя бы основанные на св. писании и подкрепленные текстами из него, пропускаются светскою цензурою; в духовную же отсылаются только догматические и церковно-исторические. Теперь мы получили от министра предписание, основанное на отношении святейшего синода, чтобы все сочинения “духовного содержания, в какой бы то мере ни было”, отсылались в духовную цензуру. Что это значит? Закон, изданный самодержавною властью, отменяется обер-прокурором синода? Но такие вещи не в первый раз случаются в нашей администрации. В настоящем случае цензура в большом затруднении. Редкая журнальная статья не должна будет отсылаться в духовную цензуру. Я просил князя Волконского сделать об этом представление министру. Он сделал уже. Мы спрашиваем: “Чему должно следовать: новому распоряжению или высочайше утвержденному тексту устава цензуры”?

8 сентября 1839 года

С утра до 2 часов ночи я занят исчерпыванием прилива текущих дел и должностных забот.

Все современное — мелочь, кроме возможности сделать кому-либо существенное добро.

Общий закон для людей; быть средствами и орудиями для целого; один только великий человек свободен, и один только он достоин свободы. Он служил целому, как и все, но это служение не порабощает его. Он гражданин этого великого целого, а не раб.

Отделить все истинно человеческое от ложного, лицемерного, преходящего — вот главное дело. Должно всегда и во всем уважать первое, второе ничего не значит.

25 сентября 1839 года

Вчера был на похоронах госпожи Адлерберг, начальницы Смольного монастыря, кавалерственной статс-дамы и проч. Тут был и государь, который проводил тело до первого переулка по улице, ведущей к Таврическому саду. Я с другими нес гроб до похоронной колесницы и жестоко отдавил себе руку. Народу было множество. Я шел за гробом до Итальянской, а там повернул домой.

Госпожа Адлерберг разыграла длинную роль и сошла со сцены жизни великолепно и торжественно. Как же судят зрители об ее игре? Говорят, что она была почтенная женщина. Но никто не говорит о ней с тем жаром, с каким поминают людей, сделавших в жизни или много добра, или много зла. В данном случае все сохраняют какое-то нейтральное спокойствие духа. Такова точно была и она сама. В течение своей долгой жизни и своего могущества она никому не сделала зла, но не сделала также и добра. Она могла бы, например, одним почерком пера дать новые штаты Смольному монастырю и тем оказать большую услугу заведению, которым управляла. Ей не раз о том докладывали. Но она этого не сделала, боясь быть “докучливою” при дворе.

Таковы, впрочем, все царедворцы. Для них приличие составляет высочайший нравственный закон. Они думают, что уже много делают, если не делают зла. Впрочем, они правы: и то хорошо. Личные мои отношения с покойной были хороши. Она еще за неделю до смерти присутствовала на моей лекции и выражала свое удовольствие по поводу успехов девиц.

26 сентября 1839 года

Был у графа Клейнмихеля. Он отнесся ко мне приветливо и благодарил за замечания мои на его проект о преобразовании Аудиторского училища. Между тем замечания написаны мною довольно резко.

2 ноября 1839 года

Смирдин берет на себя от Греча издание “Сына отечества”. Он просит меня быть ответственным редактором. Я согласился. Дело пошло уже к министру.

24 ноября 1839 года

Освящение церкви в Екатерининском институте. Был приготовлен великолепный завтрак, от которого я уехал в Земледельческое училище к директору Байкову. Меня там всегда так радушно принимают, а самое заведение так любопытно, что я всегда с удовольствием езжу туда. И нынче я был в классах: мужички оказывают прекрасные успехи. Вообще Земледельческое училище чуть ли не единственное в России, где образование вполне соразмерено с будущностью и с нуждами учащихся. Все тут простое, русское, крестьянское, только в облагороженном виде. Это заведение — создание Байкова. Без него тут ничего не сделали бы или сделали бы что-нибудь немецкое или английское. Помощник директора, Бурнашев, тоже отлично делает свое дело.

Беда, когда ум есть только *стремление*, а *не сила*. В самом деле, есть умы только стремящиеся и есть умы действующие. Одни захватывают себе огромное поле, которое не в состоянии возделывать; другие довольствуются небольшим участком, но разрабатывают его со всех сторон. Первые со своею гордостью похожи на завоевателей обширных пустынь, которые, ничего не производя, никому не нужны; вторые подобны мудрым правителям укромных уголков земли, где царствуют изобилие, порядок и благоденствие.

8 декабря 1839 года

Сегодня я заключил условие со Смирдиным. В мое ведение поступает половина “Сына отечества”, то есть отделы: науки, искусства, иностранной и русской литературы. Критика, библиография, политика и смесь остаются в руках Полевого. Сверх того, я ответственный редактор перед правительством за все издание. Вознаграждение нам по 7500 руб. в год каждому.

Плата за статьи назначается по 200 рублей за лист оригинальный и по 75 рублей за переводный. Эту плату сотрудники получают от Смирдина немедленно по напечатании их статей.

10 декабря 1839 года

Я был у министра, чтобы испросить его согласие на звание ответственного редактора “Сына отечества”. Он изъявил опасение, чтобы это не отвлекло меня от университета. В заключение он сказал, что не находит к тому препятствий.

25 декабря 1839 года

Институтка, приятельница моей жены, умненькая, хорошенькая Е.И.Ш., до сих

пор очень бедная и жившая в гувернантках, вдруг сделалась обладательницею полумиллиона. Она выиграла в польскую лотерею 900 000 злотых. Вчера она была у нас; богатство пока не изменило ее: она по-прежнему проста, мила, точно не подозревает, каким могуществом вдруг подарила ее судьба. Между тем весь город толкует о ней. Императрица пожелала видеть ее.

26 декабря 1839 года

Я утвержден ответственным редактором “Сына отечества”. Вот моя программа: 1) говорить с достоинством об отечественных предметах — по возможности откровенно, но без нахальства; 2) с уважением — о Западе; 3) развивать нравственные начала в обществе и уважение к человеческому достоинству, вопреки господству животных, материальных стремлений; 4) внушать, что справедливость и мужество суть главные опоры нравственного порядка вещей.

29 декабря 1839 года

Сегодня у Греча я был свидетелем постыдного заговора против редактора “Отечественных записок” Краевского.

Краевский или князь Одоевский напечатал в “Литературных прибавлениях” разбор лекций Греча, конечно, неблагосклонный. Это возмездие за поражения, какие Греч наносит в своих лекциях языку “Отечественных записок”. Теперь Греч вознамерился отметить Краевскому уже не словом, а делом. Последний должен типографщику Фишеру за печатание “Литературных прибавлений” 3000 рублей и не имеет возможности скоро заплатить ему эти деньги. Греч научил Фишера подать просьбу в почтамт, чтобы там задерживали деньги, присылаемые на подписку в редакцию “Литературных прибавлений”, и сам вызвался помочь ему в этом своими связями. Об этом-то происходило совещание между Гречем, Фишером и еще третьим лицом. Я нечаянно очутился тут же. Греч клялся, что он погубит “Отечественные записки” и “Литературные прибавления”. И действительно, если у редактора остановить на почте подписные деньги, которых у него вообще немного, ему не на что будет печатать журнал в следующем году. Благодушный совет этого именно и добивается. Я с отвращением слушал все эти мерзости и негодовал на Греча, а еще более на других, которые вызывались быть его орудием. Вот руководители нашего общества на поприще умственных подвигов! Вот ревнители о нашем убогом просвещении!

31 декабря 1839 года

Последний день 1839 года. Приближается полночь. Из глубины души, по обыкновению, восстают тени минувшего — а с ними и длинная вереница разочарований, сожалений и недовольства собой. Впереди, в тумане неизвестного будущего, уже мелькают новые надежды, желания, намерения… Многим ли из них суждено осуществиться так, чтобы, когда и наступающий год, совершив свой круг, канет в вечность, его можно было бы проводить с легким сердцем, без горьких



сетований и самоупреков.

1840

2 января 1840 года

Новый год встречен недурно. Вечером у меня собрались несколько монастырок, между которыми Скворцова блистала звездой первой величины, и друзья мои: Гебгардт, Поленов, Чижов и другие. Все были одушевлены и как-то особенно хорошо настроены. Утром 1 января обычные визиты, а вечером бал в Смольном монастыре. Там начальница, Мария Павловна Леонтьева, представляла меня принцу Ольденбургскому, а мои милые ученицы осыпали меня изъявлениями своего расположения. Они мне пели “многие лета” и за ужином несколько раз пили за мое здоровье.

6 января 1840 года

В качестве ответственного редактора “Сына отечества” я имел неприятное столкновение с Полевым. Он прислал несколько статей без подписи своего имени и тем самым как бы делал меня ответственным за них перед публикою. Между тем я не согласен со многим, что в них заключается, и предложил некоторые изменения. Полевой рассердился. У нас идут объяснения, пока письменные, а завтра будут и словесные. Я обязан и перед публикой и перед самим собой никогда, ни в каком случае не изменять своим убеждениям.

8 января 1840 года

С Полевым у нас окончилось мирно. Мы объяснились и пришли к полюбовной сделке. Я не мешаюсь в его статьи, когда те скреплены его именем, а для моего обеспечения в “Северной пчеле” будет напечатано заявление, что все статьи в “Сыне отечества” по части библиографии, критики и смеси обрабатываются самим Полевым. Мы расстались дружелюбно — надеюсь, так же искренне с его стороны, как с моей.

10 января 1840 года

Сегодня, как и вчера, как и часто, просидел большую часть ночи за литературною работой. Днем меня поглощает служба и всякого рода мелкие заботы. Чувствую сильнее утомление и упадок духа. И то и другое особенно сильно сказалось сегодня на вечере у Порошина, куда собрались многие из моих университетских товарищей. Все они пожали сокровища знания, каждый на своей

ниве, удобренной собственным потом, и могут предлагать людям то, что им дорого и полезно, хотя бы то были только призраки добра и правды. А я — что я такое и что могу предложить людям за право жить с ними?..

11 января 1840 года

Я болен.

24 февраля 1840 года

Все это время жилось вяло и хило, а следовательно, и бесполезно. Узнал печальную новость. В университете был студент, князь Лобанов-Ростовский, один из прекраснейших юношей по уму и характеру. Несколько времени тому назад он застрелился. Причины еще неизвестны.

26 февраля 1840 года

Мне лучше. Я еще не мог читать лекции, но ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам. Этих новых сочинений три тома. Многие стихотворения уже были напечатаны в “Современнике”. Жуковский просит просмотреть все это к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить.

— Я слышал, — между прочим сказал Жуковский, — что вы намерены писать характеристики русских поэтов; это хорошее дело. Я готов помочь вам материалом.

Я поблагодарил и действительно намерен воспользоваться его предложением. Жуковский просил прислать ему то, что я уже написал о нем.

27 февраля 1840 года

Очередное собрание новой генерации профессоров у И.И.Ивановского. Я восстал против устройства наших актов, которые, вместо того чтобы содействовать сближению нашему с публикой, отвращают ее от нас латинскими речами и непомерно длинными сухими отчетами. Все товарищи были за меня, исключая Михаилы Куторги, который утверждал, что, сближаясь с публикой, мы унижаем достоинство науки.

28 февраля 1840 года

Опять был у Василия Андреевича. Застал его больным. Разговор о литературе. Он прочел мою характеристику Батюшкова и очень хвалил ее.

— Вы успели сжато и метко выразить в ней всю суть поэзии Батюшкова, — сказал он.

Потом Жуковский жаловался на “Отечественные записей”, которые превозносят его до небес, но так неловко, что это уже становится нелестным.

— Странно, — прибавил он, — что меня многие считают поэтом уныния, между тем как я очень склонен к веселости, шутливости и даже карикатуре.

Еще много говорил о торговом направлении нашей литературы и прибавил в заключение:

— Слава Богу, я никогда не был литератором по профессии, а писал только потому, что писалось!

Полевой забрал у Смирдина деньги вперед за нынешний год (по “Сыну отечества”), а не выпустил еще двух книжек журнала за прошлый год. Кроме того, он задерживает выдачу собственных статей на нынешний год. От этого журнал не выходит в положенные сроки, публика ропщет, и подписка идет не так успешно, как можно было бы ожидать. Теперь он уехал в Москву, не оставив статей, необходимых для 4-й и 5-й книжек.

25 марта 1840 года

Был у меня Полевой. Он беспрестанно отстает со статьями для “Сына отечества”, и журнал оттого не выходит в срок. Но вряд ли его можно за то сильно винить. Он жалуется на болезненное состояние и говорит, что предчувствует свое скорое разрушение. И действительно, он так ветх, что, кажется, готов упасть от первого дуновения ветра. Ну, как станешь его понуждать?

Сегодня был акт в университете. Профессор Шульгин читал чересчур длинный отчет, а профессор Шнейдер — латинскую речь. Он горячился, декламировал, обращался к публике, но втуне: никто его не понимал. После акта новый ректор Плетнев пригласил нас на завтрак.

7 мая 1840 года

Вечер, или, лучше сказать, ночь, у Струговщикова. Играл на фортепиано знаменитый Дрейшок. Удивительный талант! Энергия, пламя, мощь, деспотическая власть над инструментом — все это доведено до совершенства. Меня, между прочим, очаровала благородная простота его наружности и обращения. Он еще очень молод: ему 22 или 23 года. Превосходно играл также на скрипке его товарищ, Штер.

После ужина Глинка пел отрывки из своей новой оперы “Руслан и Людмила”. Что за очарование! Глинка истинный поэт и художник.

Кукольник распоряжался питьем, не кладя охулки на свою собственную жажду. Он с удивительной ловкостью и быстротой осушал бокалы шампанского. Но ему не уступал в этом и Глинка, которого необходимо одушевлять и затем поддерживать в нем одушевление шампанским. Зато, говорят, он не пьет никакого другого вина.

9 мая 1840 года

Вечер у Н.А.Маркевича, автора “Малороссийских мелодий”, малороссийской истории, которая скоро будет печататься, и издателя малороссийских песен. Тут было много всякого народа. Сенковский явился как раз в то время, когда в гостиной были уже налицо Греч, Булгарин и Полевой. Он затрепетал от негодования.

— Хорош, однако, Маркевич! — сказал он мне. — Приглашая меня, он обещался, что у него не будет ни Греча, ни Булгарина, ни Полевого, а между тем они все здесь! — Он тотчас же уехал.

За ужином вино лилось рекой. Опять играл Дрейшок, и пел Глинка. Был тут и Серве, который, однако, не играл, несмотря на усиленные просьбы. Наружность его привлекательна, а обращение непринужденное, чисто французское.

10 мая 1840 года

Полевой, наконец, решился отказаться от участия в редакции “Сына отечества”. В самом деле, это необходимо. Мы с ним не сходимся во взглядах на многое. У него есть литературные враги. Мои же враги, если такие есть, — идеи, а не лица. Оттого он постоянно порывается браниться, а я должен его удерживать. Сверх того, Полевой так медленно работает для журнала, что тот уже совсем выбился из обещанных сроков. Публика ропщет, журнал теряет репутацию.

11 мая 1840 года

Сегодня состоялось у меня совещание с Полевым и Смирдиным. Полевой окончательно отказывается от участия в редакции журнала (“Сын отечества”), который с девятой книжки уже весь сосредоточивается в моих руках. Но в уплату за взятые вперед у Смирдина деньги Полевой будет присылать в журнал статьи. Мое вознаграждение теперь должно было бы увеличиться на сумму, до сих пор причитавшуюся моему соредактору, Полевому, то есть с 7500 рублей (ассигнациями) возрасти до 15 000 руб. (ассигнациями). Но при нынешних тесных обстоятельствах Смирдина я не хочу обременять его и сказал ему, что буду довольствоваться своим прежним половинным вознаграждением. Но зато Смирдин мне торжественно обязался непременно обеспечить плату моим сотрудникам: она не превысит пяти тысяч рублей. Таким образом, дело между нами уладилось.

Я приглашаю в сотрудники по части смеси и политики: В.И.Барановского, Сорокина и Гебгардта, насколько рассеянная жизнь и возня с женщинами позволят последнему применить к делу свои блестящие способности. Жаль мне моего остроумного, даровитого Гебгардта. Он топит себя в житейских мелочах; он гибнет между Сциллой и Харибдою, то есть между канцелярской службой и недостойными своего ума и сердца развлечениями. Он отдается последним, насколько может украсть себя от службы. Оттого внутреннее управление, экономия души его в плохом состоянии. Нравственные силы его не питаются и не укрепляются производительным трудом, а тратятся на игру в пустяки, на мелочные тревоги, издерживаются на сплетни, которые неизбежно сопутствуют всякого, кто слишком

отдается свету, людям и страстям своим. Но что же делать? Всякий бывает только тем, чем может быть. И возвышать человека не-должно насильно. Он в заключение все-таки непременно упадет, но, падая с высоты, искалечится хуже, чем спотыкаясь на низменных местах. Кто не способен сам, по собственному почину, идти по пути, отличному от путей массы и толпы, того не толкайте вперед: вы сделаете ему зло.

25 мая 1840 года.

Задавлен экзаменами. Одновременно экзамены в университете, в Пажеском корпусе и в Аудиторском училище.

28 мая 1840 года

По условию, Полевой должен приготовить к выходу восьмую книжку “Сына отечества”. Но он работает очень медленно. Трудно и подстрекать его: он и болен и отягощен разными заботами.

Самый обширный ум — тот, который умеет применяться к тесноте своего положения и ясно видит все добро, которое может там сделать.

25 июня 1840 года В начале этого месяца переехал на дачу, где чувствую себя бодрым и свежим. Природа по-прежнему служит для меня источником наслаждений. Я хожу очень много, что для меня спасительно при усиленной сидячей работе. Редакция журнала поглощает много моего времени и моих сил, но мало вознаграждает меня. Вот и теперь я поставлен в крайне затруднительное денежное положение. Смирдин уехал в Москву, не заплатив мне ни копейки, хотя обещал совсем расплатиться со мной перед отъездом. А журнал между тем весь на моих руках.

27 мая 1840 года

Беспрерывные дожди. Хорошо, что мое летнее помещение — избенка в деревне Кушелевке, за Лесным корпусом — на высоком месте. Почва здесь песчаная, и земля скоро высыхает.

11 июля 1840 года

И июль не лучше своего предшественника: дождь, сырость и часто холод с бурным ветром. Я три дня подряд провел на даче, кутаясь и уныло гуляя для моциона под зонтиком и в галошах. Но последний вечер меня побаловал: небо прояснилось, ветер стих; в воздухе стало тепло, ласково, не по-петербургски. Я долго гулял по полям и поздней ночью вернулся в свою каморку под крышей.

Со мной обыкновенно ночует на даче мой сотрудник по журналу, Виктор Иванович Барановский. Мы с ним усердно работаем, и он мне чрезвычайно полезен:

составляет смесь, политику, кроме того переводит разные статьи по моему указанию. Все это он делает умно, скоро, аккуратно. И по-русски пишет хорошо, то есть правильно и легко.

К сожалению, Виктор Иванович один из тех людей, которым предназначено стоять одиноко и вообще быть мало оцененными. Это человек очень умный и с оригинальным взглядом на вещи. Его философские идеи, которые он систематически излагает на бумаге, — он уже много написал, — поражают смелостью. Он много читал, учился, много думал и наблюдал. Честен и благороден, но упрям как малороссийский вол. Защищает свои мнения и положения с упорством фанатика, верующего в непогрешимость своих основных начал. Думаю, однако, что он во многом прав.

16 июля 1840 года

Три дня работы на даче. Погода хорошая. Это особенно кстати. Я мог погулять и отдохнуть. Работы у меня — сил нет, времени не хватает исчерпать это море. Журнал поглощает много труда, а тут на носу приемные экзамены в университете, затем лекции. “Когда-нибудь с бала да в могилу”, — говорит Хлестова, а я так могу сказать: “От письменного стола да в могилу”. Если б я по крайней мере мог верить в пользу, в прочность моего труда!

27 июля 1840 года

В типографии бумаги нет: веди тут журнал как хочешь. Наконец приехал Смирдин из Москвы. Я с ним говорил. Он обещал, что впредь остановки не будет. Надо надеяться!

7 августа 1840 года

Вот уже и приемные экзамены в университете начались. Одна из самых тяжелых для меня обязанностей. Мало молодых людей, которые были бы хорошо приготовлены.

8 августа 1840 года

У меня обедал Брюллов, знаменитый творец “Последнего дня Помпеи”. Собралось еще человека два-три и несколько дам из Смольного монастыря. Мы хорошо провели время за обедом под открытым небом в моем крохотном садике, под березками, рядом с кустами крыжовника.

Брюллов кроме таланта одарен также умом. Он не отличается гибкостью и особенной прелестью обращения, однако не лишен живости и приятности. Он лет пятнадцать прожил в Европе и теперь не особенно доволен, кажется, своим пребыванием в России. Это, пожалуй, и немудрено. У нас не очень-то умеют чтить талант. Вот хоть бы и сегодня. Мы гуляли в Беклешовом саду. Один мне знакомый

действительный статский советник отзывает меня в сторону и говорит:

— Это Брюллов с вами? Рад, что вижу его, я еще никогда не видал его. Замечательный, замечательный человек! А скажите, пожалуйста, ведь он, верно, пьяница: они все таковы, эти артисты и художники!

Вот какое сложилось у нас мнение о “замечательных людях”.

Брюллов уехал поздно вечером. За обедом он любовался моей женой.

— Чудесная голова, — говорил он, — так и просится под кисть художника. Покончу с “Осадой Пскова” и стану просить вашу супругу посидеть для портрета.

10 августа 1840 года

Август стоит ясный и теплый. Каждый четверг и субботу я с Барановским отправляюсь пешком на дачу и обратно. Но деревья желтеют, и природа улыбается уже сквозь осенние туманы. Особенно хороши теперь утра. Но скоро, скоро конец всей этой роскоши.

31 августа 1840 года

Вчера день моих именин. Благодаря хорошей погоде отпраздновали его отлично. Съехалось много приятелей. Младший Гебгардт привез несколько ракет, которые и были спущены в поле, среди ночной тишины.

Завтра и семья моя перебирается в город, на зимнюю квартиру.

15 ноября 1840 года

О писателе должно судить не по тому, что он хотел сделать, а по тому, что он действительно сделал. Так называемые высокие идеи в наше время сильно опошлились: какой студент не является носителем их? Но какие из этого результаты — вот что надо иметь в виду. Часто говорят: “автор вложил в основу такого-то произведения глубокую мысль”. Но что в том, если здание, построенное на этой идее, не соответствует ей, если величие ее не осуществилось ни в размерах, ни в отделке этого здания? Я не хочу, чтобы на здании была надпись: это храм. Я хочу отгадать его без надписи, по величию стиля.

20 ноября 1840 года

У меня был Кольцов, некогда добрый, умный, простодушный Кольцов, автор прекрасных по своей простоте и задушевности стихотворений. К несчастию, он сблизился с редактором [Краевским] и главным сотрудником [Белинским] “Отечественных записок”: они его развратили. Бедный Кольцов начал бредить субъектами и объектами и путаться в отвлеченностях гегелевской философии. Он до того зарапортовался у меня, что мне стало больно и грустно за него. Неученый и неопытный, без оружия против школьных мудрствований своих “покровителей”, он,

пройдя сквозь их руки, утратил свое драгоценнейшее богатство: простое, искреннее чувство и здравый смысл. Владимир Строев, который также был у меня, даже заподозрил его в нетрезвости и осведомился, часто ли он бывает таким? А скромный молчаливый Бенедиктов только пожимал плечами.

Всякая идея сама по себе есть отвлеченное представление; ее нельзя анализировать, и потому она в художественном произведении не дает ничего, кроме общих мест. Необходимо видеть ее раскрывающеюся в каком-нибудь факте: тут возможность анализа, а следовательно, и оживления. Что такое идея человека, как не бесконечное отвлеченное представление? Посмотрите же, как эта идея выражается в одном, в другом неделимом, и вы изумитесь разнообразию и богатству явлений, которые можно слагать уже в какие угодно образы. Вот почему незнание природы и жизни производит в искусстве одни общие места.

30 ноября 1840 года

Едва возвратился князь М.А.Дондуков-Корсаков, наш попечитель (он провел восемь месяцев за границею), как в университете начались уже так называемые “истории”. Он сказал речь студентам, в которой приглашал их “во всем прямо и непосредственно к нему относиться” и заверял их, что он “всегдашний их защитник”. Студенты вообразили, что они могут не слушаться инспектора и оскорблять профессоров.

На другой же или на третий день после речи попечителя Куторга-младший читал свою лекцию из истории. Какой-то студент, недовольный тем, что Куторга дал ему дурные отметки на экзамене, начал шуметь в аудитории и смеяться. Куторга ему заметил: “Вы ведете себя неприлично”. — “Я веду себя так, — отвечал студент, — как вы того заслуживаете”, — и принялся обвинять Куторгу в противонациональном направлении его лекций. Через день Куторге уже совсем не давали читать лекций: одни свистели, другие аплодировали; профессор принужден был удалиться с кафедры. И это не единичный случай: нечто подобное было уже и с другими. Как бы не пришлось студентам за то поплатиться! Но кто главный виновник этого?

Уже недели две у нас с Сенковским идут переговоры о “Сыне отечества”. Смирдин ему уступает этот журнал во временное владение, и хорошо делает, потому что на следующий год он уже не был бы в состоянии издавать его. Сенковский же вполне способен вести журнальное дело. Он предложил мне попрежнему оставаться редактором “Сына отечества”, с правом самостоятельно распоряжаться его направлением. Я, хотя неохотно, согласился и еще не уверен, что полажу с Осипом Ивановичем. Он прислал мне проект объявления, в котором роль редактора является вовсе не такою, как было обещано. Я в длинном письме написал ему, что на таких условиях отказываюсь от редакторства. Сегодня я заезжал к нему для окончательных объяснений, но не застал его дома.

5 декабря 1840 года

Мы, наконец, поладили с Сенковским. Положено сказать в объявлении, что я

буду независимым редактором во всем, что касается литературного направления журнала.

Я завален работою. Надо додать остальные книжки “Сына отечества”, а их шесть. Четыре типографии заняты печатанием их. Ложусь спать в три часа ночи, встаю около семи. К счастью, пока это не оказывает вреда моему здоровью: но надолго ли?

10 декабря 1840 года

Работаю как паровая машина. Печатание “Сына отечества” идет успешно. Мне то и дело приходится слышать упреки за то, что я так хлопочу по делам Смирдина, когда он уже во всяком случае обречен разорению и когда надежда на выгоды от него становится все ничтожнее. Никто и знать не хочет, что Смирдин честный человек и что он жертва своего доверия к недобросовестным литераторам. Пусть сколько хотят корят меня за неблагоразумие. Правда, я вряд ли половину получу из того, что мне следует от Смирдина за мои труды: до сих пор я получил всего 500 рублей, вместо должных мне десяти тысяч. Но по крайней мере у меня на совести не будет упрека, что и я тоже содействовал гибели его и его дела.

В самом деле, сколько мерзостей совершается в нашей литературе! Какое самохвальство в журналистике! Если это тактика со стороны ее, то неужели она достигает цели? Истинная сила не нуждается ни в какой тактике: она горда и презирает ухищрения. Ее влияния нельзя не признать, ибо оно чувствуется.

1841

11 января 1841 года

Все праздники не выдалось дня свободного. Много работал для первых книжек “Сына отечества” и поместил в первом номере свою статью о стихотворениях Лермонтова. Наконец увидел, что продолжать так нельзя, и решился сложить с себя ту часть работы, которая до сих пор лежала исключительно на мне одном, а именно — просмотр и обработку статей для журнала. Мы решили с Сенковским разделить редакцию между несколькими лицами, а за мной оставить главный надзор литературный и цензурный. Я буду получать от сотрудников предварительные извлечения из предполагаемых к напечатанию статей, а последние просматривать уже во второй корректуре. Это снимет большую тяжесть с моих плеч.

15 января 1841 года

Печальное зрелище представляет наше современное общество: в нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах, словом — ничего свидетельствующего о здравом, естественном и энергическом развитии нравственных сил. Мелкие души истощаются в мелких сплетнях общественного хаоса. Нет даже правильного понятия о выгодах и твердого к ним стремления. Все идет, говоря русским словом, “на шаромыжку”. Ум и плутовство — синонимы. Слова “честный человек” означают у нас простака, близкого к глупцу, то же, что и добрый человек. Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или признаками романтической восторженности. И понятно, ведь с ними не соединяется ничего существенного, — это пустые, книжные слова. Образованность наша — одно лицемерие. Учимся мы без любви к науке, без сознания достоинства и необходимости истины. Да и в самом деле, зачем заботиться о приобретении познаний в школе, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется как преступление? К чему воспитывать в себе благородные стремления: ведь рано или поздно все равно придется пристать к массе, чтобы не сделаться жертвою.

13 февраля 1841 года

Сегодня происходил во дворце, в присутствии императрицы, экзамен институток. Здесь присутствовали обе великие княжны, наследник и маленькие

великие князья. Государь выходил на минуту, поцеловал императрицу, со всеми раскланялся и удалился.

Государыня слаба, и потому старались как можно больше сократить экзамен. Каждому учителю дано было по получасу на его предмет, а всех их было пять. Мой экзамен сошел очень хорошо. После того пошли завтракать, но я предпочел уехать домой. Путь к выходу лежал по великолепным залам и по небольшому зимнему садику, где в кадках растут тропические деревья, плещет фонтан и кричат попугаи.

5 марта 1841 года.

Некто Великопольский, псевдоним Ивельев, написал драму “Янетерской”. Она плоха и сверх того безнравственна и полна сценами и выражениями, которые у нас не допускаются в печати. По непонятному недоразумению она, однако, была пропущена цензором Ольдекопом. Лишь только драма вышла из печати и попала в руки министру, он немедленно отрешил от должности цензора и велел повсюду отобрать экземпляры ее и сжечь. Сегодня в одиннадцать часов утра состоялось это аутодафе, при котором ведено было присутствовать мне и Куторге. Вот, однако, два хорошие поступка: Великопольский, узнав о несчастии, постигшем по его милости цензора, предложил последнему 3000 рублей, чтобы тому было на что жить, пока он найдет себе другое место. Ольдекоп отказался.

Вчера был читан в совете университета и одобрен мой проект “Постановления о публичных лекциях”, написанный мною по поручению министра.

11 марта 1841 года

Смирдин близок к банкротству. Надо сказать правду, не везет мне: вот опять я целый год проработал даром. Это особенно некстати, так как я собираюсь предложить выкуп за мою мать и брата. Писал по этому поводу графу Д.Н.Шереметеву. Приближенные его меня обнадежили в успехе, но от него до сих пор ни слова. Боже великий! Что за порядок вещей! Вот я уже полноправный член общества, пользуюсь некоторой известностью и влиянием и не могу добиться — чего же? Независимости моей матери и брата! Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне, я понимаю, как люди доходят до крайностей!.. Жду с нетерпением приезда из Москвы Жуковского: может быть, его влияние в состоянии будет что-нибудь сделать…

17 марта 1841 года

Сегодня читал в совете мою речь к акту “О современном направлении русской литературы”. Речь единодушно одобрена.

23 марта 1841 года

Сегодня был у Жуковского и просил его содействия по делу о моей матери и

брате. Он с негодованием слушал мой рассказ о неудачных попытках по этому случаю и открыто выражал свое отвращение к образу действий графа и к обусловливающему их порядку вещей. Василий Андреевич обещался пустить в ход весь свой кредит. Я с моей стороны не постою ни за какой суммой выкупа, если последний потребуется, — чего бы мне ни стоило скопить ее. Боже мой! Боже мой! Лишь бы не изнемочь в борьбе…

3 апреля 1841 года

Праздники. Прекрасные, ясные, теплые дни — теплые, насколько они могут быть такими в Петербурге до вскрытия Невы. Сегодня состоялся акт в университете. Речь моя имела успех, хотя я читал дурно.

От Жуковского еще никаких вестей.

9 апреля 1841 года

Сегодня, наконец, спала с моего сердца невыносимая тяжесть: наконец моя мать — моя праведная, благородная, возвышенная мать — и брат мой могут заодно со мной свободно дышать. Граф Шереметев уже подписал отпускную, без выкупа: сегодня я получил о том извещение. Кому я. обязан: Жуковскому или, наконец, решимости самого графа? Во всяком случае все прошлое забыто и прощено…

В обществе между тем ходят странные слухи. Говорят, что ко дню свадьбы наследника приготовлен манифест об освобождении крестьян. Если это правда, нынешнее царствование будет ознаменовано событием, которое возвеличит его. Но многие из людей образованных находят меру эту еще несвоевременною. Говорят, что она поведет к беспорядкам, что к ней надо идти постепенно и т.д. Какой же момент, по их мнению, окажется своевременным? И чего еще ждать? Чтобы помещики сами отказались от своих прав? Или чтобы между крестьянами побольше распространилось просвещение? Но и то и другое немыслимо при существующем порядке вещей. Всякая постепенность на этом пути была бы полумерою, а полумеры всегда ошибочны и часто пагубны, потому что создают фальшивые положения вещей. Что касается беспорядков, они, конечно, возможны, но что они в сравнении со злом, заключающимся в этой, отвратительной системе рабства? Мелкие помещики неизбежно пострадают, но какое же важное и благотворное преобразование в государстве совершается без жертв?

Государю Николаю Павловичу приписывают слова: “Я не хочу умереть, не совершив двух дел: издания Свода законов и уничтожения крепостного права”. Если так, то это внесет прекрасную страницу в историю его царствования. Но все это одни гадания. Подождем до среды: это день, в который назначена свадьба наследника, — и вопрос решится сам собой. Впрочем, я мало надеюсь. Хотя почему бы Николаю этого не сделать? Он всесилен; кого и чего ему бояться? И какое лучшее употребление может он сделать из своей самодержавной власти?

14 апреля 1841 года

Дело о матери моей и брате кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского. Да благословит его Бог! Сегодня я был у него и благодарил его.

Вчера был на балу в Смольном монастыре; там пела графиня Росси. Дивный голос. Но я профан в музыке и, вероятно, потому остался недоволен. Я не понимаю, зачем все эти певцы и музыканты так любят тратить свои силы на риторические фигуры, все достоинство которых в трудности? Дилетанты восхищаются, но на меня это действует обратно. Музыка — это совершеннейшее из искусств, и власть ее над человеческим сердцем безгранична. Она есть гармония души, а из нее делают игру в звуки.

16 апреля 1841 года

Прекрасный, теплый день. Пошел на площадь, где выстроены балаганы. Много народу; мертвая тишина, безжизненность на лицах; полное отсутствие одушевления.

27 апреля 1841 года

Неприятности в институте заставили меня опять выдвинуть там вопрос об отставке. Принц Ольденбургский поручил начальнице уговорить меня остаться. Пришлось пока согласиться.

Во все время праздников по случаю бракосочетания наследника я сидел дома, утопая в делах. Не видел даже иллюминации, которая, говорят, была великолепна. Но, кроме всего, я не люблю ходить в толпу, которая мне представляется какою-то бурною, необузданною стихией.

5 мая 1841 года

Сегодня я глубоко счастлив: я отправил увольнительные акты матушке и брату.

9 мая 1841 года

Обедал сегодня с Брюлловым (Карлом) в прескверном трактире на Васильевском острову, у какой-то мадам Юргенс. Брюллов изрядно уписывал щи и говядину, которые, по-моему, скорей способны были отбить всякую охоту обедать. Тем не менее мы отлично провели время. Брюллов был занимателен, остер и любезен. Он слывет человеком безнравственным — не знаю, справедливо или нет, но в разговоре его не замечаю ни малейшего цинизма. Вот хоть бы сегодня он говорил не только умно и тонко, но и вполне прилично, с уважением к добрым людям и к честным понятиям.

10 мая 1841 года

Перебрался на дачу за Лесной корпус. Погода редкая. Не только тепло, даже жарко. Крошечный садик мой похож на пушистое зеленое гнездышко. К сожалению, я не могу поселиться в нем безвыездно, а буду посещать его только набегами, для свидания с семьей и для кратковременного отдыха. Я прикован к Петербургу делами и необходимостью регулярного заработка.

29 мая 1841 года.

В заботах и хлопотах забыл упомянуть о важной домашней перемене. С 2 мая я на новой квартире, в доме Фредерикса, против или почти против Владимирской церкви. Квартира эта гораздо лучше прежней: чище, светлее, удобнее расположена. Кабинет у меня прекрасный: уединенный и просторный. Но зато все это и стоит мне дороже. За эту новую квартиру я буду платить 1400 руб. (ассигнациями) в год, а за прежнюю платил двумястами меньше. Бумаги мои и книги еще в совершенном хаосе. Некогда приняться за приведение их в порядок. Теперь на очереди университетские экзамены.

12 июля 1841 года.

Весь прошлый месяц и начало нынешнего прошли в обычных занятиях. Когда удавалось урвать свободный день, я отправлялся на дачу, чаще всего пешком, и проводил там время, бродя по лесам и полям, не забывая, однако, и цензурных обязанностей. Там же, в Кушелевке, обработал два важных дела: мнение о необходимости преподавания русской словесности для студентов юридического факультета и проект закона о периодических изданиях.

Первое возникло по следующему поводу. Декан юридического факультета и профессора представили в совет университета проект об уничтожении в этом факультете некоторых вспомогательных предметов, в том числе и русской словесности, для облегчения студентов, будто бы обремененных науками. Но это неверно. Декан считал науки юри- дические не по курсам, а гуртом, и оттого их вышло много. Сверх того, у них на юридическом факультете история римского права и римское право, законы о полиции вообще и предупредительная полиция считаются предметами отдельными. При таком раздроблении наук немудрено насчитать их десятка три, четыре. На этом основании декан положил исключить из факультета: русскую историю, всеобщую историю и русскую словесность.

Но тут была другая тайная причина, а именно: угодливость студентам из аристократов, которые предпочитают юридический факультет остальным. Эти молодые люди занимаются наукой между прочим, и потому, конечно, каждый предмет считают для себя обременительным. Для исследования этого дела по моему настоянию была назначена особая комиссия. Я в качестве одного из ее членов написал мнение и читал его. Оно оказало свое действие, и теперь положено отменить меру, придуманную юридическим факультетом, и оставить все по-прежнему.

Проект закона о периодических изданиях составлен мною при следующих

обстоятельствах. Государь строжайше запретил разрешать издания новых журналов. Но ум человеческий хитер и изворотлив. Высочайшее повеление об этом существует уже около трех лет, в течение которых, кроме того, оно неоднократно подтверждалось. Между тем за это время возникли: “Москвитянин”, “Отечественные записки”, “Русский вестник”, — первый совершенно новый, два вторых будто бы только возобновлены, но в них нет и тени прежних журналов с этим именем. Сверх того, литераторы умудрились издавать книги выпусками, но эти мнимые книги — настоящие периодические издания. Таковы: “Маяк”, “Пантеон русского и всех европейских театров”, “Репертуар”, “Эконом”. Готовилось и еще немало других таких же изданий. Таким образом возникла необходимость в законе, который определил бы, что считать журналом и что нет. Цензурному комитету приказано составить такой закон, а комитет возложил это на меня. Дело нелегкое; хотелось бы склонить правительство взглянуть на дело мягче, спасти все новые издания и удалить препятствие с пути будущих. Предстоит борьба с Гаевским и Крыловым. Третьего дня я прописал всю ночь; обдумал и сообразил как будто недурно. В следующее цензурное заседание проект мой будет читан.

19 июля 1841 года

Несколько дней провел в моей кушелевской избе. Гулял по полям и лесу. В воскресенье провел приятный вечер с Брюлловым, а поутру был у меня монах Иакинф, да не застал меня дома.

28 июля 1841 года

Дни сумрачные, но теплые. Читал, между прочим, “Москвитянин”. Чудаки эти москвичи (даже Шевырев). Ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь. Это страна благополучия и великих убеждений. Если это искренно, то москвичи самые отчаянные систематики. Они отнимают у Бога тайны его предначертаний и решают по-своему жизнь и упадок царств. Они похожи на школьников, которые считают себя всемирными мудрецами, все знают и все могут. Они действительно являются выражением нашей “младенчествующей самостоятельности”. В таком случае они, говоря их словами, исторические явления. Ну, с Богом!

Гулял с переводчиком Шлегеля Комовским, который живет также в Кушелевке. Он защищал “Москвитянин”, особенно Шевырева. Я спорил горячо, даже слишком горячо, и хотя сбил его с оснований, однако, как водится, не убедил, а только остановил. Комовский человек очень хороший, с душою чисто шиллеровского покроя. Он тонок всем: станом, чувствами, умом; тонок до того, что вряд ли может удержать какую-нибудь крепкую истину, не согнувшись. Мы с ним недавно познакомились, но уже довольно сошлись.

Сегодня начались в университете приемные экзамены. Это самая тяжелая, самая нелюбимая часть моих профессорских обязанностей. Рыться в мозгу около сотни мальчиков и часто приходить к крайне неутешительным выводам относительно научной подготовки и степени умственного развития этих будущих

граждан — неблагодарная работа и действующая на меня расслабляющим образом. Сегодня экзамен длился с девяти часов утра и до трех. У меня под конец еле шевелился язык.

Всю последнюю неделю много думал о моих лекциях в наступающем учебном году. Намеревался сначала кое-что изменить в порядке изложения идей, но потом оставил все по-старому. Главная задача моя в самых идеях, в их духе и в слове, которое действовало бы на умы и пробуждало в слушателях стремление к высокому, к гуманному. У всякого общественного деятеля свои элементы силы, посредством которых он достигает желаемых результатов. Элементами моей силы я считаю мысль и слово, а не эрудицию. Мое естественное влечение — обратить кафедру в трибуну. Я желаю больше действовать на чувство и волю людей, чем развивать перед ними теорию науки. Мне кажется, что я больше оратор, чем профессор. Познания у меня средство, а не цель. Я не “науковой” (зри “Москвитянин”) человек, а человек мысли и чувства. Потому мне всего больше нужно для кафедры: 1) ясность, стройность и диалектическая гибкость мысли и 2) мощь слова. Я должен делать доступными моим слушателям такие истины, которые содействуют прямо и непосредственно их внутренней гармонии и ставят их в гармонические отношения с человечеством. Это — добро, и такому добру я должен и хочу содействовать. Если бы я был деятель политический, я старался бы, чтобы люди были довольны своим внешним положением. Но так как мне это не дано, я должен содействовать их внутреннему благоустройству.

Прежде всего надо стремиться к образованию в них внутренней законодательной силы. В руках моих важное для этого орудие — изящное. Как! Изящное — только орудие? Да! Искусство должно служить человечеству, а не человечество искусству. Человек созидает историю столько же для себя, сколько и для удовлетворения внешним законам своего назначения.

Ныне в моде толковать о судьбе целого, о “мировом” и т.д. Правда, мы видим, что сама судьба неделимое приносит в жертву целому. Но это ее неисповедимая тайна. Для нас же что это, как не соблазн и не камень преткновения? Целое есть отвлеченная идея. Не целое живет, а живут неделимые, которые одни могут страдать или не страдать. Заботьтесь же о неделимых, а целое всегда будет, так или иначе, хорошо, независимо от вашей воли.

Людям нужно какое-нибудь убеждение, какая-нибудь нравственная точка опоры. Но невежество не обдумывает своего убеждения; ему только надо над чем-нибудь остановиться, за что-нибудь держаться, и оно охотно подчиняется влиянию первой силы, которая смело сумеет наложить на него иго, или влиянию первой мысли, какая испугает, изумит или очарует его минутным блеском. Время и властолюбцы укрепят эту мысль — и вот вам священные предания; вот вам закон обычая, или, по-новому, великая историческая идея.

Люди просвещенные не хотят быть управляемы ни произволом, ни случаем: они требуют законов и правосудия. Все общественные волнения проистекают из сокрытой борьбы права с властью, которая не хочет знать никакого права или которая дурно применяет его.

18 августа 1841 года

Жил большею частью в моей избе, в Кушелевке. Август такой, какого не запомнишь в Петербурге, Даже ночью так тепло, что я гуляю в сюртуке нараспашку. 15-го только выдался какой-то бешеный день, смотрел сердито, а ночью бушевала такая буря, что стены моего чердака тряслись как в лихорадке.

Прекрасные дни провел я на даче. И хоть не много сделал я в течение их полезного, зато сделал живо. Главным предметом моих дум был ныне курс публичных лекций, который мне хочется открыть нынешнею зимою. Если б мне удалось прочесть их так, как иногда удается читать в университете, то есть с жаром и одушевлением, я полагаю, они не остались бы совсем бесплодными. Не скрою однако, что мысль выступить перед публикою несколько страшит меня, тем более что я не хочу, как Греч, читать по тетради.

Пока я неутомимо собираю материалы, то есть обдумываю и соображаю начала, главные положения, факты и прочее. Мне хочется утвердить основы литературной идеи и определить ход нашей литературы в главных ее деятелях. Впрочем, что такое литературная идея? Главное — возбудить в сердцах уважение к подвигам ума и просвещения. Пусть бы по туманному и безжизненному полю нашего общества пронеслось хоть несколько светлых, благородных идей!

31 августа 1841 года

Нынешний август баснословный в летописях петербургских лет. Тишина, теплота, ясность в каких-то небывалых здесь южных формах. Чудо, да и только! Не хочется ехать из деревни, и я охотно оставил бы здесь мою семью. Но ночи становятся длинны и темны; в деревне Кушелевке почти все летние обыватели разъезжаются; делается небезопасно от воров, которые кое-где уже и начинают показывать опыты своего искусства. 30 августа ко мне собрались все близкие. Мы обедали под открытым небом в палисаднике около моей хижины и не знали, как спрятаться от солнца и жары. Вечером Гебгардт (Феденька), по обыкновению, сжег маленький и хорошенький фейерверк.

Сегодня мой последний день в деревне. Прощай, моя хижина, лес и особенно моя любимая роща, в которой я любил размышлять. Пора броситься в петербургский омут с его туманами и заботами.

7 сентября 1841 года

Вчера переехала и моя семья с дачи. Прекрасные дни кончились, начался настоящий сентябрь: холодно, ненастно, хотя по временам и проглядывает солнце.

Есть два рода либерализма в политике и в искусстве: один требует свободы и закона, другой — свободы и произвола.

Составленные мною постановления о публичных лекциях напечатаны уже в

“Журнале министерства народного просвещения” и в других журналах. Многие недовольны не столько сутью постановлений, сколько появлением их на свет, и даже не оставляют без укора и меня. Но притом забывают или не хотят помнить, что идея закона — не моя, а я, призванный осуществить ее, как всегда в таких случаях руководствовался одним, а именно: сделать закон наименее обременительным, полагая, что если он попадет в другие руки, о которых шла речь, то будет хуже для всех. Пусть упрекают меня в самонадеянности, но во всяком случае я действовал одушевленный благим намерением и правилом: не отказываться ни от какого дела, если это обещает хоть отрицательную, если не положительную пользу просвещению.

15 сентября 1841 года

Я окончательно сложил с себя звание редактора “Сына отечества” и напечатал мое отречение в журналах. Я был вынужден к этой решительной мере непоследовательностью Смирдина и своекорыстием Сенковского. Нынешний год я имел дело с последним, ибо он купил у Смирдина право издания. Так по крайней мере было объявлено мне. Вдруг, в половине года, Сенковский отказывается от журнала и снова передает его Смирдину, который никому не может платить. Видя, что таким образом мне навязывается исключительная ответственность за все неблагопристойности, чтоб не сказать больше, совершаемые “Сыном отечества”, я принужден был, ради чести моего имени, наконец бросить это негодное и потерянное дело.

Смирдин хотел передать редакцию Краевскому. Но я воспротивился этому: соединить в одних руках несколько журналов значит допустить пагубную монополию в нашей литературе и предать ее на произвол одной партии.

16 сентября 1841 года

Был у графа Клейнмихеля, который, по случаю отъезда генерала Рерберга куда-то надолго, захотел поручить мне полное заведование Аудиторскою школою, где я состою инспектором только по части преподавания русской словесности. Он, между прочим, заметил мне, что я редко бываю в училище. Ему о том донесли, но это совершенная правда, и я, конечно, не отрицал ее. Впрочем, граф не сердится на меня за то и, по обыкновению, обошелся со мною ласково.

24 сентября 1841 года

Вчера обедал у Дмитрия Максимовича Княжевича, недавно приехавшего из-за границы. С ним ездил и Надеждин, который также вернулся. Разговор шел о славянах и Австрии. Я не ошибся: я всегда думал, что славянский патриотизм, мечтающий о централизации славянского мира, существует только в головах некоторых фанатиков, как Шафарик, Ганка, Погодин и пр., но что народы славянские вообще живут себе преспокойно под австрийским владычеством, нимало не думая о какой-либо политической самобытности. Исключение составляют только

венгерские славяне и русины, которые очень угнетены магнатами. Все это подтвердил Надеждин, который, однако, сам не из последних славянофилов.

Тону в бумагах и корректурных листах: сочинения студентов, лекции, цензура, сочинения литераторов, присылаемые на суд, — Боже мой, какая пестрота, а подчас и какое убийство времени! Я ложусь спать в три часа ночи, встаю в семь и все еще не могу справиться со всем. Утро до четырех часов, кроме того, обыкновенно уходит на службу, то есть на занятия учебные, на экзамены и на цензурные дела. Сверх того, граф Клейнмихель поручил мне временно заведование Аудиторскою школою. А что из всего этого? Возможность жить, то есть скромно есть, одеваться И иметь над головою крышу.

8 октября 1841 года

Получены письма от Чижова из-за границы; ко мне он писал из Дрездена, к Гебгардту из Бельгии. Он виделся с Печериным. Недалеко Люттиха есть иезуитский монастырь св. Витта: в него удалился Печерин и принял монашество. Итак, два прозелитизма разом: политический и религиозный. Странный переворот, и какие потрясения должны произойти в душе человека, чтобы привести его к таким результатам. Чижов говорит с негодованием о нравственном упадке, в каком застал нашего Печерина: он принял не только идеи своего звания, но и все предрассудки его.

Чижов полагает, что его увлекли бедность и обольщения иезуитов, которым он может быть полезен своими обширными сведениями, особенно по части филологии. Из этого выходит, что поступок Печерина не есть следствие смелой, обдуманной решимости и твердого убеждения, а только случайный выход из затруднительного положения под давлением обстоятельств — плод незрелой мысли.

Он укорял Чижова и всех товарищей, в особенности меня, за то, что мы потворствовали его самолюбию, внушая ему слишком высокое мнение о его дарованиях. Но это, помимо всего другого, еще и несправедливо. По возвращении его из-за границы я сильно восставал против его эгоизма и полуфилософии, следствием чего даже было наше взаимное охлаждение. Когда он уехал в Москву занять там профессорскую кафедру, отношения наши были уже далеко не прежние. И все-таки я не могу прийти в себя от изумления и не нахожу объяснения столь странному моральному явлению. Печерин — католический монах! Это просто непостижимо! Поистине горе человеку, одаренному сильными чувствами и широкою мыслью без равносильной им силы воли и характера.

26 октября 1841 года

Завален цензурою. Рассматриваю “Историю Петра Великого” Полевого, “Всеобщую историю” профессора Лоренца, “Историю философии”, огромную политическую экономию, несколько повестей и т.д., и т.д., журналы “Отечественные записки” и “Русский вестник”. Спустишь с рук одно — они уже полны другим. Так и жизнь уходит. Начал было, и довольно успешно, подвигать свой курс словесности:

пришлось опять приостановить его.

27 октября 1841 года

Ходил во дворец и смотрел картину Бруни “Вознесение змия в пустыне”. Я ожидал от нее большего. Это — картина разных смертей, а где же поэтическая идея Моисея с его чудом? Моисей мелькает вдали неясною тенью, а вы видите только кучи умирающих, изображенных с ужасающею истиной. Художник, очевидно, заботился не о художественной, а об анатомической правде фигур.

28 октября 1841 года

Для нас, в России, еще не настал период нравственных потребностей. Общественное устройство подавляет всякое развитие нравственных сил, и горе тому, кто поставлен в необходимость действовать в этом направлении. Это самое тяжелое положение, потому что ложное. Не того нам надо. Быть солдатом или человеком — вот наше единственное назначение. Возвещать науку? — где потребность в ней? Она не имеет поддержки в жизни и потому является только школьные плетением понятий. Тут поневоле становишься в ряды шарлатанов.

Особенно моя наука — сущая нелепость и противоречие. Я должен преподавать русскую литературу — а где она? Разве литература у нас пользуется правами гражданства? Остается одно убежище — мертвая область теории. Я обманываю и обманываюсь, произнося *слова: развитие, направление мыслей, основные идеи искусства.* Все это что-нибудь и даже много значит там, где существуют общественное мнение, интересы умственные и эстетические, а здесь просто швырянье слов в воздух. Слова, слова и слова! Жить в словах и для слов, с душою, жаждущею истины, с умом, стремящимся к верным и существенным результатам, — это действительное, глубокое злополучие. Часто, очень часто, как, например, сегодня, я бываю поражен глубоким, мрачным сознанием моего ничтожества. Если бы я жил среди диких, я ходил бы на звериную и рыбную ловлю, я делал бы дело, — а теперь я, как ребенок, как дурак, играю в мечты и призраки! О, кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни! Проклято время, где существует выдуманная, официальная необходимость моральной деятельности без действительной в ней нужды, где общество возлагает на вас обязанности, которые само презирает… Вот уже два часа ночи, а я все еще думаю о том же. Засну, завтра выйду из этого душевного хаоса, буду опять стараться обманывать себя и других, чтобы не умереть от физического и духовного голода, пока действительно не умру и не унесу с собой в могилу горького сознания бесплодно растраченных сил…

25 ноября 1841 года

Весь месяц прекращено сообщение с Васильевским островом, и в университете нет лекций. Сначала Нева становилась, мосты были разведены. Вдруг оттепель: мосты нельзя наводить. Кое-как еще перебирались по шатким мосткам, да и то полиция часто запрещала. Наконец оттепель дошла до того, что лед на Неве сломало

и река пошла, как весною. Третьего дня мост было навели, но сильный ледоход заставил опять развести его. Вчера — день моих лекций в университете. Я отважился пойти к Неве, но в заключение только полюбовался глыбами льда на ней и вернулся домой. Трудно будет потом соблюсти полноту и порядок в лекциях.

Сегодня — тоже день, назначенный для заседания цензурного комитета, но и оно не состоялось: Нева не допустила.

31 декабря 1841 года

Конец 1841 года. Мало радостей, и никакого удовлетворения он не принес мне. Провожаю его без сожалений и смело иду навстречу 1842-му: умереть ведь надо же когда-нибудь.

1842

3 января 1842 года

В Новый год на балу в Смольном монастыре встретился и познакомился с генерал-адъютантом Шиповым. Он, между прочим, много говорил о системе народного образования, которую намеревался ввести в Польше, где заведовал этой частью. Он противник так называемого классического образования и сторонник реального. Не поладив с Паскевичем, он принужден был оставить свой пост и возвратился в Петербург. Теперь он назначен казанским генерал-губернатором.

7 января 1842 года

У меня просидел вечер И.И.Давыдов, профессор Московского университета. Обширный ум, бездна познаний, знание жизни — все это есть у него, — а дальше что? Пока не знаю. Его упрекают в уклончивости, или, вернее, слишком большой склонности характера. Но все, знавшие его прежде, давно, как, например, Полевой, утверждают, что он сделался таким после несчастной истории, когда ему запретили читать философию в Москве и начали смотреть на него как на врага веры, престола и т.д. Но Полевому не следовало бы упрекать его за сближение с властями: он сам пережил нечто подобное после запрещения “Телеграфа”.

8 января 1842 года

Граф Клейнмихель всесилен при дворе: он может сыпать милостями, крестами, деньгами и чинами. Вот работа для страстей! Аудиторское училище в данную минуту превратилось в арену для недостойной погони за всеми этими благами. После предстоящего выпуска ожидают массу наград. Большинство моих сослуживцев плашмя лежит, простирая руки кто к Станиславу, кто к Анне, к перстню, к табакерке. Можно, конечно, желать общественных выгод: это натурально. Но пусть бы эти выгоды по крайней мере покупались ценою настоящего дела, а не составляли исключительную добычу тех, кто всех искуснее в происках и сплетнях.

11 января 1842 года

Был у графа Виельгорского. Он просил меня о романе Миклашевичевой: нельзя ли пропустить? Нельзя. Много действующих лиц из духовных, есть на сцене архиерей, разбойник-помещик, плут-губернатор и прочее. Но Очкину был сделан

строгий выговор.

Граф сообщил мне, что государь ему недавно говорил с негодованием о враждебном направлении нашей литературы, о нападках ее на высшие классы, в пример чего приводил “Сказку за сказкой”. В одной из них с невыгодной стороны выставлено наше дворянство, и цензору Очкину был сделан строгий выговор.

Профессор Давыдов в большой милости у Уварова. Он добился этого грубою лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьею “О Поречье”, деревне Уварова, — статьею до того льстивою, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам этих заведений, что они услышат “русского Вильмена”. Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературе, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине — разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть “Лукулла”. В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что “если он сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он только Мемнонова статуя, возбужденная лучезарным солнцем”.

После лекции Уваров подошел к начальнице, г-же Леонтьевой, и сказал ей: “Вы ведь напишете государю о моем посещении?” Затем он уехал и увез с собой оратора. А ведь и тот и другой слывут за умных людей!

22 января 1842 года

Новая тревога в цензуре. Башуцкий издает тетрадями книгу “Наши”, где помещаются разные отдельные статьи. Одна из них, “Водовоз”, наделала много шуму. Действительно, демократическое направление ее не подлежит сомнению. В ней, между прочим, сказано, что народ наш терпит притеснения и добродетель его состоит в том, что он не шевелится. Государь очень недоволен. К общему удивлению, дело, однако, обошлось тихо. Цензору даже не сделали официального выговора, а автора призывал к себе Бенкендорф и сделал ему лишь умеренное увещание. Цензуровал статью Корсаков: литераторы часто употребляют его как свое орудие, особенно Греч и Булгарин. Ему многое сходит с рук, от чего не поздоровилось бы другим. Хорошо иметь начальником брата! Вон Очкину за “Сказку” Кукольника на днях сделали строжайший выговор. Аристократы сильно взволнованы этими литературными дрязгами. Недавно один князь, член Государственного совета, с великим гневом говорил мне о демократическом направлении нашей литературы. Значит, они начинают читать русские книги: беда же книгам и цензуре!

Оно, впрочем, и правда, что стремление нашей литературы к так называемой народности и вообще усилия ее пробудить народное самосознание мало благоприятны для высшего сословия. У всех писателей, пишущих в народном духе, начиная с Полевого и так далее, тайная мысль та, чтобы возбуждать массу. Наше высшее сословие не имеет никаких нравственных опор и, естественно, должно падать с развитием образования в среднем и низшем классах. Но не само ли высшее сословие в том виновато? Оно вовсе не заботится о приобретении морального перевеса, — ведь кто, например, учится в университетах? Плебеи, а аристократы только “проходят курс” для аттестата. Мне памятен Пажеский корпус, из которого я, несмотря на ласки начальства, ушел, потому что не видел в аристократическом юношестве ни малейшего сочувствия ни к науке, ни к ее представителям.

27 января 1842 года

Императорский экзамен в Смольном монастыре. В половине экзамена приехал наследник с женою, а спустя несколько времени и сам государь. Он хотел послушать только пение. Пропели концерт, “Боже, царя храни”, многая лета, и он уехал.

12 февраля 1842 года

Музыкальная и танцевальная репетиция в Смольном монастыре. Есть прекрасные голоса; особенно отличилась калмычка Капчукова. Хороши были также и танцы. Неистощимая Дидло к каждому выпуску припасает новые группы и фигуры.

Итак, вот воспитание этих девушек кончено. Они выходят в жизнь — с чем же? С пением, с плясками, с легким, очень легким запасом познаний, с привычками к роскоши, с жаждою к наслаждениям и с совершенным непониманием жизни, незнанием ее темных сторон и своих обязанностей. Между тем каждой из них уже лет восемнадцать двадцать. В этих заведениях вообще слишком много жертвуется для блеска. Они как бы составляют часть двора, и потому в них все главным образом обращено на внешность.

13 февраля 1842 года

В Аудиторской школе происходят ужасные сплетни и мерзости. Рерберг уже открыто идет против меня и окружает меня шпионами. В добрый час!

Университет опять возложил на меня произнести речь на акте. Хочу написать что-нибудь о критике.

24 февраля 1842 года

Встретился с княгиней Щербатовой, которая завела со мной речь об “Елене Глинской”. Она была недавно на представлении ее. Да, наши аристократы начинают не только читать русские книги, но и посещать русский театр. Вот все, что они

вынесли хоть бы из представления “Елены Глинской”: “Зачем выводить на сцену русский двор в таком непристойном виде?” Я не читал и не видал пьесы и потому ничего не мог на это отвечать; заметил только, что русская история вообще бедна драматическими эффектами и писателю трудно выбирать: он рад, когда нападает на что-нибудь живое.

1 марта 1842 года

Вчера был в театральном маскараде. Там, по обыкновению, присутствовал государь. Он был очень весел, его беспрестанно затрагивали маски, и сам он многих останавливал. Великий князь Михаил Павлович оставался еще после меня, а я уехал в три часа ночи.

4 марта 1842 года

В Смольном монастыре раздача шифров, медалей и проч. Девица, удостоенная награды первой степени, выходит из ряда остальных, делает два реверанса и опускается на подушку на колени перед государыней. Та прикалывает ей шифр к платью на плече. Награжденная целует императрице руку, а последняя возвращает ей поцелуй в щеку или в голову. Первые три шифра получили: Арсеньева, Каховская 2-я и Буссе. Государь был ненадолго и уехал вместе с великим князем Михаилом. Наследник оставался до конца церемонии. Затем государыня подошла к учителям, кивнула головой и проговорила: “Благодарю”.

В последнем маскараде в Дворянском собрании, говорят, случилось следующее: государь с трудом пробирался в толпе. В этот день собрание было особенно многочисленное. В одном месте его окружили маски-патриотки и, желая насладиться лицезрением монарха, до того стеснили его, что он принужден был остановиться и ожидать. Наконец терпение его не выдержало, он топнул ногой и грозно крикнул, назвав их по-французски скотами. Волны народа, как волны Черного моря перед жезлом Моисея, мгновенно расступились от этого слова. И поделом! Надо быть умеренными и в выражении патриотических чувств, особенно когда царь веселится запросто и либерально с своим добрым народом.

7 марта 1842 года

День выпуска в Смольном монастыре. Около двух часов пополудни состоялся обед для девиц и ученой братии. Императрица кушала со всеми. Ее окружали девицы, получившие шифр. В начале обеда приехал государь. Мне досталось сидеть прямо против него. Стол был постный. Государь был весел и любезен, разговаривал все время с девицами, ни одной не оставил без внимания, пил за их здоровое. Обходя столы, он вдруг сказал Тимаеву (инспектору):

— Вы зачем здесь?

— Я и все прочие приглашены, ваше величество.

— Я не о том спрашиваю, — возразил государь, — почему вы присутствуете на обеде, а о том, зачем вы поместились именно возле этих милых девиц? Верно, фаворитки? — Наши фаворитки, ваше величество, — отвечал Тимаев, — не здесь: они все около императрицы.

— То есть шиферные, хотите вы сказать, — продолжал государь, — да, знаю, знаю!

Государь и государыня вообще были очень ласковы, просты, без этикета. Был провозглашен тост за императрицу, причем все встали. Государь приказал опять садиться и скомандовал:

— Раз, два, три!

После обеда пошли в церковь. Многие из девиц, прощаясь, рыдали. Мои ученицы окружили меня тесной толпой и благодарили “за те высокие чувства, которые я вложил в их душу”, и проч. Я был тронут не меньше их самих.

Здесь, между прочим, видел я известную В.А.Нелидову. Она не красавица, но в лице ее много прелести и во всей особе что-то в высшей степени привлекательное. К пяти часам все разъехались.

25 марта 1842 года

Публичный акт в университете. Я произнес речь “О критике”. Публика приняла ее с большим одобрением. Многие подходили благодарить меня. Были в публике лица, приехавшие нарочно только для моего чтения и уехавшие тотчас после него. Вообще я в настоящее время пользуюсь расположением публики; говорят, что лекции мои производят эффект: прекрасно, но надолго ли все это?.. Плетнев прочел свой отлично составленный отчет за истекший год. Вообще весь акт прошел прилично и торжественно, как это редко удается.

29 марта 1842 года

Был у Клейнмихеля, чтобы как-нибудь выяснить, наконец, мои отношения к Аудиторской школе. Граф сказал:

— Прошу вас, не оставляйте только нас. Вы настоящий начальник всей учебной части в Аудиторской школе. Она вся на вашей исключительной ответственности. Во всем относитесь прямо ко мне, а я вас уж поддержу.

Последние слова он особенно подчеркнул. Итак, пока дело уладилось, кажется.

9 апреля 1842 года

Вчера выпушенные монастырки собрались ко мне провести вечер. Их было до двадцати. Между ними особенно сияли красотой царевна Гурийская и Галенкина. Вечер прошел оживленно и очень приятно.

16 апреля 1842 года

Множество толков по поводу указа о крестьянах. Мое мнение, что указ этот не есть окончательная мера; он слишком странен и противен политике. Одно из двух: или это первый шаг, за которым последуют другие, или существуют секретные дополнительные предписания местным властям, чтобы они склонили дворянство понять волю государя и приступить к добровольной сделке с крестьянами. Это может повести к тому, что народ подумает, будто все сделано по желанию самого дворянства, и последнее, таким образом, не будет компрометировано.

19 апреля 1842 года

Светлое Христово воскресение. У заутрени и обедни был в церкви батальона военных кантонистов. Там прекрасное пение.

Ожидания служащих в Аудиторской школе не сбылись, и все происки, сплетни оказались бесполезными: никто ничего не получил. Можно себе представить всеобщее недовольство и отчаяние! Вечером так называемый казенный бал в Екатерининском институте, где я опять провел несколько приятных часов среди моих милых учениц, любовь которых всегда глубоко меня трогает и делает счастливым.

24 апреля 1842 года

Гулял под качелями на Адмиралтейской площади. Невский проспект и площадь с балаганами были усеяны народом. В тесноте у меня вытащили платок из кармана. Веселья, по обыкновению, было мало. Густые массы народа двигались почти бесшумно, с тупым равнодушием поглядывая на паяцев и вяло улыбаясь на их грубые выходки.

Был, между прочим, у девиц Бурнашевых, с которыми познакомил меня Гросс-Гейнрих, учитель девицы Кульман. Это две бедные девушки с отличными дарованиями. Отца их как-то притеснили по службе; он живет ничтожным пенсионом или жалованьем и не мог дать образования своим дочерям. К ним на помощь явился Гросс-Гейнрих. Он заметил их способности и принялся за их образование, подобно тому как уже это сделал с Елисаветою Кульман. И вот теперь эти девушки отлично знают языки: французский, немецкий, английский, итальянский, и, кроме того, занимаются древними: латинским и греческим. Я застал их за переводом Матфеева евангелия с греческого языка на русский. Я пробыл у них часа полтора и, уход”, обещался посещать их и с своей стороны руководить их занятиями по русской словесности. Они с удовольствием приняли мое предложение.

26 апреля 1842 года

Сегодня я в первый раз слышал Листа. Принц Ольденбургский пригласил его в Смольный монастырь, а начальница пригласила меня послушать знаменитого артиста. Это настоящий гений. Какая сила, какой огонь в его игре! Инструмент под

его пальцами исчезает. Он переносит вас всецело в мир звуков, где он безграничный властелин. Каждый звук, который он извлекает из инструмента, — или мысль, или чувство. Нет, я никогда не слыхал ничего подобного! Далее в музыке, кажется, нельзя идти.

Наружность Листа очень оригинальна. У него тонкие черты лица; он худ и бледен; длинные светло-русые волосы стелются у него по плечам. Когда он играет, физиономия его оживляется и буквально делается горящею. Все приемы его показывают человека европейски образованного. Его приняли, как царя. Все встали, когда он вошел: принц Ольденбургский, министр народного просвещения Уваров, начальница Смольного монастыря встретили его у эстрады, где ожидали его два флигеля. Листа сопровождал и неотлучно при нем находился, как камергер при царе, граф Виельгорский, сам превосходный музыкант. Я и до сих пор еще нахожусь под влиянием дивной, непостижимой игры Листа.

Способности наши важны не столько потому, что они есть, сколько по тому, что мы из них делаем.

16 мая 1842 года

У нас новый попечитель. Уж с год, как князь Дондуков-Корсаков подал в отставку. На его место долго никого не назначали. Но вот приехал из-за границы князь Григорий Петрович Волконский, и его сделали попечителем. Он был уже года два помощником попечителя и потому нам знаком. Он человек, как говорится ныне, с европейским образованием, со свежей головой и честными стремлениями, еще не остывший к добру — только очень молод. Ему лет за тридцать, не более. Хватит ли у него твердой воли и выдержки в добре? Много есть людей, которые, начав свою деятельность с хорошими намерениями, скоро изменяют им: общество и жизнь так переворачивают их, что они начинают действовать в смысле, обратном своим первоначальным целям. У нас люди удивительно скоро подвергаются порче.

22 мая 1842 года

Сегодня университет давал обед бывшему своему попечителю, князю М.А.Дондукову-Корсакову. Обедающих было до восьмидесяти человек. Присутствовали, между прочим, и министр народного просвещения, и граф Н.А.Протасов, и новый попечитель, князь Волконский, с братом. Все сошло очень хорошо. Плетнев от имени университета прочел князю благодарственное слово за его управление. Это, видимо, тронуло его, и он в свою очередь отвечал просто, с чувством. За обедом и после обеда играла музыка.

31 мая 1842 года

Князь Дондуков-Корсаков давал университету ответный прощальный обед на своей даче в Ораниенбауме. Поутру, в двенадцать часов, профессора собрались на Английской набережной, на пароходе, который нарочно для них был приготовлен.

Погода стояла ясная, хотя немного холодная. Когда мы выехали на взморье, грянула музыка и играла все время плавания. Пароход остановился на некотором расстоянии от берега; к нему причалили три катера, и мы быстро очутились у пристани, где ожидали нас экипажи. В три часа мы были на даче и встречены хозяйкой в саду, у террасы. Обед прошел живо и весело. Вечером привелось быть зрителем интересного зрелища. Кто-то из властей (говорят, принц Оранский) приближался на пароходе к Кронштадту. Вдруг на крепости и на кораблях, стоящих на рейде, мелькнули огоньки, раздался гром пушек; это был салют высокому гостю.

Вечером тем же порядком совершился наш обратный путь в Петербург. Дул попутный, но сильный ветер, и пароход покачивало. Многие из наших забрались в каюту и, в воспоминание своего минувшего студенчества, затянули буршские песни; на палубе тем временем играла музыка, и все это вместе с шумом пенящихся под колесом парохода волн составляло какой-то дикий, оригинальный концерт.

7 ноября 1842 года

Я подал Позену для представления военному министру записку об Аудиторском училище. Оно день от дня падает, и если не дать ему средств поправиться, наконец, совсем упадет. Позен обещал похлопотать.

Четыре бедствия постигли Россию в продолжение последней четверти года: пожар в Казани, пожар в Перми, крушение корабля “Ингерманландия” и — приказы Клейнмихеля. Не знаешь, чему больше удивляться в этих приказах: цинизму ли тона и выражений, или слепоте произвола, который идет напролом, не признавая ни причин, ни обстоятельств, ни закона. Говорить с насмешкою о великом государственном зле, профанировать казни, плевать в глаза обществу, издеваясь над тем, что оно терпит, — это уж чересчур гнусно.

Величайшее зло для государя, когда он сделается недостойным иметь около себя людей просвещенных и благодушных. На всех делах его тогда — печать неудачи, и лучшие намерения его искажаются в исполнении.

Люди осуждены делать глупости, терпеть и умирать. Но природа не назначила нам ни количества зла, какое мы должны вытерпеть, ни минуты смерти — следовательно, можно заботиться об уменьшении первых так же, как об отдалении последней.

25 ноября 1842 года

Этот месяц ознаменовался следующей цензурной тревогой. Некто Машков вздумал издавать листки под названием “Сплетни”, в которых, соответственно их названию, собирался рассказывать разные городские слухи, скандалы, осмеивать известные лица и т.д. Это не было периодическое издание по названию, но сильно на него походило. Цензор Очкин поддался обману и пропустил уже четыре номера. В одном из них сильно досталось петербургскому генерал-губернатору Эссену, под именем “Недремлющего ока”. Это разошлось по городу, дошло до государя, который приказал издание запретить и сделать выговор цензору.

Бенкендорф писал нашему министру, что литераторы опять начали непристойно браниться. В пример он привел “Комаров” Булгарина, которые, по его словам, заключают в себе непростительные ругательства на разных лиц. Цензорам отдан приказ вперед строже относиться к такого рода литературным сплетням.

Получил приглашение занять место профессора во вновь учреждающейся Римско-католической духовной академии. В ней полагают воспитывать до сорока поляков, с целью внушать им, что папа не должен считаться их господином и что, кроме императора, не существует другого главы церкви Моя роль скромная — преподавание русской словесности. Я виделся уже с этой целью с князем Волконским, с вице-директором департамента иностранных исповеданий Ребиндером и с самим директором Скрипицыным.

В нынешнем месяце я, между прочим, представил проект о преобразовании Аудиторской школы. Это через Позена пошло к военному министру. Позен сообщил мне, что министр очень доволен проектом и хочет привести его в исполнение. Но носятся слухи, что он не останется министром и ему в преемники прочат князя Меншикова.

10 декабря 1842 года

Военный министр вполне одобрил мою записку об Аудиторском училище и велел назначить комитет для выработки правил преобразования сего заведения. Комитет состоит из директора канцелярии военного министра, генерала Н.Н.Анненкова, из директора военных поселений Н.И.Корфа и меня. Сегодня было первое заседание. Дела будет много, но я не жалею: это приятное дело, так как оно обещает пользу. Анненков человек образованный, мыслящий и благонамеренный, но еще не знаю, до какой степени хороший администратор. Генерал Корф добрый старик, но, бедный, кажется, тяготится бременем, которое нечаянно кинули ему на плечи. Он управлял дивизией, а теперь его заставили управлять огромною и многосложною машиною — департаментом военных поселений.

12 декабря 1842 года

Неожиданное и нелепое приключение, которое заслуживает подробного описания. Вчера утром, около двенадцати часов, я вернулся с лекции из Екатерининского института и, ничего не подозревая, преспокойно занимался у себя в кабинете. Вдруг является жандармский офицер и в отборных выражениях просит пожаловать к Леонтию Васильевичу Дубельту. “Вероятно, что-нибудь по цензуре”, подумал я и немедленно отправился в III отделение собственной канцелярии его величества.

Дорогою я обдумывал все мои цензурные дела и ни на одном не мог остановиться. В течение десяти лет я успел приобрести некоторую опытность и теперь тщетно терялся в догадках.

Приехавший за мною офицер справлялся у меня о квартире Куторги, которого также требуют к Дубельту. Это значит — нам предстоит гроза за “Отечественные

записки”.

Я приехал в канцелярию раньше Куторги; через полчаса явился и он. Нас ввели к Дубельту.

— Ах, мои милые, — сказал он, взяв нас за руки, — как мне грустно встретиться с вами по такому неприятному случаю. Но думайте сколько хотите, — продолжал он, — вы никак не догадаетесь, почему государь недоволен вами.

С этими словами он открыл восьмой номер “Сына отечества” и указал на два места, отмеченные карандашом. Вот эти места. Статья Ефебовского, под заглавием “Гувернантка”, повесть. Описывается бал у одного чиновника на Песках. “Я вас спрашиваю, чем дурна фигура вот хоть бы этого фельдъегеря, с блестящим, совсем новым аксельбантом? Считая себя военным и, что еще лучше, кавалеристом, господин фельдъегерь имеет полное право думать, что он интересен, когда побрякивает шпорами и крутит усы, намазанные фиксатуаром, которого розовый запах приятно обдает и его самого и танцующую с ним даму…” Затем:

“прапорщик строительного отряда путей сообщения, с огромными эполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком”.

— Так это-то? — спросил я у Дубельта.

— Да, — отвечал он: — граф Клейнмихель жаловался государю, что его офицеры оскорблены этим.

Я до того успокоился, что Владиславлев заметил:

— Да вы, кажется, очень довольны!

— Действительно доволен, — отвечал я. — Я беспокоился, пока не знал, в чем нас обвиняют. По сложности и трудности цензурного дела мы легко могли бы что-нибудь просмотреть и подать повод к взысканию. Но теперь я вижу, что настоящий случай равняется кому снега с крыши, который на вас валится, когда вы идете по тротуару. Против таких взысканий нет ни заслуг, их предупреждающих, ни предосторожностей, потому что они выходят из ряда дел разумных, из круга человеческой логики.

Дубельт повел нас к Бенкендорфу.

Бенкендорф, почтенного вида старик, которого я видел в первый раз, встретил нас с лицом важным и печальным.

— Господа, — сказал он кротким и тихим голосом: — мне крайне прискорбно, что я должен вам объявить неприятную весть. Государь очень огорчен местами журнала, которые вам уже показали. Он считает неприличным нападать на лица, принадлежащие к его двору (фельдъегерь), и на офицеров. Я представил ему самое лучшее свидетельство о вас, говорил о вашей репутации в обществе — одним словом, сделал все, что мог, в вашу пользу. Несмотря на это, он приказал арестовать вас на одну ночь.

Изъявив прискорбие, что мы навлекли на себя гнев государя, я сказал:

— Будьте, ваше сиятельство, нашим предстателем у государя императора.

Представьте его величеству, в каком тяжком затруднении находится цензура. Мы решительно не знаем, чего от нас требуют и какого направления нам держаться, и мы часто страдаем только потому, что постороннему лицу вздумается вмешиваться в наши дела. Таким образом, мы никогда не безопасны, взысканиям не будет конца, и мы окажемся в невозможности исполнять наши обязанности.

Бенкендорф взял нас обоих за руки и уверял, что все это доложит государю. Мы вышли. Владиславлев приготовил бумагу к коменданту и вручил нам ее. Было уже около четырех часов Нас отпустили домой пообедать, с тем чтобы быть у коменданта непременно в десять часов. В восемь я заехал за Куторгой, который был в больших хлопотах, не зная, как объявить о своем аресте больной жене. Наконец мы отправились к коменданту в Зимний дворец. Его не было дома, и мы отдали нашу депешу его плац-адъютанту.

Он ввел нас в какую-то каморку, где сидел писарь за бумагами, поставил у дверей часового, а сам поехал за приказаниями к коменданту. Через полчаса он вернулся и объявил, что местом моего заточения назначена Петровская, или Сенатская, гауптвахта, а Куторгу ведено отвезти на Сенную.

Сначала он меня отвез. Я очутился в огромной комнате со сводами — в подвале, вместе с караульным офицером. Плац-адъютант был с нами все время очень учтив. Он и Куторга уехали, я остался один с офицером. Это был молодой человек из Образцового полка, по-видимому очень добрый Он с участием на меня смотрел, распорядился, чтобы мне достали кровать, дал покрыться на ночь свою шинель, одним словом, окружил меня вниманием и заботливостью.

На другой день явился тот же плац-адъютант объявить мне, что я свободен. Опять поехали мы вместе на Сенную освободить Куторгу. Распростившись с плац-адъютантом и поблагодарив его за вежливость, мы отправились к князю Г.П.Волконскому, нашему попечителю.

Он принял нас не только любезно, но даже тепло. Я высказал князю все, что у меня накипело на душе. С цензорами обращаются как с мальчишками или с безбородыми прапорщиками, сажают их под арест за пустяки, не стоящие внимания, а между тем возлагают на них обязанность охранять умы и нравы от всего, что может совратить их с пути, охранять общественный дух, законы, наконец самое правительство. Какой же логической деятельности можно от нас требовать там, где все решает слепая прихоть и произвол, основанный только на том, что я хочу и могу?

От князя мы поехали к министру. То же сожаление, те же ласки.

— На кого тут жаловаться и сетовать? — сказал министр. — Случай этот выходит из общего порядка вещей. Я ничего не мог сделать: я обо всем узнал, когда уже все кончилось. Я тотчас же поехал бы к государю, но не мог, потому что у меня в доме корь. В моей власти было только написать письмо и просить Бенкендорфа представить его государю.

Князь читал нам это письмо. Оно написано умно и сильно. Свидетельствуя о нас, то есть о Куторге и обо мне, как о лучших цензорах и профессорах, министр заявлял, что находится ныне в большом затруднении относительно цензуры. Люди

благонадежные не хотят брать на себя этой несчастной должности, и если мы с Куторгою еще остаемся в ней, то единственно по просьбе его, министра. Он боится, что цензурное дело вскоре сделается всем ненавистно.

Говорят, государь прочел это письмо и ни слова не сказал.

Куторга выразил опасение, что такой случай может и вперед повториться.

— Могу вас уверить, — отвечал министр, — что при первом таком случае я подаю в отставку. То, что теперь с вами случилось, более для меня пятно — если тут есть какое-нибудь пятно, — чем для вас.

14 декабря 1842 года

Новое затруднение! Студенты вздумали выказать свое участие ко мне по случаю постигшей меня беды. Я читал в первом курсе лекцию: “Об отношении искусства к природе и о начале подражания природе”. Правду сказать, я прочел ее с большим одушевлением: предмет богатый. Я кончил уже и сделал шаг с кафедры, как вдруг раздались громкие рукоплескания и крики “браво!” Студенты сплошной массой бросились ко мне. Я на минуту смутился, но быстро оправился.

— Тише, господа, тише, — сказал я студентам, — что вы! Остановитесь!

Мне удалось, наконец, выйти из аудитории, а их удержать в ней.

Что из этого будет? Не знаю. Может быть, новая гроза!

16 декабря 1842 года

До меня дошли слухи, что студенты замышляют устроить мне еще что-то вроде бывшего в понедельник. Я колебался: ехать ли мне в университет? Наконец решился ехать, чтобы не подать вида, что придаю важность подобным вещам. Читал в двух курсах — в первом и во втором; слава Богу, все обошлось спокойно!

19 декабря 1842 года

Суббота. В прошедший понедельник вечером князь Волконский был во дворце. Он не говорил ничего государю о “происшествии в университете, но рассказал о том великой княжне Ольге Николаевне, которая отозвалась, что меня знает.

Между тем история моя возбуждает много толков в городе. Общественное мнение за меня; все клеймят Клейнмихеля. Говорят, на бале во дворце многие из знати выговаривали ему. Он извинялся перед Уваровым.

22 декабря 1842 года

Государь спросил у Бенкендорфа: знает ли он, что произошло в университете на лекции у профессора Никитенко? Бенкендорф отвечал, что знает, но что считает это мелочью, которая не заслуживает внимания, тем более что профессор Никитенко

сам постарался восстановить на одно мгновение нарушенный порядок.

— Однако ж министр дурно сделал, что тотчас не уведомил меня об этом, — продолжал государь; — сказать ему это. А между тем подать мне список студентов, которые были на лекции в этот день.

Князь Волконский, которому все это передал его тесть, тотчас написал задним числом донесение министру о происшествии в университете, вследствие которого будто бы в тот же день он и министр сообща положили не доносить об этом государю как о пустяках, которыми не стоит его утруждать. Все это Бенкендорф передал императору вместе со списком студентов.

Государь сказал:

— Если все находят это дело неважным, то и мне остается то же делать. Посмотрим список!

Он пробежал его глазами и только заметил:

— Как мало известных имен!

Тем все и кончилось.

Между тем толки о моем аресте не умолкают. О Клейнмихеле говорят, что он охмелел от царских милостей, и впереди не ждут от него ничего другого после знаменитых приказов, еще так недавно произведших удручающее впечатление на общество смесью произвола с грубым цинизмом. И вот в каких руках сердце царево.

24 декабря 1842 года

Говорят, государь очень недоволен всем случившимся в цензуре. Он видит, что наделана чепуха. Этот, по-видимому, ничтожный случай действительно оставил глубокий след в умах.

В цензуре теперь какое-то оцепенение. Никто не знает, какого направления держаться. Цензора боятся погибнуть за самую ничтожную строчку, вышедшую в печать за их подписью. Я рассматривал новое издание сочинений Гоголя, где между старыми его вещами помещено несколько новых, например: “Шинель”, повесть; “Женитьба”, драма;

“Разъезд из театра” и прочее. Пьесы эти я представлял комитету, и решено было их напечатать. Они напечатаны, оставалось только выдать билет на выпуск их из типографии. Это совпало с моим арестом, и комитет остановил не только новое издание Гоголя, но и напечатанный уже также роман Даля “Вакх Сидорович Чайкин”.

Гоголь и Даль пишут повести, а первый и комедии, в которых нападают на современные гадости. Разумеется, тут действуют разные люди: помещики, чиновники, офицеры, так же точно, как и в “Горе от ума”, в “Ревизоре” и во многих других пьесах, напечатанных, игранных на театре, пропущенных самим государем, — теперь все это сделалось преступным и запретным. Комитет поручит мне составить представление министру о затруднениях, в каких он находится: он просит

наставлений и руководства.

29 декабря 1842 года

Все дни занимался сочинением представления министру. Комитет одобрил его, князь тоже. Оно теперь переписывается. Акт этот очень любопытен. Я сохраню копию с него в моих бумагах. Может быть, он будет небесполезен будущему историку нашего просвещения и литературы.

Нельзя не питать глубокого отвращения к такому порядку вещей; но надо помнить, что жизнь возвышается только жертвами.

31 декабря 1842 года

Вот и конец 1842 года. Итог благ, им дарованных, очень невелик. Провожать его приходится тем же, чем встретили: сетованиями за прошлое, несбыточными надеждами на будущее.

1843

2 января 1843 года

Делал мало визитов, желая по возможности избежать толков о моем аресте и о выраженном мне сочувствии студентов, — но не избежал даже в институте и в Смольном монастыре. В последнем я с трудом уклонился от расспросов начальницы и от взрыва негодования за мой арест со стороны старших воспитанниц.

До смерти надоели мне все эти толки и утомили меня все эти сочувствия! Разве от того лучше пойдут дела и менее гнусно сделается положение нашей литературы!

3 января 1843 года

Министр назначил сегодняшний день для принятия поздравлений с Новым годом. Пестрая толпа чиновников в мундирах наполняла до тесноты узкую, длинную залу. Многие являются сюда для того только, чтобы побывать в этой зале: министр видит только тех, которые в первом ряду. С одними он поговорил, другим кивнул головой, на большинство даже не взглянул. Вот и все.

10 января 1843 года

Сильно подумываю об отставке из цензурного ведомства. Нельзя служить: при таких условиях никакое добро не мыслимо. Советовался об этом кое с кем, между прочим с Вронченко. Все одобряют мои мотивы, но не одобряют моего намерения, находя его пагубным для литературы. Особенно сильно говорил мне в этом смысле Вронченко. Положим, все это преувеличения: никакое дело не держится одним человеком. Тем не менее надо подумать.

19 января 1843 года

Я назначен членом комитета, который устраивает литературное чтение в пользу погоревших студентов Казанского университета Комитет должен собраться сегодня у генерала И.Н.Скобелева, главного члена.

20 января 1843 года

Пробыл у Скобелева до двенадцати часов. Там были: Греч, Шульгин, Булгарин, Кукольник. Ждали Полевого, но он не приехал. Читаны были пьесы,

предназначаемое для литературною вечера. Статьи большею частью посредственные. Лучшая — отрывок из пьесы Кукольника: “Построение Петербурга”. Дух времени и нравы прекрасно выражены в некоторых лицах. “Отрывок из жизни Державина”, писанный самим поэтом, любопытен по характеристическим чертам, но написан варварски. Мне поручают читать его. Рассказ Даля о каком-то французском учителе уж чересчур пошл, и все со мной согласились, что его лучше исключить. Вечер заключился, как и все такие вечера, ужином.

Здесь, между прочим, видел я замечательного человека, полковника Непейцына, без ноги, которую он потерял под Очаковым. Ему семьдесят лет, но он бодр и свеж, как будто ему было всего сорок. На голове ни сединки.

Скобелев, с обычной своей солдатской размашкою, сказал мне:

— Вы были арестованы, вот и я вместе с другими прочими, — а их было немало: весь город, — принялся жалеть о вас. Но в заключение кончил тем, что перестал жалеть, сказав самому себе: тьфу ты, к черту! Да этаким несчастливцем и я хотел бы быть — несчастливцем, за которого весь крещеный мир стоит в один голос. Право, вышло, что вам сделали больше добра, чем хотели сделать зла.

26 января 1843 года

Был у Скрипицына. Дело о профессорстве моем в Католической академии, кажется, кончено: меня определяют. Кафедру истории займет Куторга. На философию никого не находят. Да где ж у нас не только философы, но и сама философия? Я советовал обратиться к Карпову, переводчику Платона и автору “Введения в философию”, о котором я писал в “Сыне отечества”; Галича не хотят: он шеллингист, стар, и ему недостает практической смышлености, а в польской католической академии, особенно философу, необходимо быть мудрым не только по-книжному, но и по-житейски. Фишер, наш университетский профессор, не люб, потому что сам католик. Больше никого нет. На днях должен буду представиться министру внутренних дел, Перовскому.

28 января 1843 года

Получил официальную бумагу об утверждении меня профессором Римско-католической академии.

Прибегал ко мне Рейссиг уведомить меня, что на меня восстали все генералы, прикосновенные к Аудиторской школе (их четверо), за мой проект преобразования ее. В самом деле, ужасное дело! Всякий из них рвет из нее кусочек власти, а я стремлюсь установить единство и возвысить учебную часть, соединив ее с нравственною. Вообще проект мой имел добрые виды, да и все были согласны с тем, что школу нельзя оставить в ее настоящем виде. Назначение ее важное: она должна возвысить и, если можно так сказать, о праве судить военно-судную часть армии. Идея моя принята в соображение военным министром; составлен комитет из Анненкова (директор министерской канцелярии), генерала Корфа и меня для

разработки этого дела. Но, кажется, доброму делу не бывать, ибо сюда вмешались частные интересы, а у меня нет времени, да, наконец, и охоты бить прутом по воде. Я и то уж много времени и труда отдал этой школе, а сделать удалось очень мало.

31 января 1843 года

Литературное чтение в пользу Казанского университета. Посетителей было не особенно много. И правду сказать, чтения эти скучны-таки. Приходится слушать все отрывки. Булгарин прочел, и очень дурно, отрывок из своею полуромана, полуистории о Суворове: написано гладко, холодно; ни одной выдающейся мысли, ни одного слова, которое запало бы в душу. Полевой прочел отрывок из своей драмы “Ломоносов”. Я прочел отрывок из мемуаров Державина, любопытный по чертам времени, но написанный ужасным языком, и еще отрывок из поэмы Е.П.Гребенки “Богдан Хмельницкий”. Последняя пьеса хороша, но из нее опять-таки был вырван только отрывок. Кукольник прочел отрывок из драмы “Построение Петербурга”: это был перл нашего чтения. Бенедиктов бросил горсть своих блесток из пьесы “Туча”. В итоге — один Кукольник действительно занял публику. К счастью, не явился Мятлев с своей бесконечною “Курдюковой”: пришлось бы выслушать еще отрывок. Чтение продолжалось два с половиною часа.

Мне сообщили следующее: государыня сделала сильный выговор Клейнмихелю за меня и в наказание не пригласила его к обеду, к которому были приглашены все лица, близкие ко двору. Поводом к принятию во мне такого участия было мое отсутствие из Смольного монастыря в течение целой недели. Случилось это вовсе не преднамеренно и помимо моей воли. Государыне донесли о том, объясняя мое отсутствие сильным огорчением и т.д. За меня сильно говорили по этому случаю начальница, принц Ольденбургский и статс-секретарь Гофман.

6 февраля 1843 года

Первое заседание в Римско-католической академии. Присутствовали: ректор, две духовные особы — какие-то каноники, — Куторга и я. Положено, между прочим, что я буду преподавать русскую словесность по понедельникам и вторникам, от 10 часов до половины 12-го, и в пятницу от двух до четырех. Эти последние часы я предполагаю отдать практическим занятиям.

7 февраля 1843 года

Был у директора канцелярии военного министра, генерала Анненкова, Мне хотелось с ним поговорить о восстании на меня генералов за мой проект преобразования в Аудиторском училище. Он меня уверил, что никто, начиная с него самого, не разделяет генеральского негодования, а, напротив, все порядочные люди ожидают от меня обновления и усовершенствования школы.

Некто Машков еще в прошедшем году начал было издавать нечто вроде журнала под названием: “Сплетни”. За это досталось цензору Очкину, а “Сплетни”

запретили издавать. Надо еще заметить, что автор или издатель принял псевдоним “Кукарику”. Еще немного спустя он вздумал издавать повести, одну за другою. В них уже не было ничего общего со “Сплетнями”, и я пропустил их. Между чем в “Пчеле” напечатали объявление, что выходят новые сочинения Кукарику, и в скобках: автора “Сплетней”. К этому прибавлено, что самые “Сплетни”, остающиеся в небольшом количестве, можно покупать там-то.

И вот из-за этих “Сплетней” новые сплетни. Министр сделал мне выговор, зачем я позволил Машкову называться “Кукарику”, а Корсакову и Очкину за то, что они пропустили объявление в “Пчеле”. Странное дело, как будто существует закон, налагающий запрещение на то или другое имя. Если б Машков назвался собственным именем в “Сплетнях”, я должен был бы, оказывается, запретить ему называться Машковым в других, самых невинных сочинениях, какие ему вздумалось бы еще напечатать. Можно ли оставаться цензором при таких понятиях наших властей?

Я был сегодня у князя Г.П.Волконского, горячо объяснялся с ним и просил уволить меня от цензуры. Что остается делать в этом звании честному человеку? Цензора теперь хуже квартальных надзирателей. Князь во всем согласен со мной, но крайне огорчен моим намерением подать в отставку.

На днях я представлялся министру внутренних дел Перовскому. Принят был весьма вежливо. Он одобрил мои идеи о преподавании русской словесности в Римско-католической академии. Обращение его вообще привлекательно: просто, изящно, благородно. Он как будто и в самом деле уважает человека, с которым говорит по службе.

8 февраля 1843 года

Литературный вечер в пользу казанских студентов доставил 2718 руб. 15 коп. ассигнациями. Из этого употреблено на расходы (на освещение залы 126 руб., за 35 дюжин стульев 210 руб., жандармам и полицейским 15 руб., университетским служителям 28 руб., за объявление в афишах 95 руб., за напечатание билетов и программ 70 руб.) 544 руб. Следовательно, очистилось 2174 руб. 15 коп. ассигнациями—не особенно много. Но и тут еще помогло то, что за многие билеты заплачено свыше их настоящей цены. Государь и государыня прислали за два билета 350 руб., наследник за два билета — 50 руб., великие княжны за два билета — 50 руб. Константин, Николай и Михаил Николаевичи за три билета — 150 рублей. Штиглиц взял два билета и заплатил за них 350 руб., и Демидов, Анатолий, — один билет за 250 руб.

9 февраля 1843 года

Первая лекция в Римско-католической академии. Без большого эффекта, — не то что в университете или в Смольном, — но в надлежащем порядке.

Перовский составил себе прекрасную репутацию в публике тем, что смотрит строго за весами, за мерами, за тем, чтобы русские купцы не мошенничали, без чего

они, впрочем, как без воздуха, не могут жить. Вот первый министр, обращающий свою деятельность туда, куда надо, то есть на настоящие народные нужды, — и это привело всех в восторг. А кажется, тут нет ничего необычайного: это только простое выполнение своего долга. Однако это величайшая редкость у нас. Все прочие смотрят, как говорит Пушкин, в Наполеоны, приготовляют себе страницы в истории “великими идеями, глубокими теориями, обширными, бесконечными видами”; все метят поверх России, и никто не заботится о том, что бедной России есть нечего; что воры-чиновники грабят последнее достояние народа; что правосудия в ней нет и проч. и проч.

10 февраля 1843 года

Был в концерте. Блаз играл на кларнете. Удивительный талант! Удивительное искусство! Не знаю, из сердца ли берет он прекрасные свои звуки, или они только торжество техники, во всяком случае — эффект поразительный.

14 февраля 1843 года

Князь не объявил в комитете предписания министра о глупом “Кукарику”. Сегодня у меня с ним был продолжительный разговор, в заключение которого я должен был дать ему слово повременить еще с отставкой. На прощанье мы горячо обнялись.

16 февраля 1843 года

Был в маскараде, в так называемом “соединенном обществе”, куда поехал из любопытства. Толпа страшная. Тут собираются люди среднего общества. Правда, сюда не ездят люди высокопоставленные, и оттого здесь, говорят, свободнее, а потому будто бы и веселее. Пели цыгане: между ними два-три хорошие голоса. Но мне пение их скоро надоело. Меня пригласили в комнату старшин, где происходил суд и расправа. Одного господина обвиняли в том, что он вместе с другими танцевал неблагопристойный танец. Он оправдывался очень забавно. Обвинитель тогда перешел к личностям и стал уверять, что обвиняемый называл его бранными словами… Нет, не весело!

21 февраля 1843 года

Получил письмо от Чижова из Рима. Счастливец, он пьет жизнь из большой чаши. Но что же? Черпая средства для обогащения своей внутренней жизни из такого богатого хранилища, он недоволен собой, боится нравственной бедности и пустоты! Странное противоречие!

7 марта 1843 года

В пятницу годичный праздник в память выхода нашего из университета.

Явилось двенадцать человек. Это пятнадцатый год. Еще между нами есть некоторая сердечная связь; и это хорошо для пятнадцати лет.

14 марта 1843 года

Был у статс-секретаря Гофмана с просьбою об отставке меня из Екатерининского института. Около тринадцати лет прослужил я там — дальше не под силу. Статс-секретарь сетовал, хотел доложить государыне и так далее. От него пошел к начальнице, г-же Родзянко, с тою же целью. Ужасные сожаления. Завтра она поедет к императрице с просьбою, чтобы та приказала мне остаться хоть до выпуска. И все это пустяки! Никто не думает, что тут замешаны пользы воспитания. Нужен только экзаменный блеск.

15 марта 1843 года

Вот как директор первой гимназии, Калмыков, рассказывает о посещении государем этой гимназии и об опале, которой он подвергся.

Государь приехал сердитый, везде ходил, обо всем спрашивал с явным намерением найти что-нибудь дурное. Ему не понравилось лицо одного из воспитанников. “Это что за чухонская рожа?” — воскликнул он, гневно глядя на него.

В заключение он сказал директору: “Да, у вас все хорошо по наружности, но что за рожи у ваших воспитанников! Первая гимназия должна быть первая по всему: у них нет этой живости, этой полноты, этого благородства, какими, например, отличаются воспитанники 4-й гимназии!”

16 марта 1843 года

Лекция поутру в Римско-католической академии. Мои занятия там идут успешно, лекции производят эффект. Затем поехал в заседание цензурного комитета. Там Бурачек, издатель “Маяка”, христианин, православный и патриот, пойман в плутовстве. Он хотел перепечатать в своем журнале запрещенный роман Миклашевичевой: его уличили и не дозволили ему этою.

21 марта 1843 года

Сегодня, по повестке товарища нашего министра, князя Ширинского-Шихматова, собрались все служащие в министерстве к Уварову поздравить его с десятилетием его управления народным образованием. Князь Ширинский-Шихматов приветствовал Уварова речью, в которой выражал всеобщую радость по случаю того, что он со славою прошел весь этот период времени, и говорил о желании всех подобной же будущности впереди — одним словом, все как следует, по риторике Кошанского.

Министр отвечал сначала хорошо, но потом вдался в повторения и

самовосхваления. Исчисляя свои заслуги, он, между прочим, не совсем осторожно упомянул “о свободе мыслей, о движении умов”. Говорил также о “твердых началах, им созданных, о верности этих начал, о том, что все это не есть минутная воля государя, но твердая и прочная система”. Несколько раз у него неловко вырывались слова: “я и государь” или “государь и я”. “Даже враги министерства, — объявил он, — и те сознаются, что мы знаем свое дело”. Упомянул он также и о возможности с своей стороны выйти из министерства.

Если весь этот церемониал действительно имел целью, как говорят, привлечь на себя благосклонное внимание двора, который вот уже несколько месяцев как неприязненно относится к Уварову, — вряд ли этот маневр поможет ему. Призывая к себе в защиту общественное мнение, он скорей может повредить себе.

Как он не понимает, что у нас не желают государственных людей, а желают только государственных чиновников, или, лучше сказать, слуг государевых, и что отдавать свою деятельность на суд общественный значит идти против эгоизма всепоглощающей воли одного.

Жаль Уварова: он сам себе портит дело. А между тем он лучший из министров, когда-либо управлявших нашим министерством. Исчисляя свои заслуги, он не упомянул или не мог упомянуть о важнейшей: что в десять лет ни один человек не был по его воле преследуем за идеи. Даже ограниченный князь Ливен — и тот не обошелся без того, чтобы не лягнуть наше образование: он вместе с Адеркасом растерзал Нежинский лицей. Уваров действительно неповинен в этом отношении, а это в настоящее время много значит. Как бы то ни было, если мы потеряем его, Бог знает еще, какой солдат будет командовать у нас умами и распоряжаться воспитанием граждан и идей.

Вечером концерт в университете. Девица Фрейганг пела прелестно. У нее удивительно чистый и свежий голос. Это настоящий голос певчей птички. Зашел после к Плетневу.

Там были: наш попечитель, князь Волконский, князь Одоевский и Арсеньев. Говорили об Уварове. Все того мнения, что нынешнее утро он сделал большую ошибку. Между прочим рассказывали о нем еще следующую странность. Великая княгиня Елена Павловна по смерти его дочери изъявила ему письменно свое участие. Вместо ответа он послал ей только что напечатанный по-французски том своих сочинений.

1 апреля 1843 года

Получил отношение от статс-секретаря Гофмана с изъявлением желания императрицы, чтобы я остался в Екатерининском институте еще по крайней мере на год — до конца нынешнего выпуска. Отношение написано в очень учтивых выражениях. Останемся на год.

3 апреля 1843 года

Отправил поутру проект преобразования Аудиторской школы к директору канцелярии военного министерства. Я много поработал над ним, но если мне удастся провести мой проект, я буду думать, что не даром трудился.

17 апреля 1843 года

Вот чем кончились и мои труды и мои мечты по преобразованию Аудиторской школы: свой план преобразования я представил в военное министерство — оттуда никакой вести. Между тем преобразование, по высочайшему повелению, поручено производить Ноинскому и Корфу. Что же мне опять остается, как не уйти в сторону?

26 апреля 1843 года Был у генерала Корфа с просьбой об отставке. Он не принял ее и долго упрашивал меня остаться. Я, наконец, согласился, с оговоркой однако, что уйду, лишь только замечу перемену в направлении преобразований. Забавно, право, мое служебное положение. Мне поручают дело и на каждом шагу по пути к предназначенной цели воздвигают препятствия. Я уступаю враждебному натиску и подаю в отставку — не тут-то было, меня чуть не за полы платья удерживают. Зачем? Ведь в заключение все-таки все кончится ничем.

27 апреля 1843 года

Боже мой, да неужели же нельзя и мысли допустить, чтобы человек кому-нибудь и чему-нибудь желал добра без подкладки личных расчетов? Оказывается, что я с своим планом преобразования Аудиторского училища мечу в директора его! Ездил к барону Зедделеру и объяснялся с ним по этому поводу. Кажется, на этот раз успокоил и убедил его — до завтра, может быть?

Гнусно, холодно в природе, но чуть ли не еще гнуснее среди этой нравственной пустыни, которая называется современным обществом.

5 мая 1843 года

Провел часа два в Публичной библиотеке. Читал и делал выписки из Феофана Прокоповича. Это человек с большими дарованиями. Меня очень заняла его речь на Ништадтский мир: умное диалектическое красноречие.

В библиотеке очень удобно заниматься. Никто не мешает — да и кому мешать? Всего было человек семь посетителей. Порядок хорош. Книги выдаются беспрепятственно.

Ум бывает двоякий. Один можно назвать “бобровым”, “волчьим”, “лисьим” и так далее; другой — по преимуществу “человеческим”. Первый заключается в том, чтобы порядочно устроить себе нору, запастись на зиму пищею, грызться и кусаться с соседом за курятину или за падаль. Другой состоит в способности жить для нравственных убеждений, для религии, закона, порядка, добра и прочего.

10 мая 1843 года

Был в опере Доницетти “Ламермурская невеста”. Играл и пел знаменитый Рубини. Музыка оперы прелестна, легка, нежна, грациозна. Рубини — великий мастер. Главное в его исполнении: ясность, непринужденность и страсть.

Жуковский прислал мне на цензуру свою новую пьесу:

“Валь и Дамаянти”, эпизод из индейской [т.е. индийской, но в XIX веке *индийцев* еще не было, — одни *индейцы]* поэмы “Магабараты”. Что сказать о ней? Гекзаметры прекрасны: свежий, стройный, роскошно благоухающий язык. Но фантастическое здание поэмы не сразу может прийтись по вкусу нашим европейским требованиям.

Опять работал в библиотеке. Перебирал журнал “Ежемесячные сочинения” за 1756 год и далее. Журналы умно составлены, но без критики и современности. Много дельных статей по части наук и промышленности. Язык довольно ясен и чист.

Прочел у Мармье следующие заметки о России: “Все дома в русских деревнях серые, вытянутые в одну линию, построенные по одному образцу, кажутся вышедшими из земли по повелению русского офицера”. Очень верно!

Далее: “Я сидел в почтовой коляске возле русского купца, скупого, занятого только своими расчетами и вонючего… Он ел тут же, на подушке, чтобы не платить в гостинице, и запах его пищи и платья был несносный” (для Мармье).

“…Помещичьим крестьянам в России лучше, чем казенным. Первых защищает помещик как свою собственность, а вторых грабят чиновники”. “Во время голода государь велел раздать пособие казенным крестьянам: проходя множество рук, оно не дошло до них”.

Мармье очень удивило восклицание наших нищих (которых он множество видел по пути от Петербурга до Москвы): “Красное солнышко!” Он называет эго восточным приветствием.

Вообще замечания Мармье верны. Очевидно, он писал со слов кого-нибудь хорошо знающего Россию.

20 мая 1843 года

Вчера был министр на экзамене русской словесности у Плетнева. Он много говорил. Нельзя было не признать в нем настоящего министра народного просвещения. Все его замечания были умны, верны, богаты знанием и хорошо сказаны. Как жаль, что этому человеку не дано одной силы — силы нравственной воли. Добиваясь влияния и милостей при дворе, он связал себя по рукам и ногам и лишился одновременно уважения и двора и общества. Он хотел пожертвовать последним первому — и жестоко ошибся. Он упустил из виду, что двор только притворяется, будто презирает общественное мнение: напротив, он всегда рад, когда лишаются общественного уважения люди опасные, то есть люди умные. Следовательно, он знает его силу. Правду говорят французы, что нет ничего хитрее

безупречного поведения. Перовский является живым примером этого. Его хитрость состоит в том, чтобы действовать правдиво, и зато он никого не боится. Уваров же постоянно запутывается в тонкостях своего ума. Он думает ловить мух в паутине и прилежно сучит нити ее, не замечая, что они служат только к тому, чтобы указывать путь врагам к его гнезду.

Нынешнее царствование очень важно: оно полагает конец патриархальному быту. Общество перестает верить в отеческий характер своих правителей. Так и должно быть. Что за несообразность семейство, состоящее из пятнадцати миллионов детей? Где тут семейное право? Глава народа прекрасно понял эту истину. Он с негодованием отталкивает от себя изъявление приторных нежностей: “Батюшка наш” и пр. Он говорит: “Я хочу царствовать”. Великое слово, ибо из него логически вытекает другое, которое произнесет народ: “Я хочу быть народом”.

21 мая 1843 года

На днях у меня был Белинский. Он умен. Замечания его часто верны, умны и остроумны, но проникнуты горечью.

25 мая 1843 года

Важную роль в русской жизни играют государственное воровство и так называемые злоупотребления: это наша оппозиция на протест против неограниченного своевластия. Власть думает, что для нее нет невозможного, что ее воля нигде не встречает сопротивления; между тем ни одно ее предписание не исполняется так, как она хочет. Исполнители притворяются в раболепной готовности все сделать, что от них потребуют, а на самом деле ничего не делают так, как от них требуют.

11 июня 1843 года

Экзамен в Римско-католической академии. Хотел быть Перовский, но его отозвали в Петергоф. Зато был Скрипицын, директор департамента иностранных-вероисповеданий, человек довольно ловкий, но сам себя считающий глубоким политиком. Это, вероятно, оттого, что он однажды был послан для усмирения каких-то раскольничьих волнений и совершил это удачно, урезонив недовольных красноречивым обещанием кнута. С тех пор его начали считать способным к государственным делам, а он сам себя произвел в Талейраны.

Был на экзамене еще мал-человечек, нечто вроде чиновного котенка, воспитанник иезуитов, поборник православия, дающего кресты и большие оклады, фанатик и друг карамзинского периода, гладенький, чистенький, аккуратненький, любящий старинный порядок, за исключением, однако, кнута, и потому чиновник новой генерации, почти либерал, всякую новую мысль называющий неправославною, а всякий новый оборот в языке, отступающий от карамзинской стрижки, непонятным, — одним словом, Сербинович.

Говорят, экзамен был хорош. Главное, он был непродолжителен,

5 сентября 1843 года

Ездил к Сергию [монастырь под Петербургом] с семейством Левиной. День прекрасный, каких и летом бывает мало в Петербурге. Сергий славится своим архимандритом и монахами. Архимандрита я не видал, но монахи действительно аристократически благообразны и благолепны осанкой, лицом, одеждой и службой. Они очень хорошо поют. Но простота их пения до того утонченна, что перестает быть простотою и отзывает изысканностью.

Вчера государыня была в Смольном монастыре. Она приехала во время классов, но не захотела посетить их. Девиц позвали в сад, заставили петь и плясать, а учителям велели идти с миром восвояси.

14 сентября 1843 года

Случаи о покушении на жизнь государя. Об этом говорят еще шепотом.

15 сентября 1843 года

Наконец открыто говорят о покушении на жизнь государя. В придворной церкви был благодарственный молебен, также и в церквах некоторых учебных заведений. Вечером был у меня сын лейб-медика Маркуса и говорил, что государыня показывала отцу его письмо государя, где он извещает ее о злоумышлении. Государь проезжал мост в Познани, в Пруссии, и, не желая встретиться с какими-то похоронами, вышел из своей кареты и пересел в другую. Когда экипажи поехали по мосту, раздалось семь выстрелов, и семь пуль полетело в ту карету, в какой обыкновенно ездит государь. Но его там на этот раз не было, и злое дело кончилось ничем. Оконтузили только какого-то писаря.

17 сентября 1843 года

Вчера на бале у Позена на даче. Великолепное освещение китайскими фонарями, роскошное угощение, толпа военных и гражданских ничтожеств, разливное море кахетинского вина и шампанского, скука и разъезд в два часа ночи. Кукольник, Струговщиков и я были неразлучны.

Человеку нужна не столько истина, сколько убеждение. Сколько поколений жило, считая за истину нелепые суеверия и предрассудки. Но они жили хорошо, когда следовали им с сердечною верою и опирались на них всеми своими нравственными силами. Да и не в том ли состоит истина, чтобы верить и действовать по вере? Истина есть то, что есть.

23 октября 1843 года

Бедного Сорокина по высочайшему повелению посадили на гауптвахту, и вот за что. В прошедшую среду объявлено было на афишах, что Гарсия в первый раз явится на сцену в “Севильском цирюльнике”. Краевский, редактор литературного отдела в “Русском инвалиде”, заказал Сорокину статью для фельетона, попросив его написать ее заранее. Он полагал, что “Севильский цирюльник” непременно будет сыгран в среду, что Гарсия произведет всеобщий восторг, а статья о ней будет готова поутру в четверг и появится раньше, чем в других журналах и газетах. Сорокин написал статью, в которой превознес до небес пение и игру знаменитой артистки. Публика, по его словам, была в неистовом восторге, на сцену было брошено два венка и т.д.

Между тем спектакль в среду не состоялся по болезни Рубини. Можно вообразить себе всеобщее удивление и смех, когда в четверг прочли в “Инвалиде” восторженные похвалы блестящему спектаклю, которого не было, — и особенно царице его, Гарсии.

Государь велел автора статьи Сорокина немедленно посадить на гауптвахту, а “Инвалиду” запретил писать статьи о театре.

Но вот другое событие, уже не театральное и вызвавшее не смех, а всеобщее негодование. В Корпусе путей сообщения мальчики освистали какого-то учителя-офицера, обращавшегося с ними нестерпимо грубо, и грозили выгнать его из класса, если он не переменит с ними обращения. Дерзкая шалость, которая заслуживала школьного взыскания. Но как же поступили с этими бедными неразумными детьми? Сначала их, числом шесть, бросили в какой-то подвал, пока последует высочайшее распоряжение. Потом их секли перед всем заведением, и так, что доктор, при этом присутствовавший, перестал отвечать за жизнь некоторых из них; затем лишили дворянства, разжаловали в солдаты и по этапам, как обыкновенных колодников, отправили на Кавказ. Ужас, ужас и ужас! Генерал-лейтенант Гетман, директор заведения, устранен от должности. Это варварство, эта казнь детей, как будто они были уже полноправными гражданами и настоящими преступниками, потрясла все умы. Несколько матерей, говорят, на другой же день взяли из корпуса своих сыновей. Нет! Говоря словами Талейрана, это более чем преступление, это ошибка. Тот, кто посоветовал подобную меру, изменник и враг существующего порядка.

30 октября 1843 года

Подал просьбу об увольнении меня из Смольного монастыря. Мне надо время, время, время!

31 октября 1843 года

Переговоры с начальницей Смольного монастыря. Нет, я окончательно решился оставить это заведение. Мечты мои о пользе и здесь — одни мечты! Мои лекции производили эффект и нередко возбуждали в моих слушательницах энтузиазм. Я их любил, а они любили меня, но что все это значит там, где вся система фальшива? Вообще в наших женских заведениях так мало обращают внимания на учебную и

нравственную часть воспитания, что у честного человека руки опускаются и он, наконец, чувствует, что ему здесь нечего делать. Тут думают только о плясках, о пенье и о реверансах. Головы девиц кружат красными ливреями, галунами и т.д. В них не развивают ни моральной силы, ни сознания своих семейных и общественных обязанностей. А между тем это матери будущего поколения. Итак, в результате выходит, что русское дворянство растит своих сыновей для розог, а дочерей для придворного разврата. Не все, конечно, будут фрейлинами, не все понесут в свои семьи безнравственность и чад пышного высшего круга. И много времени понадобится, чтобы из этих выточенных кукол сделать хороших жен и матерей.

9 ноября 1843 года

Какой-то офицер, сеид Клейнмихеля, вздумал прославить его, напечатать его портрет и пришел к нему просить на то позволения.

— Вы хотите пустить портрет в продажу? — спросил Клейнмихель.

— Да, ваше сиятельство.

— Ну так ручаюсь вам, что за мой портрет никто гроша не даст вам и вы останетесь в убытке.

Выходит, что и он сам о себе разделяет мнение многих. Еще на днях начальница Смольного монастыря, г-жа Леонтьева, говорила мне: “Будьте уверены, что сила Клейнмихеля при дворе будет расти по мере усиления к нему ненависти и презрения в обществе. В последнем видят залог большой преданности. Он как будто говорит: “Видите, я всем для вас жертвую, даже добрым именем; несу на плечах ненависть целого общества — и все это для вас и за вас”. И в самом деле, это верно рассчитано: в эпоху угнетения можно выиграть, только обратив на себя всеобщую ненависть. Чем более мы угнетаем народ и оскорбляем народное чувство, тем вернее служим мы предержащей власти.

Говорят, Киселев в опале по случаю какого-то обнаружения в его управлении либерализма.

15 ноября 1843 года

Начальница Смольного монастыря пригласила меня сегодня к обедне в свою церковь, где должен служить митрополит. Я был. Давно не видал я архиерейской службы. Первое впечатление поразительно: в ней род какого-то драматического величия. Потом становится монотонно. Особенно утомляют бесконечные ектений. О рабская Византия! Ты сообщила нам религию невольников! Проклятие на тебя! Всамом деле, все, что есть самого великого в христианстве, тонет в этом позолоченном хламе форм, которые деспоты придумали, чтобы самой молитве преградить путь к Богу. Везде они — и они! Нет народа, нет идеи, всеобщего равенства! Иерархия подавляющая, пышность ослепительная, чтобы отвести глаза, отуманить умы, — все, кроме христианской простоты и человечности.

Митрополит Антоний — добрый старик. В выговоре его малороссийское

произношение, а в физиономии его что-то добродушно-пошлое. Это добрый сельский священник, по-видимому готовый побалагурить и повеселиться. Протодьякон — гигант, геркулес, едун. Впрочем, завтракали очень умеренно. Вероятно, эконом положил половину завтрака к себе в карман. Потом девицы тешили преосвященного игрою на фортепиано и в заключение поднесли ему ковер своей работы. Меня мои ученицы засыпали упреками и сожалениями, что я их покидаю.

16 ноября 1843 года

Некто [Николай I] увидел в Варшаве на сцене певицу Ассандри, которая очень красива, и захотел, чтобы она была в Петербурге. Ее пригласили участвовать в Итальянской опере за большие деньги. На беду Ассандри настолько же дурно поет, насколько она прекрасна. Наглость ли или надежда на высокое покровительство воодушевили ее, только она решилась выступить на сцену после величайшей певицы нашего времени — Гарсии-Виардо. Ее жестоко ошикали. Публика знала, каким образом она попала в Петербург, и в шиканье ее, может быть, сказывалось и другое, тайное намерение. Как бы то ни было, кому-то это не понравилось, и когда Ассандри вторично выступила на сцену в “Норме”, ей хлопали такие руки, которые могут всю Россию отхлопать по щекам. Между тем в 256 номере “Пчелы” сказано о первом представлении “Нормы”, где явилась прелестная и трикраты счастливая Ассандри, следующее: “Мы не скажем об этом представлении ни словечка, по латинской пословице: aut bene, aut nihil… Гораздо более имели мы наслаждения в зверинце г-на Зама” и пр.

Из-за этой фразы над цензурой разразилась страшная гроза. Князь Волконский (министр двора) требует ответа для доклада государю: “На каком основании осмелились пропустить сию неприличную фразу (сравнение оперы со зверинцем), и кто ее сочинитель?” Мы до пяти часов пробыли в цензурном комитете, изготовляя ответ на сей мудрый запрос. Ответили, что цензура не находит в этой статье ничего ни для кого обидного, а “в простом сближении двух разнородных предметов — оперы и зверинца — она видит только дурной вкус автора статьи, против чего нет никаких цензурных правил, а, напротив, цензурный устав требует, чтобы цензора не вмешивались в дела личного вкуса”. (Приведены параграфы устава.)

Поверит ли потомство такой ребяческой тяжбе со здравым смыслом слепой прихоти, требующей, чтобы в угоду ей черное называлось белым?.. Цензора “Северной пчелы”, Очкин и Корсаков, приготовляются уже к гауптвахте. Посмотрим, что из этого выйдет.

1 декабря 1843 года

Публичный экзамен в Аудиторской школе. Много было знати, между прочими: военный министр граф Блудов, статс-секретарь Корф. Позже приехали принц Ольденбургский, Позен и т.д. Ученики отвечали хорошо. Генерал Корф объявил мне и прочим, что министр очень доволен экзаменом, что он велел всех представить к наградам. Анненков сделал несколько замечаний, но также сказал, что экзамен был

хорош, что все такого мнения. Корф (Модест Андреевич, член Государственного совета) объявил, что он гораздо довольнее этим экзаменом, чем экзаменом в Школе правоведения.

3 декабря 1843 года

Вот неожиданная перемена ветра: вчера еще экзамен в Аудиторской школе заслуживал всеобщего одобрения, сегодня ходит сплетня, что он был плох, что военный министр недоволен и т.д. Я пишу длинное и серьезное объяснение Анненкову с просьбою доложить министру и спросить у него окончательного решения: “угодно ли, чтобы я оставался в школе?”

7 декабря 1843 года

Отослал письмо к Анненкову.

Булгарин подал донос на цензуру, на попечителя, князя Волконского, и на самого министра. Вот в чем дело: в прошедший вторник, в заседании цензурного комитета, положено озаботиться прекращением ругательств, которыми осыпают друг друга журналисты, особенно Булгарин и Краевский. В самом деле, эта так называемая полемика часто доходит до отвратительного цинизма. Так, например, в одном из последних номеров “Северной пчелы” Булгарин объявляет, что Краевский унижает Жуковского, несмотря на то, что Жуковский автор нашего народного гимна “Боже, царя храни”. Что это, как не полицейский донос?

Князь Волконский велел решение комитета сообщить Булгарину не официально, а в виде предостережения, чтобы тот больше не трудился писать таких мерзостей, ибо цензура будет безжалостно вымарывать их. Впрочем, это распоряжение касается всех журналистов-ругателей. По этому-то поводу Булгарин написал князю Волконскому дерзкое и нелепое письмо. Он, между прочим, пишет, что “существует партия мартинистов, положивших себе целью ниспровергнуть существующий порядок вещей, и что представителем этой партии являются “Отечественные записки”: цензура явно им потворствует”. К этому присоединил несколько и весьма неудачных выписок из “Отечественных записок” — совершенно невинных. В заключение он говорит князю: “но с того времени, как вы председательствуете в комитете, пропускаются вещи посильнее и почище этих”.

Далее он упрекает министра в том, что тот не видит, что делается у него под носом, давая понять, что он или простак, или покровитель либерализма; требует следственной комиссии, перед которой предстанет как “доноситель” для обличения партии, колеблющей веру и престол; будет просить государя разобрать это дело, а если государь не вникнет в это или до него не дойдут его, Булгарина, изветы, то он будет просить прусского короля довести до сведения государя императора все, что угодно будет ему, Булгарину, сказать в охранение его священной особы и его царства. Все это заключается многозначительною и сильною фразой: “Я не позволю, чтобы на меня, как на собаку, надевала цензура намордник”.

Так как это письмо заключает в себе формальный донос о важном

государственном деле — царево слово и дело, — то князь Волконский препроводил его к министру, а министр при своем отношении официально препроводил к Бенкендорфу. Ожидаем последствии.

10 декабря 1843 года

От Анненкова нет никакого ответа. Кажется, придется расстаться с военным министерством, как я расстался с женскими заведениями. Жаль только потерянного времени.

11 декабря 1843 года

Виделся с Юзефовичем, одним из первых друзей моей юности, с которым давно-давно не встречался. Оба мы очень обрадовались этому свиданью. Он теперь помощник попечителя киевского учебного округа и приехал сюда на время.

12 декабря 1843 года

Был у Анненкова. Военный министр согласился на напечатание моей статьи об экзамене Аудиторской школы в “Русском инвалиде”. Это хороший знак, потому что статья намекает на необходимость поднять это заведение. О моем письме Анненков — ни слова. Но это все равно: оно подействовало, а мне только того и надо было.

13 декабря 1843 года

От экзаменов отбою нет. Кроме аудиторских, Корф просил меня заняться еще и экзаменами кантонистов в батальоне.

16 декабря 1843 года

Князь Григорий Петрович Волконский вчера в цензурном комитете говорил следующее по поводу дела Булгарина. Министр сделал представление государю о необходимости дополнить и изменить цензурный устав. В нем будто дано мало средств для обуздывания литераторов, особенно журналистов. Он ссылался на попечителя, который будто бы требует его помощи, а министр сам имеет мало возможности делать что-нибудь решительное. Очевидно, Уваров хотел расширить свою власть. Говорят, он просил, чтобы ему было предоставлено право немедленно прекращать журналы, как скоро в них найдется что-нибудь бранное.

Государь отвечал, что цензурный устав достаточен и что, следовательно, нет никакой надобности дополнять его, а еще менее изменять. “У цензора довольно власти, — сказал он: — у них есть карандаши: это их скипетры”. За испрашивание же помощи велел сделать строгий выговор князю Волконскому, потому что эту помощь он должен бы найти в своих правах.

Тут что-то много темного. Кажется, князь заранее условился с государем дать

делу такой оборот, а министра немножко надули. Что хорошего в этом — то, что цензурный устав остается неприкосновенным. В противном случае Бог знает, к каким еще стеснениям мог бы повести пересмотр его в настоящее время.

В заключение, что выиграл или проиграл Булгарин своим доносом — неизвестно. Князь сказал, что тут есть подробности, которых он не может объявить.

Я просил, чтобы “Отечественные записки” были поручены другому цензору вместо меня, ибо Булгарин подозревает, что я и Куторга, мы особенно покровительствуем их либерализму, или, как он выражается, их мартинистскому духу. Князь отвечал, что теперь-то именно и надлежит журналу остаться в прежних руках. Итак, на следующий год у меня опять повис на шее этот толстейший журнал. К нему присоединилась еще “Библиотека для чтения”.

20 декабря 1843 года

Выбрали в ректоры опять Плетнева. Он получил девятнадцать одобрительных шаров против четырех отрицательных.

Был у князя для объяснения по цензурным делам. Какой хаос и бестолковщина. Кажется, хотят гасить последние искры мысли. У меня в кармане, неотлучно при мне, просьба об отставке.

21 декабря 1843 года

Неожиданная нелепая мера министра народного просвещения. В цензурном комитете получена от него бумага, в которой он объявляет, что “действительно нашел в журналах статьи, где под видом философских и литературных исследований распространяются вредные идеи”, и потому он предписывает цензорам “быть как можно строже”. Повторяется также приказание бдительнее смотреть за переводами французских повестей и романов.

Я был у князя по этому поводу. Он очень сердит на министра за все эти распоряжения. Министр сказал ему, что “хочет”, чтобы, наконец, русская литература прекратилась.

Тогда по крайней мере будет что-нибудь определенное, а главное, говорил он, “я буду спать спокойно”.

Министр объявил также, что он будет карать цензоров беспощадно. Приятная перспектива!

Самое интересное в этих новых распоряжениях министра то, что они как бы совершенно оправдывают донос Булгарина на него самого, на князя Волконского и на всех нас. Говорят, что государь, прочитав письмо Булгарина, отдал его Бенкендорфу со словами: “Сделай так, чтобы я как будто об этом ничего не знал и не знаю”.

1844

2 январь 1844 года

Вчерашний вечер прошел на балу в Смольном монастыре. Девицы окружили меня тесной толпой, отказывались от танцев, выражали свое горе и упрекали меня за то, что я их покидаю. Но их простодушные изъявления расположения ко мне не понравились начальству. В разных местах залы были рассажены классные дамы с поручением следить за моими и их взглядами, улыбками, движениями. Чего они боялись?

Возвратясь домой, я нашел отношение барона Корфа, которым он извещал меня, что государь император за службу мою в Аудиторской школе пожаловал мне орден Станислава 2 степени. Это, может быть, и очень лестно, но насколько лестнее было бы для меня, если б в заключение восторжествовала моя идея. Я хочу, чтобы Аудиторская школа сделалась рассадником новых начал судопроизводства в армии, — я хочу истины и правосудия.

10 январь 1844 года

Вот люди: на днях приезжали ко мне учителя Аудиторской школы благодарить за награды: при чем же я-то тут? А одновременно с этим я узнаю, что надзирающий за порядком в классах, майор Рейссиг, составил из учителей комитет ругателей, которые преусердно обливают меня грязной водой. В добрый час, ругайтесь сколько угодно, но, предупреждаю, не касайтесь моего дела по Аудиторской школе!

12 январь 1844 года

Киевский генерал-губернатор Бибиков прислал к министру внутренних дел жалобу на цензуру, или, вернее, на “Библиотеку для чтения”, за статьи, помещенные там в прошлом году об истории Малороссии Марковича. “Библиотека для чтения” обвиняется в явном пристрастии к Польше, в неблагоприятных отзывах о России и Малороссии, в оскорблении малороссийской национальности словами, что “народ ее составился из беглых польских холопей”, в ругательном тоне вообще и, наконец, в самом пагубном антинациональном направлении. Эту жалобу Перовский препроводил к нашему министру; а тот сделал легкий выговор цензорам Корсакову и Фрейгангу.

14 январь 1844 года

Мы читали в цензурном комитете объяснение цензоров Корсакова и Фрейганга на жалобу Бибикова. Оно написано довольно дельно. Я предложил легкие изменения, которые и были приняты. Цензора опираются на то, что “Библиотека для чтения” изъявила только свое ученое мнение относительно малороссийского народа — мнение, в котором всякий волен. Что же касается общего направления журнала, будто бы мирволящего польским идеям, — это совершенно несправедливо: в нем, напротив, можно указать много мест, где Польша сильно порицается. Но главную защиту цензора построили на следующей основной мысли статей “Библиотеки для чтения”: Малороссия никогда не составляла отдельного политического общества, делала много глупостей и зла соседям и что все это кончилось лишь с тех пор, как она соединилась с Россией.

Был у графа Клейнмихеля, который приглашает меня занять кафедру словесности в Корпусе путей сообщения.

20 январь 1844 года

Жалоба Бибикова, наконец, дошла до государя. Он прекрасно решил это дело: “Если в статьях “Библиотеки для чтения” заключается ложь, то ее и должно опровергнуть литературным образом, только без брани”.

5 февраля 1844 года

Вчера в университете происходил выбор в ординарные профессора на вакансию, которая открылась с увольнением Шульгина. Кандидатов было несколько, в том числе и я. На мою долю выпало всего шесть белых шаров — очень мало. Все прочие были мне предпочтены. Профессор Фишер мне сказал:

— Вам оказали вопиющую несправедливость — но так должно быть. Кто имеет несчастную репутацию человека с дарованиями, тому посредственность никогда не отдаст должного.

Я на это отвечал:

— Товарищи мои вправе высказать мне свое недоброжелательство, и я имею право немедленно забыть это.

Разве я когда-нибудь полагал иначе, что могу и должен опираться не на один только свой труд? Итак, работать, работать!

8 февраля 1844 года

Празднование в университете двадцатипятилетия его существования. Митрополит служил обедню и молебен. В зале невыносимый холод. Ректор три часа и восемнадцать минут читал историю университета. Тоска и холод всех одолели. Никогда еще, кажется, университетский акт не был неудачнее. О деятельности университета за истекшие двадцать пять лет не сказано ничего существенного, а может быть, и не могло быть сказано.

10 февраля 1844 года

Экзамен екатерининским институткам в Аничковском дворце. Это мой последний экзамен. Был весь двор, кроме Марии Николаевны и Александры Николаевны. Государь два раза входил в залу — раз в половине экзамена, другой — в конце. В моем предмете, как всегда водится, одни отвечали плохо, другие хорошо и немногие превосходно. Чуть ли не главное состояло в произнесении стихов. Государь читал некоторые из сочинений, писанных тут же на досках. Все остались довольны. После завтрака государыня столкнулась со мной у двери, где я, по близорукости и вследствие недавней потери очков, не узнал ее сначала. Она очень ласково сказала:

— Вы Никитенко, не правда ли? Очень вам благодарна: экзамен был очень хорош.

Я поклонился — и дело кончено. Присутствовавшие, заметив благосклонную улыбку на лице государыни, когда она мне говорила эти слова, поспешили ко мне кто с рукопожатием, кто с комплиментами.

2 марта 1844 года

Государь посетил Римско-католическую академию и был чрезвычайно ласков и всем доволен. Ректору он оказал лестное внимание, а воспитанникам сказал, что желает, “чтобы они были верными католиками и в то же время верными подданными России. Исповедуя беспрепятственно свою веру, они должны помнить, что власть церковная не должна мешаться в дела политические” В заключение император поблагодарил академию за порядок и за все, что он в ней нашел. Уезжая, он прибавил, что будет чаще посещать академию, когда она переселится на Васильевский остров.

Вообще нынешнюю зиму, после несчастной истории с кадетами Корпуса путей сообщения, главная ответственность за которую падает на Клейнмихеля, все идет как-то мягче и гуманнее. Будем надеяться!

4 марта 1844 года

Был у графа Клейнмихеля; принят в высшей степени ласково. Он позвал меня в кабинет и просил заняться приведением в порядок преподавания в Корпусе путей сообщения русского языка, который там в большом упадке.

— Вообще, — прибавил он, — это заведение было вертепом разврата, разбоя и либерализма: я уничтожу этот дух!

12 марта 1844 года

Князь Волконский заключил мир с Уваровым при посредничестве князя Дондукова. Итак, он остается у нас попечителем, чему все рады, особенно я.

19 марта 1844 года

Вышел или выйдет на днях указ об увеличении пошлин с отъезжающих за границу. Всякий платит сто рублей серебром за шесть месяцев пребывания за границею. Лицам моложе двадцати пяти лет совсем воспрещено ездить туда. А если болезнь требует поездки в Карлсбад, Мариенбад или на другие воды? В таком случае правительство милостиво позволяет больному умирать у себя дома. Сверх того, отныне местные генерал-губернаторы не могут более выдавать паспортов на выезд за границу. Одним словом, приняты все меры к тому, чтобы сделать Россию Китаем. Говорят, поводом к этому послужили последние прения в английском парламенте, где сильно досталось нашему правительству. В обществе сильный ропот. И действительно, мера эта крайне неловкая, не говоря уже о ее насильственности. Вследствие наложенного на нее запрета Европа становится какою-то обетованною землей. Но ведь нельзя же, чтобы идеи из нее не проникали к нам? Да и где необходимость этого насилия, не позволяющего мне дышать тем воздухом, каким я хочу? Везде насилия и насилия, стеснения и ограничения — нигде простора бедному русскому духу. Когда же и где этому конец?

22 марта 1844 года

У нашего министра. Он получил бриллиантовые знаки Александра Невского и очень благосклонный рескрипт. Очевидно, он опять укрепился на своем посту.

Хотеть управлять народом посредством одной бюрократии, без содействия самого народа, значит в одно и то же время угнетать народ, развращать его и подавать повод бюрократам к бесчисленным злоупотреблениям. Есть части правления, которые непременно должны находиться под влиянием народа или общества. Например, часть судебная. И это может быть достигнуто без нарушения прав верховной власти. Надо только, чтобы последняя имела меньше эгоизма.

23 марта 1844 года

Был вечером у Маркуса, лейб-медика императрицы. Он пользуется отличной репутацией как врач и как человек — и недаром. Это один из редких людей по образованию, по гуманности, прямодушию и прекрасному сердцу. Ум у него ясный и обогащенный разнообразными сведениями. Ему доступны все умственные, нравственные и эстетические интересы. Всякий прогресс человечества его радует. Специальность, и притом блистательно выполняемая, не поглотила в нем ни человека общественного, ни даже высших поэтических и религиозных верований. В его характере счастливое равновесие сил и сочетание элементов самых разнообразных и богатых. От этого мысль его ясна и чиста — без пятен, какие налагает на человеческую мысль дух партий, школ и пр. Медик, он верует в Бога как христианин, очищенною верой; верует в бессмертие души как философ, знающий, что человечество выше философии, а Бог выше человечества: верует в добродетель как человек добродетельный. Беседа его приятна и поучительна. Он много видел,

много испытал. У него богатый запас разнородных сведений, потому всякий может найти с ним предмет для разговора. Он при дворе, но он не царедворец. Любовь к общему благу внушает ему разные проекты улучшений в области его специальности.

Близость к государю, казалось бы, должна была облегчить осуществление их. На деле не так: ему на каждом шагу воздвигаются препятствия; самые очевидные нужды не уважаются. Он не уступает, бьется, но дело медленно подвигается. Такова, впрочем, у нас судьба всех общественных идей и благих предначертаний. Предложите любую меру именем закона, именем пользы граждан — вас осмеют как фантазера, как выскочку-идеолога, если только вам не явятся тут на помощь чьи-нибудь личные интересы. Это мечта — думать, что, приближаясь к источнику власти, можно открыть себе путь к полезней деятельности: самая власть эта до того опутана сетями противоположных влияний, что решительно не в состоянии ничего делать. Она может гневаться, грозить, — а дела все-таки пойдут своим порядком. А порядок этот странный, удивительный, но прочно укоренившийся у нас. Он состоит из злоупотреблений, беспорядков, всяческих нарушений закона, наконец сплотившихся в систему, которая достигла такой прочности и своего рода правильности, что может держаться так, как в других местах держатся порядок, закон и правда. Говорите после того о рассудке, о справедливости дел человеческих! Нет такого зла, которого люди не могли бы снести: все дело только в том, чтобы привыкнуть к нему.

4 мая 1844 года

Получил от государыни брильянтовый перстень за службу в Екатерининском институте, но, как оказывается, не без хлопот. Я прослужил в этом заведении тринадцать лет, всегда пользовался расположением моих учениц, но не успел заслужить расположения высшего начальства в лице принца Ольденбургского. Когда я подал в отставку, он положил отпустить меня, не сказав мне даже простого спасибо. Но Ободовский (инспектор классов) и начальница, Екатерина Владимировна Родзянко, иначе взглянули на это дело. Последняя, помимо принца, лично сделала обо мне представление императрице. Государыня поручила ей в лестных выражениях передать мне ее благодарность и вручить брильянтовый перстень. При моем безденежье это очень кстати. Я отдал перстень в Кабинет и получил взамен, за обыкновенными вычетами, 800 рублей.

9 мая 1844 года

Высочайшее повеление по цензуре, чтобы не позволять печатать в журнале известий о выезде государя из столицы.

В воскресенье ездил в Кронштадт навестить брата моей жены, который состоит на морской службе. Оснащивая корабль, он недавно упал в море, сильно ушибся и чуть не утонул. Между прочим, ездил в гавань осматривать пароход “Камчатку”. Он выстроен в Америке, стоит три миллиона с половиною, но зато и представляет чудо искусства. Судно кажется вылитым из одного куска железа или дерева. Это не

постройка, а живое существо, с мускулами, костями, жалами, легкими, желудком, — тело, и притом стройное и прекрасное тело.

29 мая 1844 года

Сегодня экзаменовал воспитанников Института путей сообщения. Они очень плохи в русском языке, особенно в низших классах, где, однако, сидят молодцы лет шестнадцати и семнадцати, которые не умеют написать фразы без грубых грамматических ошибок. Все это мне предстоит исправить, то есть дать новую методу, которой следовали бы учителя.

22 июня 1844 года

Недавно в цензуре случилось громкое происшествие. Кто-то, под вымышленным именем, написал книгу под заглавием; “Проделки на Кавказе”. В ней довольно резко описаны беспорядки в управлении на Кавказе и разные административные мерзости. Книгу пропустил московский цензор Крылов. Военный министр прочел книгу и ужаснулся. Он указал на нее Дубельту и сказал:

— Книга эта тем вреднее, что в ней что строчка, то правда.

25 мая ее отобрали у здешних книгопродавцев, но в Москве она уже успела разойтись в большом количестве экземпляров. Я ничего не знал ни об этой мере, ни о самой книге. Между тем мне прислали на рассмотрение разбор ее для июньской книжки “Отечественных записок”. В разборе помешено и несколько выдержек из нее. Выдержки показались мне “подозрительными и неблагонадежными”, говоря цензурным языком. Но делать было нечего: надо было пропустить то, что уже раз было пропущено цензурою.

2 июня Владиславлев велел мне передать, что статья в “Отечественных записках” производит шум и, чего доброго, наделает беды. Я поспешил к нему и тут только узнал, что “Проделки на Кавказе” запрещены и что, следовательно, о них ничего нельзя говорить, а еще меньше можно перепечатывать из них отрывки. Но дело уже было сделано. Однако я сказал Краевскому, чтобы он уничтожил статью в еще неразосланных экземплярах.

Неужели опять придется расплачиваться за чужие ошибки? А почему бы и нет? Наша юстиция, как известно, зависит от расположения духа, от пищеварения и прочих оснований волчьего нрава. Я был у министра, объяснился с Комовским. Министр не находит за мной вины.

Все это случилось в отсутствие государя. Но вот он приехал. Пока еще ничего нет. Может быть, заботы по случаю болезни Александры Николаевны заставят забыть эту историю.

Сегодня же состоялось освящение здания Римско-католической академии. Был министр Перовский и высшее католическое духовенство. Обедню служил епископ. Церемония закончилась гастрономическим обедом при звуках кавалергардской музыки. Я все время не расставался с Надеждиным, умная и живая беседа которого

меня очень занимала.

30 июня 1844 года

Московский цензор Крылов вызван сюда для объяснений. Он, по всему видно, вместе с московским цензурным комитетом дал промах. Впрочем, его отпустили обратно в Москву. Еще неизвестно, чем это кончится.

20 сентября 1844 года

Они изо всех сил хлопочут о церкви, а о религии вовсе не думают, ибо у них нет ее в сердце. Они не любят искренно ни Бога, ни людей. Они любят только свою славу, свою школу. “Быть первыми в движении общества во что бы то ни стало” — вот их лозунг, который прячется за народностью, за патриотизмом и т.д.

То идея, а то сила. Идеи даются нам веками и положением нашим в обществе, а сила от Бога. Она принадлежит избранным. Беда в том, что многие считают идею за силу и воображают, что они могут действовать, когда они только могут думать.

Мы видели во времена Магницкого, куда ведет церковь без рационализма, вера не по разуму.

1 октября 1844 года

Государственные перевороты, имеющие целью утверждение закона и справедливости, не могут быть плодом теорий: их вызывает крайняя нужда, а эта нужда обыкновенно состоит в отсутствии законности, порождаемом развратом власти. Надо, чтобы переполнилась мера, — и тогда неизбежно возникают желания отделаться от зла и стремление к лучшему порядку вещей.

Поутру был у нашего министра. Кажется, на него порядочно подействовал прием лести, поднесенный ему москвичами: он недавно приехал из Москвы. Слабые нервы этого живого, но нетвердого ума не выносят такого рода щекотания. Он ужасно вооружен против “Отечественных записок”, говорит, что у них дурнее направление — социализм, коммунизм и т.д. Очевидно, это навеяно московскими патриотами, которым во что бы то ни стало хочется быть вождями времени. Министр желает не щадить “Отечественных записок”. Между тем давно ли он и словом и делом осуждал донос Булгарина, составленный совершенно в том же духе?

22 октября 1844 года

Объяснялся с князем Волконским по поводу доноса духовенства, или, вернее, ректора здешней духовной академии епископа Афанасия, на цензуру за пропуск в “Отечественных записках” статей о реформации, извлеченных из сочинения Ранке. Я узнал, что дело об этом уже пошло в синод. Афанасий слывет за фанатика, поборника того православия, которое держится не смысла, а буквы религии и которое больше уважает предание, чем евангелие. Я говорил с клевретом его, нашим

университетским законоучителем Райковским, и спрашивал его, что находит он предосудительного в статьях о реформации? В ответ не получил ни слова путного, а в заключение услышал следующее: в нашем собственном духовенстве много лиц, напитанных протестантскими идеями, — поэтому надо преследовать реформацию.

— Но ведь это факт, — возразил я, — разве можно выкинуть его из истории? Да и что в нем общего с нашей церковью? Реформация была следствием злоупотреблений духовной власти на Западе: разве у нас было или может быть что-нибудь подобное? А если наши попы склонны к протестантизму, какое дело до этого светской цензуре? В этом виноваты духовные власти: зачем они допускают до этого?..

Князь хотел объясниться по этому поводу с Войцеховичем и просил меня переговорить также с князем В.Ф.Одоевским, который очень дружен с Войцеховичем. Но я предпочел бы, чтобы у меня потребовали официально объяснения: можно было бы проучить этого мниха Афанасия, который не впервые уже обнаруживает поползновение мешаться не в свои дела. Беда, если монахам дать волю: опять настанут времена Магницкого. Ныне и то уж слишком много толкуют о православии, бранят Петра, хотят воскресить блаженные времена допетровской Руси и т.д.

Обедал у Мартынова, Саввы Михайловича. Он дружен с И.А.Крыловым и между прочим рассказал мне о нем следующее. Крылову нынешним летом вздумалось купить себе дом где-то у Тучкова моста, на Петербургской стороне. Но, осмотрев его хорошенько, он увидел, что дом плох и потребует больших переделок, а следовательно, и непосильных затрат. Крылов оставил свое намерение. Несколько дней спустя к нему является богатый купец (имени не знаю) и говорит:

— Я слышал, батюшка Иван Андреич, что вы хотите купить такой-то дом?

— Нет, — отвечал Крылов, — я уже раздумал.

— Отчего же?

— Где мне возиться с ним? Требуется много поправок, да и денег не хватает.

— А дом-то чрезвычайно выгоден. Позвольте мне, батюшка, устроить вам это дело. В издержках сочтемся.

— Да с какой же радости вы станете это делать для меня? Я вас совсем не знаю.

— Что вы меня не знаете — это не диво. А удивительно было бы, если б кто из русских не знал Крылова. Позвольте ж одному из них оказать вам небольшую услугу.

Крылов должен был согласиться, и вот дом отстраивается. Купец усердно всем распоряжается, доставляет превосходный материал; работы под его надзором идут успешно, а цены за всё он показывает половинные, — одним словом, Иван Андреевич будет иметь дом, отлично отстроенный, без малейших хлопот, за ничтожную в сравнении с выгодами сумму.

Такая черта уважения к таланту в простом русском человеке меня приятно поразила. Вот что значит народный писатель! Впрочем, это не единственный случай

с Крыловым. Однажды к нему же явились два купца из Казани.

— Мы, батюшка Иван Андреич, торгуем чаем. Мы наравне со всеми казанцами вас любим и уважаем. Позвольте же нам ежегодно снабжать вас лучшим чаем.

И действительно, Крылов каждый год получает от них превосходного чая такое количество, что его вполне достаточно для наполнения пространного брюха гениального баснописца.

Прекрасно! Дай Бог, чтобы подвиги ума ценились у нас не литературной кликой, а самим народом.

1845

6 января 1845 года

Утопаю в делах. На меня возложено еще новое дело: составление проекта изменений и дополнений к цензурному уставу. Теперь очень что-то заторопились с этим.

31 января 1845 года

Позен уволен от должности. Бесконечные толки. Дело между тем очень просто объясняется пословицею: “два медведя в одной берлоге не могут жить”. Позен настолько умен и сознателен, что не мог занимать важное место без влияния, а граф Воронцов не мог допустить, чтобы между ним и государем состоял посредником умный человек.

8 февраля 1845 года

Акт в университете, кончившийся и печально и смешно. Куторга (Степан) читал за Устрялова речь последнего “О Петре Великом как историке”; сам автор не мог читать по болезни. Профессор дочитал до того места, где Петр говорит о прутском походе. При словах: “Мы были окружены со всех сторон, нам надо было или умереть, или пробиться — один Бог…” вдруг в левом углу залы, у колонн, раздался шум, и несколько студентов опрометью бросились к дверям. В одно мгновение вся зала поднялась, полетели стулья, и публика беспорядочной толпой тоже ринулась к выходу. Суматоха, давка, всеобщее смятение! Толпа у дверей сама себе затруднила выход. Несколько человек бросились к окнам, разбили стекла и собирались выпрыгнуть на улицу. Кто-то поранил себе руки. Никто не знал причины смятения, но каждый находился под влиянием панического страха.

“Что это значит? — думал я. — Не пожар ли?” Нет: нигде ни дыма, ни огня. Между тем толпа все больше и больше напирала к дверям, непроизвольно увлекая и сталкивая отдельные личности. Меня столкнули с адмиралами Рикордом и Крузенштерном. Последнего сильно помяли. “Да в чем дело? Что случилось?” — спрашивал он у меня, а я у него. Министр, попечитель, архиерей Афанасий, ректор и большинство профессоров находились позади и меньше всех растерялись: по крайней мере они не метались, не толкались и даже делали попытки образумить ошалевшее юношество и публику. Наконец нескольким голосам удалось покрыть наполнявший залу шум. “Господа, остановитесь, ничего, ничего!”

И действительно, оказалось — ничего. Несколько студентов, расположившихся

у колонн, услышали какой-то треск, вообразили себе, что колонны, потолок, хоры — все на них рушится, вскочили и ринулись к выходу. Публика, увлеченная их примером и чувством самосохранения, ничего не понимая, бросилась за ними. По приказанию министра позвали архитектора. На колоннах в самом деле оказались трещины, но только по штукатурке: они к акту были заново отштукатурены по верхам. От усиленной топки для осушки штукатурки она треснула в момент торжества и произвела суматоху. Вот все, что могли найти после тщательного освидетельствования, — по крайней мере в первую минуту.

Когда все немного опомнились, зала представляла небывалое зрелище: опрокинутые стулья, побитые стекла в окнах, на полу платки, перчатки, на лицах следы только что испытанного страха. Куда девалась напускная важность сановников… Министр закончил акт раздачею студентам медалей, но уже в другой зале. Затем все, посмеявшись сами над собой за свой испуг, благополучно разъехались.

Мораль: сколько человек ни возвышайся умом, ни настраивай себя на высокий лад — достаточно легкого шороха, мнимой опасности, чтобы ум его опрокинулся вместе со стульями и он сделался добычей бессмысленного, животного страха. Поистине: от великого до смешного один шаг.

24 февраля 1845 года

Был у бывшего нашего попечителя, князя Григория Петровича Волконского. Говорю: бывшего, потому что он на днях совершенно неожиданно переведен попечителем же в Одессу. Он рассказал мне все подробности этого происшествия, очень для него неприятного. Князь уже два года как просил министра дать ему помощника, в котором он особенно стал нуждаться последнее время: у него хворала жена, и ему приходилось ради нее на несколько месяцев отлучаться из Петербурга на юг. Но министр под разными предлогами до сих пор отказывал ему. Между тем государь лично предоставил князю самому выбрать себе помощника (когда ему понадобится) и лично же, помимо министра, сделать о том ему, государю, представление. Значит, Волконский мог действовать в этом деле совсем самостоятельно, но воздерживался только из деликатности. Но вот болезнь княгини до того усилилась, что явилась уже неотложная потребность везти ее на юг. Тогда Григорий Петрович стал подумывать о перемещении своем попечителем в Одессу, полагая, что климат этого города будет достаточно хорош для его жены. Но он решался на это только в последней крайности.

Между тем князь Воронцов, который любит Григория Петровича и давно желает его переселения к себе в Одессу, намекнул о намерении князя Уварову. Тот стал еще больше затруднять назначение помощника попечителя и, наконец, вынудил у последнего заявление о намерении его в крайнем случае переселиться в Одессу. Этим заявлением он недобросовестно поспешил воспользоваться, сделал доклад государю, и назначение князя Волконского попечителем в Одессу было решено и подписано. Следствием этого было сильное неудовольствие отца князя Волконского, который рассердился на сына за то, что тот не посоветовался предварительно с ним

о своем перемещении. Это с одной стороны, а с другой — доктора объявили, что климат Одессы вовсе не годится для княгини и ее надо везти за границу, в Германию. Григория Петровича, таким образом, обошли: он в большом затруднении теперь и негодует на министра, который сыграл с ним грубую шутку.

Мы много теряем. Князь не был усердным администратором, но он человек вполне благородный, просвещенный, с европейским образом мыслей, а положение его при дворе таково, что он незаменим во всех затруднительных случаях по университету и по цензуре. Сколько раз отвращал он от них беду своим влиянием! Вот хоть бы последнее происшествие о тайных сходках студентов, которое единственно благодаря ему окончилось без шума. Теперь мы со страхом ожидаем нового попечителя. В последнем заседании цензурного комитета Плетнев, заступивший на время место председателя, уже поднял вопрос об усилении строгости и бдительности цензуры, так как она лишилась своего покровителя и защитника. Между тем эта несчастная цензура и при князе уже висела на волоске. Он сам мне сегодня сказал, что намеревался сильно хлопотать о выделении ее из круга обязанностей своих как попечителя. Вообще князь занимался ею очень неохотно и подчас выказывал презрение даже ко всему тому, что называется русскою литературою. Может быть, он и прав в настоящий период ее развития, или, вернее, застоя.

26 февраля 1845 года

В цензурном комитете получено высочайшее повеление не дозволять печатать никаких статей о постройках по ведомству путей сообщения без предварительного сношения с его главным начальством. У нас всякий отдельный начальник избегает гласности и старается окружить непроницаемым мраком все свои действия. Так, конечно, лучше: во мраке все позволительно. Чудная это вещь русская администрация!

Книгопродавец Лисенков подал на Булгарина жалобу, что сей “сочинитель”, как он его называет, сплутовал: продал ему издание своих сочинений и в то же время продал и другим. Дело производится в гражданской палате.

8 марта 1845 года

Плетнев председательствует в цензурном комитете. Первое употребление, какое он сделал из своей власти в пользу литературы, — это притеснение журналов, ему неприязненных, а они почти все ему неприязненны, ибо не обращают внимания на его бедный “Современник”. Более всего он ожесточен против “Отечественных записок”, которые как-то раз легонько посмеялись над романом “Семейство” [шведской писательницы Фредерики Бремер], покровительствуемым им.

Теперь Плетнев вздумал поверить: издаются ли журналы точь-в-точь по программе, которая была утверждена правительством, то есть не помещают ли журналисты в своих изданиях таких статей, которые не были поименованы в первоначальной программе? Оказалось, что все отступали от нее более или менее, и

это в первый же год своего существования. Особенно виноваты в этом смысле “Отечественные записки”, которые сначала не обещались помещать иностранных повестей, а теперь помещают. Обстоятельство это никогда не считалось в цензуре важным: она знала, что все наши журналы стремятся быть энциклопедическими, — и это весьма естественно: специальные журналы еще не могут у нас существовать. Всякий редактор спешит взять верх над своими товарищами объемом и разнообразием своего журнала. Цензура заботилась только о том, чтобы журналы не нарушали правил ее и не касались предметов, предоставленных другим цензурам: духовной, военной и прочее.

Плетнев, поднимая этот вопрос, воздвигал страшную бурю я повергал в затруднение самого министра, который в начале каждого года утверждает существование журнала в том виде, в каком он уже существовал перед тем. Я вступил в спор с Плетневым и успел заставить его отменить это предложение. Но хороши мои товарищи: одни поддакивали Плетневу, другие молчали, предоставляя мне одному сражаться и побеждать. Особенно поразил меня Куторга, который всегда так много толкует о гуманных началах: на этот раз он настаивал, чтобы предложение председателя было уважено. Впрочем, он это делал не из дурных побуждений, — он честный человек, — а по легкомыслию и недостатку твердости, которые часто повергают его в противоречия с самим собой. Как бы то ни было, бой был жаркий, и хотя я одержал победу, однако не уверен в прочности ее.

15 марта 1845 года

Недаром сомневался я в Плетневе. В комитете он согласился не начинать дела о журналах. В среду в дружеских моих с ним объяснениях он подтвердил мне то же, а сегодня мы получили предписание министра, который, “увидев, что некоторые журналы самопроизвольно отступили от своих программ”, предписывает “ввести их в пределы”. На этот раз, однако, весь комитет восстал. Мне поручено написать ответ министру. Жаркие прения. Плетнев, который, кроме того, покушался еще на разные другие стеснительные распоряжения по цензуре, — разбит на всех пунктах. Я более всех поражал его законом. Была прочитана статья устава, по которой права председателя являются очень ограниченными в том, что касается цензурования. На этот раз все действовали единодушно и твердо, и Плетнев был разбит в пух. Пробовал он придраться и к “Библиотеке для чтения”: в программе ее объявлено, “что она будет печатать переводные повести, а она печатает романы, как, например, “Вечный жид”.

— Какую же существенную разницу полагаете вы, — спросил я, — между повестью и романом? Мы оба с вами профессора словесности, и я по крайней мере не могу определить иначе повесть, как “повесть есть роман”, а роман — как “роман есть повесть”.

Бедная, бедная наша литература!

8 мая 1845 года

В воскресенье был у министра. Он много говорил “о дурном, грязном и торговом” направлении нашей литературы. Вспоминал о прежнем времени, когда имя литератора, по его словам, считалось почетным.

— Например, — продолжал он, — вот хоть бы наше литературное общество, состоявшее из Дашкова, Блудова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова и меня. Карамзин читал нам свою историю. Мы были еще молоды, но настолько образованны, что он слушал наши замечания и пользовался ими. Однажды покойный государь завел с Карамзиным речь об академиях. Вот что сказал ему по этому поводу наш историк: “А знаете ли, ваше величество, какая у нас самая полезная академия? Это та, которая состоит из этих шалунов и молодых людей, шутя и смеясь высказывающих мне много полезных истин и верных замечаний”. Он разумел наше общество. Теперь не то. Имя литератора не внушает никому уважения.

Уваров хотел показать мне письмо к нему Гоголя, да не отыскал его в бумагах. Он передал мне его содержание на словах, ручаясь за достоверность их. Гоголь благодарит за получение от государя денежного пособия и, между прочим, говорит: “Мне грустно, когда я посмотрю, как мало я написал достойного этой милости. Все, написанное мною до сих пор, и слабо и ничтожно до того, что я не знаю, как мне загладить перед государем невыполнение его ожиданий. Может быть, однако, Бог поможет мне сделать что-нибудь такое, чем он будет доволен”.

Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это написал человек, взявший на себя роль обличителя наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только метко и верно, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, жаль! Это с руки и Уварову и кое-кому другому.

10 мая 1845 года

Заходил в канцелярию к Комовскому, чтобы, по желанию министра, прочесть письмо Гоголя. Сущность его почти та же, что передавал мне Уваров.

7 *мая 1845 года*

Кукольник в каждом номере своей “Иллюстрации” помещает шараду в виде какой-нибудь картинки и, отдавая ее в цензуру, прилагает к ней и разгадку, которая печатается в следующем номере. Но вот в последнем выпуске “Иллюстрации” разгадка дошла до меня уже по выходе в свет картинки. Она заключается в словах: “усердие без денег одно и лачуги не построит”. Это, очевидно, пародия на известные слова, данные в девиз графу Клейнмихелю за постройку Зимнего дворца: “Усердие все превозмогает”. Пришлось не пропустить разгадки, и я лично объяснил Кукольнику, почему. Несмотря на это, в пятом номере “Иллюстрации” разгадка напечатана. Кукольник извиняется тем, что он положился на типографию, а последняя виновата в небрежности. Расплачиваться за то, однако, придется мне. В городе уже толкуют об этом. Очкин даже откуда-то слышал, что Клейнмихель послал несчастную фразу государю. Комитет обратился ко мне с запросом; я объяснил, как дело было.

19 июня 1845 года

Был у графа Клейнмихеля. Принят вежливо. Он много говорил о посторонних предметах, жаловался на тягости своего управления.

— Положим, — прибавил он в заключение, — я уже, вижу кое-какие результаты моей деятельности. Но это только цветки: плоды же не мне достанется видеть. Да и прочно ли все это? Придет другой и все испортит, разрушит!

Сегодня также хоронили Линдквиста. Это был один из благороднейших наших товарищей. Четыре года лежал он, пораженный параличом. Теперь его свалил последний удар. Вот и нет его, а он тоже был.

24 июля 1845 года

Приехал новый попечитель, Мусин-Пушкин. Завтра приемные экзамены в университете.

1 *сентября 1845 года*

Отдал лично графу Клейнмихелю мою “Теорию деловой словесности”, которую написал на даче летом по его поручению. Принял хорошо, как будто понял и одобрил мое намерение создать новую ветвь образования, новую, так сказать, общественную науку. Хочет представить государю. Обещал вскоре позвать меня для совещаний, а пока разрешил ввести это в Институте путей сообщения.

18 октября 1845 года

Министр Уваров страшно притесняет журналы. На днях “Литературной газете” не позволено выходить по три раза в неделю (не изменяя ни на одну йоту программы) и переставлять статьи с одного места на другое, например печатать повести под чертою, в виде фельетона и т.д., хотя все это позволялось, или, лучше сказать, не замечалось прежде, потому что не заслуживает замечания. Конечно, всему этому можно привести важные государственные причины. У нас чрезвычайно богаты на государственные причины. Если б вам запретили согнать муху с носа, это по государственным причинам. Ведь издал же, года три тому назад, здешний генерал-губернатор прокламацию, чтобы дети в одежде не отступали от предписанной формы, о которой, впрочем, никто ничего не знал. Вероятно, и на это была государственная причина. Люди, которые все это не только терпят, но и объясняют государственными причинами, вероятно, и должны быть так управляемы — и это, уж точно, государственная причина.

21 октября 1845 года

Я начинаю думать, что 12-й год не существовал действительно, что это — мечта

или вымысел. Он не оставил никаких следов в нашем народном духе, не заронил в нас ни капли гордости, самосознания, уважения к самим себе, не дал нам никаких общественных благ, плодов мира и тишины. Страшный гнет, безмолвное раболепство — вот что Россия пожала на этой кровавой ниве, на которой другие народы обрели богатства прав и самосознания.

Что же это такое? Действовал ли, в самом деле, народ в 12-м году? Так ли мы знаем события? Не фальшь ли все, что говорят о народном восстании и патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Бирона; нас трактуют как бессмысленных скотов. Или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть и лица? Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался — этой гнусной способности рабов. Ужас, ужас, ужас!..

24 октября 1845 года

Вот уж сколько лет прожито, сколько лет проработано на ниве человеческих бедствий, страстей и заблуждений: какая же жатва? Только не охлаждение к великому и прекрасному! Благодаря Бога, ни опыт, ни люди не могли отнять и не отнимут у меня веры в истину и добро. Но зато только и осталась одна вера: надежды исчезли. Не эту эпоху судьба избрала для дел: довольно и веры. Героев нет в наше время, кроме тех, кои умели сохранить теплоту крови и ясность ума.

28 октября 1845 года

Право, мы, кажется, только путем разврата можем выйти из этого оцепенения, из этого хаоса нашей гражданственности и образовать свою нравственную физиономию. По крайней мере мы идем этим путем. Продажность, отсутствие чести, отсутствие веры — разве это не разврат? А раболепство?

30 октября 1845 года

В XVIII веке идеи боролись с верованиями, преданиями, предрассудками — одним словом, с идеями же, хотя и отвергаемыми требованиями века и разумом. Ныне идеи борются с могуществом вещественным. Грубая физическая сила угрожает штыками и пушками человеческому разуму. Кто преодолеет? Вопрос этот не скоро разрешится. И разрешение его будет стоить много жертв и крови.

1846

2 января 1846 года

В последних числах декабря кончил большое дело, возложенное на меня министром народного просвещения и которому я без перерыва посвятил два последние месяца прошлого года. Это “Проект изменений и дополнений к цензурному уставу”. Министру, кажется, хочется издать новый устав — в каком духе, понятно. Я решился, насколько возможно, помешать этому и собрал все доводы, чтобы доказать необходимость сохранить ныне существующий устав, который по настоящим временам все-таки меньшее зло из массы тяготеющих над нами зол. Надо было и комитет склонить к тому же. В прошедшую пятницу состоялось совещание о моем проекте: принят весь с весьма незначительными изменениями. Куторга попытался было возражать, но все остальные пристали ко мне.

5 января 1846 года

Что такое Мусин-Пушкин? Не страдает ли он по временам умопомешательством? Как он обращается со своими подчиненными! Недавно он позвал к себе нескольких учителей гимназии и разругал их “болванами”, дураками, пустыми головами, шутами и пр. И он таков со всеми подчиненными, имеющими в нем нужду, кроме, впрочем, профессоров университета. На днях он одного из служащих у него прогнал, грозя ему кулаками. Дамам, которые к нему приходят с просьбами, он кричит “поди вон!” Словом, это зверь! Он начал было обращаться так же и со студентами: ему погрозили, что сначала освищут его, а наконец и поколотят. Он притих. И этого человека выбрали попечителем университета в столице! Но опять-таки приходится сказать, что всякое общество управляется, как оно того заслуживает: никто из оскорбленных новым попечителем даже не пожаловался министру. Двое, однако, подали в отставку.

Что ж он делал в Казани семнадцать лет, когда здесь таков? Там терпели и сносили. Должно полагать, что и у нас стерпят и снесут.

6 января 1846 года

Каждый день новые анекдоты о Мусине-Пушкине. На днях он в присутствии многих у себя в приемной ругал своего предшественника князя Волконского.

— У него, — сказал он между прочим, — не такая голова, чтобы управлять округом. Вот я семнадцать лет управлял в Казани, — и т.д.

Обыкновенно у него на все неопровержимое доказательство: “я семнадцать лет пробыл в Казани”.

По цензуре он ничего не понимает, кричит только, что в русской литературе пропасть либерализма, особенно в журналах. Более всего громит он “Отечественные записки”. Но, к счастью, он здесь ничего не значит, так как не он цензирует. Однако мы узнали, из какого источника почерпает Мусин-Пушкин свои мнения о русской литературе. Он заимствует их у Бориса Михайловича Федорова, несчастного автора детских книжонок, обруганного всеми журналами. Жажда мести увлекла его к доносам, на которые он и прежде покушался. Теперь же он окончательно определился в шпионы к казанскому хану и руководит его суждениями о всех вопросах современной русской образованности.

22 февраля 1846 года

Полевой умер. Это большая потеря. Он был необыкновенный человек. Всеобщее участие и сожаление.

7 марта 1846 года

Попечитель наш очень переменился. Он, кажется, решился отстать от барских дерзостей с подчиненными. На него, должно быть, подействовало следующее обстоятельство. Я передал его старому знакомому, Кирееву, разные факты из его деятельности у нас, а тот, в свою очередь, передал это другу Мусина-Пушкина В.И.Панаеву, с тем, чтобы тот уже довел все до самого Пушкина. Так и было сделано, и он присмирел, хотя неизвестно, надолго ли. Впрочем, о нем говорят, что он по натуре своей добрый человек, но его испортило провинциальное раболепство и угодничество. В Казани он был настоящим ханом.

12 октября 1846 года

По цензуре новая скандальная история. Цензор Крылов пропустил книгу “Словарь иностранных слов”, которую издает какое-то общество молодых людей. Книга действительно такая, что по уставу ее не следовало пропускать. Но всего интереснее, что издание посвящено великому князю Михаилу Павловичу. Произошла тревога. Крылову сделали выговор, книгу велели отобрать у книготорговцев — но, кажется, тем дело и кончилось. По крайней мере все затихло.

Было новое гонение на “Отечественные записки”. Булгарин с Гречем и Борисом Федоровым подали на них донос в III отделение. Узнав об этом, я тотчас сообщил Краевскому и посоветовал ему съездить к министру, а потом и к Дубельту. Последний, как говорится, намылил ему голову за либерализм, но в заключение объявил, что, впрочем, ничего из этого не будет.

Уваров получил графское достоинство, от чего пришел в неописанный восторг.

Некоторые из московских литераторов, в лице И.И.Панаева, предложили мне

быть редактором журнала, который хотят купить у кого-нибудь из нынешних владельцев журналов. Покупается “Современник”. Я согласился. Предварительные условия составлены. Ожидают только Уварова, который в Москве.

Третьего дня я познакомился с Герценом. Он был у меня. Замечательный человек. Вчера обедали мы вместе у Леграна. Были еще литераторы, между прочим граф Соллогуб. Ума было много, но он в заключение потонул в шампанском.

14 октября 1846 года

Министр согласился на передачу мне редакции “Современника”.

1847

4 января 1847 года

Вышел первого числа первый N “Современника” под новой редакцией. Он произвел хорошее впечатление. Отовсюду слышу благоприятные отзывы его тону и направлению.

5 января 1847 года

Суматоха и толки в целом городе. В N 284 за 17 декабря “Северной пчелы” напечатано несколько стихотворений графини Ростопчиной и, между прочим, баллада: “Насильный брак”. Рыцарь барон сетует на жену, что она его не любит и изменяет ему, а она возражает, что и не может любить его, так как он насильственно овладел ею. Кажется, чего невиннее в цензурном отношении? И цензура и публика сначала поняли так, что графиня Ростопчина говорит о своих собственных отношениях к мужу, которые, как всем известно, неприязненны. Удивляюсь только смелости, с какою она отдавала на суд публике свои семейные дела, и тому, что она связалась с “Северной пчелою”.

Но теперь оказывается, что барон — Россия, а насильно взятая жена — Польша. Стихи действительно удивительно подходят к отношениям той и другой и, как они очень хороши, то их все твердят наизусть. Барон, например, говорит:

Ее я призрел сиротою,

И разоренной взял ее,

И дал с державною рукою

Ей покровительство мое;

Одел ее парчой и златом,

Несметной стражей окружил;

И враг ее чтоб не сманил,

Я сам над ней стою с булатом…

Но недовольна и грустна

Неблагодарная жена.

Я знаю — жалобой, наветом

Она везде меня клеймит,
Я знаю — перед целым светом
Она клянет мой кров и щит,
И косо смотрит исподлобья,
И, повторяя клятвы ложь,
Готовит козни… точит нож…
Вздувает огнь междоусобья…
С монахом шепчется она,
Моя коварная жена!!!…

Жена на это отвечает:

Раба ли я или подруга —
То знает Бог!.. Я ль избрала
Себе жестокого супруга?
Сама ли клятву я дала?..
Жила я вольно и счастливо,
Свою любила волю я…
Но победил, пленил меня
Соседей злых набег хищливый…
Я предана… я продана…
Я узница, а не жена!

Он говорить мне запрещает
На языке моем родном,
Знаменоваться мне мешает
Моим наследственным гербом…
Не смею перед ним гордиться
Старинным именем моим.
И предков храмам вековым,
Как предки славные, молиться…

Иной устав принуждена

Принять несчастная жена.

Послал он в ссылку, в заточенье

Всех верных, лучших слуг моих;

Меня же предал притесненью

Рабов, лазутчиков своих…

Кажется, нельзя сомневаться в истинном значении и смысле этих стихов. Булгарина призывали уже к графу Орлову. Цензура ждет грозы.

11 января 1847 года

Толки о стихотворении графини Ростопчиной не умолкают. Петербург рад в своей апатичной жизни, что поймал какую-нибудь новость, живую мысль, которая может занять его на несколько дней. Государь был очень недоволен и велел было запретить Булгарину издавать “Пчелу”. Но его защитил граф Орлов, объяснив, что Булгарин не понял смысла стихов. Говорят, что на это замечание графа последовал ответ:

— Если он (Булгарин) не виноват как поляк, то виноват как дурак!

Однако этим и кончилось. Но Ростопчину велено вызвать в Петербург. Цензора успокоились.

31 января 1847 года

У меня уж со второго номера “Современника” возникли несогласия с издателями. Пришлось исключить некоторые статьи, по причинам литературным и цензурным. Например, предполагали поместить грязный пасквиль на Кукольника: я воспротивился. Была на очереди еще статья какого-то мальчика-писуна, о науках — пренелепая, без толку и смысла, но с большими претензиями и самоуверенным тоном: я отверг ее. Они, то есть издатели, в свою очередь восстали против очень умеренной и учтиво написанной критики на книгу М.А.Корсини — книги плохой, хотя автор ее очень милая и умная женщина, моя бывшая ученица и большая приятельница. Но ведь и умный человек может написать неудачную книгу. Мои издатели вознегодовали на меня, забывая, что по первоначальным условиям моего редакторства они сами предоставили мне полную свободу в выборе статей и в сообщении журналу направления. Я только на этих условиях и мог согласиться подписывать под ним мое имя.

5 *февраля 1847 года*

Я начинаю подумывать о том, чтобы отказаться от редакции “Современника”.

Скоро, но что же делать?! Мне слишком тяжело находиться в постоянной борьбе с издателями, которых в свою очередь может тяготить мое влияние. Они, вероятно, рассчитывали найти во мне слепое орудие и хотели самостоятельно действовать под прикрытием моего имени. Я не могу на это согласиться.

7 февраля 1847 года

Намерение мое насчет “Современника” сообщил я Гебгардту и Ребиндеру. Панаев и Некрасов встревожились и решились вступить со мной в переговоры. Назначено у меня совещание в присутствии Гебгардта и Ребиндера. Я думал пригласить еще Даля, но не сделал этого, не желая стеснять моих противников. Вечером все сошлись у меня. Я высказал мои идеи относительно духа и направления журнала, а также и взгляд мой на мои редакторские права. Потом объяснил причины моих действий, которые вызвали неудовольствие против меня издателей. В заключение они выразили претензию только насчет статьи о Корсини. Но это была уже детская уловка, и они не замедлили вскоре сами от нее отказаться. Исключение статьи Штрандмана, за которое они сначала так сильно взволновались, теперь они признали вполне основательным, ибо она своей научной несостоятельностью могла бы повредить репутации журнала. Так мы постепенно пришли к соглашению, но сильно сомневаюсь, чтобы это был прочный мир, а не временное только перемирие.

2 апреля 1847 года

Напрасно мы жалуемся на бессодержательность нашей общественной жизни. У нас есть свои общественные события и вопросы; у нас умы тоже напрягаются в суждениях о важных задачах. Вот, например, теперь весь город занят толками о казенных воровствах. Наши администраторы подняли страшное воровство по России. Высшая власть стала их унимать, а они, движимые духом оппозиции, заворовали еще сильнее. Комедия, да и только!

Сначала председатель здешней управы благочиния, Клевецкий, украл полтораста тысяч рублей серебром: он вынул их без церемонии из портфеля, который вез, чтобы положить на хранение в узаконенное место, а на место ассигнаций, говорят, положил пачку “Северной пчелы”, предоставляя ей лестную честь прикрыть мошенничество.

Затем огромные суммы своровали начальники (генералы и полковники) резервного корпуса. Они должны были препроводить к князю Воронцову семнадцать тысяч рекрут и препроводили их без одежды и хлеба, нагих и голодных, так что только меньшая часть их пришла на место назначения, — остальные перемерли. Генерал Тришатный, главный начальник корпуса и этих дел, был послан исследовать их и донес, что все обстоит благополучно, что рекруты благоденствуют (вероятно, на небесах, куда они отправились по его милости). Послали другого следователя. Оказалось, что Тришатный своровал. Своровали и подчиненные ему генералы и полковники — и все они воровали с тех самых пор, как получили по своему положению возможность воровать.

Еще: гвардейский генерал, любимец покойного и нынешнего государя, красивый, бравый молодец, Ребиндер, своровал деньги, которые покойный государь дарил Семеновскому полку на праздники, и те, которые оставались в экономии полка, и т.д.

Ну, не комедия ли в самом деле?

13 апреля 1847 года

Допускать в образовании один исторический и прикладной метод, без духа философского и теоретического, значит отдавать человека на жертву случайности и потоку времен; значит уничтожать в нем всякий порыв к лучшему, всякое доверие к высшим, непреложным истинам. Погасите в людях стремление к идеальному, выражением которому служит разум с его общими понятиями, — и вы увидите их погрязшими в материальных и своекорыстных побуждениях настоящего. Как животные, они будут довольствоваться гнездами и логовищами, не помышляя о будущем и о возможности усовершенствования. Теория — это не иное что, как постулаты разума. Неужели же разум не имеет права и голоса в делах человеческих и нами должно руководить одно житейское благоразумие, одно побуждение немедленной пользы? Теории могут быть обманчивы, вести к предрассудкам и схоластике. Но наш век дал уже нам против них оружие: он требует для теории опоры анализа и свидетельства истории. Притом разве не лучше обмануться, веря в истинное и прекрасное, чем прийти к горькому убеждению, что истинным может быть одно только то, что кладется в карман или в рот, а прекрасным то, что может мишурным блеском польстить глазам или чувствам?

15 апреля 1847 года

Похороны Губера, молодого литератора, которому было тридцать два года. Это был благородный образованный человек, талант не блистательный и не могучий, однако ж замечательный. Он в своих стихах все воспевал смерть и вот сам умер — скорее, чем ожидал и чем должно. Доктор Спасский, присутствовавший при его последних минутах, говорит, что в течение своей тридцатилетней практики он не видел умирающего (а он видел их довольно, благодаря своему искусству), который бы умирал с такою твердостью и с таким присутствием духа. Последние слова его были: “Я не знал, что так приятно умирать”.

29 апреля 1847 года

Еще своровал один генерал. Он сделал это очень оригинально. Это князь Долгоруков, генерал-губернатор харьковский и попечитель тамошнего университета. Он крал деньги из приказа общественного призрения и накрал их 140 тысяч. Наконец устал красть и жить. Умер. После него нашли письмо на высочайшее имя, в котором он откровенно признается в своих покражах. Между ними оказались и университетские деньги.

2 мая 1847 года

В нескольких номерах детского журнала “Звездочка”, издаваемого Ишимовой, была в прошлом году напечатана краткая история Малороссии. Автор ее П.А.Кулиш. Теперь из-за нее поднялась страшная история. Кулиш был лектором русского языка у нас в университете: его выписал сюда и пристроил Плетнев. По ходатайству последнего он был признан Академией наук достойным отправления за границу на казенный счет. Его послали изучать славянские наречия.

Он поехал и взял с собой пачку отдельно отпечатанных экземпляров своей “Истории Малороссии” и по дороге раздавал их, где мог. Теперь эту историю и самого Кулиша схватили. Он был уже в Варшаве с молодою женой, на которой всего два месяца женат. У цензора Ивановского спрашивают: “Как он пропустил сочинение Кулиша?” Он отвечал прямо, что “это ошибка и что он виноват”. На отдельных книжках стоит имя Куторги, и он тоже призван к допросу.

Я, наконец, достал “Звездочку” и прочел историю Кулиша; теперь мне понятно, почему Ивановский не мог отвечать ничего, кроме “виноват”. Государь, увидев под отдельными книжками имя цензора Куторги, велел посадить его в крепость. Но граф Орлов представил, что надо прежде узнать, как дело было. Что еще из этого произойдет — трудно предвидеть.

С этой маленькой книжкой, впрочем, соединены, говорят, гораздо более важные обстоятельства. На юге, в Киеве, открыто общество, имеющее целью конфедеративный союз всех славян в Европе на демократических началах, наподобие Северо-Американских Штатов. К этому обществу принадлежат профессора Киевского университета:

Костомаров, Кулиш, Шевченко, Гулак и прочие. Имеют ли эти южные славяне какую-нибудь связь с московскими славянофилами — неизвестно, но правительство, кажется, намерено за них взяться. Говорят, что все это вывели наружу представления австрийского правительства.

Было назначено несколько молодых людей из Педагогического института к отправлению за границу: их отъезд остановлен.

7 мая 1847 года

Сегодня я получил от министра (через попечителя) секретное предписание следующего содержания: “Рассматривая появляющиеся в повременных изданиях сочинения об отечественной истории, я заметил, что в них нередко вкрадываются рассуждения о вопросах государственных и политических, которых изложение должно быть допускаемо с особенною осторожностью и только в пределах самой строгой умеренности. Особенного внимания требует тут стремление некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необдуманных порывов патриотизма, общего или провинциального, становящегося иногда если не опасным, то по крайней мере неблагоразумным по тем последствиям, какие он может иметь”. В заключение предписывается иметь строгое наблюдение и проч.

1 июня 1847 года

В эти для меня роковые дни [смерть сына] я выпустил из виду разные общественные события. Глаза мои, полные слез, тускло смотрели на внешние предметы: они блуждали только в страшной бездне моего собственного злополучия, тщетно стараясь уловить хоть один луч отрады.

Между тем случилось много любопытного. Чижов был схвачен по повелению правительства на границе, у таможенной заставы, и в качестве опасного славянофила, с своей бородой, привезен в III отделение. После девятидневного заключения и нескольких допросов он третьего дня выпущен на волю.

Он был у меня и рассказал мне много любопытного о вопросах, которые ему предлагались, и о своих ответах на них. Ответы эти он давал сначала устно, а потом сам же излагал на бумагу, для доклада государю. Если верить ему, он не говорил ничего компрометирующего убеждения, противные его школе. Но я считаю Чижова хитрейшим из всех настоящих и будущих славянофилов и неславянофилов. Я думаю, что он — конечно, тонко, ловко и не вдаваясь в личности — в массе не пощадил тех, которые думают не заодно с ним. Не выдаю за непреложное свое мнение, но вот какое сложилось оно у меня из его слов. Он разделил свою исповедь на две части. В первой он как бы признавался в некоторых заблуждениях, а именно относительно соединения всех славян в одну монархию под скипетром России. Само собою разумеется, что это заблуждение, как проистекающее из избытка любви, было ему охотно прощено. Во второй части своей исповеди он явился горячим патриотом, совсем в духе самодержавия, православия и народности, чуждой всего европейского и даже враждебной Европе.

Он в припадке фанатизма даже воскликнул, что “Петр I был величайшим и опаснейшим революционером” (это уже не мое предположение, а Чижов действительно сказал это, как сам мне признался). В заключение его почтенные духовники, Леонтий Васильевич Дубельт и граф Орлов, остались им вполне довольны. Конечно, он в своей исповеди не коснулся демократических начал славянофильской проповеди и вышел из допроса совершенно белым и чистым. Его даже поблагодарили, но заметили ему на прощанье, что он слишком пылок и потому ему еще пока нельзя разрешить издание журнала в Москве. Как он вперед соединит свои славянофильские идеи с тем, что теперь должен будет писать и делать,— не знаю. Это тем труднее, что он отныне обязан все свои сочинения представлять на цензуру в Третье отделение.

Вчера, то есть 31 мая, состоялось чрезвычайное собрание совета в университете под председательством попечителя Мусина-Пушкина. В совет был приглашен и директор Педагогического института И.И.Давыдов. Читали предписание министра, составленное по высочайшей воле и где объясняется, как надо понимать нам нашу народность и что такое славянство по отношению к России. Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами по себе. Мы тем самым торжественно от него отрекаемся. Оно и не

заслуживает нашего участия, потому что мы без него устроили свое государство, без него страдали и возвеличились, а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело ничего создать и теперь окончило свое историческое существование.

На основании всего этого министр желает, чтобы профессора с кафедры развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства. Это особенно касается профессоров славянских-наречий, русской истории и истории русского законодательства.

По прочтении этой бумаги попечитель объявил, что он не сомневается в благонамеренности нашей и в готовности следовать этому призыву; что он видит, как мы тронуты, и непременно доведет это до сведения министра. Ректор счел нужным поблагодарить попечителя от имени совета за доверие правительства и уверил его во всеобщем усердии и т.д. и т.д.

По выходе из совета попечителя наличные цензора тут же образовали чрезвычайное собрание комитета, который недолго думая поспешил запретить остроумную и совсем невинную статью против славянофилов, написанную Сенковским совершенно в духе тех идей, какие за полчаса мы слышали в совете. А три дня тому назад за такую же точно статью, напечатанную в “Отечественных записках”, Краевский получил в III отделении благодарность от имени государя.

Боже мой, что за хаос, что за смешение понятий!

17 июня 1847 года

Ивановский получил легкий высочайший выговор за пропуск “Истории Малороссии” Кулиша. Сказано, что так как это случилось единственно по неосмотрительности цензора и по доверию его к журналу, для которого назначалось сочинение, и как цензор этот отличный человек, то сделать ему только выговор без занесения последнего в послужной список.

20 июня 1847 года

Распоряжение министра: хотя французские романы и повести, печатаемые в иных журналах, до такой степени переделываются в русских переводах, что в них не остается ничего вредного, однако лучше не допускать их вовсе — за чем предписывается цензорам строго смотреть. Да и вообще не должно разрешать печатания никаких переводов иначе, как представляя предварительно каждый перевод попечителю, от усмотрения коего будет зависеть, пропустить его или нет. Другими словами: цензора уже не рассматривают этих произведений, цензурный комитет отменяется, и высочайший закон больше не существует. Я ездил объясняться к Комовскому и намеревался поехать от него к министру, но увидел из беседы с первым бесполезность этого. Был, однако, у попечителя, говорил ему о нарушении устава и о невозможности исполнить предписание министра. Он согласился с этим. Тогда я просил его объявить о том в комитете, — что он и сделал. Итак, положено не исполнять предписания министра и все оставить по-прежнему.

5 августа 1847 года

Возвратился из цензурного заседания. Спорил с попечителем, который объявил, что “надо совсем вывести романы в России, чтобы никто не читал романов”. Я еще не встречался на моем служебном поприще с таким глупцом. У него обыкновенно ни на что нет причин. Он шумит, кричит, размахивает руками и в своих мнениях скачет через все логические преграды, пока, наконец, не стукнется лбом о какую-нибудь до того отчаянную нелепость, что уже сам остановится.

11 сентября 1847 года

Нынешний год лето особенно долго не расставалось с Петербургом: всего дня два, как в воздухе почуялась осень. Природа чересчур милостива: не хочет ли она дать нам немного больше в одном отношении, чтобы покрепче прижать к другому? Ходят слухи о время от времени повторяющихся случаях холеры. Врачи для утешения умирающих называют ее спорадическою — и успокаиваются сами, полагая, что ученым словом все изъяснили и поправили; но люди умирают.

2 ноября 1847 года

Петербург оживился: у него появился предмет для размышлений, бесед и толков. В самом деле, есть о чем подумать и поговорить. Холера, раскинувшая свои широкие объятия на всю Россию, медленным, но верным шагом приближается к Петербургу. Но в публике пока заметно больше любопытства, чем страха. Может быть, это оттого, что она грозит еще издалека, а может быть, оттого, что жизненность нашего общества вообще хило проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса.

В литературе все по-старому. Булгарин продолжает делать доносы на журналы. К концу года похотливая страсть к ним у него обыкновенно еще усиливается. В это время начинается подписка. Всякий новый подписчик на журнал, не им издаваемый, вызывает в нем желчь. Что за гнусное сердце у этого человека! Он говорит печатно о своих противниках так, что, если бы ему поверили, их всех следовало бы засадить в крепость, а издания их запретить. Тогда во всей России осталась бы одна “Северная пчела”, Которую, разумеется, уже одну и выписывали бы. Общественное презрение заклеймило Булгарина, но это не трогает его. У него своего рода величие: он никого и ничего не боится, кроме кнута, а как кнут теперь не в употреблении, то он и считает себя в полной безопасности.

В цензуре беда с А.Л.Крыловым. Он вообще не умеет разобраться в своем деле: то запрещает самые невинные вещи, то пропускает такие, которые при существующем порядке вещей считаются вредными. И поэтому он чаще других попадается в беду. Теперь на него поступили разом две жалобы от Клейнмихеля за пропуск статей, неудобных для путей сообщения (в “Инвалиде” и “Посреднике”), и третья от министерства государственных имуществ за непропуск в его журнале

статьи о торговле, которую он, Крылов, отправил на рассмотрение Клейнмихелю за то только, что в ней сказано, что хлеб у нас перевозится по водным сообщениям. Невероятно—однако правда. Крылов тем не менее в милости у председателя цензурного комитета.

1848

17 января 1848 года

Суббота. Гроза висит над “Отечественными записками”. Месяца три тому назад у каких-то мальчиков, учеников Горного корпуса, найдены либеральные идеи. Один из них признался, что эти идеи он почерпнул из “Отечественных записок”.

22 января 1848 года

Краевский служит в одном из корпусов наставником-наблюдателем, и потому в нем приняло участие начальство военно-учебных заведений, то есть Яков Иванович Ростовцев. Краевского призывал к себе великий князь Михаил Павлович. Он сделал ему несколько суровых замечаний насчет духа и направления издаваемого им журнала, а в заключение объявил, что питает глубокое отвращение ко всем журналам и журналистам. Краевский, однако, был отпущен без дальнейших последствий.

Говорят, что и о “Современнике” были неблагоприятные отзывы. Между тем Булгарин, Калашников и Борис Федоров не устают распространять самые черные клеветы на “Современник”. Булгарин каждую неделю разными намеками дает знать в “Северной пчеле”, что “Современник” зловредный журнал, так же как и “Отечественные записки”. Пора заклеймить, наконец, этих шпионов! Я пишу статью и хочу напечатать ее в академической газете “С.-Петербургских ведомостях”, чтобы не вводить в полемику “Современника”.

Калашников принимает деятельное участие в кознях против обоих журналов. Это был когда-то плохой автор и плохой учитель и пошел, наконец, в чиновники. Теперь он состоит директором канцелярии Коннозаводского управления. Стремясь к наживе, он написал, между прочим, книжку для чтения поселян Коннозаводского ведомства, как будто эти поселяне не такие, как все, и для них не годится прекрасное “Сельское чтение”, издаваемое Заблоцким-Десятовским — если только поселяне умеют читать. Он выпросил у начальства две тысячи рублей серебром пособия для напечатания своей книги. Книга издана, но оказалась очень плохою. “Современник” со всей своей умеренностью не мог не отозваться о ней дурно. “Отечественные записки” раскритиковали ее строже, а академическая газета еще строже. Калашников взбесился и, в совете с Булгариным (который числится на службе в его канцелярии), замыслил уверить начальство, что журналы, его покритиковавшие, чересчур либеральны и потому опасны: разве они не осмелились найти недостатки в его книге, изданной с одобрения начальства, и т.д. Начальство действительно убедилось, что журналы опасны, и начало действовать соответственно.

25 апреля 1848 года

Более трех месяцев не принимался я за мой дневник, а между тем в истории мира совершились важные события. Народы Европы до того созрели, что порешили жить самостоятельно, для самих себя. Франция, по обыкновению, подала пример. За ней последовали Германия и Италия.

Авторитет лиц уничтожен, и на место его водворен авторитет человечности, законности и права. Холопы нравственные и политические возмущены. Они называют это безначалием, своевольным ниспровержением освященного преданием порядка. Но ведь порядок, по их мнению, в том, чтобы масса людей пребывала в скотской неподвижности и страдала ради величия и благополучия немногих. Оно, может быть, и верно для некоторых обществ… азиатских. Но народы Европы приобрели себе право — и приобрели не дешевой ценой — право быть тем, чем они хотят быть. И вот настала пора увенчания их кровных трудов, исполнения их горячих обетов. Пусть их с Богом идут к своей великой судьбе. Без сомнения, они не осуществят всех идеалов человеческого разума. У них будут и свои тревоги, и свои страдания, и свои жертвы. Но у человека и бедствия да будут человеческие, и, конечно, в них больше отрадного, чем в благе, какое человек похищает у животного. На земле мало непреложных истин, но одна из самых несомненных та, что все живущее должно жить по законам своей природы, и кому суждено ходить среди тварей с головою поднятою вверх и с мыслью в голове, тот не совершит ничего хорошего, опустясь на низшую степень существ.

Но, по мере того как в Европе решаются вопросы всемирной важности, у нас тоже разыгрывается драма, нелепая и дикая, жалкая для человеческого достоинства, комическая для постороннего зрителя, но невыразимо печальная для лиц, с ней соприкосновенных. Несколько убогих литераторов, с Булгариным, Калашниковым и Борисом Федоровым во главе, еще до европейских событий пытались очернить в глазах правительства многие из наших журналов, особенно “Отечественные записки” и “Современник”. Но едва раздался гром европейских переворотов, как в качестве доносчиков выступили и лица, гораздо более сильные и опасные. Граф Строганов, бывший попечитель Московского университета, движимый злобой на министра народного просвещения Уварова, который был причиною увольнения его от должности попечителя, представил государю записку об ужасных идеях, будто бы господствующих в нашей литературе — особенно в журналах — благодаря слабости министра и его цензуры. Барон Корф, желая свергнуть графа Уварова, чтобы занять его пост, представил другую такую же записку. И вот в городе вдруг узнают, что вследствие этих доносов учрежден комитет под председательством морского министра, князя Меншикова, и с участием следующих лиц: Бутурлина, Корфа, графа Строганова (брата бывшего попечителя), Дегая и Дубельта.

Цель и значение этого комитета были облечены таинственностью, и оттого он казался еще страшнее. Наконец постепенно выяснилось, что комитет учрежден для исследования нынешнего направления русской литературы, преимущественно журналов, и для выработки мер обуздания ее на будущее время. Панический страх овладел умами. Распространились слухи, что комитет особенно занят отыскиванием

вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно или с ведома которых они проникли в публику. “Отечественные записки” и “Современник”, как водится, поставлены были во главе виновников распространения этих идей. Министр народного просвещения не был приглашен в заседания комитета; ни от кого не требовали объяснений; никому не дали знать, в чем его обвиняют, а между тем обвинения были тяжкие.

Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще более усложняли дело. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу родных и друзей…

22 августа 1848 года

Четыре месяца ничего не вносил в свой дневник, но за это время легко могло бы случиться, что и дни перестали бы для меня существовать. С первых чисел июня в Петербурге начала свирепствовать холера и до половины июля погубила до пятнадцати тысяч человек. Каждый в этот промежуток времени, так сказать, стоял лицом к лицу со смертью. Она никого не щадила, но особенно много жертв выхватила из среды простого народа. Малейшей неосторожности в пище, малейшей простуды достаточно было, чтобы человека не стало в четыре, в пять часов.

Ужас повсюду царствовал в течение целого лета. Умирающих на дачах около Лесного корпуса почти не было, но тем не менее все чувствовали себя в тяжелом, напряженном состоянии. Вести из города ежедневно приходили печальные, особенно с половины июня и до последних чисел июля.

27 октября 1848 года

Холера продолжает подбирать жертвы, забытые ею во дни великой жатвы. Последнее время холерные случаи стали чаще встречаться в среде людей высшего и среднего класса. В домах соблюдаются те же предосторожности, что и летом. Плодов, копчений и солений не едят, квасу не пьют.

1 декабря 1848 года

Чудная эта земля Россия! Полтораста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что это было притворство и фальшь: мы улепетываем назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная, чудная земля! Когда Бутурлин предлагал закрыть университеты, многие считали это несбыточным. Простаки! Они забыли, что того только нельзя закрыть, что никогда не было открыто. Вот теперь тот же самый Бутурлин действует в качестве председателя какого-то высшего, негласного комитета по цензуре и действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать. Вот недавний случай.

Далю запрещено писать. Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты? В “Москвитянине”

напечатаны его два рассказа. В одном из них изображена цыганка-воровка. Она скрывается; ее ищут и не находят, обращаются к местному начальству и все-таки не могут отыскать. Бутурлин отнесся к министру внутренних дел с запросом, не тот ли это самый Даль, который служит у него в министерстве? Перовский призвал к себе Даля, выговорил ему за то, что, дескать, охота тебе писать что-нибудь, кроме бумаг по службе, и в заключение предложил ему на выбор любое: “писать — так не служить; служить — так не писать”.

Но этим еще не кончилось. Бутурлин представил дело государю в следующем виде: что хотя Даль своим рассказом и вселяет в публику недоверие к начальству, но, невидимому, делает это без злого умысла, и так как сочинение его вообще не представляет в себе ничего вредного, то он, Бутурлин, полагал бы сделать автору замечание, а цензору выговор. Последовала резолюция: “сделать и автору выговор, тем более что и он служит”.

Граф Уваров сбросил графа Строганова с места попечителя в Московском университете. Строганов отметил ему в марте, представив государю записку о либерализме (коммунизме и социализме), господствующем в цензуре и во всем министерстве народного просвещения, так что граф Уваров сам едва удержался на месте. В сентябре он ездил в Москву. Тамошнее “Общество истории и древностей”, состоящее под председательством Строганова, занималось в это время печатанием в русском переводе записок Флетчера. Издание это предпринято на основании статьи цензурного устава, разрешающей печатать без извлечения предосудительных для России мест все, что пишется и писалось о ней до водворения дома Романовых. Граф Строганов лично разрешил записки Флетчера, в которых невыгодно говорится об Иоанне IV, Феодоре и о разных обрядах церкви, что, впрочем, давно уже напечатано в записках Бера. Шевырев, некогда ухаживавший за Строгановым, теперь представил министру, как неблаговидно в данную минуту печатать Флетчера и как дурно делает Строганов, допуская это. И как то всегда бывает на святой Руси, он подкреплял свое представление заверениями в собственной преданности и усердии к Богу и к царю.

Уваров приказал остановить печатание и довел это до сведения государя. Последовало повеление: объявить графу Строганову строжайший выговор через московского генерал-губернатора. Это неслыханный случай с генерал-адъютантом. Говорят, что Закревский не поцеремонился и послал к графу Строганову квартального надзирателя с приглашением явиться к нему для получения выговора.

Но дело не в этом: иже мерою мерите, возмерится и вам. Строганов, по выражению Гоголя, “нагадил” Уварову, Уваров — Строганову. Это в порядке вещей на святой Руси, где такие явления между государственными людьми только доказывают обычную и глубокую безнравственность, к которой все привыкли. Но за что погибла книга Флетчера — книга, полезная для нашей истории? За что пострадал секретарь “Общества” Бодянский, которого велели удалить в Казань? За что парализовано “Общество”, оказавшее немало услуг науке?

А в нашем кругу, то есть в ученом и учебном, вот как люди поставлены: если ты человек без дарования и делаешь худо свое дело — тебя выгонят за неспособность; если ты человек с дарованием и делаешь свое дело хорошо, тебя выгонят за то, что

ты человек способный, следовательно, опасный. Как же тут быть? Быть немножко глупым и немножко не глупым? В средние века жгли за идеи и мнения, но по крайней мере каждый знал, что можно и чего нельзя. У нас же бессмыслица, какой мир не видал. Вот вам и русская образованность.

Министр приказал деканам наблюдать за преподаванием профессоров в университете, особенно наук политических и юридических. Последним ведено представить программы своих предметов, составив их так, чтобы “все ненужное или лишнее” было из них выпущено, но “не вредя достоинству и полноте науки”.

В университете страх и упадок духа. Я присутствовал в заседании совета, в котором, между прочим, было читано предписание министра, чтобы ничто не печаталось от имени университета, что не сам университет издает. Да это же и не делалось! Очевидно, министр вербует факты для отчета государю: теперь конец года. Нужны пышные фразы, что приняты такие-то меры, сделаны такие-то распоряжения, запрещено то-то и т.д.

Между тем некоторые члены предложили вопрос: имеет ли право университет разрешать диссертации на ученую степень, что до сих пор он делал, придерживаясь смысла устава, и что принадлежит ему по праву. Ибо кто же будет цензуровать специальные сочинения, как не университет? Да притом разве университет не официальное место, и если ему не верить в этом, то как же верить в лекциях, где гораздо легче внушать мысли *“опасные”?* Некоторые члены, однако, порешили обратить это в вопрос и представить на разрешение министра. Я восстал против этого: самое сомнение в праве университета печатать самостоятельно диссертации обнаруживало преувеличенный страх, или, вернее, трусость, и совершенно ненужное уничижение, которое могло вредно на нем отразиться. Завязался спор. Приступили к собиранию голосов. За меня оказалось шесть, против меня *одиннадцать.* Любопытный факт, доказывающий, как настроены умы в университете.

2 декабря 1848 года

События на Западе вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах [понимай: в России]. Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим, который начинал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться.

Но образование это и мысль, искавшая в нем опоры, оказались еще столь шаткими, что не вынесли первого же дуновения на них варварства, И те, которые уже склонялись к тому, чтобы считать мысль в числе человеческих достоинств и потребностей, теперь опять обратились к бессмыслию и к вере, что одно только то хорошо, что приказано. Произвол, обличенный властью, в апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне.

Западные происшествия, западные идеи о лучшем порядке вещей признаются за повод не думать ни о каком улучшении. Поэтому на Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромен, клеймятся и обрекаются гонению и гибели. И готовность, с какою они гибнут, ясно

свидетельствует, что на Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего своего, а все чужое, наносное. Поворот назад, таким образом, сделался гораздо легче, чем ожидали и надеялись некоторые мечтатели. Это даже не ход назад, а быстрый бег обратно по плоской возвышенности.

Возник было вопрос об освобождении крестьян. Господа испугались и воспользовались теперь случаем, чтобы объявить всякое движение в этом направлении пагубным для государства.

Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного — и все, в течение полутораста лет содеянное Петром и Екатериной, будет вконец низвергнуто, затоптано… И теперь уже простодушные люди со вздохом твердят: “видно, наука и впрямь дело немецкое, а не наше”.

5 декабря 1848 года

Дело немецкое и на Западе идет назад. Восстание пока ни к чему не привело. На помощь потрясенным авторитетам явилась физическая сила и одержала верх в Париже, в Вене, во Франкфурте и в Берлине. Значит, или хотели дурного, или хорошее проиграно. Настоящая минута оказалась неблагоприятною для успехов человечества. Но неужели ж тем и кончится?

6 декабря 1848 года

Вчера один из молодых магистров, Варнек, защищал в университете диссертацию: “О зародыше вообще и о зародыше брюхоногих слизняков”. Вещь очень любопытная и прекрасно изложенная молодым ученым. Но на диспуте произошла непристойность. Диспутант, по обыкновению, сопровождал свою речь в иных местах латинскими терминами, иногда немецкими и французскими, которые ставил в скобках при названии технических предметов. Из этого профессор И.О.Шиховский вывел заключение, что Варнек не любит своего отечества и презирает свой язык, о чем велеречиво и объявил автору диссертации. Последний был до того озадачен этим новым способом научного опровержения, что растерялся и не нашел, что отвечать. Тогда профессор начал намекать на то, что диспутант якобы склонен к материализму, а в заключение объявил, что диссертация так нелепа и темна, что он не понял ее вовсе. Между тем Куторга, к кафедре которого и относится настоящее рассуждение, тут же вполне одобрил труд молодого ученого, и мы все, даже люди не специальные, с удовольствием слушали его любопытное и ясное изложение. Итак, вот один из профессоров вместо ученого диспута направился прямо к полицейскому доносу. Такова судьба науки на Сандвичевых островах. Мудрено ли, что тамошние власти презирают и науку и ученых?

15 декабря 1848 года

Новопожалованный католический епископ Боровский рассказывал мне о своем представлении государю. С ним вместе представлялся и Головинский и прочие

епископы. Государь сказал Головинскому:

— Не правду ли я вам говорил года полтора тому назад, что в Европе будет смятение? Головинский отвечал:

— Только что услышал я об этих беспорядках, как вспомнил эти высокие слова вашего величества и изумился их пророческому значению.

— Но будет еще хуже, — заметил государь. — Все это от безверия, и потому я желаю, чтобы вы, господа, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же меня касается, — прибавил он, сделав широкое движение рукой, — то я не позволю безверию распространяться в России, ибо оно и сюда проникнет.

Аудиенция продолжалась полчаса.

20 декабря 1848 года

Главное — быть достойным собственного уважения, все прочее не стоит внимания. Ты иначе воспитался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руководим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внутренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира — твое. Кто хотел быть полезен людям и не успел, потому что люди того не захотели, тот имеет право уединиться в самом себе.

Я хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, законности и уважения к нравственному достоинству человека, полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих начал: они слишком для него отвлеченны; оно не имеет вкуса к нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут место разуму, законности?..

Сколько раз бывал я обманут притворным и лицемерным изъявлением уважения к добру и истине! У всех на самом деле одна цель — исключительность положения, без всякого внимания к нуждам, правам и достоинству других. А сколькие еще, в пылу своей эгоистической деятельности, переходят от этого отрицательного равнодушия к действительному притеснению всех, кого могут теснить безнаказанно. Иные подчас принимают на себя личину образования, выказывают стремление к умственным или нравственным интересам. Не верьте, это чистая фальшь. Они похожи на дикарей, которые вместо куска грубой туземной ткани драпируются в европейский плащ, но ни сшить его сами, ни носить, как должно, не умеют.

Теперь в моде патриотизм, отвергающий все европейское, не исключая науки и искусства, и уверяющий, что Россия столь благословенна Богом, что проживет одним православием, без науки и искусства. Патриоты этого рода не имеют понятия об истории и полагают, что Франция объявила себя республикой, а Германия бунтует оттого, что есть на свете физика, химия, астрономия, поэзия, живопись и т.д. Они

точно не знают, какою вонью пропахла православная Византия, хотя в ней наука и искусства были в страшном упадке. Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползать из своих темных нор, куда загнало их правительство, поощрявшее просвещение. Теперь же все подпольные, подземные, болотные гады выползли, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается…

24 декабря 1848 года

Если наука не может существовать без некоторой доли независимости ума и самоуважения, так убьем науку, — вот основная мысль комплота обскурантов, которые теперь так усилились, что думают навсегда уничтожить дело Петра. Но вскуе шаташася языцы и людие поучашася тщетным? Успеют ли они в этом? Успеют во всяком случае усилить безнравственность, осудив на бедствие нравственные силы, которые все-таки уже начинали пробуждаться. Они хотят всю деятельность сосредоточить в пределах православия: но разве это деятельность? Впрочем, на обществе Сандвичевых островов можно выводить какие угодно узоры: оно всему подчинится. Оно всякой силе готово сказать: “идите княжить над нами”.

25 декабря 1848 года

Вчера с двенадцати до пяти часов занимался в “Обществе посещения бедных” раздачею пособий. На меня возложена также инспекция заведений, где воспитываются дети, находящиеся под покровительством общества.

27 декабря 1848 года

Какой-то негодяй Аристов, рязанский помещик, промотавший свое состояние, приехал в Петербург доматывать остатки его. Исполнив это с точностью, он придумал удивительный способ пополнить свою опустевшую казну. Он явился в III отделение и объявил, что ему известно существование заговора против правительства, участников которого он всех откроет и предаст, если только ему даны будут на то средства, то есть деньги. Дубельт, говорят, этому не поверил, но другие не только поверили, но и испугались. Доносчику дали денег. Он начал задавать пиры в трактирах и, накормив и напоив своих гостей, тут же передавал их переодетым жандармам как участников вышеупомянутого заговора. Таким образом было перехвачено человек семьдесят.

В числе их попался какой-то Лавров, племянник одного директора департамента, который хорошо знаком с Дубельтом. Он явился к последнему и объяснил, что племянник его самое невинное создание, никогда не читавшее ничего либерального и не мыслящее, вовсе не способное не только к заговорам, но даже и к простым разговорам. Но это еще не распутывало дела, которое могло бы продлиться, а может быть, и кончиться для многих дурно. К счастью, этот же самый директор получил от какого-то приятеля из Рязани письмо, в котором тот его просил

похлопотать о высылке из Петербурга некоего Аристова, известного у них плута, воришку, картежника, который наполнил всю губернию своими похождениями и долгами. Письмо это было представлено в III отделение, и таким образом, наконец, открылась комедия, которую играл этот негодяй, чтобы на выманенные деньги погулять. В заключение он сам во всем признался. Разумеется, всех невинно забранных отпустили, а молодца, говорят, отправили в арестантские роты.

31 декабря 1848 года

Холера опять усиливается. Недавно заболевших оставалось менее сорока, умерших бывало по двое, по трое в сутки и вновь заболевших не больше. Теперь больных сто, умерших вчера было уже двадцать два, вновь заболевших тридцать. В числе умерших несколько молодых людей из так называемого порядочного общества. Приписывают это чрезвычайным холодам, которые доходят до 27 градусов.

1849

4 января 1849 года

Существенная ошибка людей в понятиях о жизни есть та, что целью ее они считают счастье, тогда как разум должен ставить на место счастья долг. Счастие или наслаждения даны нам как пряности, как приправа жизни, без которых она была бы уж чересчур водяниста и невкусна. Но главное дело в том, чтобы мы исполнили *закон развития сообразно с основными требованиями или началами нашей природы.* Тут не спрашивается, хорошо ли или дурно будет это для нас: иди, делай, терпи и умирай, если этого требует закон жизни; лови также и наслаждение, где оно мелькнет перед тобою, но употребляй его умно, то есть не забывая, что его всегда или можно, или должно лишиться. Быть довольным собою не то, что быть счастливым, хотя в довольстве собой есть своя доля счастия. Но оно, главным образом, все-таки выражает то, что мы исполнили свой долг.

Наука столь же виновата в приписываемых ей волнениях и зле, сколько виновато солнце, при свете коего, как известно, совершаются многие и разные дела, хорошие и дурные. Но известно также, что все дела низкого рода, воровство, разбои и прочее, делаются предпочтительно ночью.

7 *января 1849 года*

В городе невероятные слухи о закрытии университета. Проект этого приписывают Ростовцеву, который будто бы подал государю записку о преобразовании всего воспитания, образования и самой науки в России и где он предлагает на место университета учредить в Петербурге и Москве два большие высшие корпуса, где науки преподавались бы специально только людям высшего сословия, готовящимся к службе. Правда, обскуранты полагают, что спасение России, то есть их самих, и крепостном состоянии и в невежестве, и они находят себе сочувствие в таких лицах, кои решают вещи одним почерком пера. Лица эти давно уже ненавидят университеты, а современные события в Германии ненавидят до ярости. Следовательно, невозможного в городских слухах ничего нет. Но ведь закрыть университет значит уничтожить науку, а уничтожить науку — это безумие в человеческом, гражданском и государственном смысле.

Во всяком случае ненависть к науке очень сильна. Недавно князь К. говорил мне вещи, от которых и страшно и стыдно становилось мне. Они забывают, что науке единственно Россия обязана, что Она еще есть, и нельзя же в самом деле выбросить из ее истории целых полтораста лет!.. Увидим, как произойдет это любопытное событие! В России много происходило и происходит такого, чего нет,

не было и не будет нигде на свете. Почему же не быть и этому?

15 января 1849 года

Должен подать и уже подал в отставку из Института путей сообщения. Там произошли удивительные преобразования, по плану и влиянию Ростовцева. Уничтожены офицерские классы, учрежден учебный комитет, заведующий, вместо инспектора, исполнительною частью в заведении, ведено процедить все программы так, чтобы мысль вся осталась на дне и затем была выброшена, — словом, институт, одно из полезнейших и лучших заведений в империи, каким он был до последних клейнмихелевских преобразований, — институт, подаривший России отличных инженеров, низведен до кадетского корпуса. Забавно, что Ростовцев одновременно говорил некоторым, что заведение это гибнет именно оттого, что его хотят поставить на корпусную ногу, и действовал так, чтобы из него действительно вышел корпус, да еще дрянной. Между прочими новостями заведены наставники-наблюдатели из посторонних лиц (любимая идея Якова Ивановича). Хотя я сам уже был инспектором по преподаванию русской словесности и в институте и в строительном училище, мне тоже дали такого наставника-наблюдателя, преподавателя тактики, известного жуира и бонвивана, да к тому же еще и немца, генерала Ортенберга. Само собой разумеется, я немедленно подал в отставку.

Любопытно, что на этой неделе несколько запрещений. Недавно вышло запрещение относительно спичек; потом запрещено лото в клубах, затем маскарады с аллегри. Любопытна фраза в акте последнего запрещения: не осмеливаться даже входить с просьбами о маскарадах-аллегри в пользу благотворительных заведений: это дозволяется только театру.

25 января 1849 года

Виделся с товарищем графа Клейнмихеля, генералом Рокосовским, который принял меня очень любезно. Он думает, что граф меня не выпустит из института и скорее отменит свое распоряжение. Мне сказали также, что меня представили к награде и что я могу потерять ее, если теперь выйду. Я объявил, что все-таки выйду.

— Получите по крайней мере награду, а потом выходите, — посоветовал мне добродушный инспектор Языков, — зачем лишаться того, что дают?

Должен был объяснить, что это противно моим правилам, что это было бы похищением награды и т.д. О Господи, о Господи!

30 января 1849 года

Мне предлагают новое дело. По министерству финансов и, кажется, особенно по департаменту внешней торговли, нужно лицо для редакции важнейших записок государю и т.д. Указали на меня как на человека с пером, и я получил приглашение занять эту должность в качестве чиновника особых поручений, разумеется, с сохранением настоящих моих должностей. Небольсин взял у меня записку о моей

службе и отдал директору. Уже было доложено министру финансов, который хотел только предварительно заручиться согласием на то министра народного просвещения. Последнему доложил о том попечитель и затем объявил мне, что граф согласен на это. Итак, теперь остается только министерству финансов сделать представление обо мне государю. Разумеется, я охотно принимаю это предложение, тем охотнее, что я за последнее время понес большие денежные потери, отказавшись от цензуры и от редакции “Современника”, который обещал мне тысяч до восьми в год. А теперь теряю еще 2000 в год от Института путей сообщения. Необходимо это чем-нибудь вознаградить: иначе придется опять попасть в когти нужде, с которой я уже был так долго и коротко знаком. Впрочем, она никогда не перестает вполне грозить мне.

3 февраля 1849 года

Слухи о закрытии университетов умолкают. Теперь говорят, что никто никогда об этом и не помышлял.

6 февраля 1849 года

Недавно был у меня князь Оболенский, начальник московского архива, и рассказывал мне о подвигах Шевырева и Погодина, чтобы выслужиться перед графом Уваровым: как они подвизались против графа Строганова, как подали донос о печатании Флетчера, как пострадало от того “Общество истории и древностей” и секретарь последнего Бодянский, и пр.

8 февраля 1849 года

Университетский акт. Плетнев читал отчет за прошедший академический год, Срезневский — диссертацию по части русского языка и славянских наречий. Плетнев в своем отчете старался, сколь возможно, выставить пользу и безопасность университетского образования. Он искусно воспользовался некоторыми местами прекрасной статьи Порошина, на днях напечатанной в академической газете:

“Об ученых торжествах”. Статья эта написана с целью защитить университеты от посягательства татар, которые только теперь и думают о том, как бы остановить в России науку и искусство под предлогом, что она-то, наука, и виновата во всем, что творится на Западе. Статья Порошина произвела сильное впечатление на людей просвещенных. Подействовала ли она на невежд? Это было бы всего важнее, ибо в наши печальные дни невежды располагают ходом событий. Но они ничего не читают.

На акте было довольно посетителей, много высшего духовенства, в том числе новый митрополит Никанор и знаменитый Иннокентий. Министр приехал почти к самому концу.

После акта Ростовцев отозвал меня в сторону и объяснил, что вовсе не знал о моем пребывании в Институте путей сообщения. Иначе он не рекомендовал бы в

наставники-наблюдатели по русской словесности Ортенберга. Это вина Клейнмихеля, который о том не вспомнил. Я возразил, что вовсе не приписывал ему того, что лично меня касается в этом деле, и что вообще потеря моя в настоящем случае невелика, так как я надеюсь вознаградить ее другим трудом. Таким образом, мы расстались друзьями.

Актом, кажется, все остались довольны.

10 февраля 1849 года

Заглянул в записки Флетчера, экземпляр которых как-то ускользнул в Москве из рук полиции и бежал сюда. “Общество истории и древностей” поступило с молодецкою отвагой, переведя и напечатав их в своих актах. Замечательно следующее: князь Оболенский, доставивший обществу книгу Флетчера в оригинале, расхваливает ее в своем предисловии “за верность сказаний и за беспристрастие”. А за его предисловием немедленно следует посвящение Флетчера своего труда королеве Елисавете. В этом посвящении он представляет ей картину удивительного правления, где тирания является как начало и система. А в самой книге, например, говорятся такие вещи: описывая всеобщее повальное рабство в России, автор отчаивается в возможности когда-либо другого порядка вещей в ней; дворянство, говорит он, не имеет никакого корпоративного духа и думает только о чинах и грабежах, народ до такой степени угнетен, что и думать не может о каком-либо противодействии, войско довольно тем, что может жить на счет других и грабить, — все разъединено. Да, эту книгу действительно нельзя было теперь печатать!

11 февраля 1849 года

Читал любопытную вещь: подлинное дело главного правления училищ о Магницком в 1826 году. Был по высочайшему повелению отправлен генерал-майор Желтухин в Казань для исследования действий Магницкого и вообще состояния тамошнего университета. Когда он возвратился, донесение его велено было рассмотреть главному правлению училищ. Это и повело к раскрытию многих поступков Магницкого. Так, например, он ввел в университет следующую дисциплину: во время обеда (кстати, очень плохого) читались молитвы; студент, в чем-нибудь провинившийся, назывался *грешником;* его отводили в *комнату уединения*, где не было ничего, кроме распятия и картины Страшного суда. К нему посылали священника, перед которым он должен был принести покаяние; затем его приобщали. Студенты во время общих молитв молились за *грешника*.

Двух молодых людей Магницкий отдал в солдаты, несмотря на отличный о них отзыв университета: одного за то, что от него *пахло вином*, другого за то, что он действительно раз напился. — Директора университета произвел в IV класс. Назначенные для учебных пособий пять тысяч рублей украл. — Отчетов никаких не мог представить. — Вообще действовал совсем произвольно, ни на что не испрашивая даже разрешения министра, а когда тот однажды дал ему предписание по делу Жобара, он не послушался его и отвечал дерзко. — Профессоров сменял и определял помимо совета, по своему личному усмотрению. — Определенный им

профессор из учителей семинарии, преподаватель латинского языка Кораблинов, так понравился Магницкому, что он поручил ему кафедры: политической экономии, дипломатики, истории философии, логики, а латинского языка само по себе. — Дал инструкцию ректору университета, которою во многом противоречил уставу. Там, между прочим, говорилось следующее: “Власть монархов нисходит от Бога в законном наследии и в тех пределах, кои возрасту и духу каждого народа свойственны”; “цель гражданства есть жертвовать счастием всех одному”.

В своем отношении о профессоре Куницыне Магницкий, между прочим, писал, что видит в нем “орудие врага Божия, потрясающее Неаполь, Мадрид, Турин, Лиссабон, внушающее Каннингу политическую исповедь его и вооружающее до 200 000 штыков и 200 линейных кораблей”.

В проекте об уничтожении в наших учебных заведениях философии Магницкий говорит, что преподавание этой науки невозможно без пагубы религии и престола. Год спустя, однако, он уже считал преподавание ее возможным, только с некоторыми ограничениями. Это мнение Магницкого было передано на обсуждение главного правления училищ. Все члены подали голос за философию и против Магницкого. Наиболее умные письменные отзывы по этому делу дали: Муравьев-Апостол, Крузенштерн и Мартынов; самые нелепые: Карнеев, бывший харьковский попечитель, и Ширинский-Шихматов, брат нынешнего товарища министра. Карнеев, например, осуждает философию за то, что она ни во что ставит черта и волшебников, как бы отрицая их существование, тогда как, по мнению его, Карнеева, черт и колдуны много бед производят на свете. Однако-же и он допускает логику и психологию, только не жалует метафизики. Князь Ливен, бывший после министром народного просвещения, объявил себя также на стороне философии. Все защитники ее, между прочим, опирались на то, что злоупотребления философии не должно смешивать с самой философией: ибо чего нельзя употребить во зло? Самая религия разве не подвергалась ужаснейшим злоупотреблениям. Еще в высшей степени ни с чем не сообразно мнение Штера.

Магницкий напал также на логику И.И.Давыдова, которою тот руководился при преподавании ее в Московском благородном пансионе. Некоторые члены главного правления училищ видели в ней даже безбожные мысли, другие нашли ее только темною и неудобною для преподавания, и потому решено было исключить ее из числа учебных книг и не печатать вновь, а цензуре сделать выговор за пропуск ее.

12 февраля 1849 года

В “Современнике” печатается чрезвычайно любопытная статья московского профессора Соловьева. Никто еще из наших историков не обнаруживал такого основательного и глубокого анализа, как этот ученый. От него многого следовало ожидать для нашей истории, которой до сих пор недоставало именно такого рода критических исследований. Но вот что случилось. “Безгласный” комитет, или, лучше сказать, Бутурлин, нашел, что статьи Соловьева хотя благонамеренны и безвредны, однако ему не следовало говорить в них о Болотникове! — особенно в журнале. Цензору ведено сделать замечание.

Я заходил в цензурный комитет. Чудные дела делаются там. Например, цензор Мехелин вымарывает из древней истории имена всех великих людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканского образа мыслей, — в республиках Греции и Рима. Вымарываются не рассуждения, а просто имена и факты. Такой ужас навел на цензоров Бутурлин с братией, то есть с Корфом и Дегаем.

Что ж это такое в самом деле? Крестовый поход против науки? Слепцы, они не видят, что, отнимая у идей, то есть у идей науки, способ идти вперед путем печати, они наталкивают их на путь изустных сообщений. А этот гораздо опаснее, ибо тут невольно примешивается желчь раздражения и негодования, которую в печати сдерживают и цензура и приличие. Пора бы, кажется, переменить пошлую политику угрозы и угнетения на политику направляющую. Но для этого потребовался бы ум не бутурлинский. Ведь в настоящем случае вызывается недовольство не в мальчиках-писунах, не в журнальных борзописцах, а в людях солидных, с дарованиями и с прошлым, людях с серьезным образом мыслей, которые уже действовали на общество и оказали важные услуги и образованию нашему и языку. Следовало бы по крайней мере хоть отличать тех от этих и уж если укрощать одних, когда они врут, то поощрять других. Но здесь все под одну шапку: вы все люди вредные, потому что мыслите и печатаете свои мысли.

Немудрено, если в понятиях водворяется хаос. Молодое поколение, не находя благородной цели своим стремлениям, удаляется от науки, от искусств, спутывает все основные понятия о жизни, о назначении человека и общества. В обществе нет точки опоры; все бродят как шалые или пьяные. Одни воры и мошенники бодры и трезвы. Одни они сохраняют присутствие духа и видят ясно цель своей жизни—в стяжании. Злоупотребления повсюду выступают открыто и нагло, даже не боясь наказания, которое случайно падает из сильной руки, а не из недр закона. Безнравственность быстро распространяется и как холера поражает даже души простые и не лишенные чувства чести, но не находящие безопасности в честных убеждениях и поступках. Наш попечитель, Мусин-Пушкин, сделан сенатором. На днях он мне говорил, что, читая сенатские записки, он приходит в ужас от беспорядков и злоупотреблений, свирепствующих в гражданских и уголовных делах. Он еще новичок в этой сфере, и потому его поражает эта гнилая атмосфера.

16 февраля 1849 года

Куторга посажен на гауптвахту на десять дней за пропуск каких-то немецких стихов, относящихся к 1847 году. Он с июля месяца уже не цензор.

25 февраля 1849 года

Несколько школьников из Училища правоведения гуляли в каком-то трактире, пели либеральные песни и что-то врали о республике. Двое из них теперь сидят в канцелярии графа Орлова. Тут попался, между прочим, какой-то князь Гагарин.

Как и за что посажен на гауптвахту Куторга? Я читал бумагу, где изложено

донесение великого инквизитора Бутурлина, что “пропущенные Куторгою немецкие стихи содержат в себе мистические изображения и неблаговидные намеки, несогласные с нашею народностью”. Но разве можно кого-либо обвинять таким мистическим образом? Это не все еще. Книга состоит из двух частей: первая пропущена в Дерпте профессором Неем, имя которого и выставлено на книге, а имя Куторги умолчено. Из этого Бутурлин с Корфом и Дегаем заключили, что Куторга учинил подлог, с намерением не выставил своего имени на печатном экземпляре, чтоб всю ответственность свалить на Нея. Вот почему и решено было посадить Куторгу на десять дней на гауптвахту, внести это в его послужной список и спросить у министра народного просвещения, считает ли тот возможным после этого терпеть Куторгу на службе? Все это было сделано без всякого расследования, без сношения с министром, без запроса Куторге. А последний уже лет пятнадцать как известен и в публике и на службе за полезного, талантливого ученого и благородного человека. Между тем оказалось, что имя Куторги напечатано на всех экземплярах, находящихся в продаже, но, по типографской опечатке или недосмотру, не выставлено на двух или трех экземплярах. О подлоге, значит, и помину нет, а о цензурном проступке даже сам государь отозвался, что считает его неважным. Куторгу освободили на пятый день. Вот как дей- ствует Бутурлин с братией!

6 марта 1849 года

Был у министра, чтобы лично испросить его согласие на определение меня чиновником особых поручений при министерстве финансов по департаменту внешней торговли. Он принял меня приветливо и сказал, что согласен, лишь бы университет от того не потерял. “Но ведь университет для меня не служба, а цель моей жизни”, — отвечал я. “Да, я сам так думаю, — отвечал министр, — и с моей стороны нет никаких препятствий для вашего нового назначения”.

8 марта 1849 года

Послал просьбу Языкову, директору департамента внешней торговли, об определении меня в министерство финансов.

Есть некто Самарин, молодой и богатый аристократ, человек весьма образованный и с замечательными способностями. Этот Самарин теперь в крепости. Он служил в Риге, при тамошнем генерал-губернаторе князе А.А.Суворове. Самарин вздумал, в виде писем к друзьям, описать состояние остзейских немцев и управления ими. Тут сильно достается и немцам, и Суворову. Автор смотрит на вещи с славянофильской точки зрения. Письма эти, собранные в тетрадь, заходили по рукам здесь и в Москве. Суворов пожаловался сначала Перовскому, а когда тот принял жалобу равнодушно, то самому государю, следствием чего и было заключение автора в крепость.

21 марта 1849 года

Самарин выпущен из крепости и еще даже при лестных для него условиях.

Прямо из крепости его позвал к себе государь. Таким образом он явился во дворец как был, небритый, в платье очень не парадном. Государь встретил его следующими словами:

— Обдумал ли ты, молодой человек, свое положение и свой поступок? Ты имел на то время.

— Если я моим поступком имел несчастие неумышленно оскорбить ваше величество, — отвечал Самарин, — то прошу милостиво меня простить.

— Ну, счеты наши кончены, — сказал государь, обнял его, поцеловал, потом прибавил: — Об отце твоем не тревожься: он успокоен. Садись.

По вторичному приглашению Самарин сел.

— Теперь поговорим. Знаешь ли ты, что могла произвести пятая глава твоего сочинения? Новое четырнадцатое декабря.

Самарин сделал движение ужаса.

— Молчи! Я знаю, что у тебя не было этого намерения. Но ты пустил в народ опасную идею, толкуя, что русские цари со времени Петра Великого действовали только по внушению и под влиянием немцев. Если эта мысль пройдет в народ, она произведет ужасные бедствия. Что за тем говорено было — мне не передано. Самарин, однако, пробыл больше часа в кабинете государя, который в заключение милостиво простился с ним, сказав:

— Поезжай немедленно в Москву и лично успокой отца. Мы скоро увидимся там. Ты до сих пор служил в министерстве внутренних дел, я дам тебе другое назначение.

Все это Самарин пересказывал Надеждину при нашем профессоре Неволине, который мне передал.

Государь и весь двор действительно едут в Москву, где, говорят, готовится какое-то большое народное торжество.

В Москве много толковали об аресте Самарина: он принадлежит к одной из известнейших русских фамилий и состоит в родстве со многими знатными домами. Теперь вместо Самарина посажен в крепость И.С.Аксаков, брат знаменитого славянофила, который расхаживает по Москве в старинном русском охабне, в мурмулке и с бородою.

26 марта 1849 года

И Аксаков выпущен. Впрочем, он не был в крепости. Его только три дня продержали в III отделении. Хотели узнать его образ мыслей и в этом духе делали ему вопросы, на которые он отвечал письменно. Государь, говорят, очень благосклонно принял эти ответы. Аксаков принадлежит к партии тех славянофилов, которые возбуждают дух народный с самого дна его и придерживаются старины в этом смысле. Ненависть к немцам тут не иное что, как выражение мысли: пора делать что-нибудь самим и из себя.

Мысль эта гораздо глубже, чем кажется иным и многим. Партия таких славянофилов должна быть сильна, ибо опирается действительно на народ. С ней в наружной оппозиции партия европейских людей, послепетровских, которые опираются на общечеловеческие идеи, на идеи науки и искусства. Но и у тех и у других есть оттенки, выражающие крайности. Главное в том, что обе эти партии начинают обозначаться явственно и определенно. Но так как у нас гласно ничего не высказывается, то они работают в кружках, без всякого, впрочем, соглашения, сближаясь по внутреннему влечению своих характеров или по идеям, прежде кем-нибудь высказанным печатно или словесно.

27 марта 1849 года

На днях вышло в свет “Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений”, составленное Ростовцевым. Люди недалекие в восторге от него. Другие недоумевают над этим притязанием скомкать всякую науку так, чтобы она была и наука — и то, что нам угодно. Основная мысль “наставления” та, что мы должны изобрести такую науку, которая уживалась бы с официальною властью, желающею располагать убеждениями и понятиями людей по-своему. Это уже не отрицательное намерение помешать науке посягать на существующий порядок вещей, но положительное усилие сделать из науки именно то, что нам угодно, то есть это чистое отрицание науки, которая потому именно и наука, что не знает других видов, кроме видов и законов человеческого разума. Ограничение науки в ее мнимых покушениях на что-то недоброе — это все-таки понятно. Но приводить ее в другие нормы, кроме тех, на какие указывает разум в своем постепенном развитии, — это уж что-то неисповедимое. Вот что называется служить двум господам. Все мы до гадости малодушны. Немногие для успокоения совести иногда решаются обманом, воровски пустить в ход ту или другую идею, провести ту или другую полезную народу меру, которая тут же, на их глазах, разлетается в прах от недостатка простора и содействия со стороны исполнителей. Наша эпоха — эпоха мелких душонок: нет ни сильных характеров, ни твердых умов…

29 марта 1849 года

Был на экзамене в Мариинском институте. На нем присутствовала великая княгиня Елена Павловна. Она была очень приветлива и любезна со всеми. Меня она спрашивала, доволен ли я ответами девиц, выражала желание, чтобы они говорили не заученное только по учебникам, но и думали о том, что отвечают. “А я сама, — заметила она потом, — видите, как дурно говорю по-русски. Но в этом виноват вот он”. И она с улыбкой показала на Плетнева.

Вот, между прочим, замечательные слова, сказанные ею в течение экзамена. Одной девице досталось говорить о состоянии России до Петра, и, разумеется, приходилось говорить и о невежестве, диких нравах и т.д. Ученица, по знаку учителя, немножко, как говорится, замялась и начала подбирать учтивые выражения. Великая княгиня заметила это и сказала: “Говорите, говорите прямо и свободно. Надо с русским чувством, но говорить о России правду”.

Вопросы, которые она задавала сама, и замечания, какие делала на ответы девиц, были очень умны. Она, очевидно, женщина образованная. На прощанье она подошла ко мне и с ласковой улыбкой проговорила: “Благодарю вас за терпение, с каким вы так долго оставались с нами”.

В самом деле, экзамен продолжался с часу до шести. Но благодаря простоте обращения и любезности великой княгини никто не ощущал особенного утомления.

7 апреля 1849 года

Холера опять усиливается. Заболевает человек по пятидесяти в день и умирает до тридцати. Почти весь март стояли холода, но дни были ясные. Вдруг наступила оттепель; улицы запружены грязью и кучками колотого льда. Люди дышат отвратительными испарениями, и смертность от заразы относительно усилилась.

3 апреля 1849 года

Праздники. Грязно, скучно, уныло. Ездил к заутрене в театральную церковь по дороге, до того изрытой выбоинами и ледяными кочками, что до сих пор не понимаю, как добрался до дому цел.

В прошедшем номере “Современника” была напечатана статья в защиту университета. Она произвела сильное впечатление на людей со здравым смыслом и на тех, кому дорога наука. Писал эту статью Давыдов, а министр исправлял ее, дополнял и в заключение дал позволение напечатать. За статью изъявлено неудовольствие, и ведено отныне ничего не печатать об учебных заведениях без особенного разрешения высшего начальства.

4 апреля 1849 года

Представлялся министру, виделся со многими, между прочим с князем Дондуковым и с Давыдовым. Бутурлинекий комитет обращался к министру с запросом: “на каком основании позволил он напечатать статью об университетах?” Министр отвечал, что статья написана по его распоряжению, в его кабинете и напечатана тоже по его распоряжению. Он считал и считает ее необходимою для успокоения учащих и учащихся в университетах и гимназиях и всех сильно встревожившихся слухами о закрытии университетов. Слухи эти приводили в смятение всех соприкосновенных с наукою. Статья достигла своей цели, ибо с появлением ее в печати все успокоились.

Запрещено печатать что-либо не об одних учебных заведениях, но и о каких бы то ни было учреждениях, мерах и распоряжениях правительства. Значит, отечественная статистика отныне становится невозможною.

16 апреля 1849 года

Ростовцев, в своей программе изображая Иоанна III, ясно говорит о другом

лице, тоже централизаторе. Странное заблуждение! Что ныне действуют по той же системе, это, может быть, и правда. Но в том-то и состоит ошибка. Иоанн III соединил механически то, что было только механически разъединено. Тверские, Рязанские, Новгородские области были населены русскими, связанными между собой внутренним единством духа, нравов, религий. Тут только стоило спихнуть с дороги князей, и части сами собой срастались. То ли теперь? Можно ли механически, насильственно спаять с Россией немцев, поляков, мусульман и проч.? Их можно удержать друг возле друга, но слить в одно нераздельное, нравственное целое — невозможно. Надо, чтобы они чувствовали себя довольными в сожительстве с Россией: вот одно доступное при таких условиях единство — единство интересов.

Впрочем, все это одни мечты, ни на чем не основанные, как разве на минутных вспышках внутренней душевной тревоги. Посмотрев на вещи ближе, нельзя не заметить, что провидение в конце концов лучше управляет вещами, чем нам часто кажется. Главное, надо с чистою совестью верить в лучшее, которое не нами строится. Вот на чем останавливаюсь я среди тревожных мнений и сомнений и что делает меня спокойным и верным исполнителем моих общественных обязанностей.

1850

6 февраля 1850 года

Сегодня министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов утвердил меня ординарным профессором русской словесности по представлению совета университета. Полагали, что я буду избран единогласно, однако два голоса было против меня.

12 февраля 1850 года

Авраам Сергеевич Норов сделан товарищем министра народного просвещения. Я был у него сегодня: он очень доволен. Меня встретил с распростертыми объятиями, заверениями в неизменной дружбе и доверии и просьбами быть ему помощником. Все ожидали, что товарищем нового министра будет Мусин-Пушкин (кажется, и он сам) с оставлением в должности попечителя. Но Ширинский-Шихматов ловко обошел его. Норов утвержден по его ходатайству.

22 февраля 1850 года

Годичное собрание в Географическом обществе. Меня предложили в члены его, и я сегодня был там. Председательствовал великий князь Константин Николаевич. Происходило избрание членов правления, разумеется, всех особенно занимал выбор вице-президента. Было предложено три кандидата: настоящий вице-президент Литке, Муравьев и наш попечитель Мусин-Пушкин. Из ста тридцати голосов Литке получил шестьдесят четыре, Муравьев — шестьдесят один, Мусин-Пушкин — три. Так как абсолютного большинства не оказалось, то приступили к баллотировке закрытыми записками. И тогда Муравьев получил шестьдесят пять, Литке шестьдесят три. Так называемая русская партия восторжествовала. Вот в чем ее торжество: в оказании величайшей несправедливости. Литке создал общество, лелеял его и поставил на ноги. Он в этом деле специальное ученое лицо; имя его известно и в Европе. А Муравьев чем известен? Он был где-то губернатором. И если б тут действовало хоть какое-нибудь убеждение! Каждый выпрашивал у другого голос за своего кандидата. Ко мне подходило четыре человека и, принимая за действительного члена, просили меня за Муравьева. Я отвечал, что если б имел право голоса, то, конечно, подал бы его за Литке. Мы с Никитиным (статс-секретарем) вышли в большой досаде. Вечер провел у Норова, где, как и во всех салонах, царствовали карты и скука.

Некоторые говорят: пусть хоть в чем-нибудь да выражается самостоятельное

общественное мнение. Но ведь это ребячество выражать его так неразумно. Литке упрекают в том, что он самовластно действовал при составлении устава. Но другие утверждают, что без него устав не был бы утвержден, так как в него хотели вплести много не относящихся к делу нелепостей, и обществу угрожала гибель в самом зародыше.

4 марта 1850 года

Домашний праздник у меня, на который собралось несколько лиц, и в том числе епископ Головинский. Это очень умный человек: о чем бы он ни говорил — о религии, о свете, об Европе, о России, о католицизме, — он всегда говорит с тактом, тонко и метко. Вот, например, его характеристика наших двух Филаретов, московского и киевского: вера первого — в уме, второго — в сердце.

16 марта 1850 года

Опять гонение на философию. Предположено преподавание ее в университетах ограничить логикою и психологиею, поручив и то и другое духовным лицам. За основание принимается шотландская школа. Говорят, Блудов настаивает, чтобы в программу была включена и история философии. Министр не соглашается. У меня был Фишер, теперешний профессор философии, и передавал свой разговор с министром. Последний главным образом опирался на то, что “польза философии не доказана, а вред от нее возможен”.

17 марта 1850 года

На днях был у Юсупова. Он пожертвовал университету десять тысяч рублей, чтобы из процентов учредить две стипендии в пользу бедных студентов, которые выкажут особенные способности и желание заняться изучением русского языка и русской истории. Я, между прочим, склонял его открыть для публики, хоть бы по билетам, свою богатую картинную галерею. Но у нас не принято служить общественным интересам иначе как в звании чиновника.

18 марта 1850 года

Заходил в цензурный комитет справиться о литературных новостях. Книг никаких нет, нет и рукописей, которые обещали бы книги.

Между прочим получена от министра конфиденциально бумага, по запросу верховного, или, как его называют, негласного комитета, следующего содержания: “Вышла гадальная книга. От цензурного комитета требуют, чтобы он донес, кто автор этой книги и почему автор думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей?” На это комитет отвечал, что “книгу эту напечатал новым (вероятно, сотым) изданием такой-то книгопродавец, а почему он думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей, — комитету это неизвестно”.

Ныне в негласном комитете председательствует, вместо Бутурлина, генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков.

Кажется, наша литература в последнее время уж очень скромна, так скромна, что люди образованные, начавшие было почитывать по-русски, теперь опять вынуждены обращаться к иностранным, особенно французским, книгам, однако же Анненков в каких-то книжках и журнальных статьях набрал шестнадцать обвинительных пунктов против нее, разумеется все из отдельных фраз, и приготовил доклад. Корф успел доказать нелепость этих придирок, но принужден был уступить в двух пунктах. Корф говорил своему брату, что все, что делается в негласном комитете, приводит его в омерзение, и что он давно бежал бы оттуда, если б не надежда иногда что-нибудь устраивать в пользу преследуемых. Сегодня я был у попечителя, который тоже порассказал мне много странного и просто непостижимого в действиях комитета.

22 марта 1850 года

Учреждено новое цензурное ведомство для учебных и всяких относящихся к учению и воспитанию книг. Это комитет, состоящий из директоров здешних гимназий, из инспектора казенных училищ, под председательством директора Педагогического института. Итак, вот сколько у нас ныне цензур: общая при министерстве народного просвещения, главное управление цензуры, верховный негласный комитет, духовная цензура, военная, цензура при министерстве иностранных дел, театральная при министерстве императорского двора, газетная при почтовом департаменте, цензура при III отделении собственной его величества канцелярии и новая, педагогическая. Итого: десять цензурных ведомств. Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурою, их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года.

Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочинений юридических при II отделении собственной канцелярии и цензура иностранных книг, — всего двенадцать.

28 марта 1850 года

Общество быстро погружается в варварство: спасай, кто может, свою душу!

11 апреля 1850 года

Читал бумагу об учреждении нового комитета для рассмотра сочинений по части наук и воспитания. Комитет обязан следить не только за духом и направлением этого рода сочинений, но и за “методом изложения их”, то есть за ученым и педагогическим достоинством их.

Освободясь от цензурных дел, поглощавших у меня так много времени и нравственных сил, я приготовился приступить к изданию моего курса словесности, этого плода многолетней опытности и моих лучших умственных усилий. Теперь все

это запрятано на дно моего стола…

Был вчера у Комовского. Он тоже сильно огорчен этим новым учреждением и с жаром выражал свое негодование. “В Европе напроказят, — заметил он в заключение, — а русских бьют по спине”.

13 апреля 1850 года

Был на днях у Позена. Он только что приехал сюда из своего екатеринославского поместья с больного женой. Жаль, что такой умный человек остается в бездействии. К тому же он сильно чувствует свое бездействие. Семейная идиллия его не удовлетворяет. Много было говорено о современных событиях. Я завел речь о Ростовцеве, с которым он дружен. Позен оправдывает его в приписываемых ему кознях против просвещения, против университетов. Недавно еще, говорил Позен, защищая своего друга, Ростовцев доказывал Блудову, что “не должно принимать крутых мер”. Не много же подвизается он в пользу благого дела! Впрочем, и вся защита Позена была слаба. Роль Якова Ивановича постоянно какая-то двойственная. Когда я упомянул о программах для военно-учебных заведений, Позен тотчас согласился, что они — знаменитая ошибка. Да теперь и само корпусное начальство сознается, что программы эти неосуществимы. Значит, им недостает даже практического достоинства.

14 апреля 1850 года

Выпускной экзамен в специальном педагогическом классе Смольного монастыря. Тут пепиньерки с обеих половин заведения (так называемой благородной и Александровской) в течение двух лет специально подготовляются к званию наставниц и гувернанток. Экзамен сильно отзывался подготовкой. Девицы отвечали наизусть заученные фразы. Судьи, однако ж, остались довольны. Тимаев (инспектор классов) сказал очень умную речь. Говоря в ней, между прочим, о том, как мало ценится у нас вообще звание наставника, он прибавил, что “мы, сильные наградою и убеждением своей совести, не жалуемся на это, но только желаем, чтобы непризванные, под личиной усердия, не мешали святому делу просвещения и не трудились бы искажать человечество”. Мысль эта кое-кому не понравилась.

24 апреля 1850 года

Праздники. Шум, толкотня, суматоха. Был у заутрени в церкви театрального училища. Пели дурно и так скомкали всю службу, что в два часа я был уже дома. Сегодня же поздравляли министра. Было много людей, или тех, которые называются людьми. Забавно видеть, как все они обнимаются и целуются по-братски. В министре заметна еще непривычка к своему новому положению. Впрочем, он по-христиански со всеми перехристосовался.

6 октября 1850 года

А.И.Селин, адъюнкт русской словесности в Киевском университете, еще в прошлом году приехал сюда, чтобы держать экзамен на доктора. Он умен, талантлив и благороден. У меня он на днях прекрасно выдержал экзамен. Диссертация его написана умно и живо. Но Срезневский побил его жестоко на филологических вопросах. Это был бой буквы с духом — и буква одержала победу. Бедный Селин не принял надлежащих мер против напора педантизма, считая себя довольно сильным в деле мысли и художественного слова. Но Срезневский доказал ему, что мысль может и не существовать в науке, что она во всяком случае не главное в ней. Впрочем, он согласился дать Селину месяца три на исправление ошибки и обещался помочь советами и книгами: это по-человечески. Декан и ректор, уважая талант и прочие знания Селина, охотно согласились на это.

18 октября 1850 года

Бедный Селин окончательно побит, но уже не буквою, а людскою недобросовестностью. В дело вмешался Иван Иванович Давыдов, который почему-то вообразил себе, что Селин ищет места адъюнкта в здешнем университете, тогда как он сам хлопочет за кого-то из своих. Он так настроил Срезневского и Устрялова, что те тоже стали недоброжелательно относиться к Селину. Срезневский, вопреки своему первоначальному обещанию, теперь объявил ему, что он в три месяца никак не может приготовиться к экзамену и вообще выказывает большое нетерпение в отношениях с ним. Бедный Селин в отчаянии. Он боится, чтобы это не уронило его окончательно в глазах министерства и, чего доброго, не заставило потерять место, которое он теперь занимает при Киевском университете. Предосудительнее всех здесь действует И.И.Давыдов, потому что он в глаза Селину уверяет его в дружбе, а за глаза строит ему козни. Чтобы спасти Селина, я отправился к Норову, в настоящую минуту управляющему министерством, и постарался заинтересовать его и директора департамента в пользу этого бедного игралища мелких страстей. Таким образом мне удалось по крайней мере отвратить от Селина худшую из грозивших ему бед — выход из службы.

21 октября 1850 года

Управляющий министерством передал мне секретно для рассмотрения “Грамматику русского языка” И. И.Давыдова, с тем чтобы я сделал на нее свои замечания.

29 октября 1850 года

Рассмотрел грамматику Давыдова. В ней самостоятельного только предисловие и введение, остальное заимствовано из разных уже существующих у нас трудов по части языка. Вообще книга эта полезна для учащих, но не для учащихся, ибо изложение ее крайне туманно и, особенно в введении, напыщенно, от чего парализуются ее достоинства.

17 декабря 1850 года

Новое постановление о чиновниках. Начальник имеет право исключать чиновника из службы за неблагонадежность или “за проступки, которых доказать нельзя”, не изъясняя ему даже причины его увольнения. А если бы чиновник все-таки захотел оправдаться, от него “не велено нигде принимать просьб и никаких объяснений”. Таким образом значительная часть народонаселения в государстве мигом, одним почерком пера лишена покровительства законов. Между тем чиновник, совершивший настоящее очевидное преступление и преданный уголовному суду, имеет право оправдываться перед этим самым судом. Я читал все постановление и не знал, чему больше удивляться: отсутствию в нем самой простой справедливости или здравого смысла. Интересно, между прочим, что в постановлении предусмотрена возможность злоупотребления власти со стороны начальников, — и все-таки ничего не сделано для ограничения их права самовольно решать судьбу людей!

18 декабря 1850 года.

В гимназиях приказано учить фронту.

Географическое общество возложило на меня издание VI книги его трудов и критический разбор всех до сих пор вышедших книжек. Кроме того, Общество посещения бедных поручило мне написать устав Кузнецовского женского училища.

1852

3 января 1852 года

Два комитета, по поговорке, как снег на голову свалились на меня — оба по военному министерству. Один для исследования методы преподавания русского языка в здешнем батальоне кантонистов, предложенной каким-то учителем, а другой для устройства учебной части вообще для всех кантонистов в империи. Их до тридцати тысяч в школах, а всего до трехсот тысяч в империи, и обучают их как попало, без всякого общего направления. Теперь хотят дать их обучению надлежащее устройство. Всего забавнее в этом деле то, что столь важную, сложную и запущенную часть надо привести в порядок, не требуя ни копейки денег. Между тем, например, в классах по 50, по 60 человек учатся читать по книжке, одной на весь класс, и т.д.

6 января 1852 года

Был вечером вместе с графом Д.А.Толстым у прелестной женщины Опочининой, урожденной Скобелевой. Была там и жена ее умершего брата, бывшая Полтавцева, не столь прелестная, как первая, но, по-видимому, большая умница. Вообще обе эти дамы читают, и даже по-русски, интересуются мыслию, поэзией, искусством и в разговорах касались предметов, о которых редко толкуют в салонах. Они говорили о ничтожестве и пустоте светской жизни и стереотипности нынешнего аристократического поколения, о жалкой необходимости, однако ж, быть с ней заодно, о прелести заграничной жизни и природы… Опочинина особенно в восторге от Неаполя. В течение вечера были прочитаны: моя статья о графине Е.П.Ростопчиной и произведение Майкова “Выбор смерти”. Чтение сопровождалось оживленными прениями и нередко меткими замечаниями обеих слушательниц. Вечер, таким образом, прошел незаметно, и я вернулся домой после двух часов ночи.

8 января 1852 года

Сегодня был невольно зрителем “величественного”, как говорится в реляциях и некоторых стихах, зрелища. Возвращаясь из университета с лекции около полудня, я наткнулся на парад. Войска заливали всю Исаакиевскую площадь и набережную от Сената до Благовещенского моста: не было возможности ни пройти, ни проехать на ту сторону площади. Такие парады обыкновенно на целые полдня прекращают сообщение между главными частями города. Какие бы ни были у вас нужды — вас

не пропустят ни пешком, ни в экипаже. Раз так было со мной. Жена моя захворала; доктор ее жил на Васильевском острову. Я бросился за ним и был остановлен парадом. Между тем каждая минута была дорога.

Я метался из стороны в сторону — нигде прохода. Наконец мне удалось объехать парад у нового адмиралтейства, и то с величайшим трудом и бесконечными остановками. А бедная больная все время оставалась без помощи. Что я тогда вытерпел в моей борьбе с парадом — трудно передать. В настоящем случае я мог спокойно переждать часа три времени, пока добрался благополучно домой.

11 января 1852 года

Экзамен в Кузнецовском училище, где я заведую нравственною и учебною частью. Девочки отвечали хорошо, ничуть не хуже тех, которые воспитываются в казенных заведениях.

Вечером сегодня был у меня Леонтьев, московский профессор и издатель “Пропилеи”. Наружность его не привлекательна: небольшой ростом, он горбат, но лицо у него умное. Он передавал мне о подвигах Шевырева, например, как тот устроил удаление из университета Каткова, чтобы занять самому назначавшуюся последнему кафедру педагогии; как добился он деканства, вооружив попечителя и генерал-губернатора против Грановского, которого было избрал в деканы факультет, и т.д. Леонтьев прибавил, что Шевырев вообще сделался теперь в Москве чем-то вроде нашего Булгарина. Интересно, что все свои некрасивые поступки он оправдывает тем, будто действует во имя какого-то высшего принципа, ради которого даже приносит в жертву свое имя.

Граф А.С.Уваров рассказывал мне на днях, как он боролся с цензурою при печатании своей книги, недавно вышедшей, “О греческих древностях, открытых в южной России”. Надо было, между прочим, перевести на русский язык несколько греческих надписей. Встретилось слово *демос* — народ. Цензор никак не соглашался пропустить это слово и заменил его словом *граждане*. Автору стоило большого труда убедить его, что это был бы не перевод, а искажение подлинника. Еще цензор не позволял говорить о римских императорах убитых, что они убиты, и велел писать: погибли, и т.д.

16 января 1852 года

Пробные лекции на должность моего адъюнкта при университете. Состязались четыре кандидата. Темою было: “О слоге вообще и о русских писателях, образовавших литературные школы в нашей словесности”. Первый читал Лебедев — основательно, но крайне сухо. Второй — Сухомлинов: опять основательно, но в то же время умно и живо. На этих двух лекциях присутствовал и министр. Затем Введенский также выказал достаточно сведений, но изложил их неосновательно, непоследовательно, с наезднически-семинарским ухарством. Между прочим он очень неловко выразился, говоря о Ломоносове, что тот так много сделал “потому, что был мужик”. Тимофеев говорил также очень хорошо. Общее мнение — кроме

интригующих за Введенского—в пользу Сухомлинова и Тимофеева, и особенно склоняется в пользу первого.

18 января 1852 года

Был на балу у товарища министра Норова. Там блистали две звезды: Бутков, в короткое время сделавшийся управляющим делами комитета министров и теперь страшно увивавшийся около дам, и красавица Анненкова. Она великолепно и безукоризненно хороша.

19 января 1852 года

Факультетское собрание для выбора адъюнкта. Я прочитал мое донесение о достоинстве программ, представленных соискателями. Потом приступили к выбору. Сперва спросили моего мнения. Я назвал двух: Сухомлинова и Тимофеева, но преимущество отдал первому, хотя второй ближе моему сердцу как мой ученик и близкий человек. Но за Сухомлинова широта взглядов и, при равных познаниях, большая даровитость и изящество в изложении. Ректор и все прочие согласились со мной, кроме М.И.Касторского, который очень неловко защищал Введенского и упрекнул меня в том, будто я “придираюсь” к его кандидату. Но он сам тотчас же увидел неприличие своей выходки и извинился. Срезневский колебался между той и другой стороной. В заключение, однако, победа, как и следовало по справедливости, осталась за Сухомлиновым. С ним вместе торжествую и я. Вся моя забота состояла в том, чтобы не допустить науку попасть в руки буквоедов, которые непременно постарались бы вытрясти из нее жизнь и душу и затем потешались бы над трупом ее, делая свои анатомические и филологические препараты.

21 января 1852 года

Факультет очень занят моим донесением о программах и осыпает его похвалами. Это хорошо, но еще лучше то, что кафедра по дорогому для меня предмету, отечественной словесности, попала в руки ученого, который не унизит ее достоинства.

23 января 1852 года

Сегодня у попечителя застал помощника его князя Щербатова и профессора педагогии Фишера. Разговор, между прочим, коснулся проекта Давыдова о том, чтобы присвоить кафедре педагогии ученые степени магистра и доктора. Но за этим кроется другой умысел. Давыдову хочется, чтобы право производить в эти ученые степени было предоставлено Педагогическому институту, то есть ему. Это уже не первый опыт И. И. забрать в свои руки то, что плохо лежит по министерству народного просвещения. Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего

употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как доказательство своей силы, они представляют одни итоги нахватанных ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презирать тех, которым недостает охоты или уменья идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми? Они довольны собой и своими успехами, тогда как мудрец обыкновенно не доволен ни собой, ни результатами своих усилий, да вдобавок подчас еще голодает, холодает и сносит толчки от своих менее щепетильных ближних. На это один ответ: волку волчье счастье, барану — баранье, птице — птичье…

25 января 1852 года

Общество опять оживилось. Судьба послала ему интересный предмет для разговора за преферансом и ералашем. На днях велено посадить на гауптвахту генерал обер-аудитора, тайного советника и александровского кавалера Ноинского за то, что в каком-то уголовном деле об одном капитане поводом к смягчению наказания была принята долговременная служба виновного: в эту службу случайно зачлись и те восемь лет, которые он провел, учась в Дворянском полку. Говорят, что это ошибка какого-то мелкого чиновника, который вообразил себе, что подсудимый служил в Дворянском полку, принимая слово полк в настоящем его смысле, а не в смысле корпуса или училища.

Другой предмет разговора: офицер Безобразов в маскараде Дворянского собрания в пьяном виде разрубил саблею череп какому-то молодому человеку, ничем его не оскорбившему. Говорят, раненый умер.

8 февраля 1852 года

Акт в университете. Читали: Плетнев отчет за прошлый год и Куторга (Степан) о геогнозических своих наблюдениях над Петербургской губернией и о карте, которую составил.

16 февраля 1852 года

В Париже выдуман какой-то новый танец и назван.мазепой. В фельетоне академических “Ведомостей” об этом сказано несколько слов с замечанием, что этот танец, вероятно, распространится везде. Министру показалось, что тут скрывается насмешка над Россией. Он позвал к себе бедного Очкина и сделал ему строжайший выговор с угрозой отдать его под суд.

19 февраля 1852 года

В Одессе своровано. Председатель тамошнего коммерческого суда Гамалея, в надежде, что останется при своей должности и на второй срок, крал казенные

деньги, то есть забирал их у казны без всяких формальностей, под одни свои расписки. Казначей как подчиненный не смел отказывать ему. Да и как бы он отказал, имея в виду страшный закон, в силу которого начальник может уволить чиновника, не объясняя даже причины того? Таким образом из кассы было вынуто сто тысяч рублей серебром. Между тем наступило время новых выборов, и казнокрад не был более выбран в председатели. Тогда он является к казначею, говорит ему, что им обоим грозила гибель, но что он, Гамалея, нашел средство извернуться, и кладет на стол конверт. Затем требует обратно свои расписки и, получив их, тут же бросает в топившуюся печь. Казначей открывает пакет: там вместо ассигнаций простая бумага. “Ну, — говорит ему бывший председатель, — теперь один из двух, обреченных на гибель, спасен. Но я и для вас придумал средство уйти от беды. Вот в этой склянке яд: примите его, и вам больше некого и нечего бояться”. Казначей повиновался, но по уходе председателя ему была подана помощь, и дело открылось.

Все это похоже на басню, но весь город о том толкует. Мне передавал это один из значительных чиновников министерства внутренних дел.

20 февраля 1852 года

Камергер и статс-секретарь Гаврила Степанович Попов, известный своими стихотворными подписями к портретам своих приятелей, знакомых и к своему собственному, — Попов, этот человек очень добрый, но немного ограниченный, посажен на гауптвахту почти за то же самое, за что и Ноинский. Сенат приговорил кого-то к ссылке в Сибирь на полтора года. Государственный совет подтвердил решение сената, но цифра срока наказания притом оказалась измененною на два года с половиною. Редактором журнала, уже утвержденного и государем, был на этот раз Г.С.Попов. Когда бумага дошла до министра юстиции, тот крайне удивился, что уже утвержденное решение сената изменено Государственным советом, — и это без всякого объяснения причин. Он вступил с запросом в совет, и дело объяснилось ошибкою. В заключение Попову велено просидеть сутки на гауптвахте. Тут, впрочем, ошибка была хуже, чем в деле Ноинского; там наказание смягчалось, а здесь усиливалось.

22 февраля 1852 года

В Москве несколько профессоров читали публичные лекции в пользу бедных студентов. Лекции эти собраны и изданы в отдельной книге. Там, между прочим, помещена и лекция Рулье “О переворотах земного шара, предшествовавших его образованию”. Автор, стараясь согласить положения науки с повествованием книги “Бытия”, делает ссылки на библию. Министр нашел это противным религии и поднял тревогу. Но московский попечитель прислал объяснение, которое уладило дело. В городе, однако, еще не умолкают слухи, что книга будет запрещена и т.д.

Я получил от Грановского его четыре лекции. Они превосходны и по содержанию и по изложению.

24 февраля 1852 года

Сегодня получено известие о смерти Гоголя. Я был в зале Дворянского собрания на розыгрыше лотереи в пользу “Общества посещения бедных”; встретился там с И.И.Панаевым, и он первый сообщил мне эту в высшей степени печальную новость. Затем И.С.Тургенев, получивший письма из Москвы, рассказал мне некоторые подробности. Они довольно странны. Гоголь был очень встревожен смертью жены Хомякова. Недели за три до собственной кончины он однажды ночью проснулся, велел слуге затопить печь и сжег все свои бумаги. На другой день он рассказывал знакомым, что лукавый внушил ему сначала сжечь некоторые бумаги, а потом так его подзадорил, что он сжег все. Спустя несколько дней он захворал. Доктор прописал ему лекарство, но он отверг все пособия медицины, говоря, что надо беспрекословно повиноваться воле Господней, которой, очевидно, угодно, чтобы он, Гоголь, теперь кончил жизнь свою. Он не послушался даже Филарета, который его решимость не принимать лекарств называл грехом, самоубийством. Очевидно, Гоголь находился под влиянием мистического расстройства духа, внушившего ему несколько лет тому назад его “Письма”, наделавшие столько шуму.

Как бы то ни было, а вот еще одна горестная утрата, понесенная нашей умственной жизнью, — и утрата великая! Гоголь много пробудил в нашем обществе идей о самом себе. Он, несомненно, был одною из сильных опор партии движения, света и мысли — партии послепетровской Руси. Уничтожение его бумаг прилагает к скорби новую скорбь.

На днях умер также генерал Зедделер. Это уж более личная для меня потеря, так как я состоял в дружеских с ним отношениях. Это был человек честный, прямодушный и довольно образованный. К недостаткам его можно отнести немецкую флегму и слабость характера, проистекавшую из чрезмерной доброты. Ему было лег шестьдесят. Он, между прочим, усердно и добросовестно занимался “Энциклопедическим военным лексиконом”, хотя выгоды от того были сомнительные.

Умы нашего века находятся в каком-то неестественном, лихорадочном состоянии. Человек обладающий выдающимися умственными способностями, непременно бросается в какую-нибудь крайность. Он не преследует своей идеи с настойчивостью упорной, разумно сознающей себя воли, а судорожно цепляется за нее, точно боясь выпустить из рук ее, а с нею и блага, какие она обещает. Есть какой-то недостаток душевной зрелости, ясного целомудренного взгляда на жизнь и человека; есть какой-то недостаток простоты и непосредственного мужества в этих порывистых стремлениях к умственным отличиям. Иные видят в этом беспокойство великих нравственных сил, которые оттого так рвутся и мечутся, что им душно и тесно в своей сфере. Мне же кажется, что это недостаток нравственной силы, которая не умеет владеть собой. Жизнь всегда и везде есть теснота для духа; но он должен стать выше жизни. Великий характер тот, который умеет наполнять собою всякую сферу.

Общество должно обновиться в свежих и светлых верованиях, иначе разврат

пожрет его. Опора этих верований должна быть найдена в самом человеке. Мысль, что добро хорошо само по себе, что оно есть условие естественного развития и успешного применения к делу наших нравственных сил, что оно, то есть добро, есть нормальное здоровое состояние их, — эта мысль должна сделаться основой наших стремлений и поступков. Тело наше принадлежит планете, где мы живем, разум принадлежит духу всеобщей жизни, который всему дает смысл и гармонию. Из этого двоякого отношения человека к планете, где протекает его физическая жизнь, и ко всеобщим законам жизни образуется его деятельность, история. Мы можем улучшать материальное бытие свое, но не можем безнаказанно отрываться от начал, кои выходят из круга определенного времени и пространства, кои относятся к высшему и всеобщему порядку вещей. Хотя бы эти начала были доступны нам только в форме верований, а не ясных, точных представлений, все-таки мы не можем не следовать их призывному голосу. Этим выражается наша разумность, не повиноваться которой мы не можем, как не можем не следовать законам физических нужд.

Должно беспрестанно ставить на вид новому поколению:

1 — необходимость и непреложность основных верований разума; 2 — художественную обработку самих себя по идее доброго, ради превосходства этого доброго над всем недобрым; 3 — мужество в борьбе не с одним только физическим злом, но и со всем тем, что противоречит распространению и владычеству разумных верований.

25 февраля 1852 года

Нередко знание своего незнания есть великое знание. Встретился в зале Дворянского собрания с И.В.Анненковым, издателем сочинений Пушкина. Государь позволил печатать их без всякой перемены, кроме новых, какие найдутся в бумагах поэта: последние должны подвергнуться цензуре на общих основаниях. Новых, говорит Анненков, очень много. Разумеется, их трудно будет поместить в предстоящем издании. Анненков за все заплатил вдове Пушкина пять тысяч рублей серебром, с правом напечатать пять тысяч экземпляров. Выгодно!

26 февраля 1852 года

Нет! Нерелигиозное чувство воодушевляло Гоголя! Религиозное чувство животворит и спасает, а не раздирает душу и губит. Это или душевная болезнь, или просто тревоги слабой души, неспособной вынести величия посетившей ее мысли и изнемогающей под бременем своих полуверований и полуубеждений…

1 *марта 1852 года*

Наследник цесаревич сделал могучий отпор блудовскому знаменитому проекту о пенсионах по учебному ведомству. Писан проект Ростовцевым. Я сам его не читал, но слышал от тех, которые его читали. Блудов, например, между прочим выражает

мысль, что пенсионы суть не вознаграждение за службу государству, а милость правительства, и потому их следует назначать не по определенной норме, а по личному усмотрению властей, соображаясь с общественным положением лица. А ведь Блудов вовсе не злой человек и считается в числе наших образованных государственных людей. Знающие его близко, правда, считают его поверхностным, болтливым, охотником до беспочвенных идей и до воздушных замков, которые он принимает за гениальные создания мысли. По крайней мере так всегда отзывался о нем К.М.Бороздин, сам человек умный и коротко знавший Блудова. Всем известно между прочим, что по части законодательных работ он имеет неоцененного помощника в лице Губе, который и есть их главный автор. Года два тому назад я сам видел у нашего ректора проект Блудова о преобразовании университетов: это замечательный хаос. В нем, между прочим, выдаются за новые многие положения, уже давно вошедшие в закон или в обычай университета. Хороша еще там мысль, чтобы профессор читал не только свою науку, но еще и другую какую-нибудь соприкосновенную с ней, для того, говорит автор проекта, чтобы студенты были всегда заняты. В этих премудростях Губе, говорят, уже не участвовал.

16 марта 1852 года

В цензуре подвергнуты запрещению Кантемир и две басни Хемницера: “Лев, учредивший совет” и “Привилегия”. На докладе Главного управления цензуры подписано: “Согласен. Кантемира во всяком случае нет пользы печатать: он только занимает место на задних полках библиотек”.

24 марта 1852 года

На место генерала Зедделера назначен генерал Димитрий Сергеевич Левшин. Кажется, он человек не без образования. Он призывал меня, и мы много толковали об устройстве кантонистов, которое ему поручено. Действительно, это важное дело, ибо оно касается 35 тысяч кантонистов (всех их в империи 300 тысяч), которые, смотря по обстоятельствам, могут сделаться опасными разбойниками или людьми полезными. Когда Левшин представлялся государю после своего нового назначения, тот сказал ему:

— Займитесь хорошенько кантонистами. Желаю им всем быть фельдмаршалами, но надо прежде, чтобы каждый был хорошо приготовлен к исполнению своей настоящей обязанности. И потому главное тут — дисциплина, основанная на страхе Божием.

5 *апреля 1852 года*

Думать постоянно о трудностях своего положения — это только усугублять их. Когда впереди у тебя пропасть, не смотри ежеминутно в нее — голова закружится, а лучше озирайся повнимательнее вокруг: редко случается, чтобы не открылась тропинка, по которой можно и обойти опасное место.

Жить не значит предоставить лодке плыть по течению, а значит неусыпно бодрствовать у руля. Кто умеет плавать, тот спасается, даже если лодка опрокидывается, а кто не умеет, тот тонет.

9 апреля 1852 года

Встретил сегодня на Невском похороны министра финансов Врончено. Процессия тянулась от Знаменья, мимо Литейной, вплоть до Александрийского театра. Длинная вереница экипажей, безмолвная толпа, чиновники в лентах на ступенях печальной колесницы, подушки с орденами — вот и все… Покойный был человек рутины. Говорят, он был добр, то есть не делал зла, когда мог его делать, не воровал, когда мог бы воровать. Его ценили за безмолвную исполнительность. С подчиненными он был груб, не любил официального блеска, был циник в одежде и обращении.

17 *апреля 1852 года*

Вчера Тургенев, автор “Записок охотника”, по высочайшему повелению, посажен на *съезжую* за статью, напечатанную им о Гоголе в “Московских ведомостях”, где Гоголь назван *великим.* Тургенева велено продержать на съезжей месяц, а потом выслать из столицы в деревню, под надзор полиции.

Сейчас я встретился с Языковым, который говорил мне, что был у Тургенева. Последний действительно сидит в настоящей съезженской тюрьме, но здоров и спокоен. “Я спокоен, — сказал он Языкову, — потому что не мучаюсь неизвестностью. Мне сказано все, чему я должен подвергнуться, и я уже не опасаюсь, что меня будут истязать” и т.д.

В Тургеневе, конечно, хотели заклеймить звание литератора, но он, кроме того, еще чистокровный русский дворянин, и унизительное наказание, какому его подвергли, едва ли произведет на публику то впечатление, на какое рассчитывали. В нем одновременно оскорблены чувства дворянства и всех образованных людей.

Да и вообще такие меры никогда не препятствуют распространению идей. Более того: одна такая мера опаснее десяти напечатанных либеральных статей. Напрасно полагают, что зло только то, что печатается: зло также и то, что думается.

Не следует плевать в глаза уму, хотя бы он и заблуждался, и наказание не должно превращать в обиду.

18 апреля 1852 года

Страшное, удручающее впечатление произвела на меня беда, стрясшаяся над Тургеневым. Давно не помню, чтобы меня что-нибудь так трогало и огорчало. Сознаю, что тут нет еще ничего необычайного, что Тургенев все же еще не мученик за истину, что, назвав Гоголя “великим”, он в сущности терпит даже не за идею, а за риторическую фигуру. Но тем хуже, тем сильнее поражает меня беспомощность

мысли в настоящее время…

20 апреля 1852 года

Погодина велено отдать под надзор полиции за статью, напечатанную в “Москвитянине” на пьесу Кукольника “Денщик”, и за то еще, что он выпустил V номер своего журнала с черным бордюром на обложке, по случаю смерти Гоголя. А Булгарин тем временем в “Пчеле” так и колотит лежачих: Гоголя, Тургенева, Погодина. Последняя статья Булгарина в субботнем фельетоне возбудила всеобщее омерзение. В ней что ни строка, то донос.

Тургеневу даже не объявлено, за что он посажен на съезжую. Он об этом узнал только от посещающих его друзей. Между прочим в субботу был у него А. Н.Карамзин. Тургенев здоров, бодр, даже весел. Он с большой похвалой отзывается о вежливом, даже почтительном обращении с ним полиции. Частный пристав просто удивил его своей гуманностью. Он из воровской тюрьмы перевел его в чистую, светлую и просторную горницу.

Впечатление на всех от заключения Тургенева самое тяжелое. Даже если бы и считать его виноватым, то вина его совсем потонула бы в несоразмерности наказания. В повелении полиции арестовать Тургенева выставлена причиною не статья, а обстоятельства, в каких она напечатана. Статья эта была написана для “С.-Петербургских ведомостей” и представлена редактором их цензору. Еще до того председатель цензурного комитета объявил, что не будет пропускать статей в похвалу Гоголя, “лакейского писателя”. Он запретил и представленную ему редактором “С.-Петербургских ведомостей” статью, но без всяких формальностей, так что этого запрещения и нельзя было счесть официальным. Тургенев, увидя в этом просто прихоть председателя, отправил свою статью в Москву, где она и явилась в печати. В повелении сказано, что, “несмотря на объявленное помещику Тургеневу запрещение его статьи, он осмелился” и пр. Вот этого-то объявления и не было. У Тургенева не требовали никаких объяснений; его никто не допрашивал, а прямо подвергли наказанию. Говорят, что Булгарин своим влиянием на председателя цензурного комитета и своими внушениями ему всех больше виновен в этой жалкой истории.

22 апреля 1852 года.

Теперь известно, что причиною всей беды было донесение Мусина-Пушкина, подвигнутого на это Булгариным.

Да, тяжело положение, когда, не питая никаких преступных замыслов, неукоризненные в глубине вашей совести, потому только, что природа одарила вас некоторыми умственными силами и общество признало в вас их, вы чувствуете себя каждый день, каждый час в опасности погибнуть так, за ничто, от какого-нибудь тайного доноса, от клеветы, недоразумения и поспешности, от дурного расположения духа других, от ложного истолкования ваших поступков и слов. Какое начало призвать тут к себе на помощь? Где искать опоры? Одно остается —

запереться в презрении к этой бестолковой дребедени, к современной жизни, утешаясь, кто может, верой в более светлое будущее, которое, увы, вряд ли достанется еще и нашим внукам. А сам, искалеченный, измученный, уж лучше сразу откажись от всяких прав на жизнь и деятельность — во имя… Да во имя чего же, господи?

26 апреля 1852 года

У Тургенева в его заточении были такие многочисленные съезды знакомых, что, наконец, сочли нужным запретить приятелям навещать его. Бумаги его были захвачены и рассмотрены. В них не нашли ничего предосудительного и вернули их ему обратно.

28 апреля 1852 года

В Москве опять переполох. Там издан сборник Хомяковым, Киреевским и Аксаковым, в котором, говорят, напечатаны очень сильные вещи. Мне удалось прочитать только статью о Гоголе, от имени которого, очевидно, хотят сделать знамя. Гоголь там назван “великим сатириком-христианином” и т.д. Путь его был печальный потому, что ему суждено было проходить его среди общества, какое выставлено в его “Мертвых душах”, и т.д. Стихи Хомякова еще сильнее. О сборнике уже много толкуют в публике. Тучи собираются: быть грозе. А кто виноват?

29 апреля 1852 года

Состоялось годичное собрание Общества посещения бедных. Я опять выбран в члены правления, хотя перед тем объявил, что ни дела мои, ни здоровье не позволяют мне посвящать много времени Обществу.

10 мая 1852 года

Был у меня сегодня поутру Погодин. Я не видался с ним уже лет двенадцать, если не больше. Он нисколько не переменился: то же простое лицо, те же тяжелые, медвежьи приемы и грубоватое обращение. Но он очень умный человек и заслуживает полного уважения за многие труды в пользу науки. Я был рад его посещению. Мы поговорили о горьких временах, о сумятице в умах, о Гоголе, о Тургеневе, о “Московском сборнике”, над которым висит гроза. Погодин спрашивал у министра разрешения окружить в “Москвитянине” черным бордюром известие о смерти Жуковского. Министр разрешил.

18 мая 1852 года

Третье отделение и негласный комитет уже поднимают тревогу по поводу “Московского сборника”. Сегодня мне говорил об этом товарищ министра. Он сообщил мне, что министр уже сделал строгий выговор цензору, князю Львову. Я

советовал довести об этом выговоре до сведения негласного комитета: авось не сочтет ли он это достаточным удовлетворением.

16 сентября 1852 года

Переехал с дачи. Лето прошло плохо, в серьезном недомогании, в упадке духа и в служебной возне. В Варшаве свирепствовала холера, и ее сюда ожидают.

Одна очень милая молодая девушка, Ознобишина, куря папироску, зажгла на себе по неосторожности платье: оно было из легкой летней ткани и мгновенно вспыхнуло. Бедная девушка обгорела и через неделю умерла в страшных мучениях.

2 *ноября 1852 года*

В лицее открылось место профессора русской словесности за смертью Георгиевского, который, говорят, был очень добрый человек, но плохой профессор и сильно уронил свой предмет в этом заведении. Лицейское начальство и профессора с лестным для меня замечанием, что я один могу поднять на должную высоту кафедру русской словесности в лицее, предложили меня в кандидаты на нее. Но они встретили отпор со стороны принца Ольденбургского, которого в этом еще поддерживал И.И.Давыдов. Принц Ольденбургский ко мне не благоволит — это мне давно известно. Мне говорили, что он не может мне простить моего появления однажды на каком-то институтском торжестве в черном галстуке вместо белого. Он тогда же лично сделал мне выговор и схоронил это в памяти как доказательство опасного во мне свободомыслия. Ну, это и понятно, но как объяснить недоброжелательство ко мне в настоящем случае И.И.Давыдова, моего “приятеля и почитателя”? Этого я уж не берусь объяснять. Русскую словесность в лицее определяют читать Вышнеградского, преподавателя педагогии в Педагогическом институте.

10 ноября 1852 года

Читал А.С.Норову мою статью о Жуковском. Она понравилась ему. Я еще летом обещал ее Краевскому. Теперь о том проведали издатели “Современника” и предлагают мне гораздо более выгодные условия. С тем же являлся ко мне и редактор “Библиотеки для чтения”. Но не подобает изменять своему слову. Я только написал Краевскому, что, так как у него уже была статья о Жуковском, не предпочтет ли он отказаться от моей? Краевский отвечал, что никогда ни под каким видом не желает отказаться от моей статьи и просит прислать ему ее. Ну, так тому и быть.

18 ноября 1852 года

Теперь у всех на языке один предмет разговора: устав о пенсиях. Наши пенсионеры подверглись апоплексии, которая хотя не убила их вконец, но сильно искалечила: у них отнялся один бок. И то еще слава Богу! Обсуждая этот вопрос,

некоторые из государственных людей предлагали вовсе уничтожить преимущество пенсионов по учебному ведомству, ибо что такое ученые? Они служат в день всего три-четыре часа, читая на кафедре… Если пенсионы наши еще не совсем обрезаны, то это только благодаря заступничеству наследника цесаревича, который еще два года или год тому назад сильно и умно протестовал против известного блудовского проекта. Наше бедное министерство тоже предъявляет свою долю участия в этой заслуге. Но мы знаем, как оно заступается за своих и что значит его заступничество.

25 ноября 1852 года

Проводил Авраама Сергеевича Норова в Одессу производить какое-то следствие. Там, говорят, сильно своровано.

27 ноября 1852 года

Был вчера у цензора Фрейганга с моей статьей о Жуковском. Он согласился, чтобы она была представлена ему на рассмотрение в корректуре. Я прочитал ему несколько страниц заключения. Он заметил одну фразу, которую, по его мнению, надлежало изменить, или, вернее, не фразу, а два слова: “движение умов”. От Фрейганга я услышал дивные вещи о цензуре: о том, как Елагин не пропускает в физике выражения: “силы природы”; о шпионстве разных прислужников, о тысяче притеснений, каким подвергаются все, кому приходится иметь дело с цензурою. Фрейганг в мое время считался одним из самых мнительных цензоров, теперь же слывет за самого снисходительного.

Редакция указа о пенсионах отличается большой оригинальностью. В начале там сказано: “дабы удержать на службе полезных своей опытностью чиновников и не оставить без надлежащего призрения семейства” и проч. Затем следует уменьшение пенсионов семействам (по учебному ведомству) и удаление со службы чиновников, кои двадцатипятилетнюю службою приобрели опытность и доказали свои способности.

2 декабря 1852 года

Одно из двух: или надобно отвергнуть просвещение, или принять его со всеми выгодами и неудобствами.

Новый пенсионный устав действительно наносит сильный удар университетам. Многим из нынешних профессоров остается недолго дослужить до двадцатипятилетнего срока. По истечении его они оставят университет, а между тем они люди испытанной опытности, знания и способностей. При прежнем пенсионном уставе они могли бы с честью служить государству еще лет десять и подготовить себе достойных преемников. Теперь же люди способные, даже из молодых, предпочитают идти по другим служебным путям, видя, как неутешительна будущность ученой службы.

В городе ужасно лгут и сплетничают. Например уверяют, будто с 6 декабря всех

гражданских чиновников оденут в какие-то форменные сюртуки вроде военных и в каски; что в Персии и Константинополе чума, которая и нам угрожает, и т.д. и т.д. Замечательно только, что ложь все останавливается только на дурном и не сулит ничего хорошего.

8 декабря 1852 года

Каски действительно даны, но только военным лакеям, вследствие чего простой народ принимает стоящих на запятках слуг за офицеров. Я сам недавно слышал, как один мужичок говорил другому:

— Смотри-ка, смотри, вон офицер сидит на козлах возле кучера.

10 декабря 1852 года

Сегодня был у меня приехавший три дня тому назад курьер наш из Персии, служивший там драгоманом, Мошнин. Он говорит, что в Персии вовсе нет чумы, что и холера там сильно косила только в одной области. Зато он сообщил мне другую печальную новость: брат его, отличный молодой человек, лет восемь тому назад кончивший у меня курс первым кандидатом, вчера утопился. Он бросился в прорубь у Минеральных вод. Молодой Мошнин часто бывал у меня. Месяца два тому назад он начал писать ко мне странные письма почти каждый день, в которых с пафосом рассуждал о великих судьбах России, о Пушкине, об истории, о религии, о назначении женщины. Письма эти обнаруживали очевидно расстройство ума. Ко мне приходила сестра молодого человека, в слезах, и просила моего совета. Я был у них и нашел дела хуже, чем ожидал. Я посоветовал его домашним обратиться к врачу, а пока не очень противоречить больному. Между прочим мне объяснили, что причиной всему отвергнутая любовь: Мошнин хотел жениться на одной девушке, но ему отказали. Он страшно тосковал. Накануне своей смерти он жаловался брату на упадок умственных сил, горько плакал, а теперь вот чем кончил. Брат был на месте самоубийства. Тело несчастного молодого человека найдено.

14 декабря 1852 года

Обедал у Панаева и не скажу, чтобы остался доволен проведенным там временем. Там были: Логинов, автор замечательных по форме, но отвратительных по цинизму стихотворений, Дружинин, Некрасов, Гаевский Виктор Павлович и т.д. После обеда завели самые скоромные разговоры и читали некоторые из “Парголовских элегий” во вкусе Баркова. Авторы их превзошли самих себя по цинизму образов в прекрасных стихах. Вот где теперь надо искать русскую поэзию! Неужели это весело, господа?

15 декабря 1852 года

Профессором в лицей и наставником к великим князьям окончательно

определен Грот.

22 декабря 1852 года

Кончил с Фрейгангом. Он пропустил всю статью, за исключением нескольких мест, которые, нечего делать, пришлось заменить другими. Я, впрочем, почти не спорил, сознавая, что иначе и нельзя по той системе, которой держатся ныне благоразумнейшие цензора вроде Фрейганга. Об остальных и говорить нечего: те не держатся никакой системы и следуют только внушениям страха. Система же первых в том, чтобы угадывать, как могут истолковать данную статью враги литературы и просвещения. Фрейганг откровенно мне в том сознался. Можно себе представить, каковы должны быть заключения цензуры, которая руководится такими догадками, а не прямым смыслом статьи, не постановлениями, ни даже своим личным убеждением. Все, значит, зависит от толкования невежд и недоброжелателей, которые готовы в каждой мысли видеть преступление.

— Ваша статья прекрасна, — между прочим заметил Фрейганг, — она, без сомнения, обратит на себя внимание — тут-то и следует быть строже.

С своей точки зрения он прав, но от того не легче бедному автору.

28 декабря 1852 года

Где мысль, там и страдание, но там же должно быть и врачевание зла.

1853

7 января 1853 года

Вчера был в заседании правления Общества посещения бедных. Объявлено, что попечительство после покойного герцога Лейхтенбергского принимает на себя великий князь Константин Николаевич. Государь уже изъявил свое согласие. Итак, опасность миновала: общество не перестанет существовать под охраною сильной руки. Князь В.Ф.Одоевский говорил, что великий князь намерен усердно заняться делами Общества. Он до сих пор мало знал о нем и был даже против него предубежден. Но теперь ближе с ним познакомился, и деятельность Общества, очевидно, пришлась ему по душе. Мы сначала предлагали попечительство великой княгине Марии Николаевне. Она это очень хорошо приняла, благодарила за то, что вспомнили о ней, но все же отказалась, предложив вместо себя своего брата.

Герцог Лейхтенбергский был хороший человек. Его все любили за любезное, гуманное обращение, и когда он умер, буквально говоря — весь Петербург о нем сожалел. Он ревностно занимался делами нашего Общества, и только ему обязано оно тем, что уцелело в последние смутные времена. В четверг назначено общее собрание будто бы для избрания нового попечителя, но это только для соблюдения формы.

8 января 1853 года

Праздники кончены. Лекция в университете. Меня встретил Плетнев с изъявлениями благодарности и прочее за мою статью о Жуковском, которую уже прочел в первом номере “Отечественных записок”.

— Вы попали прямо в суть дела, — сказал он мне, — и превосходно определили Жуковского со всех сторон. Особенно хорошо определены у вас отношения его к Обществу. Я сам старался везде показывать, что деятельность писателя есть гражданская заслуга.

До меня вообще доходят вести, что статья моя принята в публике очень хорошо. Это одобряет меня на писание дальнейших очерков.

Вчера же обедал у Домонтовича и, по обыкновению, встретил там Кукольника, сияющего от успеха своей новой пьесы “Костров”. Он обещал мне билет: конечно, надует. За обедом Кукольник исправно потягивал благородный херес и смотрел с презрением на мою рюмку с лафитом, до которой я едва касался.

14 января 1853 года

Сегодня был у двух министров: у министра внутренних дел Бибикова и у министра народного просвещения князя Ширинского-Шихматова. Бибикову я представлялся в первый раз еще. Речь, разумеется, шла о Римско-католической академии. Я должен был объяснить ему в кратких чертах правила, которым я следую там: “не касаться ни политики, *ни* религии, а, по возможности, внушать молодым людям любовь и доверие к нашей общей матери-России”.

— Так вы не касаетесь с ними вопросов географических, не рассуждаете о соединении церквей? — спросил Бибиков.

— Это не имеет ничего общего с моим предметом, — отвечал я. — Мое дело чисто национально-нравственное.

— А вы довольны их направлением?

— Вполне доволен. Вот уже десять лет, что я у них преподаю, и, кроме хорошего, ничего не могу о них сказать.

— Прекрасно. А как они по-русски знают? — продолжал расспрашивать министр.

— Весьма удовлетворительно. Разумеется, они не обходятся без грамматических ошибок, но пусть лучше делают ошибки против языка, чем против сердца. Я больше всего стараюсь, чтобы они полюбили наш язык, наши предания, наш быт. Они чрезвычайно внимательно следят за моими лекциями.

— Ну вот и отлично. Это-то и надо. И государь того же желает. А что митрополит? Он, кажется, умный мужик?

— Митрополит Головинский, — отвечал я, — весьма умный и тонко образованный человек.

— У него есть сходство с нашим Иннокентием — не правда ли?

— Может быть. Во всяком случае он человек замечательный.

Поговорив еще в этом тоне, он прибавил:

— Я невежда, однако ж читал кое-что. Здешних дел я еще не знаю: я всего два месяца тут.

Затем он меня отпустил. Не знаю, доволен ли будет Скрипицын, если узнает о моем отзыве о Головинском. Он с ним в неладах и намекал мне о своем желании, чтобы я восстановил министра против Головинского. Само собой разумеется, я его намеков не понял и сказал о митрополите то, что действительно о нем думаю. Я не забочусь об обращении католиков в православие, да это и не мое дело. Моя роль чисто нравственная.

Князя Ширинского-Шихматова я встретил в зале собирающимся выехать в карете. Он только что встал с постели, в которой живет почти всю зиму. Он похож на привидение.

22 января 1853 года.

Придя сегодня на лекцию в университет, я застал там суматоху. Инспектор забирал у студентов тетради и, забрав, поехал с ними в Третье отделение. Вот в чем дело. Граф Орлов получил по городской почте безыменное письмо, с которым тотчас же поехал во дворец. Государь приказал непременно отыскать автора письма. Как-то добрались до лавочки, где было подано письмо. Лавочник объявил, что его принес какой-то бедно одетый молодой человек в треугольной шляпе: должно быть, студент. Вот и отбирают у студентов тетради, чтобы сличить почерки их с почерком письма. Ничего, однако же, до сих пор не открыли. То же делали и с тетрадями гимназистов и тоже ни к чему не пришли. Содержание письма никому не известно.

24 января 1853 года

Жить научает одна только жизнь. В настоящее время недостаточно одной обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей.

26 января 1853 года

Вчера вместе с другими членами правления Общества посещения бедных представлялся великому князю Константину Николаевичу в Мраморном дворце. Имеющие мундир были в мундирах, остальные явились в черных фраках и белых галстуках.

27 января 1853 года

Читал в факультете мое донесение о диссертациях студентов, представленных на золотую медаль. Задача состояла в разборе Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и князя Шаховского. Представлены три диссертации. Одна никуда не годится. Две превосходны. Авторы последних очень серьезно отнеслись к делу. Они написали много, а главное, умно, добросовестно — одним словом, прекрасно. Я потребовал у факультета по золотой медали для каждого. К счастью, нашлась одна в экономии: факультет и совет согласились на этот раз выдать две медали. Одна из этих диссертаций написана студентом IV курса Пыпиным, другая — студентом II курса Миллером.

5 февраля 1853 года

Еще новое и грандиозное воровство. Был некто А.Г.Политковский, правитель дел комитета 18 августа 1814 года. В комитете накопился огромный капитал в пользу инвалидов. Этот Политковский — камергер, тайный советник, кавалер разных орденов и пр. и пр. Он в течение многих лет крал казенный интерес, пышно жил на его счет, задавал пиры, содержал любовниц. На днях он умер. Незадолго до его смерти открылось, что он украл миллион двести тысяч рублей серебром!

Говорят, государь очень огорчен и разгневан. В самом деле, горько видеть такой разврат — и не где-нибудь в глуши, между приказной мелочью, а в кругу людей значительных, в своей столице, чуть не у себя в доме.

9 февраля 1853 года

Был на акте в университете, а потом обедал у А.Н.Карамзина. После обеда читаны были неизданные главы “Мертвых душ” Гоголя. Чтение продолжалось ровно пять часов, от семи до двенадцати. Эти пять часов были истинным наслаждением. Читал, и очень хорошо, князь Оболенский.

10 февраля 1853 года

Изучая сочинения и жизнь представителей нашей умственной деятельности от Карамзина и до Гоголя включительно, видишь ясно в ней два большие наслоения. В одном господствует первое, так сказать, весеннее веяние духа истины и красоты. Души восприимчивые, благородные, нежно настроенные ощутили над собой могущество великих верований человечества и радостно, беззаветно отдались первым впечатлениям этого отрадного знакомства. Таковы Карамзин и Жуковский. Но в этом *прекраснодушии* еще узкий взгляд на вещи. Это состояние юношеской неопытности, которая не ведает зла. Это, если можно так выразиться, сластолюбивое отношение к истине и красоте, а не деятельность мужей, для которых жизнь есть не игра в прекрасные чувства, а подвиг и победа. Но лучшие умы постепенно отрезвляются и перестают смотреть на мир сквозь близорукие очки собственного сердца, которое видит только то, что хочет видеть, то есть чем может наслаждаться и с чем может мириться. Они уж глубже всматриваются в вещи и находят, что тут не до сибаритской роскоши чувств.

Душа болит от мерзостей и страданий человеческих. Как тут быть? Запереться в поэтическом прекраснодушии, бесплодно томиться в нежном участии к своим братьям, успокаивать себя бесплодными чаяниями лучшего, а суровые животрепещущие вопросы о кровных, существенных страданиях человека оставлять без разрешения — одним словом, предоставлять миру идти как он хочет, лишь бы не нарушалась гармония нашей внутренней жизни? Нет, тысячу раз нет!.. И вот под влиянием нового мировоззрения в литературе нашей начинается новое наслоение. Переходным звеном здесь является Пушкин: он уже недоволен, тревожен, язвителен, хотя и в личном еще смысле. За ним идет Лермонтов, а там вдруг вырастает Гоголь…

18 февраля 1853 года

Еще воровство, и на этот раз вор оказался юмористом. В Киеве уездный казначей украл восемьдесят тысяч рублей серебром и скрылся, оставив письмо следующего содержания: “Двадцать лет служил я честно и усердно: это известно и начальству, которое всегда было мною довольно. Несмотря на это, меня не награждали, тогда как другие мои сослуживцы получали награды. Теперь я решился

сам себя наградить” и пр. Вора не нашли. Говорят, он успел скрыться за границу.

20 февраля 1853 года

Был у меня князь Димитрий Александрович Оболенский и читал мне “Исповедь” Гоголя. Вещь в высшей степени любопытная.

Князь Оболенский рассказал мне следующие подробности о Гоголе, с которым он был хорошо знаком. Он находился в Москве, когда Гоголь умер.

Гоголь кончил “Мертвые души” за границей — и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А.П.Толстой, с которым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему:

— Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего.

Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т.п., и ему не хотелось исполнением просьбы его как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным.

— А вот, — сказал ему Гоголь, — ведь лукавый меня таки попутал: я сжег “Мертвые души”.

Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти.

В “Исповеди” Гоголя господствует религиозное настроение, не исключающее, однако, других чувств: оно и благородно и скромно. Но в Москве в последнее время он предался таким странным религиозным излишествам, которые ставят в тупик. Тут у него церковная формалистика как бы подавляла настоящее религиозное чувство. Неужели это обычный психологический ход религиозного энтузиазма?

В деятельности душевных сил есть свой механизм, своя необходимость, по которой приятное понятие или допущенное чувство непременно должны разрешиться таким, а не другим событием, если только высшая сила, разум, не вмешается и не изменит течения идей. Но почему люди даровитые особенно подвержены этого рода року и становятся его жертвами? Не оттого ли, что вообще все явления их внутренней жизни сильнее, реальнее? Начавшись, они должны и довершить себя. В слабой голове все делается и не делается, готово чем-то быть и перестает быть от первого толчка другой силы или другого впечатления. В такой голове нет возможности образоваться чему-нибудь и созреть, тогда как ум крепкий именно тем отличается, что у него все, что делается, делается с тем, чтобы из этого что-нибудь вышло. Тут место великим и прекрасным созданиям; тут также место и чудовищным, нелепым, смотря по тому, каким первоначальным наитием или понятием руководится человек. Это именно свойственно людям даровитым, ибо

дарование есть также ум, но ум односторонний, специальный. Сила его обращена на одно: он редко способен возвыситься над самим собою, чтобы столько же *править,* сколько *творить.*

23 февраля 1853 года

К следующему акту университетскому я назначен произносить речь. Не написать ли о нравственном элементе в науке и искусстве? Трудно сказать здесь что-либо новое, но предмет идет ко времени.

25 февраля 1853 года

Действия цензуры превосходят всякое вероятие. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно.

Вот из тысячи фактов некоторые самые свежие. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики.

Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках. Он мотивировал свое запрещение необходимостью, чтобы это известие предварительно получило подтверждение со стороны министерства внутренних дел.

Цензор Пейкер не пропустил одной метеорологической таблицы, где числа месяца означены по старому и по новому стилю обыкновенно принятою формулою:

по стар. стилю

по нов. стилю

Он потребовал, чтобы наверху черточки стояло по новому стилю, а слово по старому — внизу. Таблицы между тем, как состоящие из цифр, представлены были на рассмотрение уже по напечатании, так как нельзя было предвидеть, чтобы они могли подвергнуться запрещению. Издателю предстояло вновь все печатать. Он обратился к попечителю, и, наконец, тот по долгом и глубоком размышлении насилу согласился разрешить, чтобы таблицы остались в первоначальном виде.

Цензора все свои нелепости сваливают на негласный комитет, ссылаясь на него, как на пугало, которое грозит наказанием за каждое напечатанное слово.

4 марта 1853 года

Сегодня пришел ко мне мой добрый Барановский и объявил, что его выгнали из службы. Как? За что? Он служил начальником счетного отделения в министерстве

внутренних дел. На днях вдруг велено было произвести освидетельствование по департаменту денежных сумм, что теперь вошло в обыкновение после знаменитого воровства Политковского. Барановский, как начальник счетного отделения, должен был изготовить ведомость. Пересматривая ее второпях, он не заметил, что писец пропустил одну сумму из десяти, значившихся в ведомости, причем итог, однако, был верен. Эту ошибку заметил министр, или кто-нибудь ему указал ее. По департаменту поднялась тревога. Барановский решился сам отправиться к министру, объяснить ему ошибку и исправить ее. Министр встретил его грозно и резко спросил:

— Как это случилось?

— Ошибка произошла от торопливости.

— Я не признаю на службе ни торопливости, ни ошибок. И ничего больше. Казалось, все этим и кончилось. Не тут-то было. На третий день Барановскому велели подать в отставку.

— Помилуйте! За что же? В отставку, прослужив безукоризненно 25 лет! У меня восемь душ на попечении.

— Что же делать? — отвечал директор. — Мне очень жаль, тем более, что за исключением настоящего случая вы всегда отличались даже педантическою аккуратностью. Но воля министра должна быть исполнена.

Барановский решился вторично идти к министру и просить его об отмене жестокого приказания. Покорно предстал он перед ним и изложил свое дело.

— Вы думаете, верно, — отвечал министр, — что начальники отделения могут водить меня за нос? Подавайте в отставку!

— Но, ваше высокопревосходительство, это погубит целое семейство. Умоляю вас…

— Что? Вы еще сопротивляетесь? Знайте, что мне всегда и везде повиновались. Ступайте и подавайте в отставку, или я вас выгоню.

Барановский подал в отставку. Теперь надо всеми силами хлопотать, чтобы доставить этому бедному и достойному человеку какое-нибудь занятие, иначе ему действительно грозит гибель со всем семейством. Он не беден, а нищ. Попытаюсь завтра у Княжевича. Подниму всех, кого можно.

6 марта 1853 года

Для бедного Барановского все ничего не открывается. Есть свободное место директора Могилевской гимназии, но попечитель начисто мне отказал, говоря, что назначает на эти места только из своих учителей.

14 марта 1853 года

Умер В.А.Каратыгин-старший. Умирать вещь обыкновенная, но вот почти вдруг

сходит со сцены жизни все умное, изящное, даровитое. Как гладко очищается поле для всяческих ничтожеств! Русский театр в течение последних десяти дней потерял всех талантливых представителей. Умер Брянский. Умерла Гусева — последняя даже во время самого представления. Говорят, эти две смерти сильно поразили Каратыгина. Он беспрестанно повторял слова, сказанные ему Гусевою на похоронах Брянского: “Вот и до нас доходит очередь, Василий Андреевич: сперва я, а потом и вы”. Так и случилось. Да кстати и Московский театр сгорел.

19 марта 1853 года

Новый предмет для разговора в гостиных: Яковлев пожертвовал миллион рублей казне.

Товарищ министра А.С.Норов приглашал меня, чтобы поговорить об адъюнкте Милютине. Ему какое-то важное лицо говорило о лекциях последнего. Дело в том, что Милютин задавал студентам темы для сочинений по истории русского права. Одна из тем следующая: “Показать на основании летописей и других источников, какие были у нас совещательные лица при князьях, как они назначались, в чем состояли их обязанности, как они титуловались”.

Важное лицо нашло эту тему почему-то либеральною. “Вот, — сказал я товарищу министра, — как истолковывают наши дела. Каждый невежда считает себя вправе в них вмешиваться и распоряжаться ими. После этого на лекциях нельзя слова сказать без опасения, что его перетолкуют по-своему и самую простую общую мысль науки обратят в опасную либеральную идею. Чтобы мы, работники науки и образования, могли успешно совершать свое дело, необходимо, чтобы мы были защищены от посягательств грубого невежества”.

Абрам Сергеевич, с своей стороны, не нашел в вышеозначенной теме ничего “неблагонамеренного” и обещался поговорить с министром в этом смысле.

25 марта 1853 года

Никогда не унывай в настоящей скорби, помня, что ты еще счастлив тем, что с тобой не случилось хуже, ибо худшее всегда возможно.

Отчаяние — признак душевной слабости; надежда есть дитя легкомыслия. Лучше всего мужество, которое все сносит и не нуждается в обольщении.

Чтобы ложь могла нравиться или иметь успех, надо, чтобы она имела если не вкус, то по крайней мере запах и цвет истины.

5 *апреля 1853 года*

Есть одно важное официальное лицо, которое со мною лет пятнадцать состоит в дружеских отношениях и, несмотря на свою нынешнюю официальную важность, сохраняет эти отношения. Его пытался я заинтересовать в пользу Барановского. Он много обещал и ничего не сделал. Между тем бедный Барановский в страшном

состоянии. Он, как выражается, пускает в оборот последние капли крови, чтобы не давать умереть с голоду семье. Вчера я обращался к Карамзину, описал ему и жене его положение несчастного и просил для него места по их делам или у кого-нибудь из знакомых их. Они оказались тронутыми, подали надежду.

9 апреля 1853 года

Вчера в заседании правления Общества посещения бедных присутствовал великий князь Константин Николаевич. Он приехал в девять часов и просидел часа полтора, а уезжая, выразил сожаление, что не может остаться дольше, ибо очень занят. Он был весел и приветлив. Закурил сигару и предложил другим последовать его примеру. Однако никто этим не воспользовался. Оно, пожалуй, и хорошо: зала заседания невелика, и если б все закурили, можно было бы задохнуться от дыму.

Секретарь на этот раз начал читать журнал стоя. Великий князь осведомился: "Разве это всегда так делается?" и, получив отрицательный ответ, приказал секретарю сесть. Он внимательно следил за совещаниями, которые шли обычным порядком. По временам делал вопросы и свои замечания, умно и кстати. К лично знакомым ему членам, как то: князю Одоевскому, Хрущеву, Лонгинову, обращался особенно часто и любезно. Услышав имя одного бедного: Гладкий, великий князь припомнил казачьего атамана Гладкого и рассказал о нем, что это был один из тех некрасовцев, которые возвратились в Россию во время турецкой кампании и перевозили в лодке через Дунай государя. "Тогда все были удивлены, как государь вверился этим людям", — прибавил великий князь. Потом он осмотрел картину одного из наших стипендиатов в Академии художеств, заметил, что у него большой талант и ласково одобрил молодого художника, который был приглашен в присутствие.

Уезжая, великий князь благодарил Общество за все, что в нем видел и нашел. Вообще посещение его во всех оставило хорошее впечатление.

Министр наш, князь Ширинский-Шихматов, уволен за границу для излечения болезни. Должность его приказано исполнять товарищу министра А.С.Норову. Сомнительно однако, чтобы князь доехал до границы: всего вернее, что он уедет за границу жизни.

10 апреля 1853 года

Три экзамена разом столкнулись у меня на завтрашний день: в университете, в Аудиторском училище и в педагогическом специальном классе Смольного монастыря, где будет присутствовать ее высочество цесаревна. Приятное стечение обстоятельств! Решаюсь быть там, где мое присутствие нужнее, а именно в Аудиторском училище. Между прочим, ездил к попечителю с просьбою отложить на понедельник экзамен в университете. По некотором колебании он согласился. О невозможности мне быть в Смольном монастыре я уже говорил Тимаеву. Оставалось съездить к ректору и декану предупредить их о согласии попечителя. Все утро с этим провозился. Зато кончил его хорошо. Заехал к Карамзину и окончательно

устроил дело Барановского. Его определяют на контору по демидовским делам, сначала на сто рублей серебром в месяц, а потом предоставят ему место, которое навсегда может обеспечить его. Барановский ожил. Ну, слава Богу и большое спасибо Карамзину: по крайней мере спасен человек, вполне достойный уважения и участия.

11 апреля 1853 года

Экзамен в Аудиторской школе. Был военный министр и кое-кто из генералов, но не много. Большинство поехало в суд, где нынче объявляют высочайшую конфирмацию по делу о Политковском.

Экзамен шел прекрасно. Я, между прочим, долго говорил с адмиралом Рикордом. Это один из замечательных людей нашего времени. Ему семьдесят четыре года, но он свеж, бодр, весел, полон участия ко всему хорошему и благородному, а доброта его готова войти в пословицу. Я познакомился с ним лет пятнадцать тому назад следующим образом. На университетском акте ко мне подходит морской генерал и говорит:

— Я уже знаком с вами, но мне приятно ближе познакомиться. А знаете ли вы, где я сперва познакомился с вами? В Греции.

— Как в Греции?

— Да! Я стоял с эскадрою близ Пирея и там прочел вашу прекрасную статью о девице Кульман: с той поры я дал себе слово по возвращении в Россию лично узнать автора ее, и вот теперь рад, что вижу вас.

Рикорд — друг всех ученых и литераторов. Он был в очень близких отношениях с Н.А.Полевым; по смерти последнего взял под свое покровительство семью его и был главным виновником денежного сбора в ее пользу, который, говорят, принес ей тысяч до двадцати пяти. До сих пор семейство Полевого видит в Рикорде отца и друга. Вообще, где только доброе дело, так и Рикорд. И доброта его не ограничивается одними теплыми словами и изъявлениями участия. Нет! Он настойчив и деятелен. Он готов поднять все и всех на ноги для оказания помощи и добиться того, чтобы участие его не было бесплодно. И все это делается у него чрезвычайно просто. Ни тени тщеславия, ни капли усталости или охлаждения! Удивительный, редкий человек!

14 апреля 1853 года

Сегодня я слышал, что обо мне пошло представление военному министру от начальства Аудиторской школы. Меня представляют к чину действительного статского советника. Посмотрим, что из этого выйдет.

15 апреля 1853 года

Был вечером у товарища министра Норова, который ныне управляет

министерством. Он говорил о затруднительном своем положении, жаловался на недостаток друзей. Департаментские чиновники не более как канцеляристы. В трогательных выражениях припомнил он нашу старинную дружбу и просил меня помогать ему. Мы условились, что важнейшие дела он будет сообщать мне для предварительного обсуждения и для соображений. Теперь на очереди важное дело: блудовский проект о преобразовании университетов. Этот проект выработан в комитете, особо учрежденном под председательством Блудова. Абрам Сергеевич просил меня сегодня заготовить по этому делу бумагу.

27 апреля 1853 года

Узнал сегодня об исходе представления меня по военному министерству к чину действительного статского советника. Государь на представление отвечал, что “еще рано”, а когда военный министр заметил, что я уже девять лет в чине статского советника, его величество повторил: “все-таки рано еще”. И впрямь, рано: ну какой я, в самом деле, генерал.

2 мая 1853 года

Умер доктор Богуславский, хороший врач, под угрюмой наружностью скрывавший золотое сердце. Он был еще не стар, здоров и крепок, но вот его сразила холера. Немудрено, что последняя опять начала сильнее косить: холодно так, что хоть опять полезай в шубу.

5 мая 1853 года

Умер министр народного просвещения, князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов, в двенадцатом часу ночи. Кончина его была тиха и спокойна. За час до смерти он еще был в полной памяти, говорил, прощался с окружающими, потом сказал, что хочет соснуть, и просил оставить его одного. Он и действительно заснул — вечным сном. Присутствующие не заметили никаких признаков агонии, только услышали легкое хрипение: это был последний вздох.

Князь Шихматов был добр и по природе и по убеждению христианина, справедлив, прост и доступен. Он не отличался, подобно своему предшественнику Уварову, ни блестящим умом, ни даром слова. Его ум вращался в сфере практической администрации, где он и приобрел много знания и навыка. Он собственно не был государственным человеком — да и где же у нас государственные люди? — и пост министра застал его, так сказать, врасплох, неожиданно. Он сам сознавал свою несостоятельность в этом отношении. Но надо сказать правду, что на его долю выпало управлять министерством в тяжелое время, когда с одной стороны восстали против просвещения поборники прежней допетровской тьмы, а с другой — смущенное правительство терялось и не знало, чего ему держаться. Министерство оказалось, так сказать, ущемленным между негласным архицензурным комитетом 2 апреля и между комитетом для пересмотра постановлений последнего под председательством Блудова. Под министерство подкапываются со всех сторон; оно

сделалось какою-то сомнительною отраслью государственного управления, а представитель его, министр, скорее ответное лицо перед допросами, чем государственный чиновник.

Князь Шихматов хотел честно и добросовестно выполнять свою тяжкую миссию. В бумагах, которые я получал от его товарища Норова по разным важнейшим вопросам, везде видно благородное усилие защищать дело просвещения и отклонять слишком резкие преобразовательные меры, клонящиеся к стеснению его. Но он не имел достаточно ни нравственного, ни гражданского мужества, чтобы смело повернуть против ветра руль своего корабля, со всех сторон обуреваемого грозною борьбою стихий. Он изнемог в этой борьбе, и можно с достоверностью сказать, что она сократила срок его жизни. Болезнь и смерть его были следствием чрезмерного напряжения сил и огорчений. Нельзя оставить без внимания и других скорбей его незавидной доли. Он не имел также никакого значения, или, как говорится, веса, даже в глазах своих подчиненных. На него смотрели с некоторого рода пренебрежением, которое было естественным следствием его политического бессилия, но которого он не заслуживал ни по чувствам, ни по целям своим. А сколько и как кидали в него грязью и в обществе и в кругу ученых! Между тем никто и не подозревал, как это тяжело ему.

Вот уже два министра народного просвещения сделались жертвою бури, налетевшей на наше и без того еще слабое и шаткое просвещение, — он и Уваров. Уваров тоже много вытерпел в последнее время своего министерства. Когда он зашатался на своем месте, многое ему уяснилось, и мне приходилось не раз быть свидетелем его скорби. Тогда и я лучше узнал этого человека и мог оценить его хорошие стороны — его несомненный ум, который, во время его силы, часто заслонялся тщеславием и мелким самолюбием. К сожалению, и он, как Шихматов, не был одарен силами, необходимыми для времен бурных и опасных. Прав Ростовцев, который на днях мне сказал: “Ни один человек, глубоко и основательно мыслящий, не согласится теперь принять на себя звание министра народного просвещения. Для этого надо иметь колоссальную силу, какой у нас никто не имеет”.

Удержится ли Норов на этом месте? Или и он также будет жертвою? У него благородное сердце, и намерения у него благие, но едва ли достанет у него сил. Хотя он и говорит, что готов пожертвовать собою, то есть своим чиновным значением, за дело просвещения, но станет ли у него на это мужества? Ему недостает, между прочим, и того практического смысла и того навыка к делам, какой все-таки был у Шихматова, а помощников у него нет. Пока он мне доверяет, я готов, по его желанию, помогать ему во всяком благородном деле со всею добросовестностью и насколько хватит моего уменья — и я ему это обещал. Но, во-первых, я здесь не официальное лицо, и многое может идти мимо меня. Во-вторых, я не могу ради этого отказаться от всех остальных моих дел: я должен также трудиться для насущного хлеба моей семьи… Но не будем забегать вперед, а будем делать то, что предпишет совесть.

8 мая 1853 года

Похороны министра Ширинского-Шихматова. Его отвезли в Сергиевский монастырь. Я проводил его до Московской заставы. Из первоклассных сановников был Блудов.

Написал письмо к князю Одоевскому, что не могу больше состоять деятельным членом Общества посещения бедных.

Вечером меня опять призывал к себе Авраам Сергеевич Норов. Еще сильнее жаловался он на свои затруднения, говорил, что возлагает все свои надежды на меня. Ах, плохо! Как ожидать стойкости от того, кто не полагается прежде всего на самого себя и на силу собственных убеждений? Как бы он ни был просвещен и гуманен, он неспособен долго противиться натиску враждебных обстоятельств…

22 мая 1853 года

Прекрасный, теплый день. Утром я прошелся по деревне Кушелевке, обошел весь Беклешов сад: это моя первая прогулка после довольно серьезной болезни, которая и семью мою задержала в городе дольше, чем следовало. Мы только вчера переехали на дачу, хотя погода уже давно манила туда. Теперь сижу в моем крохотном кабинетике и приготовляюсь к серьезным работам, которых накопилась масса за две недели моей болезни.

25 мая 1853 года

Ездил в город. Вечером работал с Абрамом Сергеевичем по делам комитета о преобразовании учебных заведений министерства народного просвещения. Я должен заготовить записку об этом. Удастся ли что-нибудь вырвать из рук всяких “негласных” в пользу нашего бедного, гонимого просвещения?

2 июня 1853 года

В городе. Духота. Вчера вечер провел за делами с Абрамом Сергеевичем. Записка о проектах блудовского комитета, наконец, написана. Министр остался доволен. Он только пожелал смягчить несколько резких мест. Моя основная идея, с которой и он согласился: ничего не преобразовывать, а только улучшать. Бывают эпохи, когда дух преобразований может творить только зло, касаясь учреждений укоренившихся и польза которых доказана опытом. Мысль преобразовать министерство народного просвещения возникла под влиянием панического страха, вызванного европейскими событиями 1848 года. Тогда вошло в обычай во всем обвинять министерство народного просвещения. Государю подано было несколько проектов преобразования его, совсем не государственных. Некоторые отличаются даже изумительной безграмотностью.

Например, проект Переверзева, который был когда-то и где-то губернатором; там, говорят, заворовался, был уволен, долго оставался без места, а потом был причислен к министерству внутренних дел. Я знаю его лично. Это круглый невежда, к тому же не трезвый. Хорош также проект московского генерал-губернатора

А.А.Закревского. Кажется, следовало бы оставлять без всякого внимания подобные излияния усердия и преданности престолу. Однако был назначен комитет под председательством Блудова, который, конечно, не разделяет обскурантских идей всех этих господ, но предлагает взамен их меры тоже не мудрые.

Вникая во все эти государственные и административные дела, приходишь к одному печальному заключению: как мы бедны государственными людьми! Какой-нибудь невежда может пустить в ход совсем нелепое понятие и колебать им целый ряд учреждений, прикрываясь мнимой преданностью и усердием… Везде бьет в глаза нетвердость основных начал, поверхностность, опрометчивость, непоследовательность, неуменье вникать в сокровенные и тонкие соотношения вещей, что, однако, необходимо, когда хотят создать стройную, богатую последствиями систему.

10 июня 1853 года

Вчера и сегодня в городе. Вчера до часу ночи занимался с Абрамом Сергеевичем. Сегодня ездил в Царское Село по приглашению графини Клейнмихель и заезжал к М.Н.Мусину-Пушкину. Возвратясь, обедал у Абрама Сергеевича.

11 июня 1853 года Ночевал в городе. Был на публичном экзамене военно-учебных заведений. Меня на этих экзаменах всегда радует наследник цесаревич. Он и на этот раз с одиннадцати часов утра и до четырех неутомимо следил за экзаменом, принимая во всем самое радушное и живое участие. Наука, очевидно, его не пугает. Экзамен был из физической географии и из истории.

16 июня 1853 года

Нынче совсем не пользуюсь дачной жизнью. Вот и теперь все прошедшие дни обрабатывал проект о предоставлении Аудиторскому училищу некоторых прав и преимуществ. Вчера только кончил его, а сегодня, как говорится, спустил с рук, то есть представил кому следует. Работы было много, но будет ли успех? Польза общественная — вообще понятие шаткое. Она страшная кокетка и редко удовлетворяет того, кто всего больше за нее распинается.

Есть у Б.Нибура следующее положение: “великие эпидемии или заразы совпадают с эпохами упадка цивилизации”. Мысль эта меня поразила. Наше время как бы служит ей подтверждением. На наших глазах холера и нравственное расслабление идут рука об руку, подрывая самые светлые и великие верования. Даже, в частности, замечаем, что люди с менее хилым духом как будто не так легко подвергаются заразе или выдерживают ее счастливее.

19 июня 1853 года

В городе. Читал генералу Пильхау, директору департамента военных

поселений, мою записку об Аудиторском училище. Он одобрил ее. Генерал Роговский хотел еще, чтобы я ехал с ним по этому же делу к генерал-обер-аудитору. Но от этого я уж отказался: меня ждал Норов, и приближался час урока у Бенардаки, который я решился взять на себя, так как только благодаря ему могу обеспечить пребывание на даче моей семьи.

22 июня 1853 года

Экзамен в Римско-католической академии ничем не отличался от других экзаменов там же. Прескверный обычай учеников этой академии все заучивать наизусть! Сколько я ни старался отучить их от этого в моем предмете, никак не мог. Им велено в богословских науках держаться буквы — вот они и везде держатся ее. Воспитанники нашей православной академии гораздо свободнее в этом отношении — по крайней мере были свободнее лет пятнадцать тому назад. Я имел тогда сношения с этими молодыми людьми. Они были хорошо образованы, прекрасно знали древние и даже новые языки, самостоятельно мыслили. Меня с ними сблизили их литературные попытки. Я помог им тогда перевести и издать “Историю немецкой литературы” Вахлера (напечатана была только первая часть, остальные были переведены, но переводчики удалились в провинцию, а тот, кому они поручили здесь издание, обманул их доверие; издание, разумеется, остановилось, несмотря на то, что, по моему ходатайству, министр Уваров ввел эту книгу в гимназии, да и вообще она хорошо шла), “Курс философии” Жерюзе, “Историю французской литературы” Баранта и т.д. Много очень хороших статей также написано ими и напечатано под моей редакцией в “Энциклопедическом лексиконе”.

Но беда в том, что нравственное воспитание их далеко уступало умственному развитию. Трое из них по окончании курса спились с кругу, а четвертый умер в чахотке. В период моего знакомства с ними я всячески старался воодушевлять их и пробуждать в них чувство самоуважения. При больших познаниях, при уме и добрых качествах сердца эти молодые люди были проникнуты каким-то чувством уничижения, которое угнетало их, а в заключение и погубило.

6 июля 1853 года

Некто Л.А.Мей покупает у К.П.Масальского “Сын отечества” и приглашает меня быть редактором его на том же основании, как в свое время “Современник”. Но я уже испробовал прелестей такого редакторства, да вдобавок и покупка еще не состоялась. Я отвечал, что во всяком случае прежде всего надо подумать о приобретении журнала и о средствах его издавать, а потом уже рассудим, могу я или нет принять редакторство его.

7 июля 1853 года

Ездил с Краевским в Ораниенбаум к нашему общему врачу Шипулинскому. Это была хорошая прогулка. Мы в четыре часа отправились на пароходе в Петергоф, а оттуда в дилижансе в Ораниенбаум. Я лет двадцать как не был в Петергофе.

Впрочем, я и теперь не видел его, так как не останавливался в нем. Дорога от Петергофа до Ораниенбаума приятная: справа залив, слева — цепь холмов с красивыми дачами, тонущими в зелени садов. Я взобрался на козлы дилижанса рядом с кучером и оттуда с высоты обозревал окрестности.

9 июля 1853 года

Холера в последние дни в городе действует слабее.

Дядя Марк [родственник жены М.Н.Любощинский] приглашает меня вместе с ним ехать в деревню (в Витебскую губ.). Он сам взял отпуск на 28 дней и уезжает в субботу. Я не могу так скоро собраться и потому, если решусь ехать, то поеду уж один попозже. Прежде надо кончить для А.С.Норова дело по блудовскому комитету: там открылось несколько новых обстоятельств, и то, что я уже написал, требует теперь пополнений. Да и уроки у Бенардаки не могут быть так сразу оборваны.

14 июля 1853 года

Отдал Норову уже совсем оконченную записку по блудовскому комитету.

1 сентября 1853 года

Август провел в поездке в Витебск, а теперь, вернувшись, опять принялся за усиленные занятия с Абрамом Сергеевичем.

27 сентября 1853 года

Ездил в Павловск к Норову. Много толков о министерских делах. В заключение он просил меня приготовить две записки: одну о цензуре вообще, другую о Давыдовском комитете. Авось не удастся ли обуздать и то и другое.

Сильно подумываю оставить Аудиторское училище. Сил моих не хватает. Да теперь мне там, собственно говоря, и оставаться незачем. Если они захотят принять мой проект, то и без меня осуществят его, а не захотят, так еще меньше поводов оставаться мне там.

30 сентября 1853 года

Был на акте в Педагогическом институте. Там праздновался двадцатипятилетний юбилей его. Были три чтения: все хвалебные гимны самим себе. Особенно странно было слышать, как секретарь, читавший отчет, во всеуслышание объявил, что определение в директоры Педагогического института И. И.Давыдова составляет эпоху в истории этого заведения, которое с этого только времени начало совершенствоваться и процветать. И это говорилось в глаза Ивану Ивановичу. Он выслушал не сморгнув.

2 октября 1853 года

Подал генералу Роговскому просьбу об увольнении меня из Аудиторского училища. Двадцать один год проработал я там.

16 октября 1853 года

Абрам Сергеевич отправлял составленный мною проект системы нашего образования, особенно университетского, Якову Ивановичу Ростовцеву, прося его сообщить ему свои замечания. Проект этот одновременно служит и ответом министерства на предположение блудовского комитета. Ростовцев не предложил никаких изменений.

20 октября 1853 года

Война. Говорят, турки перешли Дунай или заняли один из островков, который командует переправой. Наша флотилия, ходят слухи, пострадала на Дунае.

21 октября 1853 года

Виделся с П.И.Гаевским. Дело идет о передаче мне редакции “Журнала министерства народного просвещения”.

15 ноября 1853 года

Празднование в Смольном монастыре двадцатипятилетия со дня принятия императрицею заведений ведомства Марии в свое заведование. Обедню служил митрополит, затем состоялся торжественный обед в большом зале. Там встретил я многих из своих бывших учениц: они приветствовали меня как друга.

27 ноября 1853 года

В октябрьской книжке “Библиотеки для чтения” напечатана рецензия на “Пропилеи”, где разобрана и разругана статья Авдеева о храме св. Петра в Риме. В рецензии, между прочим, сказано:

“Жаль, очень жаль, что “Пропилеи” издаются не на французском языке: такого вздору не посмел бы господин Авдеев написать на языке академии надписей, и господин Леонтьев (издатель “Пропилеи”) наверно не решился бы напечатать для назидания всей Европы того, что счел за довольно хорошее для нас. Удивительно, что даже и в русском издании, в котором можно пороть дичь безнаказанно, господин Леонтьев не употребил своей издательской власти на устранение по крайней мере этой наглой нелепости!”

Плоско и неприлично! Но комитет 2 апреля, или негласный, вместо

литературного безвкусия увидел здесь целое преступление, а именно нашел, что тут “оскорблены русская литература и русское суждение”. Так точно донес он и государю. Велено сделать цензору строгий выговор и спросить: кто писал статью? Мы с Абрамом Сергеевичем долго ломали голову, как бы спасти Сенковского, ибо он автор ее. Решили в отношении комитету сказать все возможное в пользу его, снесясь предварительно с Дубельтом.

29 ноября 1853 года

Недовольство моими лекциями в университете, которое я несколько времени ощущал, слава Богу, прошло. Я опять овладел собою, и это отражается и на моих слушателях, которые кажутся наэлектризованными. Аудиторию мою посещают даже студенты, не обязанные меня слушать, из других факультетов.

6 декабря 1853 года

Сенковскому велено сделать строжайший выговор (через министра) с внушением, что “такие статьи не только не приносят пользы литературе, но, напротив, вредят ей”. Ну, слава Богу, дело обошлось легче, чем все мы ожидали.

14 декабря 1853 года

Великолепное торжество в Смольном монастыре, все в честь того же двадцатипятилетия с тех пор, как ныне царствующая императрица приняла под свое покровительство женские учебные заведения. Мы вместе с Абрамом Сергеевичем поехали туда в семь часов. Час спустя прибыла вся царская семья. Начались характеристические танцы, которые имели целью пантомимой выразить императрице любовь и признательность детей. Хор девиц пропел стихи, сочиненные на этот случай Бенедиктовым. Потом на нарочно устроенной для того эстраде были поставлены живые картины с аллегорическим изображением добродетелей государыни: милосердия, любви к искусствам, наукам и т.д. Группы из молоденьких, свежих и красивых монастырок были очень изящны и эффектны. Затем пошли обыкновенные танцы, в которых участвовали и великие князья. Государь, почти все время стоя, любовался оживленным зрелищем. Но он мало к кому обращался с разговором, однако сделал исключение в пользу Абрама Сергеевича, которого сам нашел в тесной толпе военных и статских сановников. Он с полчаса продержал его около себя и, между прочим, сказал ему:

— Я очень доволен студентами: они так хорошо себя держат, у них такой бодрый вид.

Норов на это отвечал, что он “ручается за то, что каждый из них готов стать в ряды русского победоносного войска и через два месяца быть офицером”.

Государь еще говорил с Броневским и какою-то дамою. В начале одиннадцатого двор уехал. Абрам Сергеевич очень доволен благосклонным вниманием к нему государя, но, надо ему отдать справедливость, не только лично за себя, но и потому,

что видит в том залог успеха для дела, которому действительно хочет честно служить.

15 декабря 1853 года

Сегодня в церкви Смольного монастыря (все по случаю юбилея императрицы) был молебен, на котором опять присутствовал государь и часть его семьи. По окончании молебна всех присутствовавших представляли государыне: у ней для каждого нашлось ласковое, приветливое слово.

17 декабря 1853 года

С девяти часов утра и до половины четвертого, почти не вставая с места, работал над составлением важной записки для государя. Дело идет о слиянии комитета 2 апреля с главным управлением цензуры. Это смелый шаг. Комитет делает много зла. Абрам Сергеевич хочет предварительно показать записку графу Д.Н.Блудову, который тоже весьма не одобряет действий комитета.

18 декабря 1853 года

Булгарину велено сделать строжайший выговор за статью об извозчиках.

23 декабря 1853 года

Был, по приглашению, на выпускном экзамене в Мариинском институте. Присутствовала великая княгиня Елена Павловна. При всякой новой встрече с ней не можешь не отдать ей должного за ум, образование, за любезность и такт. Во время завтрака она много, тонко и умно говорила о Гоголе и о Рашели.

На днях А.А.Фет читал у меня свой перевод Горация. Это капитальный труд нескольких лет и действительно ценный вклад в нашу литературу.

25 декабря 1853 года

В Екатерининском институте есть девочка Попандопуло, лет четырнадцати. Из газет она узнала о смерти своего брата, убитого в сражении с турками. Подруги изъявляли ей участие, и одна из них спросила: “Жаль ли ей брата?” — “Чего жалеть, — отвечала она, — он погиб за царя и отечество”. Об этом довели до сведения государи, и его величество назначил девице Попандопуло пенсию в тысячу рублей до выхода замуж — “за религиозно-верноподданнические чувства”, как сказано в официальной бумаге. Сверх того, при выпуске из института ей велено выдать еще тысячу рублей, а когда она будет выходить замуж, то довести о том до сведения двора, и тогда ее снабдят приданым.

30 декабря 1853 года

Вчера в торжественном годичном заседании Академии наук меня избрали членом-корреспондентом ее по отделению русского языка. Я не был в этом заседании.

Теперь занимает меня речь к университетскому акту. Я выбрал тему “Об эстетическом элементе в науке” и пишу ее в промежутки между приступами жестокой головкой боли, которая меня мучает уже две недели. Надо во что бы то ни стало дописать речь в течение праздников: потом будет некогда, а акт у нас 8 февраля.

1854

26 января 1854 года

Все это время я работал, как говорится, не переводя духа, дни и ночи. Управляющий министерством народного просвещения хочет просить аудиенции у государя. Надо было приготовить несколько докладов и, кроме того, написать речь к университетскому акту, которую праздниками я только начал. К счастью, здоровье пока выносит. После приема порошков Шипулинского головные боли мои прекратились. Надолго ли? Между тем я чуть было не уехал в Одессу, Харьков и Киев по поручению министерства. Почти все уже было готово, оставалось министру переговорить с попечителем. Но когда я предупредил последнего, он заупрямился. Министр не захотел вступать с ним в бой, я не настаивал, так дело и кончилось ничем.

8 февраля 1854 года, понедельник

Акт в университете. Я читал речь: “Об эстетическом элементе в науке”. Получил много похвал и благодарностей, но иные жаловались, что я тихо читал. Какой-то архиерей, сидевший возле Авраама Сергеевича, заметил, что “речь очень хороша, но в ней мало религиозного”. Верно, он ожидал услышать с кафедры университетской отрывок из Четьи-Минеи или Патерика.

14 февраля 1854 года

В четверг была страшная вьюга. Я отправился в университет пешком, потому что так и здоровее, и дешевле, и приятнее — приятнее потому, что из всех зимних прелестей нашей природы я больше всего люблю вьюгу, а летом грозу. На переходе через Неву ветер сбивал меня с ног и заметал тропинку так, что мои калоши наполнились снегом. За это я поплатился простудою. Вот уже третий день, как я сижу дома и пью лекарство. Сегодня мне лучше.

16 февраля 1854 года

В истине есть что-то такое, что ощущается тотчас, как скоро она проникает в сознание. Этого не докажешь никакими фактами, формулами и выводами. Те, которые требуют совершенного объяснения истины, похожи на людей, которые, не довольствуясь тем, что видят свет, хотели бы захватить его рукою и поднести к носу.

Целую жизнь мою я стремился к одному: чтобы быть возвестителем и

защитником *чистой красоты* в жизни и в искусстве. Многие ли меня поняли? Не знаю. Но я знаю мое дело. Много ли сделано в этом роде? Конечно, тысячная доля из того, что я мог бы, и биллионная из того, что можно. Но это не мешает мне продолжать идти так, как я шел доселе, и кончить так. Это было не юношеское одушевление, не поэзия возраста — нет, у меня это была строгая, непреложная задача жизни, знамя, под которым я стоял и стою среди людей и на котором запеклось много крови из моего сердца. Сначала мне хотелось, чтобы меня поняли. Но потом я убедился, что это невозможно и к тому же самолюбиво. *Не делиться* должно с людьми, а *давать* им, ничего не требуя взамен.

18 февраля 1854 года

Управляющий министерством в день акта был у государя для личного доклада. Государь принял его милостиво и благосклонно утвердил все наши доклады, в том числе об основании при С.-Петербургском университете факультета восточных языков, с закрытием его в Казанском университете и везде, где они есть по министерству. Другой доклад весьма важен для нашей литературы: испрошено соизволение государя представлять ему каждую треть года ведомость о лучших русских сочинениях и даже переводных, с кратким изложением их содержания и с указанием их достоинств, чтобы государь видел, что в нашем умственном мире не одни гадости творятся, как ему постоянно доносит пресловутый комитет 2 апреля. Государь и это принял благосклонно.

19 февраля 1854 года

Так как воображают, будто я ныне пользуюсь значением и кредитом в министерстве, то те, которые еще недавно ни во что считали оскорблять меня за то, что я им был некогда полезен, а потом, по их мнению, сделался бесполезен, — теперь опять обращаются ко мне с изъявлениями своей преданности, высокого мнения о моих всяческих заслугах и пр. и пр. Вот, например, Галахов из Москвы целый час говорил мне в этом смысле: ему нужно мое содействие у министра, чтобы изданная им книга была признана единственною в своем роде для учебных заведений. И это уже не первый случай.

6 марта 1854 года

Докторский диспут Булича; я был оппонентом.

12 марта 1854 года

Вчера до двух часов ночи проработал с управляющим министерством. Кажется, удалось победить одно зло. Я давно уже направлял батарею против гнусного Давыдовского комитета. Авраам Сергеевич вполне вошел в мою идею. С целью уничтожить это нехорошее дело покойного министра решено сделать государю доклад о восстановлении главного правления училищ, в котором должен потонуть и

оный комитет. Вчера я приготовил доклад. Директор министерской канцелярии тоже изготовил проект, но в противном духе, а именно клонящийся к продолжению комитета. Таким образом мы столкнулись, однако мне удалось одолеть.

Удивительные люди эти директора канцелярий! Никто уж и не ждет от них ни ума, ни сообразительности, ни государственной сметливости, — но они не умеют даже толково составить бумагу. Вот хоть бы директор министерской канцелярии, действительный статский советник Берте. Все сколько-нибудь серьезные дела, проходящие через его руки, целиком переделываются или мною, или самим министром. А между тем какое чванство, высокомерие! Какое презрение к науке и ее представителям! Другой, П.И.Гаевский, бывший цензор, тайный советник, смотрящий в товарищи министра, то, что называется почтенный человек, то есть когда говорит — не кричит, не машет руками, не смеется громко, не пьет, не волочится, не ворует и—не имеет собственного мнения. Но этот по крайней мере отлично знает канцелярские формы. Он очень резонабелен, ходит ощупью даже при свете дня по широкому тротуару, все чего-то боится, во всем сомневается, ничего не видит дальше своего директорского носа, который очень короток. Но надо ему отдать справедливость, он не надувается, добронравно стряпает свои бумаги на канцелярской кухне, где из них приготовляет департаментский винегрет отношений за номерами.

13 марта 1854 года

Государь утвердил нашу мысль о слиянии Давыдовского комитета с главным правлением училищ. Вчера доклад послан, а сегодня вернулся с резолюцией: “Согласен”.

21 марта 1854 года

Все эти дни работал над отчетом за прошлый год по министерству, который на этой неделе представится государю. Тут вся суть в заключении. Это экстракт всего: выводы и виды правительства, приведенные в исполнение или еще ожидающие очереди. Вчера я читал первые листы Аврааму Сергеевичу: он поблагодарил меня жарким объятием. Остается кончить немного. Если не успею сегодня, завтра придется пожертвовать каким-нибудь другим делом.

11 апреля 1854 года

Праздник Пасхи. Авраам Сергеевич утвержден министром народного просвещения. Заутреню я слушал в министерской церкви. Нынче праздник и для меня не без приятных сюрпризов. Наконец признали, что не рано произвести меня в действительные статские советники. Но самое приятное это то, что Авраам Сергеевич выхлопотал мне пособие в 1000 руб. серебром. Это меня буквально спасает в настоящую минуту, ибо по случаю двух серьезных болезней в семье я находился в полной невозможности свести концы с концами.

14 апреля 1854 года

Сегодня министр принимал поздравления в департаментской зале. Мое появление там произвело неожиданный эффект. Когда я вошел, множество лиц устремилось в мою сторону, так что я невольно обернулся посмотреть, какая важная особа идет за мной следом. Особа оказалась — я сам. Меня засыпали поздравлениями и любезностями, улыбками и рукопожатиями. Я, очевидно, возвысился — только не в собственных глазах. Завтра — новый поворот колеса, и я опять смят, затерт. Но — всякому дню довлеет злоба его, и потому отложим попечения до завтра, а сегодня — смело, во всеоружии вперед. Влияние, какое мне в данный момент приписывают на дела министерства, налагает на меня новый долг и, как бы оно мимолетно ни было, из него надо извлечь всю возможную пользу для нашего просвещения и для подвизающихся на благо ему.

17 апреля 1854 года

Государь остался очень доволен нашим отчетом. Он говорил это наследнику и приказал ему прочесть его. Наследник читал “с удовольствием”, как сам о том сообщил Аврааму Сергеевичу.

И.И.Давыдов, сей великий ловец благ, получил владимирскую звезду и, кажется, совсем помутился от радости. Для поощрения начальства к доставлению ему вящих и вящих наград он придумал следующее. С большим шумом слов он на днях подал министру бумагу с сообщением, что Педагогический институт весь решается стать под ружье и просит, чтобы его теперь же, немедленно начали учить военным эволюциям. Министр изумился и не знал, что делать с таким радикальным усердием. А Иван Иванович хлопочет об одном: чтобы это дошло до государя. Между тем в этом есть и своя неловкая сторона, которую И. И. упустил из виду. Предложение такой крайней меры как бы намекает на недостаточность наших военных сил и на критическое положение их. В заключение Авраам Сергеевич распорядился прекрасно. Он дал этому характер милого, но ребяческого усердия юношей и в таком тоне передал дело великой княгине Елене Павловне и наследнику. Его высочество заметил: “Да, ведь нам нужны также и образованные педагоги”. Он выразил удовольствие, что Авраам Сергеевич не дал этому официального хода. Так Иван Иванович остался, как говорится, с носом.

9 мая 1854 года

Я вполне сознаю шаткость моего положения при министре, а следовательно, и нашего с ним дела. Боюсь, чтоб большинство наших надежд не рассеялось дымом. Характер его мне известен. Он благомыслящ, просвещен, гуманен, но слаб. Горе ему и общеполезному делу, если он попадет в недобросовестные руки искателей и ловцов личных благ. А на него исподтишка уже готовится облава! Много будет тогда сделано ошибок. Вот почему я старался и по сих пор стараюсь оградить его от вредных влияний, так сказать своей грудью прикрыть его от них. Трудная и

неблагодарная роль. Надо быть постоянно настороже.

11 мая 1854 года

Моя семья переехала на дачу. Но я остался еще здесь — у меня экзамены, комитеты и тому подобное.

15 мая 1854 года

На даче и я. Сильно надоел мне этот Лесной корпус. В нем все переменилось — лес истреблен, поля заняты огородами, население умножилось, развелись кабаки — одним словом, вышел дрянной городишко.

17 мая 1854 года

В городе. Экзамен в Аудиторском училище и доклад министру.

28 мая 1854 года

Авраам Сергеевич переехал в министерский дом. Я был на молебне в его новом жилище. Оно великолепно.

17 июня 1854 года

Почти не живу на даче. Езжу то в город, то в Павловск на свидания с министром. Вчера ездил в Царское Село к попечителю объясниться с ним по делу об открытии восточного факультета при здешнем университете. Оттуда отправился опять-таки в Павловск и вечером возвратился в город вместе с Авраамом Сергеевичем, и продолжали работать еще далеко за полночь. О собственных литературных трудах почти и думать не приходится. Между тем очень хочется написать хоть биографию Галича, которая давно у меня просится под перо.

8 сентября 1854 года

Сегодня мы переехали с дачи. Самое интересное событие нынешнего лета для меня — это моя поездка в Москву. Я поехал туда 19 июля и вернулся 4 августа. Там я был принят с распростертыми объятиями учеными собратами: Катковым, Соловьевым, Леонтьевым, Кудрявцевым, Драшусовым. У Каткова я провел несколько дней в Петровском парке. Радостно и любовно встретил меня также Калайдович, которого, увы, теперь уже нет. Он умер очень скоро после моего отъезда из Москвы, как говорят, от холеры. Горькая для меня потеря!

Две недели в Москве прошли очень приятно в беседе с ученой братией и в странствиях с Калайдовичем по Белокаменной и ее окрестностям. Возвратный путь тоже был хорош. С тем же поездом ехал Я.И.Ростовцев. Он перетащил меня в свой

вагон, и мы незаметно доехали до Петербурга.

Нынешнее лето своей необычайной прелестью редкое в Петербурге. Никто не помнит подобного. Теперь и холера почти прекратилась, зато в Москве, говорят, она была свирепа.

В настоящее время все вошло в обычную колею. Я опять оделся в боевые доспехи, вооружился бодростью духа и смело иду навстречу случайностям. Да будет, что будет!

19 сентября 1854 года

А вот и борьба. Надежды на улучшение цензуры меркнут. Сегодня я начал говорить министру о ее злоупотреблениях и бессмыслии. Но он обнаружил такое равнодушие, что мне даже стало досадно, и я круто повернул разговор на другой предмет. Отложим атаку до более благоприятной минуты.

Было, между прочим, говорено по случаю настоящих событий о том, что у нас на высших ступенях государственной и общественной деятельности нет людей способных. Я заметил, что это в связи со всей системой управления у нас. Со мной согласились. Действительно, настоящая эпоха — это эпоха нравственных и умственных ничтожеств. Забавно, что все это понимают, но и находят, что так тому и быть. Ростовцев, едучи со мной из Москвы, сильно напирал на то, что материалы у нас прекрасные, но нет распорядителей, которые с толком употребляли бы их в дело. “Да, — прибавил я, — и это наше горе везде: и на гражданском и на военном поприще”.

19 сентября 1854 года

Обедал у министра, где был также ректор Казанского университета Симонов. Это умный человек, говорит хорошо. За обедом и после обеда я навел разговор на его кругосветное путешествие с капитаном Беллингсгаузеном. Он порассказал много интересного и сопровождал свои рассказы умными, дельными замечаниями. Министру он очень понравился. Он приехал сюда лечиться от полипа, хочет просить Пирогова сделать ему операцию.

21 сентября 1854 года

Было совещание между нашим министром и управляющим министерством иностранных дел Сенявиным. Дело шло об устройстве восточного факультета при здешнем университете. Я присутствовал в качестве члена комитета, учрежденного по этому вопросу, и делопроизводителя.

Вот как у нас, между прочим, назначают людей на важные посты. Умер попечитель Дерптского учебного округа, Крафштрем. На днях я застал министра в кабинете задумавшимся над адрес-календарем.

— Вот, — говорит он, — думаю, думаю и ума не приложу, кого назначить на

место Крафштрема.

И при этом он прочел вереницу имен, где, между прочим, упоминались: Дюгамель, Врончено, фон Брадке.

— На ком же из них вы думаете остановиться? — спросил я.

— Право, не знаю. Не укажете ли вы кого?

— Вы в числе других назвали Брадке, — отвечал я. Чего же лучше? Он уж был попечителем в Киеве. Это человек опытный, образованный и благородный.

— А что вы думаете? — сказал министр. — И в самом деле! Не написать ли ему и не попросить ли его заехать ко мне завтра?

Я знал, что написание письма может быть отложено до завтра. Завтра придет Павел Иванович Гаевский и испортит дело своими вечными затруднениями, которых нетрудно найти всегда, когда захочешь.

— Не лучше ли, Авраам Сергеевич, — возразил я, — если делать, то делать сейчас же. Не угодно ли вам: я съезжу к Брадке и переговорю с ним от вашего имени?

— Прекрасно! Возьмите мои экипаж и поезжайте немедленно.

К сожалению, я не застал Брадке дома, но, возвратясь, постарался так настроить Авраама Сергеевича, что он тут же написал записку и послал к Брадке на дачу, где тот теперь живет.

В настоящее время и государь уже согласился на его определение. Лица, достойные и способные к отправлению высших должностей, у нас так мало поставлены на вид, что определение на соответственное место одного из них является просто случайной находкой.

25 сентября 1854 года

В “Саратовских губернских ведомостях” напечатано несколько народных песен не совсем нравственного содержания — разумеется, в виде материала для изучения нашей народности. Негласный комитет, управляемый ныне Корфом, донес о том государю. Велено губернатору сделать выговор, цензировавшего газету директора гимназии выдержать месяц на гауптвахте и спросить министра, “благонадежен ли он продолжать дольше службу?” Министр сам написал очень умный доклад в защиту бедного директора, который действительно один из лучших наших губернских директоров. Сегодня доклад послан.

Одна дама [Т.Пассек] в Москве хотела издать сборник из хороших статей, подаренных ей знакомыми московскими учеными. Бывший министр, Ширинский-Шихматов, исходатайствовал повеление считать сборники за журналы, и потому на этот новый сборник пришлось испрашивать высочайшего разрешения. Последовала резолюция: “И без того много печатается”. На самом же деле у нас вовсе не выходит никаких книг, а как и сборники запрещены, то литература наша в полном застое. Только и есть, что журналы “Отечественные записки”, “Современник”, “Библиотека

для чтения", "Москвитянин" и "Пантеон". Но и в них большею частью печатаются жалкие, бесцветные веши.

26 сентября 1854 года

Слава Богу! Саратовский директор, цензуровавший вышеупомянутые народные песни, по ходатайству министра, прощен. Ему велено одновременно объявить месячный арест и помилование.

Но тут же новое горе для литературы. В "Москвитянине", кажется в июньской книжке, напечатана повесть Лихачева "Мечтатель". В ней места три-четыре действительно лучше было бы не пропускать во избежание худшего зла, но цензора Похвистнев и Ржевский пропустили их. Министр велел подать им в отставку. Сколько ни убеждал я, чтобы с ними было поступлено не так строго, министр на этот раз остался при своем решении. К сожалению, это подаст повод здешним цензорам быть еще неукротимее в своих запрещениях.

30 сентября 1854 года

Я написал и представил министру еще в первых числах августа план преобразования и улучшения "Журнала министерства народного просвещения", редакцию которого предложено передать мне. Авраам Сергеевич, как обыкновенно, с жаром торопил меня заняться предварительными соображениями о журнале, а когда я это сделал, он совсем о нем замолчал. А журнал действительно в плохом состоянии.

1 октября 1854 года

Что сделалось с Авраамом Сергеевичем? Не понимаю! Он поступает с цензурой чуть ли не хуже, чем его робкий и неспособный предшественник. На него напал какой-то панический страх. Он привязывается к самым невинным фразам, и стоит только кому-нибудь, Комаровскому или Волкову, указать на самое безупречное место в книге или журнале, чтоб взволновать его, и у него тотчас готово строгое предписание, выговор. Сегодня Берте показывал мне кучу заготовленных бумаг этого рода. Надо приготовить записку о цензуре и подать ее министру. Но это потребует довольно времени, да и надежды мало на успех. Какой-то рок влечет нашу эпоху. Куда? Не знаем.

Мы только плачем и взываем:

О, горе нам, рожденным в свет!

Но честный человек не должен слагать оружия и предаваться бездействию, доколе есть хоть тень возможности действовать.

7 октября 1854 года

Хлопотал у министра за Лясковского, чтобы ему дали кафедру химии в Москве. О нем все, и специалисты и неспециалисты, отзываются одинаково хорошо, как об ученом и как о человеке. На беду он доктор медицины, а не химии, по закону же надо быть доктором той науки, по которой желаешь занять кафедру. Однако министр обещал определить его исправляющим должность экстраординарного профессора, а там его ученые заслуги *как-нибудь* проведут его и дальше. Кстати: у нас есть благодетельное *как-нибудь,* которое производит неисчислимые зла на Руси, но иногда помогает и добру.

Изменяться свойственно человеку, но неужели он должен изменяться только к худшему? Скольких людей я знал и знаю, которые начали свое поприще по-человечески, а продолжали его или кончили так, что сказать стыдно. Они всё повалили разом: и юношеские увлечения и прекрасные верования в добро, правду и истину. Да, видно, верования-то их были не иное что, как тоже только юношеские увлечения или брожение неустановившейся мысли, навеянное чтением иностранных книг. Вот, например, М., — человек с замечательным умом, учившийся у нас в университете, — как скоро занял значительное место, так и стал кривиться на один бок. Прежде это была светлая голова, воздававшая Божие Богови и кесарю кесарево, понимавшая и дело и мысль, движущую делами, а теперь он чуть ли не гонитель науки. У него все науки — бесполезные теории, и только тот чего-нибудь стоит, кто постиг практику деловую и житейскую, то есть кто ничего не видит и видеть не хочет, кроме того болота, в котором копошится.

8 октября 1854 года

Составил и отдал в канцелярию для переписки доклад государю и список о лучших произведениях нашей учено-литературной деятельности с января по октябрь. Набралось шестнадцать сочинений.

16 октября 1854 года

Министр поручил мне рассмотреть и обсудить несколько важных вопросов, касающихся наших университетов. Ко мне прислана для справок и наблюдений куча дел. Теперь я весь утонул в них.

19 октября 1854 года.

Беда с людьми, у которых больше добрых намерений, чем сил приводить их в исполнение. Обещав Лясковскому определить его исправляющим должность экстраординарного профессора, министр ничего не предпринял для осуществления своего обещания, а сегодня директор департамента Гаевский объявил бедному Лясковскому, чтобы он об этом и не помышлял, что министр, вероятно, ошибся, забыл и т.д.

23 октября 1854 года

Вечером присылал за мною министр: некоторые из наших докладов возвратились от государя утвержденными. Между ними меня особенно интересовали два, составленные мною: об образовании восточного факультета при здешнем университете и доклад о лучших учено-литературных произведениях, появившихся в промежуток времени с января по октябрь, и где, между прочим, испрашивалось благоволение Обществу древностей в Москве, Соловьеву (за его историю), Калачову (за сборник) и Федоренке (за астрономические вычисления). Все это труды в высшей степени почтенные, и я с особенным удовольствием на них остановился: пусть приучаются там, где следует, смотреть на нашу научно-литературную деятельность не как на пугало, а как на нечто, заслуживающее уважения и поощрения.

Большого труда мне стоило отклонить от представления в Государственный совет нашего первого доклада. Однако это удалось: министр, наконец, согласился обратиться прямо к государю. Таким образом дело это теперь поставлено прочно.

Удалось мне также добиться того, что министр по крайней мере дал слово по истечении трех месяцев сделать Лясковского исправляющим должность экстраординарного профессора.

24 октября 1854 года

Много толков об отставленных цензорах. Приехал из Москвы Погодин хлопотать о себе и о других. Я виделся с ним у министра.

25 октября 1854 года

Недоволен собой. Чувствую сильную усталость, вследствие которой, должно быть, не выказал должной настойчивости: одну из предложенных мною за эти дни мер вовсе не сумел отстоять, а две другие подверглись канцелярским переделкам и поправкам, сильно их исказившим. Мои виды честные, и надо поддерживать их с большей энергией мысли и слова.

27 октября 1854 года

На вечере у министра. Авраам Сергеевич по средам принимает у себя многочисленное общество. Он чуть ли не первый из наших министров завел, чтобы гости его состояли не из одних игроков в преферанс, но и из людей с ученым и литературным именем. На этот раз я у него встретил нашего Фишера, Буняковского, Чебышева и других.

Я довольно много говорил с Погодиным. Он ныне занимается собиранием портретов русских писателей. Не хочет ли он потом и эту коллекцию продать так же выгодно, как свое древнехранилище, за которое он взял с правительства 150 тысяч

рублей серебром? Он написал еще какое-то послание к раскольникам, которое мне очень хвалил министр. Погодин обещался мне прочесть его. Умный и плутоватый мужик! Долго разговаривал я также с генералом Висковатовым о нынешних военных событиях и неожиданно встретился с князем Мещерским А. В., с которым не видался семнадцать лет. Он все это время служил в Варшаве, а теперь переведен сюда. Мы некогда были с ним близко знакомы и сегодня с удовольствием встретились.

28 октября 1854 года

Безалаберность — вот девиз нашего общества, а ложь его кумир. Оно лжет ежеминутно мыслью и делом, сознательно и бессознательно. Под влиянием последних чрезвычайных событий в нем как будто и начала шевелиться мысль: она куда-то рвется, что-то хочет понять, выяснить. Но ей не удалось развиться логически, ей недостает опоры науки, она кружится в пространстве, бьется, как подстреленная птица… Нет, тут надо еще целое столетие, чтобы могла выработаться какая-нибудь разумная сила.

29 октября 1854 года

Сегодня мы долго говорили с Авраамом Сергеевичем. Я, между прочим, сказал ему о том, какое неприятное впечатление производит при нынешних обстоятельствах отрешение двух цензоров (Похвистнева и Ржевского), что в публике это приписывают влиянию графа Панина, будто бы обратившего внимание на глупые фразы, которых никто другой не заметил и которыми никто не думал соблазняться, и т.д.

Просвещение, наука — это не иное что, как опыты веков. Вопрос в том: принять эти опыты или отвергнуть их? Но, раз приняв их, надо уже видеть такими, как они есть, иначе то будут не опыты, порождающие мудрость, а призраки, ведущие к блужданию среди мнимых пропастей и западней.

А ведь ларчик просто отпирается: не надо лгать.

30 октября 1854 года

Говорил с министром о необходимости составить инструкцию для цензоров, чтобы они знали, чего держаться, и чтобы обуздать их произвол, часто невежественный и эгоистичный. На этот раз министр меня выслушал, казался убежденным и просил меня заняться этим.

Каролина Павлова, написавшая “Разговор в Кремле”, ужасно хвастает фразою: “Пусть гибнут наши имена — да возвеличится Россия”. Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать “пусть гибнут наши имена, лишь бы возвеличилось отечество”, значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными,

доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения. Оно первое чтит славные имена этих сынов, сохраняет их в своей благодарной памяти как святыню и гордится ими, указывая на них грядущим поколениям как на образец для подражания. То, что говорит Павлова, — гипербола и фальшь.

Вообще госпожа эта — особа крайне напыщенная. Она не без дарования, но страшно всем надоедает своей болтовней и навязчивостью. К тому же единственный предмет ее разговора — это она сама, ее авторство, стихи. Она всякому встречному декламирует их, или, вернее, выкрикивает и поет. Летом на даче она жила близко от меня и не давала мне проходу, так же как и Плетневу: мы буквально от нее бегали.

Кстати о поэтах. Между ними теперь вообще в моде патриотические стихи. В этом, конечно, нет ничего предосудительного. Но беда в том, что все эти признанные и непризнанные поэты — особенно последние — вдохновляются не столько действительным патриотизмом, сколько вожделениями к перстням, табакеркам и т.д. Стихи подносятся министру в надежде, что бьющие в них через край верноподданнические излияния будут повергнуты к стопам монарха и принесут желаемые плоды. Не раз уже ставили они в затруднение доброго Авраама Сергеевича. Легко поддающийся первому впечатлению, он еще на днях взялся представить такие стихи — одни из лучших — государю, а теперь не знает, как от этого отвертеться. Не время, право, занимать государя такими пустяками, и люди с дарованием могли бы делать более достойное употребление из своего таланта.

7 ноября 1854 года

Странное и страшное происшествие в городе: сегодня рано утром появился на улицах бешеный волк. Он с Елагина острова пробрался на Петербургскую сторону, обежал Троицкую площадь вокруг крепости, промчался по Троицкому мосту, через Сергиевскую, к Таврическому саду и обратился вспять к Летнему саду, где, наконец, и был убит двумя мужиками. По пути он искусал до тридцати восьми человек и вообще наделал пропасть бед. Несчастные жертвы его отправлены в больницы.

8 ноября 1854 года

Говорят, что это Иван Иванович Давыдов указал графу Панину на известные фразы к напечатанной в “Москвитянине” повести “Мечтатель”, за которые были отставлены цензора Похвистнев и Ржевский. Если это правда, то Иван Иванович сделал дело, для которого трудно подобрать приличное название.

9 ноября 1854 года

Я только что от министра: он вверил мне несколько важных дел, которые я должен обработать для его личного доклада государю. Все должно быть готово к половине декабря. Тут, между прочим, дело об отмене ограничения числа студентов, принимаемых в университет, и другое — о возвращении дополнительного

жалованья профессорам, и прочее. Работы много — и работы трудной, ибо тут всё о разных *отменах*. Зато это не текущие пустяки, а вопросы важные, над которыми приятно поработать.

10 ноября 1854 года

Переговоры с Сербиновичем о “Журнале министерства народного просвещения”. Сербинович просит, чтобы его оставили еще на год моим соредактором. Я буду входить в сношения с нашими учеными и привлекать их к участию в журнале и вообще заниматься литературной частью. Жалованье пополам.

9 декабря 1854 года.

Кончил доклады государю. Сегодня читал их министру. Он остался очень доволен и, по обыкновению, горячо обнял меня. Больше всего труда стоила мне грамота Московскому университету по случаю столетнего юбилея, который будет праздноваться 12 января следующего года. Мне хотелось как можно рельефнее означить заслуги университета и придать всему торжественный характер. Авраам Сергеевич все одобрил.

12 декабря 1854 года

Министр просил меня переделать доклад о пенсиях, написанный в департаменте, и очень плохо. Самая несносная работа — это переделыванье. Несравненно легче написать самому. Надо просидеть за делом ночь, так как доклад должен быть готов к утру.

13 декабря 1854 года

Доклад о пенсиях готов. Министр желал, между прочим, сделать кое-какие перестановки, чтобы сообщить всему более мягкий характер. Главная трудность в том, что приходится хлопотать об отмене прежних и еще очень недавних постановлений. Министерство в настоящее время только и занято тем, что вытаскивает из воды камни, набросанные предшествовавшими управлениями, особенно при Шихматове. Надо отдать справедливость Аврааму Сергеевичу: он вообще действует благородно и смело. Первое, впрочем, ему присуще, но долго ли его хватит на второе — не знаю. Сегодня мы с ним имели откровенный разговор. Во всяком случае намерения его чисты, как ясный день.

— Я не боюсь, — сказал он между прочим, — представлять государю доклады даже об отмене того, что им самим повелено, потому что ничего не ищу для себя, а по крайнему моему убеждению думаю только о том, что полезно для него и для отечества. Если я ошибаюсь, пусть меня просветят; но скрывать от него истину я не хочу, как верноподданный и как сын России.

С министром, так благородно настроенным, — хорошо и работать. В минуты

подобного одушевления у Авраама Сергеевича мы вполне сходимся с ним в видах. Совещаясь тогда о каком-нибудь деле, я заранее знаю его мнение, а он мое, и мы без усилия соглашаемся в подробностях, потому что с самого начала согласны сердцем. Ах, если б только не эти канцелярские тормозы!..

Он, между прочим, сообщил мне любопытное правило, которым руководствовался князь Шихматов. “Авраам Сергеевич! — говорил он ему при каждом серьезном случае, где требовалось энергическое действие, — да будет вам известно, что у меня нет ни своей мысли, ни своей воли, — я только слепое орудие воли государя”.

15 декабря 1854 года

Наконец все наши доклады перечитаны, переписаны, еще перечитаны и совсем готовы. Министр меня благодарил как друг. Работы было много, но работы хорошей, серьезной, и я не уставал, работал с одушевлением, могу сказать — с любовью. Если благие намерения министра осуществятся, я буду вправе себе сказать: “Тут есть капля и Моего меду”. Самое важное из настоящих дел то, которое касается цензуры, то есть *уничтожения негласного комитета,* а с ним вместе и большинства цензурных бедствий и нелепостей. Задача в том, чтобы ввести цензуру в рамки, где не было бы места произволу людей недобросовестных и невежественных, которые теперь располагают ею ко вреду просвещения. Теперь не грешно немножко и отдохнуть.

17 декабря 1854 года

Не в добрую минуту подумал я об отдыхе. Едва успел я снять с себя боевые доспехи, как опять приходится в них облекаться. Приезжаю из Смольного и нахожу у себя записку от министра: зовет к себе. Еду. Он поручает мне переделать еще одну записку к государю, составленную в департаменте. Я переделываю, он одобряет и… снова передает в департамент, где ее вторично переделывают и, разумеется, с негодованием на меня. Это большая неловкость со стороны Авраама Сергеевича, которая ставит меня в неприязненное отношение с его чиновниками. Это безделица, но она еще обостряет их неприязнь ко мне. Возвращаюсь домой около полуночи и застаю у себя опасную болезнь: мой бедный мальчик захворал крупом…

18 декабря 1854 года

Опасность миновала. Можно опять свободнее вздохнуть.

19 декабря 1854 года

Толкуют об юбилее Греча. Многие находят его неуместным. Во-первых, литературные заслуги Греча, которые у него, конечно, есть, не таковы, однако, чтобы дать ему право на этот почет. Как же после того должно общество выражать свою

признательность деятелям, подобным Крылову, Пушкину, Жуковскому, Гоголю? Во-вторых, репутация Греча двусмысленна. В чем только ни подозревают его! Да и дружба с Булгариным не делает ему чести и не возбуждает к нему доверия. В случаях торжественного изъявления кому-нибудь уважения от имени общества надо же, наконец, брать в расчет также и нравственность. Настоящий юбилей — личный, а не общественный, хотя в газетах и было воззвание на всю Россию. Его затеяли приятели Греча с Яковом Ивановичем Ростовцевым, у которого много подчиненных и знакомых, так что юбилей, вероятно, состоится, то есть соберется сумма, достаточная для хорошего обеда, — в чем и вся сила. Но зачем же эту приятельскую фикцию раздувать в дело общественное?

Я решительно уклонился от участия в нем, на что у меня, кроме нравственных, есть еще и материальная причина: я не в состоянии так непроизводительно бросить рублей двадцать пять. Будем надеяться, что это не зачтется тем, кто не явится на готовящийся триумф.

Между тем почтенный и добрейший генерал Рикорд, который, как солнце, безразлично улыбается и правым и неправым, ездит по городу и вербует участников. На днях он был у нашего министра, но тот отвечал на его приглашение сухо и холодно.

При мне Иван Иванович Давыдов докладывал министру проект адреса, которым Академия наук намерена приветствовать Московский университет в день юбилея. Он написан высокопарно и пусто. Министр радикально отверг его. Особенно не понравилась ему фраза: “Елисавета последовала гласу своего родителя, который произнес: да будет в России свет — и бысть”. Он даже увидел в этом профанацию священных слов библии. Я все время доклада молчал и только при фразе: “Академия, участвуя с Московским университетом в славе просвещения России, радостно его поздравляет” и т.д. — подумал про себя, что со стороны академии было бы скромнее и тактичнее не выставлять и себя также просветительницею России.

Государь назначил министру аудиенцию завтра, в половине 12-го часа. Авраам Сергеевич уже сегодня едет в Гатчину, где будет ночевать. Он пригласил меня быть у него завтра вечером, чтоб узнать о результате его докладов. “Помолитесь за успех”, — сказал он мне на прощанье.

Да, я молюсь, и еще как горячо! Эти доклады имеют в виду добро и пользу нашего просвещения, а право, оно всего больше нужно России. Мы еще дети в нем. Полуобразованность — наше бедствие. Отсюда лживость и поверхностность — эти два бича, удручающие наше так называемое образованное общество. Чем больше и основательнее будем мы учиться, тем скорее от них избавимся.

Вот пример того, как смотрят у нас на истину люди, призванные быть ее глашатаями и опорою в деле воспитания. В комитете для рассмотра учебных руководств на днях рассматривалась “История” Смарагдова (новое издание). Председатель комитета Иван Иванович Давыдов потребовал исключения из книги всего, что касается Магомета, так как тот был “негодяй и основатель ложной религии”. Члены изумились. Профессор Фишер обратился к председателю и сказал:

“Чего же вы хотите, ваше превосходительство? Чтобы учащиеся истории не знали того, что происходило на свете? Тогда для чего же и история? Что же сказать учащимся о магометанах: какую веру они исповедуют? Неужели наука в том, чтобы заведомо распространять ложь?” Фишер еще много говорил в этом смысле, не щадя Давыдова, который, наконец, должен был взять назад свое предложение.

20 декабря 1854 года

Попечитель очень со мною любезен. Недавно он посетил мою лекцию в университете; я говорил о Державине. Когда я кончил, попечитель сказал: “Я никогда не слыхал литературной лекции столь основательной и изящной”. Я сам о себе знаю только то, что все это время чувствую себя особенно одушевленным, — а мои лекции в университете — это часть моей души и та отрасль моей деятельности, для которой я сознаю себя всего больше приспособленным.

Вечером. Министр вернулся от государя. Я поехал к нему узнать, что там происходило. Государь был очень милостив. Грамота Московскому университету подписана с замечанием, что она очень хорошо написана. Записку о допущении в Московский и Петербургский университеты неограниченного числа студентов государь прочел внимательно, сказал, что он очень доволен здешним университетом, но разрешил принимать в оба университета сверх 300 еще по 50 только. Наследник, присутствовавший при докладе, вместе с министром просили еще увеличить это число.

— Не опросите меня, — сказал государь, — довольно на этот раз. А там — посмотрим.

Однако министр еще осмелился сказать:

— Позвольте мне, ваше величество, у вас спросить: доходили ли до вас каким-нибудь путем дурные слухи о наших университетах?

— Отвечу тебе так же искренно, как ты искренно спрашиваешь, — сказал государь, — нет!

Записку о цензуре он оставил у себя с замечанием:

— Дай мне это самому прочесть и обдумать.

Записку о пенсиях велел внести в комитет министров.

— Я готов сделать по-твоему, — сказал государь, — только прежде надо выслушать мнение и других.

— Государь, — попытался вставить Норов, — я боюсь там возражений. Прочие министры не знают дел наших так хорошо. Министерство народного просвещения находится в совсем иных условиях, чем другие министерства.

Записка, однако ж, все-таки пойдет в комитет министров. Все прочие доклады государь утвердил.

Мы с Авраамом Сергеевичем горячо обнялись.

22 декабря 1854 года.

Заходил в министерскую канцелярию. Не добром пахнуло на меня там.

25 декабря 1854 года

Рождество. Был у обедни в министерской церкви, но обедать у министра отказался. Вечером обдумывал речь к столетнему юбилею Московского университета, на который я назначен депутатом от здешнего университета.

26 декабря 1854 года

Узнал о разных против меня канцелярских кознях. Невесело. Второй час ночи. Я было лег в постель, но не спится, хотя я и прошлую ночь провел почти без сна за работой. Мысль шагает далеко, но все, на чем она останавливается, немедленно подергивается туманом грусти.

Что значат успехи каких бы то ни было начинаний в жизни? Прекращение одной тяжкой заботы и призыв к другой, тягчайшей. Это бесконечная смена усилий, труда, строгих бдений и тревог — бесконечная гряда волн, которые поглощают одна другую. Во всяком успехе готовый зародыш беды, которая ждет только минуты, чтобы напасть на вас врасплох и поразить глубже и неисцелимее, когда вы всего меньше ожидаете поражения.

Истинная человечность в том, чтоб в каждом человеке уважать его особенности, его личность — права, призвание и убеждения, если они разумны и законны, и прощать ему, если они незаконны и неразумны. Но, увы! — чем больше узнаешь людей, тем менее находишь их достойными уважения и тем труднее становится их прощать.

И самая продолжительная и самая благополучная жизнь все-таки не более как сон. Ежедневно приходится повторять с Шекспиром: “Как ничтожен, и суетен, и мал деяний ход на свете”!

Самообразование, беспрерывное самоусовершенствование, внутреннее самоустройство в видах возможного умственного и нравственного возвышения — вот великая задача, вот труд, который стоит величайших усилий.

Весьма важная вещь в своем внутреннем хозяйстве — забыть про то, что могут сказать о нас люди, что подумают о нас люди. Кто колеблется от людских толков или прельщается их хвалами, кого одни в состоянии унизить, а другие возвысить в собственных глазах, тот обречен быть рабом и жертвою, тот никогда не вкусит сладости свободы и душевного мира.

Художник истощает все силы ума, чтобы изобразить на полотне или извлечь из мрамора совершеннейший идеальный образ, сделаться творцом изящного создания. Почему же мы не хотим употребить таких же усилий, чтобы создать нечто подобное из самих себя? Разве наша личность такой негодный материал, что над ним не стоит

и трудиться?

28 декабря 1854 года

Поутру принялся за речь к московскому юбилею. Работа не ладилась. Вот теперь, вечером, голова начала проясняться, и мысли, как весенние цветы, кой-где пробиваться на почве усталого духа. Тут вдруг, как рой комаров, налетела куча разнообразных дрязг… Но как бы то ни было, а надо вооружиться терпением и мужеством и сделать свое дело…

Юбилей Греча состоялся 27-го, то есть вчера, в понедельник. Я, разумеется, на нем не был. Говорят, народу было много, но ученых и литераторов сколько-нибудь известных — мало. Вот странность однако: государь ничего не пожаловал Гречу. Этого еще не случалось в подобных случаях, и это тем знаменательнее, что в то же самое время Востокову дана Станиславская звезда и лента.

29 декабря 1854 года

Сегодня было публичное собрание в Академии наук, на которое явился и Греч, точно хвастаясь, что вот я хоть и не член академии, однако сама публика меня увенчала. Но вышло нечто для него неприятное. Отчет читал Плетнев. Исчисляя и превознося заслуги Востокова, он особенно на них налег, назло Гречу, которого терпеть не может. Когда Плетнев кончил, встал министр и, обратясь к Востокову, в лестных выражениях поздравил его с царскою милостью. Греч немедленно скрылся.

30 декабря 1854 года

Весь день вел себя как нельзя хуже. Вчера узнал некоторые новости об университетах и так огорчился, что не спал до семи часов утра. Первая слабость. Днем последовали другие в виде тревожного состояния духа и т.д. Пора бы, кажется, усвоить себе более спокойное и бесстрастное воззрение на дела мирские и человеческие. Обедал у Авраама Сергеевича. Вечером А.Н.Майков читал свои патриотические стихи, а потом мы с министром ушли в его кабинет, где я ему чистосердечно высказал мои сомнения. Он старался меня успокоить и прочее. Авраам Сергеевич несомненно добрый, хороший человек, но его слишком легко сбить с толку, а с этим и не министру беда!

Получил от университета бумагу о назначении меня депутатом на московский юбилей, билет на проезд и 44 рубля на расход. Не особенно щедро, но я надеюсь выпутаться с помощью остатка от 1000 рублей, выданных мне недавно. Речь моя написана, а затем уже не трудно приготовиться к отъезду.

1855

2 января 1855 года

Новый год встретил у Авраама Сергеевича. Его, видимо, осаждали тревожные мысли, как и меня, хотя от разных причин. Он предложил мне тост именно за наши думы. Кстати. Я чокнулся с ним, перечокался еще с разными лицами. Вернулся домой около двух часов и застал там еще нескольких добрых друзей, встречавших Новый год с моей семьей. Мы выпили еще по рюмке вина и разошлись.

Сегодня читал у Плетнева мою поздравительную речь Московскому университету от нашего. Ее с жаром одобрили. Позже приехал князь Щербатов, помощник нашего попечителя. Это умный человек. Он отлично знает нашу часть, особенно гимназии, которые он неоднократно осматривал и изучал. Он говорит, что со времени введенных Шихматовым изменений они начали быстро падать. Я не раз пытался внушить Аврааму Сергеевичу желание с ним сблизиться, но тот, не знаю почему, от него пятится.

9 января 1855 года

Сегодня едем в Москву. Семь часов утра. Все готово. К десяти я должен быть у Авраама Сергеевича, а в одиннадцать уже вместе с ним на железной дороге.

17 января 1855 года

Вторник. Вчера приехал из Москвы больной и расстроенный. Была уже половина двенадцатого, когда поезд остановился у цели, вместо девяти, как следовало. Замедление Произошло от вьюги, которая бушевала всю ночь и заметала рельсы.

В Москве я провел неделю. Из Петербурга я отправился с министром. Нам дали особый вагон, где помещался также и Яков Иванович Ростовцев. Поезд был огромный: масса народу ехала на юбилей Московского университета, Предстоящее торжество возбуждало замечательное сочувствие во всех, кто когда-нибудь и чему-нибудь учился. С нами ехали депутаты от всех петербургских ученых сословий и учебных заведений. Яков Иванович большинство из них созвал в наш вагон. Тут были: М.В.Остроградский, Шульгин, Милютин, директора Пажеского корпуса, Школы правоведения и т.д. Яков Иванович устроил настоящий пир; подали завтрак; не жалели вина; общество сделалось шумным и веселым. Потом играющие в карты сели за карточные столы, остальные разделились на группы, где разговор затянулся далеко за полночь. Итак, путешествие, благодаря Ростовцеву, было оживленное.

Вагон наш был хорошо прибран и натоплен. В Москву мы приехали на следующее утро, ровно в девять часов. На дебаркадере министра встретили попечитель, ректор и деканы университета.

Помещение нам отвели в самом здании университета. Едва успел я расположиться в моей комнате, как ко мне явились другие наши депутаты: Баршев, Воскресенский и Благовещенский. Мы порешили, не теряя времени, немедленно сделать необходимые официальные визиты. Но нас предупредили любезные москвичи: попечитель Назимов, обер-полицеймейстер Беринг, ректор Альфонский и Шевырев. Беринг, между прочим, просил меня к себе обедать. Проводив гостей, я надел мундир, и мы отправились с визитами. Были у ректора, попечителя, генерал-губернатора и, наконец, у митрополита Филарета. Он был очень любезен и выразил удовольствие лично со мной познакомиться. Вообще нас везде принимали с большим почетом.

Обедал я у Беринга, а вечер провел с министром в совещаниях о предстоящем юбилее.

11-го вечером состоялась торжественная всенощная в университетской церкви. Для меня лично этот день был пренеприятный: у меня произошло глупейшее столкновение с состоящим при министре вице-директором Кисловским. Этот человек уже давно выказывал нерасположение ко мне и к моим действиям, которые всячески старался тормозить; не раз пытался он встать между мною и министром и поселить в нем недоверие ко мне. В настоящем случае его постоянная оппозиция до того раздражила меня, что я не вытерпел и сказал ему несколько невежливых слов. Не могу простить себе этой вспышки. Она поселила во мне сильное недовольство собой, которое набросило тень на все дальнейшее пребывание мое в Москве. А это пребывание между тем могло бы принести мне большое удовлетворение: московские ученые так радушно меня везде принимали и так горячо выражали мне свое сочувствие и свою признательность за мою деятельность по министерству, что я невольно был тронут.

12-го, в среду, в половине одиннадцатого началась обедня. Служил митрополит Филарет. Проповеди его я не слышал, потому что за теснотою и духотою почувствовал себя дурно и принужден был выйти из церкви. Вечером, в семь часов, акт. В течение его была минута действительно светлая и торжественная: это когда различные депутации приносили университету свои поздравления. Тут и я сказал свою речь. По окончании ее раздались восклицания “браво!”, “прекрасно!” Но потом меня упрекали за то, что я читал не довольно громко, и задние ряды почти не слышали меня. Было невыносимо тесно и душно. Я больше не мог выносить нестерпимого жара и из парадной залы удалился в боковую, где и оставался уже до конца акта, то есть до одиннадцати часов. Издали слышал только восторженные крики, заключившие речь Шевырева, и стихи, проговоренные речитативом одним из студентов.

13-е, четверг, провел весь день в своей комнате, больной и физически и нравственно. Сегодня был парадный обед в университете, на котором, говорят, присутствовало четыреста пятьдесят человек. Вечером Леонтьев и еще некоторые другие приглашали меня к себе. Я не поехал, отговариваясь болезнью.

14-го, в пятницу, состоялся студентский обед в университете; тут и я уже должен был присутствовать. Восторги студентов и крики “ура!” дошли, наконец, до неистовства. Тут, конечно, было и чувство, но оно приняло уже какой-то дикий характер, так что в заключение нельзя было разобрать, что это такое: чувство или нервическое раздражение, подогретое шампанским? Мне стало грустно. Истина и убеждение так не выражаются. Известно, что у нас за официальными обедами никогда не бывает недостатка в восторгах, так же как и в вине.

Приглашения на вечера сыпятся со всех сторон, но я не был ни на одном. Московская ученая братия всячески старается устроить мне овацию, а я стараюсь всячески этого избегнуть. Они слишком преувеличивают мое влияние в министерстве и участие во всем, что делается в нем порядочного.

Грамота государя университету произвела большой эффект. Все утверждают, что писал я. Разумеется, я везде стараюсь уверить в противном. Просил Каткова и Шевырева поддерживать мое отрицание. По крайней мере не говорили бы во всеуслышание, иначе это может еще обострить мои отношения с министерством и быть неприятно Аврааму Сергеевичу.

16-го, в субботу, обед у генерал-губернатора Закревского и вечер у Назимова. Там со мной были очень любезны мои бывшие ученицы: Назимова, Козакова и новая моя знакомая, фрейлина великой княгини Елены Павловны, Эйлер.

Из московских профессоров чуть ли не больше всех оказывал мне любезностей и знаков уважения Шевырев, который еще недавно и печатно и словесно меня жестоко ругал. Мне же всех больше по душе пришелся Грановский. Это человек высокого таланта и благородных чувств. Он вполне очеловечен наукою. В нем какая-то классическая правота и благородство. Не менее умен, талантлив и образован Катков, но Грановский ближе моему сердцу.

В воскресенье, 17-го, мы покинули Москву. Проводы были блестящие. На железную дорогу явились все члены университета с попечителем и ректором во главе. Министр оставил по себе в Москве очень приятное впечатление своим простым, искренним обращением.

Возвращались мы тем же порядком, как ехали в Москву. Ростовцев опять всеми завладел, опять устроил сытный завтрак с винами. Яков Иванович, между прочим, предложил тост: “За здоровье урода двенадцатого года!”, то есть за Авраама Сергеевича Норова, который, как известно, участвовал в Бородинском сражении, лишился ноги и теперь ходит на деревяшке.

Много было толков о юбилее: все в восторге от него.

Я чувствовал себя нездоровым и сидел в стороне, разговаривая то с тем, то с другим. Меня совсем пленил генерал Д.А.Милютин. Это человек с благородным образом мыслей, светлым умом и широким образованием Он отлично понимает настоящее положение вещей, скудость нашего образования и необходимость лучшего. Его товарищ по военной академии, Лебедев, с которым я уже был и прежде знаком, — ум легкий и раскидистый.

Мы с ним много говорили во время дороги. По временам к нам присоединялись

Остроградский и Шульгин. Министр и Ростовцев играли в карты.

Ночью поднялась вьюга. Это задержало движение поезда, так что мы опоздали приездом в Петербург на два с половиною часа.

20 января 1855 года

Был у попечителя, у ректора, а вечером у министра.

23 января 1855 года

Нездоровится до того, что вечером не мог выйти к тем, которые пришли навестить меня после приезда. А днем я насилу дотащился до залы, чтобы принять нескольких казанских профессоров и Кавелина, который пришел, как он говорил, затем, чтобы поблагодарить меня за многое в юбилее, полагая, что это мой подвиг. Право, право, господа, лучше бы поменьше об этом говорить! Да и что смог бы я, если б не пожелал того же и министр?

25 января 1855 года

Вчера были у меня с визитами ректор Московского университета и Шевырев, приехавшие депутатами благодарить государя. К удовольствию моему, навестил меня также Милютин. Позже приехал Лебедев, от имени Ростовцева пригласил меня на обед, который военная академия дает московским депутатам. Вряд ли я буду в состоянии поехать.

26 января 1855 года

Был на лекции в университете, хотел сделать визиты приезжим из Москвы и не мог. Вот и настоящая болезнь.

17 февраля 1855 года

До сих пор все еще не могу разделаться с болезнью.

18 февраля 1855 года

Часу в 3-м пополудни входит ко мне в кабинет Звегинцев, муж сестры моей жены, служащий казначеем при наследнике. Лицо у него, как говорится, было перевернутое, и глаза красные.

— Знаете ли вы, что случилось? — спросил он.

Я не знал, но мысль моя почему-то обратилась ко двору:

я подумал, что умерла императрица, которая давно больна, а в последнее время даже была опасно больна. Но мой посетитель вдруг сказал:

— Государь скончался!

Эта весть прежде всего поразила меня неожиданностью. Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков. Но вот его убила эта несчастная война. Начиная ее, он не предвидел, что она превратится в такое бремя, которого не вынесут ни нравственные, ни физические силы его. В настоящих обстоятельствах смерть его является особенно важным событием, которое может повести к неожиданным результатам. Для России, очевидно, наступает новая эпоха. Император умер, да здравствует император! Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца. Новая страница перевертывается в ней рукою времени: какие события занесет в нее новая царственная рука, какие надежды осуществит она?..

23 февраля 1855 года

В болезни несколько раз навещал меня министр. Несмотря на то, что я ему, как он говорит, очень нужен, он советует мне не спешить ни работой, ни выездами. Да я еще и не чувствую себя способным к деятельности.

Меня многие навещали и навещают. Разумеется, теперь все умы и языки двигаются около одного — около смерти Николая. Пропасть слышишь толков о прошедшем и еще больше о будущем: одни нелепее других.

24 февраля 1855 года

Болезнь моя может повредить моим отношениям с министром. Впрочем, я давно уже не питаю никакой уверенности в том, что моя деятельность нужна и полезна обществу.

27 февраля 1855 года

Медленно восстанавливаются мои силы.

Сегодня церемония похорон: тело переносится в Петропавловский собор. На улице тишина, почти никого не видно. Все столпились теперь около тех мест, где будет следовать процессия. Вот начался похоронный благовест в церквах: теперь половина двенадцатого часа.

Какой урок человеческому высокомерию!

28 февраля 1855 года

Без решительной готовности мужественно встретить всякую случайность судьбы и жизни нет зависимости действий: человек вечно будет колебаться, как ладья среди зыби волн морских.

При разрешении и изложении вопросов государственных надо заботиться о

двух вещах: во-первых, открывать в глубине задачи ее необходимое основание; во-вторых, обнимать задачу со всех сторон, всегда имея в виду то, чем могут поколебать ее или возразить против нее. Таким образом дело получает твердую опору и заранее готово выдержать натиск разных случайностей.

3 марта 1855 года

Сегодня в первый раз выехал к министру поутру, в десять часов. Он очень обрадовался, сказал, что меня ожидает много дела и что ему о многом надо со мною говорить. Сегодня он назначен дежурным у гроба покойного императора, следовательно, целый день проведет в хлопотах и вне дома. Просил меня завтра обедать или к семи часам после обеда. Я застал у него Раевского и Берте.

По временам, особенно вот в эти дни после болезни, у меня накопляется пропасть всякого сора в душе. Уныние, всякого рода колебания, недоверие к себе, к людям и ко всему, чувство крайнего недовольства собою по поводу разных ошибок и недоразумений, а иногда и без всякого повода; опасения разного рода — целое болото с грязью и насекомыми, — словом, нелепо и гадко! Физические ли тому причины или чисто нравственные?

4 марта 1855 года.

Похороны государя. Вечером был у министра. Получил от него для просмотра отчет с просьбой написать к нему заключение.

13 марта 1855 года

Занимался проектом инструкции цензорам. Надо, чтобы эта продолжительная болезнь моя послужила в пользу экономии моего духа. Должно обращать все к своему усовершенствованию, и чем серьезнее случайность, с которою мы встречаемся, тем решительнее должны быть ее последствия.

Я не ошибся в моих предположениях насчет моих отношений с министром. Есть что-то, что погнуло этого вечно колеблющегося и колеблемого человека в сторону, противную мне. Конечно, еще мало, но уже ощутительно для меня. Видно, канцелярия одолевает разум. Придется иметь объяснение.

16 марта 1855 года

Человек в болезни делается ужасным подлецом. Иногда он готов мужественно бороться с природою, иногда пресмыкается перед нею, готовый вымаливать у нее минуту облегчения. Большею частью он чувствует себя приниженным перед этим страшным могуществом, которое обращается с ним, как со всякой земной грязью, без малейшего уважения к его духовным и нравственным преимуществам.

Господствующий порок людей нашего времени: *казаться, а не быть.* Все и во всем ложь: ложь в сапоге, который жмет ногу, вместо того чтобы служить ей

обувью; ложь в шляпе, которая не защищает головы от холода; ложь в кургузом, нелепом фраке, который покрывает зад и оставляет открытым перед; ложь в приветной улыбке, в уме, который обманывает и обманывается; в языке, который употребляется, по выражению Талейрана, для того, чтобы скрывать свои мысли; ложь в образовании наружном, поверхностном, без глубины, без силы, без истины, — ложь, ложь и ложь, бесконечная цепь лжей.

И всего удивительнее в этом порядке вещей то, что он есть ложь и в то же время порядок. Толкуйте тут о необходимости истины, когда без нее так хорошо и с такою пользою для себя можно обходиться.

Но, несмотря на такие очевидные преимущества лжи, я никак не могу победить в себе глубокого отвращения к ней.

Есть люди, великие величием своего положения или судьбы, а не величием своего гения и характера. Это значит, они предъявляют миру обязательство без исполнения. Такие люди всю жизнь свою пародируют великих людей, бросают современникам пыль в глаза, а потомству дают уроки ничтожества человеческого.

17 марта 1855 года

Пора приняться серьезно за дела. Сегодня ровно два месяца, как я приехал из Москвы и начал хворать.

20 марта 1855 года

Был поутру у министра. Говорили о делах. Он сказал, что меня ожидают несколько важных дел. Я представил ему, что прежде всего надо заняться цензурою, ибо может случиться, что государь сам об этом вспомнит, так чтобы у нас все было готово. Авраам Сергеевич с жаром ухватился за эту мысль и просил меня заняться теперь исключительно инструкциею цензорам. Итак, надо всего себя погрузить в это дело. Предмет важный. Настает пора положить предел этому страшному гонению мысли, этому произволу невежд, которые сделали из цензуры съезжую и обращаются с мыслями как с ворами и с пьяницами. Но инструкция дело не легкое.

Вчера обедал у Струговщикова, а поутру был у меня Ребиндер, на днях приехавший из Кяхты, где он был около четырех лет градоначальником. Радостно обнял я этого благородного человека. Он не только не начал гнить душою, а сделался, напротив, еще лучше. Ребиндер приехал сюда по делам китайской торговли и привез много светлых идей вообще о сношениях наших с Китаем. Послушают ли его?

27 марта 1855 года

Светлое Воскресение. Привычки нарушаются. Вот праздник, который я любил встречать в церкви под влиянием идей, возбуждаемых высокою религиозною мистериею. Теперь я сижу дома. Причиной всему грязь, дождь и все еще плохое

состояние здоровья. Куда девалась поэзия этой ночи! Так мало-помалу исчезает все, что радостно настраивает душу, и жизнь роняет на пути украшения, которые придавали ей, может быть, суетный, но светлый и праздничный вид.

Вот и торжественный благовест! Невольно приходит на ум Фауст, слушающий песнь ангелов, славословящих день воскресения! Думы за думами плывут и гонят сон. То грустно, то смешно. И в самом деле, не смешно ли задать себе задачу с первых дней юности сделаться лучшим человеком, работать над всяческим усовершенствованием своим: и вот целая жизнь сделалась выражением этого покушения, в жертву которому принесено так много спокойствия, столько внешних благ и простых, скромных, но настоящих добродетелей…

31 марта 1855 года

Великий князь Константин Николаевич, желая сколь возможно усовершенствовать учебные заведения морского ведомства, отнесся к нашему министру с просьбой, чтобы назначили несколько надежных лиц из министерства народного просвещения для осмотра этих заведений. Великий князь желает воспользоваться их замечаниями. Они должны вникнуть во все подробности, для чего им будут присланы отчеты, программы и проч. Между прочими назначен и я.

Мысль оригинальная и умная.

Назначены еще: Давыдов, Ленц, Постельс, Сомов, Вышнеградский.

3 апреля 1855 года

Авраам Сергеевич вдруг заспешил с проектом цензурной инструкции, а дело такое, что его и в месяц усидчивой работы не сделаешь. А я начал еще недавно. Впрочем, сегодня я прочел ему уже все сделанное — около половины целого. Пришел в восторг, обнимал.

— Я многого ожидал от вас, — сказал он, — но это превзошло мои ожидания.

“Отлично, — подумал я, — но прочно ли?”

Положено представить государю сначала как бы небольшую вступительную записку о цензуре и о необходимости дать ей более разумное направление, а затем и инструкцию.

— Одна только беда, — заметил Авраам Сергеевич, — что нынешние цензора не в состоянии будут следовать правилам, которые вы им предлагаете.

— Неужели же, — отвечал я, — вы думаете их оставить на службе? С ними, конечно, ничего не пойдет. Но если улучшать цензуру, то необходимо и отставить нынешних цензоров, по совершенной их неспособности, и заменить их лучшими людьми. На эти места, более чем на всякие другие, необходимо сажать умных людей. Надо решительно принять за правило, что не имеющий какой-нибудь, хотя кандидатской степени не может быть цензором.

Решено: как скоро государь утвердит инструкцию, отставить нынешних

цензоров и определить новых. В этом случае я позволяю себе действовать на пользу общую со вредом для некоторых. Да и надо сказать в самом деле: кто велел этим господам принимать на себя бремя не по силам? Жалованье, вот, хорошее. А сколько наделано гадостей, глупостей и, что хуже всего, подлостей! Иногда доходит до того, что не чувствуешь ни малейшего сожаления ко всем этим Елагиным, Ахматовым, Пейкерам, Шидловским. Их набрали Ширинский-Шихматов и Мусин-Пушкин. Елагин заведовал конюшнею у Шихматова. Ахматов, казанский помещик, сделан цензором потому, что его начальник ему должен, а Б. ему родственник. Из старых остался один Фрейганг. Он служил еще в мое время и тогда считался самым придирчивым и мелочным цензором, а теперь он лучший, хотя сам нисколько не переменился к лучшему.

6 апреля 1855 года

Отдал записку о цензуре для представления при личном докладе министра государю императору. Одобрена.

7 апреля 1855 года

Общее собрание в Академии наук. Я присутствовал тут в первый раз. Было, между прочим, прочтено высочайшее утверждение меня в звании ординарного академика. Вместе со мною утвержден и преосвященный Макарий. Замечательный духовный ум. Самая наружность его привлекательна. Я смотрел на него с эстетическим удовольствием, а после подошел к нему, и мы познакомились.

Главным предметом заседания было избрание нового непременного секретаря на место умершего Фусса.

Тут боролись две партии: так называемая русская и немецкая. Одна старалась провести своего кандидата, Буняковского, другая своего — Миддендорфа. Немецкая партия обладает большинством голосов, следовательно, она должна была превозмочь.

Вражда к немцам сделалась у нас болезнью многих. Конечно, хорошо, и следует стоять за своих — но чем стоять? Делом, способностями, трудами и добросовестностью, а не одним криком, что мы, дескать, русские! Немцы первенствуют у нас во многих специальных случаях оттого, что они трудолюбивее, а главное — дружно стремятся к достижению общей цели. В этом залог их успеха. А мы, во-первых, стараемся сделать все как-нибудь, по “казенному”, чтобы начальство было нами довольно и дало нам награду. Во-вторых, где трое или четверо собралось наших во имя какой-нибудь идеи или для общего дела, там непременно ожидайте, что на другой или на третий день они перессорятся да нагадят друг другу и разбредутся. Одно спасение во вмешательстве начальства.

Вот и русская партия в академии, Давыдов и Плетнев, терпеть не могут друг друга; первый второго потому, что он хорошо поставлен при дворе, а второй первого за то, что он председательствует в отделении и прежде его получил владимирскую звезду. Срезневский готов быть всем, чем угодно сильнейшему. Устрялов — если

хорошо пообедал и выспался, то ему уж ни до чего нет дела. Остроградский с некоторых пор прикидывается ужасным русофилом, но в сущности это хитрый хохол, который втихомолку посмеивается и над немцами и над русскими, а любит деньгу, леность и комфорт. Словом, все это врознь. Конечно, между нашими есть много людей со способностями, но им не дана способность хорошо употреблять свои способности.

Выбран был Миддендорф. Впрочем, и Буняковский получил только двумя голосами меньше — значит, и немцы давали ему тоже шары. Есть основания предпочесть Миддендорфа Буняковскому: последний не знает немецкого языка, а на этом языке и на французском производится вся корреспонденция академии с ученою Европою.

И.И.Давыдов приготовил было престранную вещь: протест против выбора кого-нибудь, кроме Буняковского, и изъявление желания 2-го отделения, чтобы выбран был именно он. И.И. предложил русским подписать заготовленную им для прочтения в академии бумагу. Я сильно восстал, находя это незаконной, неприличной и бесполезной выходкой. К счастью, меня поддержали другие, и дело обошлось без скандала. Русское отделение могло бы очутиться в очень неловком положении. Любому немецкому члену стоило бы только подняться с места и сказать: “Милостивые государи, о чем вы хлопочете? Закон каждому из нас дает право голоса. Мы обязаны баллотировать секретаря. Баллотируйте, и результат покажет, кого избирает академия. К чему тут окольные пути? Мы все подчинены закону, а вы вводите какой-то странный способ выбора” и т.д.

Я подал голос за Буняковского, между прочим, и потому, что он очень хороший человек.

9 апреля 1855 года

Представлялся великому князю Константину Николаевичу вместе с прочими членами комиссии, назначенной для обозрения морских учебных заведений. Вот что он нам сказал:

— Прошу вас, господа, осматривать, ничем не стесняясь, и высказывать нам правду о недостатках заведений. Единственная моя цель — узнать правду. Обыкновенно люди впадают в ошибки, когда думают, что достигли совершенства. Мы должны знать наши несовершенства, ибо тогда мы можем улучшаться. В заведениях морских очень много недостатков, но в чем они состоят и как их исправить? Вот чего я от вас ожидаю. Не торопитесь. Делайте ваше дело как вам удобнее и как вам позволят ваше время и свобода от других занятий.

Я упомянул о программах.

— Да, — сказал он, — программы надо хорошенько рассмотреть и привести в порядок. В военно-учебных заведениях они хорошо составлены, но как идет самое дело — я не знаю, но наружность хороша.

По этим словам и по тону, каким они были сказаны, видно, что великий князь не очень доверяет программам и наружному процветанию наук в военно-учебных

заведениях. Он был очень приветлив и в немногих своих речах обнаружил много ума и прекрасное направление. Он понимает, как много у нас фальши и властолюбия, хочет правды и доказывает это на деле. Мы вышли от него совершенно довольные им. Великий князь не только хорошо говорит, но даже красноречиво. У него во всем преобладает стремление к правде и ясности.

От него я и Давыдов заехали к министру сообщить о результате нашего представления великому князю.

10 апреля 1855 года

Опять нездоров.

11 апреля 1855 года

Несмотря на нездоровье, осматривал вместе с другими морской корпус. Я веду записку моих наблюдений.

13 апреля 1855 года

Поутру заседание академии. Читали часть областного словаря на букву Б: бабник, бабить и прочее.

Сейчас от министра. У него был личный доклад государю. Не знаю, почему Авраам Сергеевич дал направление делу о цензуре не то, какое мы с ним порешили после нашего совещания. Вместо того, чтобы прочесть ему заготовленную записку, он на словах объяснил ему; вышло не то, что могло и чему следовало выйти. Министр налег на Комитет 2 апреля, но не выразил оснований его зловредности, которые изложены в записке. Государь отвечал, что так как он, министр, теперь сам член этого комитета, то последний уже не может быть так вреден. Об инструкции Авраам Сергеевич вовсе не упомянул, а между тем это было необходимо. Боюсь, чтобы дело не было испорчено.

Еще министр мне сказал, что у него было в портфеле представление меня к Владимиру. Но как государь по другому случаю отказал в награде потому, что представленный к ней не выслужил двухлетнего срока, то он уже не смел доложить обо мне.

Не знаю, зачем он мне это счел нужным именно теперь сказать и как это понимать. Тут какая-то хитрость. Но зачем, чего он хочет ею достигнуть?

По всему, однако, видно, что нынешний государь хотя и благоволит к нам, но не с излишком, как последнее время покойный.

Он, впрочем, согласился, чтобы генерал-губернаторы не были попечителями. Мера полезная, о которой мы много толковали с Авраамом Сергеевичем. При покойном государе мы вряд ли бы добились этого. Но где-то наберут попечителей, как государь выразился, хороших? Надо разом трех.

Объяснялся с министром еще о “Журнале министерства) народного просвещения”, то есть о разделе редакции между мною и Сербиновичем. Мне придется тут довольно работать. Я буду получать половину редакторского оклада, то есть 600 рублей. При моем материальном положении и этим нельзя пренебрегать.

18 апреля 1855 года

Обед у министра по случаю возвращения профессорам и учителям пенсиона на службе. Тут были, между прочими: Я.И.Ростовцев, попечитель Московского университета, Назимов, министр финансов, Брок, товарищ его Норов, генерал Милютин, Шульгин, Остроградский и т.д. Вот люди всё высшего ранга, могущество и цвет чиновного мира, а нельзя себе представить ничего пустее разговоров за обедом и после. Всех лучше был Яков Иванович, который много шутил, если не остроумно, то по крайней мере весело. Был тут еще один сановник. Боже мой, что за физиономия!

19 апреля 1855 года

В городе много толков о цензуре. Тут, как и в большей части толков и слухов, есть правда и ложь. Сам Авраам Сергеевич, к сожалению, подает повод к преувеличениям. Цензура составляет самый деликатный и наболевший нерв нашей общественной жизни: до него надо дотрагиваться осторожно.

20 апреля 1855 года

Наша гражданственность еще не сложилась, потому что у нас нет главного, без чего бывает сожитие, но не гражданственность, а именно: духа общественности, законности и честности, обеспечивающих прочность взаимных отношений и договоров. У нас мало нравственности, потому что мы не истребили в себе многих пороков, искажающих нашу народность, и не развили многих добродетелей, ей присущих.

Вот о чем надо подумать и позаботиться нашим мыслителям, народным вождям и наставникам, а не о политических теориях и не о возбуждении духа партий. Гоните прежде всего ложь и фальшь. Нравы прежде всего, нравы и дух законности.

22 апреля 1855 года

Сегодня кончилось дело по журналу с Сербиновичем. На моем попечении будет вся учено-литературная часть журнала, то есть весь журнал, кроме официального отдела. У Сербиновича остается также хозяйственная часть и цензурное просматривание статей.

29 апреля 1855 года.

Все время мое расхищено служебными занятиями и заботами. Меня со всех сторон блокируют, как крепость. Только и знай, что отстреливайся то пером, то делом. А что в этом? Только удовлетворение закону perpetuum mobile…

На днях был приглашен на обед, который военно-учебные власти давали министру по случаю исходатайствования пенсиона на службе преподающим. Обед давали под председательством Ростовцева. Роскошь неописанная. Ели и пили, как рабелевский Гаргантюа, кроме меня, который ел мало, а пил только воду. Ростовцев был, по обыкновению, исполнен шутливости. Министр спрашивал, отчего я не весел и скоро ли кончу мой проект о цензуре. Я тотчас после обеда уехал домой. В этих собраниях занят только желудок, а голова — настолько, насколько ей дает дела шампанское. Пошло и скучно; скучно потому, что пошло.

8 мая 1855 года

Вот я сижу в маленькой каморке в Павловске, на так называемой даче, на углу 1-й Матросской слободки и Пикова переулка. Собственно говоря, это уездный городок. Кругом живут Земляники, Тяпкины-Ляпкины и т.д.

Министр приезжал в Павловск осматривать и устраивать купленную им дачу. Я провел с ним два часа. Опять перемена. То он ужасно спешил с цензурным проектом, а теперь желает, чтобы он двигался потише. Человек этот переменчив и шаток если не в видах своих, то в способах их осуществления. Ум его легко колеблется и не имеет твердой точки опоры.

15 мая 1855 года

До вчерашнего дня май был истинно в майской красе: тепло, светло, иногда дождь, но теплый. На днях была такая гроза, какой я не помню здесь, в Петербурге: она сделала бы честь Малороссии. Она началась в одиннадцать ночью и продолжалась до половины первого. Но со вчерашнего дня такой холод, что недостает только снегу для настоящей зимы. Так и должно быть. Первая половина мая была что-то неестественное, несправедливое: природа теперь поправляет свою ошибку.

17 мая 1855 года

Почти все время провожу в городе. Иногда приезжаю на дачу вечером, а на другое утро в 8 часов опять уезжаю. Какие страшные холода. Вчера, то есть в Духов день, шел снег. Сегодня дождь пополам со снегом. Мы сидим в комнатах и топим печи. Чтобы выходить гулять, нужны шубы.

Я работаю над окончанием цензурного проекта. Выходит целая книга. Что-то скажет мой Авраам Сергеевич?

В четверг, приехав с дачи, я нашел у себя записку, в которой извещали меня о смерти Всеволода Андреевича Коссиковского, моего многолетнего доброго

приятеля. Он умер мгновенно от какого-то удара. Медики придумали ему прекрасное техническое название, от которого смерть получает характер почтенного ученого события. Коссиковский оставил у меня запечатанное духовное завещание, которое назначил открыть в присутствии его родственников через неделю после его смерти.

23 мая 1855 года

Кончил проект наставлений цензорам. Вышло 26 листов моего чернового письма. Сегодня окончательно пересмотрел поутру, а вечером прочитал министру. Обычные восторги и объятия.

Я и сам сознаю важность настоящего моего труда. Министерство уже не раз принималось за исполнение его, но ничего не выходило. Теперь вышел настоящий цензурный устав, столь определенный, как только могут быть законы этого рода. Произвол цензоров обуздан, литературе дан простор и указаны меры против злоупотреблений. Это решение трудной задачи. Я читал проект Марку Любощинскому, мнение которого для меня очень важно, ибо он обер-прокурор сената, один из наших лучших юристов и человек не только теоретически, но и практически умный. Он его более чем одобрил.

Мы с министром решили, что это будет внесено в главное управление цензуры, а оттуда представлено государю при кратком извлечении. Хорошо, если бы этим и обошлось. Проект, впрочем, еще будет прочитан Ростовцеву.

В заключение я просил, и в весьма сильных выражениях, чтобы не делали никаких изменений без меня. Авраам Сергеевич торжественно обещался.

2 июня 1855 года

Вот что со мной случилось. Духовное завещание Коссиковского вскрыто в присутствии брата его Валентина, вдовы другого брата и опекуна ее детей. В пакете оказались две бумаги: одна завещание, а другая — письмо брату. Последнее я вручил ему не читая. Имущество покойного оценено в 160 тыс. руб. сер. Из них он 50 тыс. завещал детям своего прежде умершего брата, а 110 тыс. Валентину, с тем чтобы он отчислил из них 30 тыс. для его побочной дочери и сделал еще некоторые выдачи, в том числе, в память нашей дружбы, мне, как сказано в письме брату, три тысячи рублей для издания моих сочинений. Мне, как говорится, не имеющему копейки за душой, это было великим благом, и я от души поблагодарил моего доброго приятеля.

Но судьба посмеялась надо мною: я всего в течение нескольких часов видел себя обладателем трех тысяч. Читая завещание, мы сначала не заметили, что в нем соблюдены все формы, кроме одной: завещание не подписано завещателем. В тот же день позднее, я узнал этот печальный промах покойного, сделанный им как-нибудь в рассеянности, хотя он вообще отличался осмотрительностью и большою аккуратностью. Я поехал к Марку, который объявил мне, что завещание не имеет никакой силы. Значит, все разлетелось прахом. Как душеприказчик я, однако,

должен был соблюсти законную форму и представил акт в гражданскую палату, где его и объявили недействительным. Тем все и кончилось. Теперь имущество должно идти в раздел по закону, и Валентин получит только свою законную часть, а дочь покойного — ничего. Да, это горькая насмешка судьбы.

17 июня 1855 года

Академические заседания вызывают меня в город по два раза в неделю. Журнал министерства тоже требует моего присутствия там. Это для меня значительная издержка времени и денег.

19 июня 1855 года

Занимался делами с Авраамом Сергеевичем от 12-ти пополудни до 3-х. Он готовит личный доклад государю. Много обсуждали важных предметов, да не знаю, будут ли от этого плоды. Наши дела идут менее успешно с нынешним государем, чем шли последнее время при покойном. Министр наш имел более значения при Николае, которому нравился тон откровенности и прямодушия, принятый Авраамом Сергеевичем. Покойный государь решал сам и скоро, и мы могли представлять ему о многом, не опасаясь отказа, особенно при известном искусстве редакции. Ныне не то. Император, видимо, удручен войною, дела, не относящиеся к ней, слушает не с полным вниманием, спешит и много не решается брать на себя, боясь ошибиться.

Блудовский комитет намерен представить государю и свои замечания и соображения относительно народного просвещения. Какую в этом роль будет играть министр — неизвестно. Блудов говорил ему, что все будет передано на его окончательное усмотрение, а я стороною слышал иное: хотят составить при министре совет, который будет разделять с ним его власть и труды. Авраам Сергеевич хотел предупредить блудовский доклад и просил меня обдумать это и составить записку. Но по зрелом размышлении мы оба убедились, что этого делать не следует, а должно уже спокойно ожидать последствий блудовского доклада и тогда действовать, смотря по обстоятельствам.

Между тем вот какие дикие дела делаются. На днях министр получил из Казани безыменное письмо, написанное безграмотно и наполненное гнуснейшими доносами на Казанский университет. Письмо по тону и содержанию не заслуживало ни малейшего внимания, и министр, не желая дать ему официального хода, частным образом показал его Дубельту, который с своей стороны нашел его заслуживающим одно презрение. Но на деле вышло не так. Министр получил от графа Орлова отношение, из которого видно, что донос произвел впечатление. Это очень огорчило Авраама Сергеевича. В самом деле, стоит только прочесть письмо, чтобы увидеть, что его писал какой-нибудь невежда и мерзавец из личной ненависти к кому-нибудь из университетских, хотя оно и подписано: “свиты его величества, генерал-майор, князь”. Кажется, подобную бумагу следовало бы просто бросить в огонь. Между тем мы с добрый час провозились, придумывая, как лучше отвечать на полученное отношение.

Страшный закон судьбы: ты не получишь желаемой вещи прежде, нежели она не утратит для тебя половины своей прелести.

25 июня 1855 года

В четверг министр был с докладом у государя. Все сошло благополучно. Государь опять изъявил согласие, чтобы генерал-губернаторы не были попечителями. Он также отверг мысль, представленную московским и здешним попечителями, чтобы студентам, не окончившим курс, предоставлено было определяться в военную службу прямо офицерами: от этого потерпит наука.

Я говорил еще Аврааму Сергеевичу о “Коньке-горбунке”: его хотят печатать новым изданием, а бестолковая цензура не пропускает его. Елагин говорит в своем докладе, что в этой сказке излагаются “несбыточные происшествия”.

Дело о цензуре застряло в канцелярии. По приказанию министра я отдал туда мою записку для перебеления: вот уже скоро месяц она переписывается. Это ужас! Я говорил министру. Он отвечал, что канцелярия его бестолкова, а директор — дурак, обещал подвинуть дело, но все забывает. Вот как делаются у нас серьезные дела!

Хочу просить, чтобы назначили особого чиновника для переписки моих бумаг. Посредством канцелярии нет никакой возможности что-нибудь делать.

2 июля 1855 года

Опять работа за других. Комиссия по морским учебным заведениям представила отчет министру, от которого он уже должен идти к великому князю. Министр нашел, что редакция отчета никуда не годится — и вот на меня пало несноснейшее дело исправить его. Отчет к тому же очень велик.

4 июля 1855 года

Работал часа четыре с министром над отчетом. По крайней мере кончил. Надо было спешить, потому что великий князь требует отчета.

5 июля 1855 года

Собираюсь в дорогу, в Витебск. Я записался уже на место в почтовой карете.

12 июля 1855 года

Завтра отправляюсь в путь. Попечитель дал мне поручение осмотреть в Витебске гимназию и другие учебные заведения и снабдил меня казенною подорожною — без прогонных денег разумеется. Министр тоже хочет, чтобы я осмотрел там еврейское училище. Итак, все-таки служба.

5 августа 1855 года

13 июля, в среду, я отправился в почтовой карете в Витебск. Я взял наружное место. Товарищем моим был чиновник почтового департамента И.А.Хилькевич, а внутри кареты сидели два чиновника: один — министерства государственных имуществ, Савицкий. Дорога до Острова была довольно беспокойная, тряская. Она испорчена огромными обозами, которые бесконечно тянутся по ней из Варшавы до Петербурга и обратно, включая в себя всю нашу нынешнюю внешнюю торговлю. От Острова шоссе лучше. По дороге мелькают новые премиленькие почтовые домики с садиками и цветниками, хоть бы на петербургских дачах. Только в этих домиках нечего ни есть, ни пить. Я попробовал в Луге спросить обед. Мне подали на грязной скатерти цыплят, к которым нельзя было близко подойти — так благоухали они.

22-го я приехал в Витебск ночью и на другой день осмотрел учебные заведения вместе с директором Красноумовым. Был у здешнего генерал-губернатора, у архиерея.

1 августа, окончив все свои дела в Витебской губернии, я отправился в город Городок, чтобы встретить там могилевский дилижанс и сесть в него. Но что, если я не найду там места? Мысль эта очень беспокоила меня. Едва приехал я на станцию, содержатель почтовой гостиницы объявил мне, что все дилижансы, которые здесь проезжают, обыкновенно бывают полны. Вот тебе и на! Мне необходимо явиться в Петербург к сроку.

Раздались звуки почтового рожка: явился дилижанс. “Есть место?” — спрашиваю со страхом, боясь услышать роковой ответ. “Нет!” — отвечают мне. Что тут делать? Дожидаться следующего дилижанса, который здесь будет в пятницу. Но ведь и там может не найтись места — даже наверное. Кондуктор мне сказал, что в Могилеве на два месяца вперед разобраны все места. Ехать на перекладных? У меня была казенная подорожная. Но одному перекладываться на каждой станции невыносимо.

Я позвал кондуктора. “Не можешь ли ты как-нибудь поместить меня?” — спросил я. После долгих переговоров оказалось возможным кое-как приютиться на козлах вместе с кондуктором, разумеется за порядочную плату ему с ямщиком. В гостинице все ужаснулись, как генерал поедет на козлах [автор в это время, напомним, уже был действительным статским советником, т.е. в генеральском чине]. Но генерал с ловкостью козла вскочил на козлы и помчался, весело обозревая с высоты бесконечную даль с лесами и холмами. Сначала все шло хорошо, и я радовался своей решимости сесть на козлы. Скоро, однако, оказались неудобства. Тесно, но это бы еще ничего. Спать нельзя, — но и это еще можно бы кое-как снести: я не падок на сон. Но сосед мой, кондуктор, оказался очень на него падким, чему, конечно, немало способствовали значительные приемы водки на каждой станции. Он едва садился на козлы, как начинал храпеть и всею тяжестью своего грузного тела наваливался на меня. Я, конечно, выразил протест.

Так ехал я с горем пополам до Велижа. В этом городе мой кондуктор вдруг мне объявляет, что так как ехать втроем на козлах неудобно, то он и бросит меня в

Велиже на произвол судьбы. Все вышло из-за того, что на последней станции станционный смотритель заметил, что вряд ли ему удастся в Петербурге скрыть, что он контрабандою везет генерала и что в таком случае деньги, 20 руб., минуют его карман. Минута была решительная, и я, несмотря на все мое отвращение к барским и чиновническим замашкам, уже сам оперся на свое генеральство и разразился такой трескотней брани, что кондуктор, очевидно не ожидавший этого от “такого тихони”, — как, я слышал, он потом рассказывал ямщику, — испугался и, бедный, с этой минуты был донельзя учтив и услужлив. Зато и я наградил его. Чтобы в Петербурге у него не отобрали 20 руб., увидев во мне сверхштатного пассажира, я остался в Гатчине, а оттуда поехал в Петербург по железной дороге. На прощанье дал ему еще 5 руб., и в заключение мы расстались вполне довольные друг другом.

По приезде, дня через два, я явился к Норову. Он тут же задал мне работу, не сложную, но трудную по обстоятельствам. У него завязалась крупная переписка с Васильчиковым: надо написать к нему отношение — весьма дипломатическое. В канцелярии написали, но Авраам Сергеевич им недоволен и обратился ко мне. Проработал всю ночь и отдал министру. Восторги, объятия.

Товарищем министра назначен князь П.А. Вяземский.

27 августа 1855 года

Сегодня открытие восточного факультета в университете. Молебен, речи профессоров Попова и Казембекта, завтрак. Я был приглашен в качестве члена и делопроизводителя комитета, занимающегося устройством факультета, а главное — в качестве того, кому принадлежала первоначальная мысль открыть факультет вместо предполагаемого отдельного института.

Авраам Сергеевич представил меня князю Вяземскому. Во время отсутствия министра нам предписано заняться преимущественно устройством цензуры.

30 августа 1855 года

Мои именины. Жена ездила в город и привезла горестную весть: *Севастополь взят!* Вот слово в слово бюллетень от 27 августа;

“В двенадцать часов пополуночи. Неприятель получает почти ежедневно новые подкрепления. Бомбардирование продолжается огромное. Урон наш более 2500 человек в сутки.

В 10 часов утра. Войска нашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, невозможно. Войска переходят на северную сторону, отбив окончательно, 27 августа, шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем на западную и корабельную стороны; только из одного Корнилова бастиона не было возможности их выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины”.

Боже мой, сколько жертв! Какое гибельное событие для России! Бедное

человечество! Одного мановения безумной воли, опьяневшей от самовластья и высокомерия, достаточно было, чтобы с лица земли исчезло столько цветущих жизней, пролито столько крови и слез, родилось столько страданий.

Мы не два года ведем войну — мы вели ее тридцать лет, содержа миллион войска и беспрестанно грозя Европе. К чему все это? Какие выгоды и какую славу приобрела от того Россия?

У меня по обыкновению в этот день обедали ближайшие друзья. Вечером пришла с матерью девица Гринберг, которая пропела своим прелестным голосом несколько пьес. Но ничто не могло заглушить ни во мне, ни в моих гостях щемящей боли от известий с театра войны.

Городские мои гости около 11 часов отправились на железную дорогу, чтобы ехать в Петербург с последним поездом. Но, к моему удивлению, через полчаса вернулись. На железной дороге случилось несчастие: несколько вагонов переломано. Говорят, много людей убито или изувечено. Гостей моих я кое-как приютил на ночь у себя.

31 августа 1855 года

Ездил в город провожать Авраама Сергеевича, который отправляется в Москву и Казань осматривать университеты.

Членам комиссии, осматривавшей морской корпус, велено объявить высочайшее удовольствие за их труды. Великий князь очень доволен нашим отчетом, только заметил, что мы были не довольно строги.

3 сентября 1855 года

Князь Вяземский (товарищ министра) написал патриотическую статью против парижской выставки, которую он считает бестолковой и ненужной спекуляцией. Теперь так легки сообщения и сближения между народами, что, по мнению князя, всякий и без выставки легко может видеть все достопримечательное по части искусства и промышленности в разных государствах. Князь забыл, что, во-первых, не все могут, несмотря на легкость сообщений, разъезжать по Европе с целью видеть новейшие усовершенствования в человеческой деятельности. А во-вторых, соединение в одно всего, что создала эта деятельность великого, прекрасного и полезного, имеет совсем другое значение, чем знакомство с отдельными явлениями этого рода, рассеянными по всем частям света; возможность подобного соединения уже сама по себе есть торжество образованности и делает честь веку и нации, устраивающим его. Чтоб не понять этого, надо быть уж очень квасным патриотом. Вот как мы изучаем мировые события и судим о них! Лет пять тому назад москвичи провозгласили, что Европа гниет, что она уже сгнила, а бодрствуют, живут и процветают одни славяне. А вот теперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному презрению ее цивилизации, как она сгнила. О, горе нам!

Все радуются свержению Бибикова. Это был тоже один из наших великих государственных мужей школы прошедшего тридцатилетия. Это ум, по силе и образованию своему способный управлять пожарною командою и, пожалуй, возвыситься до начальника управы благочиния. Никто, кроме разве графа Петра Андреевича Клейнмихеля, не понимал лучше него *системы решительных мер*, сущность которой превосходно определена словами одной сказки: “А наш богатырь что медведь в лесу: гнет дуги — не парит, сломит — не тужит”.

15 сентября 1855 года

Наше общество одарено способностью все делать легко, но оно не выказывает способности делать что-нибудь как следует и как должно. Его девиз: как-нибудь.

18 сентября 1855 года

Каждому человеку отпущено от природы известное количество сил, из которых он должен создать *себя* или свой характер. Значит, нравственная физиономия наша зависит от двух основных причин: *темперамента* и *воли*. Искусство управлять темпераментом, своими природными наклонностями и силами, есть *самообладание*.

Я часто раскаивался в том, что переел, перепил и переговорил, и никогда в том, что недоел, недопил, недоговорил.

19 сентября 1855 года

В публике много говорят о статье Погодина, написанной по случаю приезда государя в Москву. По-моему, там много самохвальства: “Мы первый народ в мире, мы лучше всех” и т.д. Но тут есть одно место замечательное, потому что оно выражает общее чувство, — это то, где автор говорит о “любезных нам именах Петра, Екатерины, Александра” — о Николае ни слова. Говорят, государь сам пропустил эту статью в печать. Мусин-Пушкин не велел ее перепечатывать в здешних газетах.

25 сентября 1855 года

Ездил в Царское Село к товарищу министра, князю Вяземскому, с докладом. Читал проект инструкции цензорам. Он очень одобрил. Исправив писарские ошибки, должен доставить князю проект для препровождения к графу Блудову. Я говорил с князем о многом, касающемся нашего министерства. Он мало знаком еще с делами и во всем соглашался. Впрочем, от этого вряд ли можно ждать пользы. Почти все наши сановники на все соглашаются, и тем не менее ничего не делается. Во всяком случае князь — то, что называется человеком образованным.

Совещание наше продолжалось три часа, наконец князя позвали обедать к государыне.

День был прелестнейший, и так как я уже опоздал на ближайший поезд, то

решился проехать в Павловск. Там пообедал в вокзале, побродил по опустевшему парку, взглянул на мою летнюю хижину, послушал музыку Гунгля и в три четверти десятого отправился домой, в Петербург.

5 октября 1855 года

Приехал министр. Он был в Москве и Казани.

6 октября 1855 года

Вечер провел у министра в дружеской откровенной беседе. В субботу он опять едет, в Дерпт. Он доволен Казанским университетом; Московский нам уже хорошо известен.

— А каково главное, — спросил я, — как там учат и учатся?

— Хорошо, — отвечал он.

Авраам Сергеевич сказал в Казани профессорам: “Наука, господа, всегда была для нас одною из главнейших потребностей, но теперь она первая. Если враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою своего образования. Итак, мы должны все наши силы устремить на это великое дело” и т.д.

При проводах один из студентов от имени своих товарищей сказал министру: “Уверьте государя, что мы все наши силы посвятим науке”.

Все это хорошие слова. Дай Бог, чтобы они обратились в такие же дела. Теперь все видят, как поверхностно наше образование, как мало у нас существенных умственных средств. А мы думали столкнуть с земного шара гниющий Запад! Немалому еще предстоит нам у него поучиться!

Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это плод презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу.

7 октября 1855 года

Боже мой, какое горе, какая потеря для науки, для мысли, для всего высокого и прекрасного: Грановский умер!

Это был в нашем ученом сословии человек, которого можно было вполне уважать, в правоту ума и сердца которого можно было безусловно верить. Он был чист, как луч солнца, от всякой скверны нашей общественности. Это был Баярд мысли, рыцарь без страха и упрека.

Поехал сегодня в католическую академию. Там новая скорбь: митрополит Головинский умер. Он заболел серьезно в конце лета. Ему было всего 48-й год. В нем я потерял человека, тоже близкого моему сердцу. Четырнадцать лет мы были связаны тесной дружбой и взаимным уважением. Это был один из благороднейших

и просвещеннейших умов в России. Я со слезами преклонился перед его гробом. Несколько священников пели погребальные гимны. Толпы людей входили и выходили. Юноши академические, кажется, искренно тронуты. “Господа, — сказал я им, — вы потеряли истинного пастыря и отца, общество — человека высоких чувств и ума, я потерял в нем друга”.

8 октября 1855 года

Неволин умер за границею. Вчера получено об этом телеграфное известие. А там, под Карсом, мы потерпели поражение, Кинбурн взят. Всё одни утраты и скорби — физические и нравственные. Вот уже действительно мы живем в юдоли скорбен.

Отчего, между прочим, у нас мало способных государственных людей? Оттого, что от каждого из них требовалось одно — не искусство в исполнении дел, а повиновение и так называемые энергические меры, чтобы все прочие повиновались. Такая немудреная система могла ли воспитать и образовать государственных людей? Всякий, принимая на себя важную должность, думал об одном: как бы удовлетворить лично господствовавшему требованию, и умственный горизонт его невольно суживался в самую тесную рамку. Тут нечего было рассуждать и соображать, а только плыть по течению.

9 октября 1855 года

Еще одна смерть, только политическая, и притом возбуждающая общую радость, а не печаль: Клейнмихель, наконец, подобно Бибикову, пал и уничтожился. Вчера, говорят, он получил из Николаева от государя записку, в которой ему предлагают подать в отставку.

12 октября 1855 года

Продолжение всеобщей радости по случаю падения Клейнмихеля. Все поздравляют друг друга с победою, которая, за недостатком настоящих побед, составляет истинное общественное торжество.

В самом ли деле он так виноват? Он ограничен. Ума у него настолько, чтобы быть надзирателем тюремного замка, но он не зол от природы. Зло заключалось не в нем, а в его положении, положение же его устроила судьба, сделав из него всевластного вельможу в насмешку русскому обществу.

16 октября 1855 года

Приехал из Москвы Катков хлопотать о журнале. После разных затруднений, наконец, решились дать ему позволение возобновить “Сын отечества”, как я первоначально советовал ему и министру для облегчения дела. Только Катков почему-то не хочет назвать своего журнала “Сыном отечества”, тогда как программу выхлопотал последнего.

В обществе начинает прорываться стремление к лучшему порядку вещей. Но этим еще не следует обольщаться. Все, что до сих пор являлось у нас хорошего или дурного, — все являлось не по свободному, самобытному движению общественного духа, а по указанию и по воле высшей власти, которая всем распоряжалась и одна вела, куда хотела. Замечательные личности и отдельные факты мало значат в общей массе застоя: это пузыри, выскакивающие на поверхности сонной влаги, взволнованной вдруг падением в нее какой-нибудь тяжести.

Многие у нас теперь даже начинают толковать о законности и гласности, о замене бюрократии в администрации более правильным отправлением дел. Лишь бы все это не испарилось в словах! Русский ум удивительно склонен довольствоваться словами вместо дел — начинать и оканчивать одними хорошими намерениями, которыми, как говорится, вымощен ад. Теперь нам предстоит собрать все свои силы и дружно их сосредоточить на благие дела. До сих пор мы изображали в Европе только огромный кулак, которым грозили ее гражданственности, а не великую силу, направленную на собственное усовершенствование и развитие.

Конца нет толкам о Клейнмихеле. Бедный! Чем он виноват? Его безжалостно опаивали почестями и властью. Голова его не могла этого вынести: мудрено ли, что он, наконец, совсем опьянел и потерял голову.

18 октября 1855 года

Был у министра, который возвратился из Дерпта, где был всем доволен. Секретный разговор об одном из наших профессоров, который будто бы проповедует либерализм с кафедры: об этом кто-то донес министру. Спрашивал моего мнения. Чтобы не дать искре разгореться, я взялся переговорить с ректором. Тут, конечно, нет намерения, а или неосторожность, или ложное истолкование слов. Как бы то ни было — это очень неприятное дело, и достойный человек может пострадать, а мы и так не богаты подобными людьми.

Вечером был у князя Вяземского. Продолжительный и искренний разговор. Я сильно нападал на бюрократию и канцеляризм. Один человек у нас добивается директорства и по простоте А.С.Норова может этого добиться. Тогда великая беда будет угрожать министерству: это грубый и злой невежда. Надо по мере сил этому воспрепятствовать.

Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством графа Д. Н. Блудова для рассмотра посмертных сочинений Жуковского, которые хотят теперь издать. Другие члены: Плетнев, князь Вяземский, Корф (Модест Андреевич) и Тютчев.

19 октября 1855 года

Был у графа Блудова. Он очень приветлив. Говорил о Жуковском с большим уважением, так же как и о всей литературе карамзинского периода. Меня порадовала его живость и теплота отношения ко всему, что касается ума, знания и поэзии.

26 октября 1855 года

Докладывал министру о “Журнале”. Он утвердил объявление на 1856 год. Просил меня переделать отношение великому князю. Переделывать тут нечего: его надо вновь написать.

Авраам Сергеевич еще просил рекомендовать ему кого-нибудь в попечители. Людей способных теперь трудно найти, ибо до сих пор их не хотели. Я предложил Н.П.Ребиндера, если тот согласится. Министр ухватился с жаром за него и уполномочил меня открыть с ним переговоры.

27 октября 1855 года

Заехал поутру к Ребиндеру. Если его не станут настоятельно посылать в Кяхту, он примет попечительство в Харькове или Киеве.

Был у князя Вяземского. Экзаменовал в университете девиц. Присутствовал в заседании Академии, был у графа Блудова, где состоялось сегодня собрание комитета по рассмотру сочинений Жуковского. Собрались: Корф, Плетнев, Тютчев. Граф Блудов очень любезен. Толковали, как приняться за рассмотрение сочинений Жуковского. Положено разделить их на части, которые каждый член по прочтении доставит другому.

Говорил с графом о цензуре и, разумеется, не щадил ее

— У нынешних цензоров, — сказал я, — врожденная неприязнь ко всем книгам, кроме одной, которую они чтут высоко.

— Какая же это книга? — спросил граф.

— Книга приходо-расходная, — отвечал я, — где они расписываются в получении жалованья.

16 ноября 1855 года

Около двух недель уже я пригвожден к моему письменному столу. Авраам Сергеевич поручил мне составить отчет государю о своем осмотре университетов Московского, Казанского и Дерптского, гимназий и т.д. Ему написал было отчет Кисловский, но министр нашел его никуда не годным и даже мне не показал.

Беда! Я захлебываюсь, тону в делах. Крепко тяжело приходится, а тут еще и головная боль по временам. Да и как не болеть голове, когда случается в сутки спать не больше трех часов.

17 ноября 1855 года

Ну, слава Богу! Кончена египетская работа. Сегодня прочли с министром последние листы отчета.

19 ноября 1855 года

Вечер у графини Ростопчиной. Она читала свою новую драму. Довольно-таки скучна. Тут было несколько княгинь, графинь, князь Вяземский, Тютчев, Плетнев, князь Одоевский. Я возвратился домой в два часа ночи.

Графиня очень аристократничала, нападала на низшие сословия, восхваляла высшее дворянство. Тютчев ей очень умно возражал. Мне, плебею, ничего не оставалось, как молчать, — и я молчал. Да и что стал бы я говорить болтунье, которая только самое себя слушает?

Нет высшего счастья, как споспешествовать счастью других.

24 ноября 1855 года

Вчера министр имел личный доклад у государя. Его величество превосходно принял писанный мною отчет обозрений министра. Государь вообще был благосклонен и на все представления министра отвечал согласием.

Вечером от Авраама Сергеевича я поехал к Тургеневу. Там застал много литераторов: Майкова, Дружинина, Писемского, Гончарова, приехавшего из Севастополя Толстого и т.д.

Кстати о Майкове. На днях он читал у меня свое новое стихотворение “Сны”. Оно написано уже в другом духе, чем последние его пьесы. Я советую Майкову не вдаваться ни в какие суетные учения или партии, а быть просто художником, к чему у него истинное призвание. У него большой талант, тем больше должен он бережно с ним обращаться.

Здешние литераторы написали поздравительный адрес Щепкину, юбилей которого празднуется в Москве в субботу на этой неделе. Я также подписал адрес. Щепкин почтенный, достойный человек. В нем — ум, талант, честность, и при этом он сам себя создал. Он стоит почести, которую ему хотят оказать.

Мне удалось, наконец, провести Гончарова в цензора. К первому января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. А с другой стороны, это и его спасет от канцеляризма, в котором он погибает.

30 ноября 1855 года

Граф Блудов назначен президентом Академии наук. Сегодня все члены Академии были представлены ему министром.

Мне кажется, это хорошее назначение. Министр при последнем своем докладе государю представил Блудова. Ему хотелось Меншикова — я отсоветовал. К Блудову и государь расположен. А главное — он человек просвещенный, любящий науку и литературу. Правда, он сделал одно нехорошее дело: отнял было у нас

пенсионы. Но как это случилось, мне непонятно теперь, когда я его ближе узнал. Подобная мера вовсе не в его духе.

3 декабря 1855 года

Граф Блудов в первый раз председательствовал в общем собрании Академии. Он как будто уже лет десять председательствует — так хорошо знает он дела академические и так верно о них судит. Ни одного вопроса, ни одной бумаги не оставил он без внимания и без своих весьма дельных замечаний или объяснений с теми, кого они касались.

Говорит он много, но содержательно. В нем еще много жизни, а ему уже семьдесят четыре года. Мы кончили заседание в 3 часа, начав его в 12.

Ходит в рукописи по рукам замечательный приказ великого князя Константина Николаевича, отданный им по своему ведомству. Приказ говорит о том, чтобы начальство в отчетах своих не лгало, уверяя, что все находится в чудесном виде, как это обыкновенно делается. В приказе есть ссылка на какую-то записку, в которой весьма резко говорится о разных форменных и официальных лжах. Это производит большой шум в городе. Министрам и всем, подающим отчеты, приказ очень не нравится. В сущности же это прекрасное дело. Многим вообще не нравится, что начинают подумывать о гласности и об общественном мнении.

7 декабря 1855 года

Вечер у князя Вяземского. Погодин читал свою старую драму “Петр Великий”. Есть места недурные, прочее зело скучновато. Граф Соллогуб следующими словами выразил свое неудовольствие: “Таковое чтение — уж мое почтение!” Да и никто не остался доволен. Не знаю, приятно ли было князю Вяземскому и князю Львову слушать, как их деды или прадеды отличались в скверном заговоре против Петра в пользу царевича Алексея. Они выставлены в таком виде, что их, право, не лестно считать своими предками.

10 декабря 1855 года

Мое двусмысленное положение при министре, наконец, заставило меня прибегнуть к решительной мере. Авраам Сергеевич называет меня “своим другом”, поручает мне важные дела. Я работаю с ним, могу сказать, вполне бескорыстно, потому что не получаю даже никакого жалованья за то. И что же: никогда не могу быть уверен в единственной награде, которая, в сущности, мне нужна, — в пользе и прочности моего труда. Ибо у “друга моего” есть другие друзья в его канцелярии, которых он часто слушается охотнее, чем меня, и по наущению которых то и дело разделывает то, что перед тем мы с ним, казалось, так согласно воздвигали. Между тем силы мои истощаются в непосильной работе, так как я должен же все-таки заботиться и о насущном хлебе для себя и для своей семьи. Написал Аврааму Сергеевичу письмо, в котором излагаю ему настоящее положение вещей — впрочем,

отлично ему известное — и говорю, не найдет ли он возможным для ограждения нашего общего дела как-нибудь оформить мое положение в министерстве так, чтобы я мог посвящать ему больше времени и уже на равных правах отбиваться от канцелярских козней.

Вечером в тот же день получил очень любезную записку от Авраама Сергеевича. Он сетует на то, что я имею к нему так мало доверия, тогда как он в эту самую минуту занят не только обеспечением за собой моих трудов, но еще как друг хлопочет и об улучшении моей судьбы. В воскресенье я с ним виделся. Самые дружеские объяснения и уверения.

30 декабря 1855 года

Пышные обещания Авраама Сергеевича разрешились. Мне выдано “пособие” в 1200 рублей. Авраам Сергеевич точно хотел, прости Господи, заткнуть мне глотку.

Получив от Гаевского официальное извещение о назначении мне по высочайшему повелению вышеупомянутых денег, я должен был ехать к министру. Он принял меня с огорченным видом и выразил сожаление, что ему не удалось сделать для меня всего, что он желал. Он, как говорит, делал обо мне доклад государю как о “человеке, который ему необходим и которого должно иметь в виду для особенно важных дел, ибо в нем способности соединены с благородным характером”, и представил меня к денежной и к почетной награде.

Государь выслушал его благосклонно и отвечал, что согласен дать мне денег, но почетную награду (владимирский крест) не может дать, потому что в комитете министров и то страшно вопиют на массу наград по министерству народного просвещения. В заключение государь заметил министру, отчего он не внес меня в число двух лиц, о которых министры имеют право ежегодно представлять государю вне установленного порядка?

На это Авраам Сергеевич ничего не мог ответить, а мне признался, что оплошал. Новые обещания и сетования на недоверие к нему.